Е·ФЕОКТИСТОВ

За кулисами политики и литературы

1848–1896





ББК 63.3(2)
Ф42

Тексты воспоминаний и предисловия печатаются по: Ленинград, Прибой, 1929 г.

Воспоминания Е.М. Феоктистова и их значение

«Воспоминания» Е. М. Феоктистова охватывают время с конца сороковых годов до девяностых — целый исторический период от кануна «эпохи реформ» и до того последнего десятилетия XIX в., которое отмечено бурным экономическим подъемом, превратившим Россию в страну промышленного капитализма.

Е.М. Феоктистов — свой человек в правящей среде и в течение нескольких десятков лет эту среду не извне наблюдает, а освещает изнутри, разделяя все ее переживания, опасения и надежды.

Это делает его самого ценным объектом исторического изучения: он показателен для целой эпохи в истории русского самодержавия и для весьма влиятельного круга, вершившего в течение ряда лет судьбы русского государства.

Характерен Е.М. Феоктистов еще и тем, что полная его преданность властям предержащим и ими охраняемому строю отнюдь не мешает ему верно, тонко и правдиво расценивать носителей этой власти и их политику.

Про Александра III он пишет: «Умственное его развитие стояло очень низко... в интеллектуальном отношении государь Александр Александрович представлял собой весьма незначительную величину... плоть чересчур преобладала в нем над духом». Поклонник К.П. Победоносцева, мемуарист в то же время метко определяет, что сила Победоносцева в том, что он в каждом явлении и любом проекте «тотчас подмечает слабые стороны», но бессилен перед каким-либо положительным решением и даже не в силах искать выхода из правительственного тупика, а лишь способен «бессильно оплакивать состояние России», той старой казенной России, состояние которой представляется ему безнадежным. Победоносцев, сообщает о нем Феоктистов, настойчиво указывал на то, что «никакая страна в мире не в состоянии избежать коренного переворота, что, вероятно, и нас ожидает подобная же участь и что революционный ураган очистит атмосферу». Это неизбежное будущее внушало Победоносцеву неодолимый страх, стремление остановить поток живой жизни, задержать его, «подморозить», как сказал бы Константин Леонтьев.

Е.М. Феоктистов признает характерной чертой реакционной правительственной системы «неодолимый страх как источник репрессий». Мероприятия, направленные на усиление местной административной власти, создают, по мнению Феоктистова, только «грубо намалеванную декорацию» правительственной силы, а по адресу революционной молодежи, которую он готов признать «исполненной самых идеальных стремлений», у него прорываюся такие замечания: «Можно ли удивляться, что проповедь социализма принялась как нельзя лучше на такой почве?»

Е.М. Феоктистов осуждает беспринципность правительственной политики, отсутствие в ней последовательности, планомерности, осознанной цели. Так судит он и о международных делах: можно было бы, думает он, избежать войны с Турцией, «если бы правительство хоть сколько-нибудь ясно сознавало, чего оно хочет и какие должно преследовать задачи», но оно руководится «не зрело обдуманной программой, а случайными впечатлениями».

Правая рука министра внутренних дел Дмитрия Толстого, доверенный его чиновник, мемуарист посвящает ряд выразительных страниц изображению умственной ограниченности и морального убожества своего патрона: «человек без высших побуждений» — такой литературно-мягкой формулой выражает он свое суждение о натуре Дм. Толстого. И всю среду так называемых «высших сфер» Е.М. Феоктистов характеризует реалистическими и жесткими штрихами, вскрывая столь свойственную ей отраву цинизмом, карьеризмом и крайним, безответственным легкомыслием. Тип этой среды — «генерал-адъютант» — обрисован в печатаемых ныне записках на ряде конкретных примеров: это ближайшие органы верховной власти, часто ее руководители, а для обобщенной их характеристики мемуарист сочувственно приводит меткое словечко Юрия Самарина о «генерал-адъютантском нигилизме».

Трезвое суждение о правительственном режиме и его носителях нисколько не умаляло в Феоктистове силы его «твердых убеждений» монархиста-консерватора.

Вместе с М.Н. Катковым проделал он в годину польского восстания тот переход от умеренного либерализма к твердому консерватизму, который представлялся ему отражением «благодетельного переворота» в русском общественном сознании в итоге «могучего движения, которое совершилось в среде русского общества» — так характеризует Феоктистов в одной из историко-публицистических статей своих резкое поправение широких слоев российского дворянства и купечества под впечатлениями борьбы за Польшу и грозившей, казалось, иноземной интервенции в защиту поляков.

Этот поворот в общественных настроениях, создавший популярность и влияние Каткову, далеко еще не выяснен ис-

торической литературой ни в классовых корнях своих, ни в своей идеологии. «Воспоминания» Феоктистова дают хороший материал для некоторых наблюдений над этим довольно-таки сложным явлением.

Е.М. Феоктистов, родившийся в 1829 году, — разночинец: его происхождение определялось официально формулой: «из обер-офицерских детей». Питомец Московского университета — он окончил его в 1851 году — стало быть, был с ним связан в самую его блестящую пору.

Е.М. Феоктистов — увлеченный слушатель Грановского, лично близкий передовым литературно-философским кружкам 40-х годов, вскормленный их влияниями, друг И.С. Тургенева, проходит затем житейский путь чиновника и литератора — уверенного и добросовестного слуги консерватизма и реакции.

Это обычно кажется загадкой или получает слишком упрощенное объяснение, как и по отношению к Каткову, в том, что-де эти люди ради личных выгод сожгли все,чему поклонялись, изменили убеждениям и т.д. Если бы дело так обстояло, то такие биографические экивоки не представляли бы никакого общего интереса. Но ни Катков, ни Феоктистов в собственном своем сознании ничему не изменили, ничего не сжигали и уж, конечно, никому не «продавались». Да и весь «благодетельный переворот» состоял для них в повороте к более трезвой, более реальной оценке русской общественности, с одной стороны, значения и сил польского мятежа — с другой. Другими словами, сущность этого поворота заключалась в исцелении от излишнего оптимизма в отношении к внутреннему состоянию России и от полонофильства или примиренчества в отношении к «полонизму». Дело для них сводилось к переоценке реальных условий политической жизни и к соответственному изменению политической тактики, а не к какой-либо смене «идеалов».

Такой переход от «либерализма» к «реакции» был лишь похож на коренной перелом в мировоззрении.

Либерализм Каткова—Феоктистова весьма относителен с самого начала. В катковской «англомании» конца 50-х — начала 60-х годов много «торизма». Это либерализм, ищущий в умеренном обновлении политического строя гарантий от более решительного перелома общественных отношений.

Для либерализма Е.М. Феоктистова в эту пору особо показательно письмо, писанное им в 1861 году к Н.А. Орлову. Он жалуется, что «правительственные стеснения становятся положительно невыносимыми» и потому «в обществе только и слышатся разговоры о необходимости подать правительству адрес с тысячами подписей, в котором были бы изложены требования либеральной партии; эти требования состоят в свободе печати, гласном судопроизводстве, отмене телесных наказаний и обнародовании бюджета». Признав закон-

ность этих требований (он и сам готов такую петицию подписать), Е.М. Феоктистов резко осуждает «верх самого чудовищного безобразия» в появившихся революционных прокламациях: такие «сумасбродства» опасны потому, что «бросают в глазах правительства тень на всю либеральную партию», а вся надежда на то, что, если бы революционеры не раздражали правительства, оно «быть может, оценило бы справедливость желаний» умеренного либерализма.

Письмо Е.М. Феоктистова дает довольно верное отражение «либерализма» «Русского вестника» этих лет.

Этот катковский либерализм навеян его преклонением перед английским self gowernment'ом, в котором и после последних парламентских реформ сохранилось преобладание местных крупноземлевладельческих сил. В. Переверзев правильно характеризует «Русский вестник» как «западнический умеренно-реформистский орган дворянской мысли», который по-своему выражал заботу дворянства о том, чтобы «побольше перенести в будущее из прошлого», и «строил программу обеспечения дворянских интересов в предстоящей реформе с помощью выработанных на Западе приемов экономического и политического закабаления освобождаемого крестьянства». («Красная новь». 1926. Кн. 6.)

Еще в 1863 году Катков вступает в переписку с П.А. Валуевым по вопросу о введении в России представительства. В основе их мотивы одинаковы, а записка Валуева указывает на политическую — более чем умеренную — реформу как на средство предупредить брожение внутри России и вмешательство европейской коалиции в защиту Польши поддержкой правительства со стороны тех общественных классов, которые он считал за «природно-охранительные». Формула Каткова сводится, по свидетельству Феоктистова, к организации общественного мнения для воздействия на правительство, но без оппозиционных настроений, «без враждебного отношения». В переписке с Валуевым в том же, 1863 году Катков отстаивает перед Валуевым мысль, что земские учреждения «должны стать элементом всей нашей политической жизни», что «никогда хозяйственное в подобных учреждениях не может быть строго отделено от политического»; Катков ожидает только усиления русской государственности от «дарования представительства и политических прав всем гражданам великой России», так как уверен, что только такая политическая реформа «разрешит польский и другие окраинные вопросы, тесно соединив их с Россией», впрочем, с показательной националистической оговоркой о необходимой поддержке на окраинах «русской народности»*. Но это представительство

---

* М.Н. Катков и гр. П.А. Валуев в их переписке. Русская старина. 1915 г.; Катков. Что же нам делать с Польшей? Русский вестник. 1863 г. Кн. 3.

Катков представлял себе строго классовым; это должно быть представительство «положительных интересов», иначе говоря, «местных организованных элементов»: крупных землевладельцев, поместных дворян и других основных групп населения. В основу земских учреждений должны быть непременно положены «нынешние дворянские собрания».

Организация общественных групп, носителей «положительных интересов», обеспечение правительству их поддержки и его подчинение их влиянию, притом «без враждебного отношения», словом, солидарность власти и господствующих классов как надежная опора сохранения основ старого порядка при обновлении строя рядом реформ, и прежде всего крестьянской, — такова внутренне противоречивая задача переживаемого момента в понимании Каткова.

В период своего так называемого «либерализма» Катков мечтал о создании русского «торизма», т.е. организации влиятельных консервативных сил, отнюдь не чуждых признания общественной самодеятельности и осуществления относительно широких реформ, поскольку они неустранимо назревают, но в пределах охраны существующего политического строя и сложившихся общественных соотношений.

Опыт эпохи реформ и польского восстания вызвал в Каткове (а с ним и в Феоктистове, и во всех людях этого лагеря) два острых переживания, которые и легли в основу российского консерватизма эпохи Александра III, консерватизма, весьма далекого от английского торизма. Эти переживания — жестокий испуг перед опасностью массового революционного движения, которое казалось вполне назревшим, и перед угрозой иноземной интервенции в поддержку польского восстания и в то же время резкое разочарование в значительности «положительных» элементов русского общества, и потому столь характерно для русского консерватизма настроение «социального скепсиса». Отсюда — судорожное, трусливое цепляние за наличные формы «порядка» и за охраняющую их «сильную власть».

Общественное возбуждение шестидесятых годов для Е.М. Феоктистова — только «сумбурное движение, проявившееся в различных слоях нашего общества в эпоху отмены крепостного права». Его внимание приковано к тем бытовым чертам этой эпохи, которые обусловлены обострением борьбы за существование в условиях нарастающего капитализма периода «начального накопления», и с брезгливой ужимкой отмечает он, что «реформы Александра II взбаламутили то, что лежало под спудом, и дали простор гнусным инстинктам, издавна развивавшимся в обществе».

Испуг перед угрозой внутреннего потрясения сплелся у Каткова с представлением о «польской опасности», за которой стоит сила западноевропейской вражды к России, в одно фантастическое и нервически-напряженное целое. «По всем

признакам, — писал он Валуеву в мае 1863 года, — польская или, лучше сказать, европейская организованная против нас революция не ограничится Польшей и западными губерниями; ее замыслы простираются далее; все употребляется, чтобы расшевелить наш материк, и все оказалось непрочным». Катков убеждает себя и других, что «настоящая революция» у нас невозможна, но может быть вызвана «революция фальшивая», которая выразится в «серьезных смутах»; Катков утверждает, что «наши доморощенные революционеры сами по себе совершенно ничтожны... но как орудие сильной и хорошо организованной польской революции, которая не отступает ни перед какими средствами и решилась поставить все на карту, они могут получить значение» («Русская старина» 1915 г. Кн. VIII. С. 296 — 300).

Подобно тому как староверам времен петровских весь быт казался отравленным антихристовой силой, так Каткову той поры всюду чудилась «польская интрига»: к ней он сводит в конечном счете и русское революционное движение, и международные конфликты России, причем эта «польская интрига» отождествляется с силой европейской мировой революции. За одну скобку попадают Пальмерстон с Мерославским. Польские «революционные агенты разосланы по всей России»: «мудрено ли, что они, местами смешавшись с народом, поведут его на помещиков». Этот странный кошмар перепуганного обывателя лег, однако, в основу талантливой и влиятельной публицистики Каткова на многие годы. За него ухватились все, кому хотелось верить, что разрушение старого мира, начавшееся и ощутимое, только внешнее явление, наносное, временное...

В том числе и Е.М. Феоктистов. Житейский путь привел его в состав правящих верхов как надежного служителя «охранительных начал». С переходом верховной власти к Александру III он вполне сложился в убежденного катковца.

По окончании университета и недолгой канцелярской службы в провинции Е.М. Феоктистов с 1854 года устроился в Москве чиновником канцелярии московского гражданского губернатора и преподавателем истории в кадетском корпусе. «Таланта литературного у меня нет; страсть к историческим занятиям большая, — отмечал Е.М. Феоктистов в начале 1853 года в одном из писем своих к И.С. Тургеневу. — Собственно, «ученого» из меня никогда не выйдет, ибо во мне нет силы на кропотливый труд, нет нужной усидчивости и неустанного постоянства в занятиях, но, несмотря на то, занятия историей я не оставляю и думаю, что могу принести с этой стороны некоторую пользу, как может принести пользу всякий, с любовью и бескорыстно занимающийся чем-нибудь серьезным в жизни».

Близкий Каткову, Феоктистов с 1856 года сотрудничал в «Русском вестнике» статьями на исторические темы, по пово-

ду новинок западной исторической литературы. Эти статьи были публицистическими выступлениями по поводу острых вопросов современности: восточного, польского. Выступал Феоктистов в «Русском вестнике» и с обзорами крупных событий на Западе по иностранной газетной прессе, освещая эти события со своей тогдашней умеренно-либеральной точки зрения.

Ближе к «верхам» будущий мемуарист стал с 1863 года как чиновник особых поручений при Министерстве народного просвещения: основным поручением было составлять «обозрения» всего, что любопытно в печати, — для царя. С осени 1871 года и до конца 1882 года Е.М. Феоктистов состоял редактором «Журнала Министерства народного просвещения».

Эпоха Александра III открыла ему доступ к роли более значительной. В 1882 году Феоктистов — участник «особой комиссии» по обеспечению за духовенством большего влияния на народную школу. Это участие в разработке реакционнейших мероприятий по народному образованию было ступенькой к должности начальника Главного управления по делам печати, которую Феоктистов занимал свыше тринадцати лет — с 1883 по 1896 год.

Правая рука министра внутренних дел гр. Д.А. Толстого по надзору за печатью, Феоктистов вел это свое дело под руководством К. П. Победоносцева и под влиянием М.Н. Каткова. В издании переписки Победоносцева находим ряд писем к нему, в которых Феоктистов то просит указаний, то сообщает о своих решениях по части мероприятий к «обузданию» печати, то оправдывается, что не смог применить более крутых мер по формальным причинам. Доходило до того, что Феоктистов представлял Победоносцеву проекты постановлений по делам печати раньше доклада их своему министру с вопросом, «не угодно ли будет сделать какие-либо изменения», и обещанием, что «всякое указание будет принято с величайшей благодарностью». Победоносцев и не скупился на «указания», директивы и упреки за послабления и недосмотры в деле цензурного наблюдения за печатью.

По отношению к Каткову роль Е.М. Феоктистова была другой. Он был из числа тех петербургских чиновников, которые служили Каткову своей информацией, доставляли ему сведения о правительственных делах и проектах, еще неопубликованных и опубликованию иной раз не подлежавших. Служил Феоктистов Каткову и личными своими связями, в частности в Министерстве иностранных дел, и посредничал между Катковым и чинами других ведомств.

«Воспоминания» Е.М. Феоктистова освещают рядом конкретных примеров и рассказов как своеобразную роль Победоносцева в правящей среде, так и значение Каткова и еще более своеобразный механизм его воздействия на правительст-

во. За те годы, когда Министерство народного просвещения насаждало так называемую «толстовскую» классическую гимназию, министр Дмитрий Толстой выступает в «Воспоминаниях» Феоктистова послушным орудием Каткова, руководству которого он настолько подчинен, что трусливо отступает от своего мнения, получив нахлобучку от негласного своего руководителя. Яркое и исторически ценное освещение получает в «Воспоминаниях» Е.М. Феоктистова период Министерства внутренних дел Д.А. Толстого, когда руководство Каткова отошло на задний план и в очередном вопросе — реформе местного управления, разрешившейся учреждением земских начальников, — Толстой нашел себе нового вдохновителя в лице такого твердого представителя дворянской реакции, как А.Д. Пазухин, статья которого в «Русском вестнике» 1885 года «Современное состояние России и сословный вопрос» была воспринята Толстым как властная классовая директива дворянства правительству и как откровение, указующее ему широкий путь контрреформы местных учреждений.

Нет ни возможности, ни надобности в небольшой вступительной статье к «Воспоминаниям» Феоктистова гоняться за хотя бы отдаленно исчерпывающим перечнем разнообразного материала, какой они дают читателю и исследователю.

Историк русской общественности 40 — 80-х годов, русской литературы, театра, журналистики найдет тут множество крупных и мелких, но всегда ценных и характерных данных, требующих внимания и изучения в общей связи. Для истории внутренней политики императорского правительства в пореформенную эпоху, в период «диктатуры» Лорис-Меликова и в десятилетия «реализма» 80-х и 90-х годов эти «Воспоминания» — незаменимый и живой источник, наглядно рисующий людей, отношения и настроения этого мало изученного исторического периода.

Немало интересных данных найдет в «Воспоминаниях» Феоктистова также историк международных отношений России в годы царя, прозванного «миротворцем», чей прославленный пацифизм Феоктистов очень удачно объясняет: «Война будет продолжительная, беспощадная, и было бы безумно отважиться на нее, не приготовившись как нужно: поневоле надо медлить, стараться выиграть время». Ряд ценных указаний дают «Воспоминания» Феоктистова для этих лет колебания России между германским и французским союзом. А в целом их можно рассматривать как живой и наглядный комментарий к истории эпохи с точки зрения преимущественно состояния и состава правящей среды, носительницы изжитого, по существу, социально-политического строя, медленно, слишком медленно сходившего с исторической сцены.

А.Е. Пресняков

Е. М. ФЕОКТИСТОВ И ЕГО ВОСПОМИНАНИЯ

В историю Е. М. Феоктистов вошел раньше, чем в литературу.

Его имя, еще скромное имя двадцатилетнего студента Московского университета, ученика Грановского и Кудрявцева, промелькнуло уже в 1849 году в бумагах секретного дознания по делу петрашевцев и если оставлено было без внимания, то, как мы знаем сейчас, только потому, что московская ячейка тайного общества не успела оформиться до конца, а из компрометировавших ее писем А. Н. Плещеева к Ф. М. Достоевскому далеко не все оказались в распоряжении III отделения и генерал-аудиториата.

В 1851 году Е. М. Феоктистов кончает университет и в феврале следующего года дебютирует в «Современнике» несколькими рецензиями и переводами. В это время он уже тесно связан с эпигонами либерального западничества, он приятель Тургенева и Боткина, свой человек в оппозиционном общественно-литературном салоне графини Е. В. Салиас де Турнемир.

В первых числах марта 1852 года молодой литератор оказывается вовлеченным в известное цензурно-полицейское дело об обстоятельствах опубликования в «Московских ведомостях» запрещенной статьи Тургенева о смерти Гоголя.

Как посредник между автором и московскими журналистами он ждет суровых репрессий, но отделывается «внушением» в генерал-губернаторской канцелярии и отдачей под надзор полиции.

* * *

Из первых своих столкновений с охранительным аппаратом помещичье-дворянской монархии Е. М. Феоктистов вышел гораздо удачнее, чем его старшие современники, такие же, как и он, разночинцы, жертвы процессов петрашевцев и кирилло-мефодиевцев. Правда, от сколько-нибудь заметного участия в общественно-литературной жизни он должен был отказаться, перспективы научной карьеры безнадежно затемнились, но оставаться в тылу, на случайной педагогической и канцелярской работе пришлось недолго.

Крах николаевской системы и начало эпохи реформ Е. М. Феоктистов встречает уже как один из ближайших сотрудников «Русского вестника», нового журнала, рассчитанного на широкую либеральную аудиторию. Не порывая связи с этим изданием, Е. М. Феоктистов в конце 1856 года уезжает за границу, живет и много работает в Париже, внимательно следит за социально-политической и культурной хроникой Европы, собирает материалы и пишет (отчасти по непосредственным впечатлениям) о национальном подъеме Италии, о стачках рабочих в Англии, о французских радикалах и либералах, о достижениях новейшей исторической литературы.

За границей Е. М. Феоктистов определяется и как реальный политик. От прежнего идеологического утопизма московских либеральных кружков и салонов очень скоро не остается в нем и следа.

Сменяя вехи, он тщательно отмежевывается от вдохновителей «Колокола» и «Современника» и, не рассчитывая на успехи буржуазной демократии, сомневаясь в политической зрелости русской буржуазии, устанавливает тесную связь с группой конституционалистов-федералистов из кругов фрондирующего крупнопоместного дворянства (князь Н. А. Орлов, князь Н. И. Трубецкой, граф В. П. Орлов-Давыдов).

К этому флангу политической оппозиции ненадолго примкнул впоследствии, как известно, и М. Н. Катков, но, в то время как последний был союзником радикальной аристократии, так сказать, справа, Е. М. Феоктистов рассчитывал на контакт сановных консти-

туционалистов с более широкими кругами либеральной общественности и, толкая своих новых друзей и протекторов влево, безуспешно пытался усилить их активизм.

Программа-минимум Е. М. Феоктистова в год крестьянской реформы может быть определена по одному из его писем, дошедшему до нас в перлюстрационной сводке III отделения: «Правительственные стеснения положительно становятся невыносимыми, — сообщал он 22. IX. 1861 года Н. А. Орлову. — Нельзя скрывать, что неудовольствие господствует всюду, и весьма сильное. В обществе только и слышатся разговоры о необходимости подать правительству адрес с тысячами подписей, в котором были бы изложены требования либеральной партии. Эти требования состоят в свободе печати, гласном судопроизводстве, отмене телесных наказаний и обнародовании бюджета. Большинство просвещенного общества принадлежит к этой либеральной партии. Да, впрочем, что я говорю — либеральной партии! Вернее, требования всего просвещенного дворянства, всех сколько-нибудь просвещенных людей!»

* * *

На этих «просвещенных людей» и пытался ориентироваться журнал Евгении Тур «Русская речь», редактором которого с середины 1861 года оказался будущий мемуарист. Публицистическая деятельность его продолжалась, однако, здесь очень недолго. Журнал, не удовлетворяя ни радикальной, ни национал-либеральной аудитории, едва дотянул до начала 1862 года и закрылся из-за недостатка подписчиков.

Крахом «Русской речи» обусловлен был переезд Е. М. Феоктистова в Петербург. Не рассчитывая на литературную работу, он ищет приложения своих сил на государственной службе и при помощи своих влиятельных зарубежных друзей получает место чиновника особых поручений в Министерстве народного просвещения.

Вхождение в круг либеральных бюрократов, группировавшихся вокруг А. В. Головнина и Д. А. Милютина, позволяет ему держаться на первых порах очень независимо. Как представитель Министерства народного просвещения в Комиссии для составления проек-

та нового устава о книгопечатании, он энергично отстаивает интересы литературы и подписывает известную декларацию о недопустимости наложения взысканий по делам печати без суда. Он начинает большую работу по неизданным архивным документам о реакции двадцатых годов и о положении просвещения в александровскую эпоху, печатает книгу о М. Л. Магницком, наконец, в «Отечественных записках» помещает статьи, самые темы которых («Каннинг и его время», «Борьба Греции за независимость») свидетельствуют о внимании автора к линии исторических интересов читателей либерального лагеря.

Сдвиг Е. М. Феоктистова вправо определяется не раньше 1864 года. В своей оценке уроков польского мятежа он вместе с огромным большинством русской либеральной буржуазии и среднего дворянства оказывается на национально-охранительных позициях «Московских ведомостей» и «Русского вестника».

Усвоение постулатов М. Н. Каткова и возобновление связей с ним и с его группой, с одной стороны, требует доведения до конца ревизии всех прежних общественно-политических взглядов и представлений Е. М. Феоктистова, с другой — чрезвычайно обостряет его положение в кругу еще недавно близких ему деятелей «эпохи реформ», пути которых он должен признать теперь явно ошибочными, ведущими страну к анархии и развалу.

Сказать последнее слово, сделать окончательный выбор Е. М. Феоктистов, однако, не спешит и старых отношений долго не разрывает. Лишь после выстрела Д. В. Каракозова решает он отказаться от своего либерального прошлого, от двусмысленной позиции между революцией и реакцией, открыто связав с последней — уже навсегда — и свое имя, и свое перо.

* * *

Как объект желчных эпиграмм и ожесточенных сатирических выпадов имя Е. М. Феоктистова начинает бытовать в литературе прежде, чем в широких читательских кругах успела определиться общественно-публицистическая репутация его носителя.

В известном «Соннике современной русской литературы» Н. Ф. Щербина уже в 1856 году поминает Феоктистова в ряду деятелей кружка М. Н. Каткова,

среди «Добчинских и Бобчинских русской науки, литературных подлипал и ученых блюдолизов»: «Каткова, Леонтьева, Коршей, также Феоктистова и всю эту литературную мелюзгу «Русского вестника» во сне видеть — предвещает щеголять пред невеждами привитым умом из разных германских брошюр и фолиантов; не знать России, смотреть на нее из геттингенского окна или из предместья св. Антония; вопить заносчиво о своей добросовестности с примесью гордого презрения ко всему, что не подходит под наш бездарный и узкий взгляд, глубоко уважать собственное достоинство без всяких на это данных». Даже внешняя повадка Е. М. Феоктистова, его манера держать себя в кругу товарищей по литературной работе вызывают раздражение и настраивают на отпор еще в большей степени, чем его же выступления в печати. Так, в юмористический стихотворный диалог Б. Н. Алмазова «Московский поэт и петербургский обыватель» вложена была в 1861 году строфа, ироническая концовка которой не требовала, разумеется, комментариев:

С Садовским знаком я, Мартынова знал
(Я друг и наставник артистов) —
И даже мне руку однажды пожал —
Поверишь ли, кто? — Феоктистов...

Крах руководимого Е. М. Феоктистовым журнала дает Б. Н. Алмазову в 1862 году материал для нового сатирического обозрения — «Похороны *"Русской речи"*, скончавшейся после непродолжительной, но тяжкой болезни».

Будущему мемуаристу посвящено здесь одно из самых злых четверостиший:

Важен, толст, как частный пристав,
Жертва злобной клеветы,
Пал великий Феоктистов
С двухаршинной высоты.

Это «падение» не изменило враждебного отношения к Е. М. Феоктистову, и в 1864 году в романе Лескова «Некуда», в главах, отведенных памфлетной характеристике кружка Е. В. Салиас де Турнемир («салон маркизы Ксении Григорьевны де Бараль»), недавний редактор «Русской речи» ожил в чертах «некоего Сахарова»: «Тут же помещался некий господин Сахаров. Последний очень смахивал на большого выра-

щенного и откормленного кантониста, отпущенного для пропитания родителей. Его солдатское лицо хранило выражение завистливое, искательное, злое и, так сказать, человеконенавистное; но он мог быть человеком, способным всегда «стать на точку зрения вида» и спрятать в карман доверчивого ближнего» («Некуда». Кн. II, гл. VII)*.

Строки Лескова оказались пророческими. Еще прежде чем Е. М. Феоктистов успел твердо стать «на точку зрения вида» и «спрятать в карман» интересы «доверчивых ближних», его двусмысленное поведение как чиновника особых поручений при либеральном А. В. Головнине и в то же время сотрудника реакционного «Русского вестника» было увековечено в эпиграмме Н. Ф. Щербины:

Не сердись, пришлося к слову,
И тебя я упрекну:
При сочувствии к Каткову
Служишь ты Головнину.
Для такого ж человечка
Казнь народная строга, —
Говорят — он богу свечка,
Да и черту кочерга.

* * *

Как петербургский агент и информатор М. Н. Каткова, как негласный посредник между редакцией влиятельнейших «Московских ведомостей» и высшими бюрократическими кругами столицы Е. М. Феоктистов с конца 60-х годов все более и более втягива-

---

* «Не сержусь на Феоктистова, ничтожество души которого я имел неосторожность изобразить, — писал Н. С. Лесков 15. I. 1876 г. П. К. Щебальскому. — Я бы не был так мстителен, как он; но все-таки у него есть причины не любить меня и лгать и клеветать на меня. Это дело его сердца и его совести. Но причина у него есть» (Архив Пушкинского дома). Ср. письмо его же от 20. XI. 1888 г. к В. А. Гольцеву: «Известно ведь, что Ф/еоктистов/ имеет ко мне особую ненависть и притом сугубую, так как притеснением меня он доставляет удовольствие П/обедонос/цеву и г/осподи/ну Ф/илип/пову» («Голос минувшего». 1916. Кн. 7—8. С. 401). Черты Е. М. Феоктистова именно в Сахарове, а не в ком-либо из других завсегдагаев салона маркизы де Бараль, установлены нами по намекам романиста на реальную биографию прототипа, а главное, благодаря портретной зарисовке в Сахарове внешнего облика Е. М. Феоктистова, известного нам по фотографиям начала 60-х годов.

ется в закулисные комбинации вдохновителей нашей внутренней и внешней политики.

Круг его знакомств и линии его интересов этой роли необычайно благоприятствовали, ибо, формально числясь с 15. VIII. 1871 года по 1. I. 1883 года лишь редактором «Журнала Министерства народного просвещения», Е. М. Феоктистов успел стать нужным, «своим человеком» для гр. Д. А. Толстого, М. Н. Островского, И. В. Гурко, К. П. Победоносцева, охотно эксплуатировал в интересах национально-охранительных кругов свою давнюю близость с послом в Париже кн. Н. А. Орловым, с приятелем последнего, мужем царской фаворитки П. П. Альбединским, с дельцами Министерства иностранных дел и с высшими военными администраторами, с чинами ведомств народного просвещения и Святейшего Синода.

В эти же годы Е. М. Феоктистов не переставал усердно служить М. Н. Каткову и пером.

Старый документальный материал и мемуарные тексты превращались в его руках в средство определенного политического воздействия на читателя, в историческое обоснование тезисов, развиваемых в злободневных передовицах «Московских ведомостей» и в фельетонах «Русского вестника». Так, например, известные исторические этюды Е. М. Феоктистова «Польша после 1815 г.» и «Польские интриги в первой четверти нынешнего века» подкрепляли полонофобскую кампанию Каткова в 1865 — 1866 годах; статьи и материалы о политике Николая I на Ближнем Востоке подготовляли общественное мнение к вмешательству России в балканские дела в 1876 — 1877 годах, исторические справки о Прибалтике и о завоевании Кавказа печатались в момент обостренной трактовки на страницах «Московских ведомостей» общего вопроса о положении имперских окраин, а разыскания в области русско-прусских и русско-французских отношений эпохи Елизаветы Петровны («Русский вестник». 1882 г.) получали исключительно актуальное значение в пору пропаганды русско-французского союза и разрыва с Германией.

* * *

Крах «диктатуры сердца» и разгул помещичье-дворянской реакции после 1 марта 1881 года обеспечивал

выдвижение на наиболее ответственные деловые посты креатур «Русского вестника» и «Московских ведомостей», старая охранительная программа которых неожиданно оказалась официально прокламированным политическим курсом новой власти.

Недолго пришлось оставаться теперь в тени и Е. М. Феоктистову: 1 января 1883 года он назначен был начальником Главного управления по делам печати.

«Новый год начинается невесело: смерть Гамбетты, жизнь Феоктистова, — так реагировал на это назначение Тургенев, предупрежденный письмом Салтыкова-Щедрина еще от 6 марта 1882 года о новой влиятельной группировке сановников, о союзе И. И. Воронцова-Дашкова, М. Н. Островского и Т. И. Филиппова. — А Аспазия у них *Феоктистиха* и старая бандерша Евгения Тур».

Роль Софьи Александровны Феоктистовой (урожд. Беклемишевой) в карьере и связях мужа и раньше была, вероятно, не малая. Как «очень хорошенькая женщина», она пользовалась известностью не только в петербургских и московских светских салонах, но упоминалась даже в печати — в одном из фельетонов А. С. Суворина в 1875 года. Слухи же о ее близости к М. Н. Островскому (министру государственных имуществ) дали материал для едкого отклика Д. Д. Минаева на назначение Е. М. Феоктистова главой цензурного ведомства:

Островский Феоктистову
На то рога и дал,
Чтоб ими он неистово
Писателей бодал.

И действительно, для писателей радикального лагеря настали тяжелые времена. В первые же годы своего пребывания у власти Е. М. Феоктистов добился ликвидации крупнейших органов оппозиционной печати — «Отечественных записок» и «Голоса». Под постоянной угрозой закрытия, штрафов, конфискации номеров и лишения права розничной продажи не могли, разумеется, нормально работать ни одна либеральная газета, ни один общественно-литературный журнал. Из старых больших писателей на особый учет взяты были Лев Толстой и М. Е. Салтыков-

Щедрин, из начинающих — Чехов, Гаршин и Короленко.

Перед самым выходом в свет были опечатаны в типографиях и сожжены такие книги, как «История новейшей литературы» С. А. Венгерова, «История Екатерины Второй» В. А. Бильбасова, «Эволюция морали» Ш. Летурно, «Реакция во Франции» Г. Брандеса. Гонению подверглись даже совершенно невинные в социально-политическом отношении органы «сатиры и юмора» — «Осколки», «Будильник», «Стрекоза».

«Начальник Главного управления по делам печати, — писал Н. А. Лейкин 10.X.1885 года А. П. Чехову, — вообще против сатирических журналов и не находит, чтобы они были необходимы для публики».

Эффект мероприятий Е. М. Феоктистова был так велик, что уже в 1884 году известный фельетонный словарь Вл. Михневича «Наши знакомые» мог подвести некоторые итоги его работе:

«Правление г-на Феоктистова ознаменовалось важными и решительными мерами в охранительном духе: известная часть журналистики так называемого «либерального направления» потерпела крушение; контрабандная *междустрочная* словесность, с успехом провозившаяся прежде чрез цензурную таможню, ныне, подвергнутая тщательному досмотру, пресечена; столь процветавший еще недавно *эзоповский* язык вовсе изъят из обращения на печатных листах. Вообще, нужно отдать справедливость: никогда еще наша цензура не стояла в такой степени на высоте своего призвания, никогда она не была так проницательна, так бдительна и строга, как под руководством г-на Феоктистова».

В должности начальника Главного управления по делам печати Е. М. Феоктистов оставался тринадцать лет, четыре месяца и двадцать два дня. Труды его были высоко оценены высшей властью. Назначенный вскоре после коронации Николая II сенатором и уходя 23 мая 1896 года «на покой», Е. М. Феоктистов был уже в чине тайного советника, кавалером всех орденов до Александра Невского включительно, а деньгами, сверх присвоенного ему по должности годового восьмитысячного оклада, успел получить, судя

по особым отметкам в формуляре, около 40 тысяч рублей «наградных».

Умер Е. М. Феоктистов 16 июня 1898 года шестидесяти девяти лет от роду.

* * *

Первые сведения об оставленных Е. М. Феоктистовым записках попали в печать вскоре после смерти мемуариста.

«Кроме учено-литературных работ, — отмечал Л. Н. Майков в восьмой книжке «Журнала Министерства народного просвещения» за 1898 год, — Евгений Михайлович посвящал немногие досуги своих зрелых лет еще одному труду — составлению своих воспоминаний. Он был большой любитель мемуарной литературы и еще более десяти лет тому назад говорил нам, что намерен писать свои записки; не знаем, до какой эпохи доведено его повествование, но слышали от автора, что читанные им отрывки были выслушаны с интересом. Не можем в этом сомневаться, припоминая занимательность и тонкий юмор его рассказов. Он обладал большою наблюдательностью и прекрасною памятью, а по обстоятельствам своей жизни находился в сношениях с замечательными людьми из разных слоев нашего общества. Все это дает право думать, что воспоминания Е. М. Феоктистова даже и в своем неоконченном виде составят дорогое приобретение для нашей литературы».

Первый биограф Е. М. Феоктистова не ошибся ни в своей предположительной оценке исторического значения его записок, ни в соображениях о времени работы мемуариста над ними.

Воспоминания писались около десяти лет и, судя по некоторым отметкам в самом их тексте, начаты были в 1887 году (например, глава первая, посвященная Тургеневу и Боткину), а закончены не раньше 1896 года (данные главы десятой о Гурко).

В основу мемуаров положен был Е. М. Феоктистовым, как свидетельствует сохранившийся его архив, не шаткий материал случайных припоминаний, а веденные в течение ряда лет дневники, сбереженные письма и документы, тетради специальных записей

особо примечательных бесед, злободневных острот и анекдотов.

Правда, материалом этим он пользовался как сырьем, сокращая его и перерабатывая, но не избегал и прямых ссылок на первоисточники, включал нередко в повествование подлинные документы. Так, например, вся четвертая глава «Воспоминаний», посвященная польскому восстанию 1863 года, написана была по «сохранившимся заметкам» варшавского дневника; так, например, точность фактических справок и идеологических характеристик первых глав подтверждалась выдержками из писем Тургенева, ссылками на бумаги Бакунина и Краевского, автографами Н. И. Трубецкого и А. Г. Жомини. Так, в центральную часть повествования Е. М. Феоктистова введены были рассказы А. Н. Попова о гр. Д. А. Толстом, Т. И. Филиппова о вел. кн. Николае Николаевиче, С. А. Грейга о П. П. Альбединском, Д. А. Милютина о кн. Барятинском, гр. И. Г. Ностица о русской военной делегации в Берлине в 1871 году. Так, наконец, запись рассказа генерала П. П. Альбединского, перемещенная в восьмую главу воспоминаний из ранней тетради «Заметок из слышанного и виденного», документировала картину разложения дворцовой камарильи 70-х годов, а знакомство мемуариста с текстом конфиденциальных заметок М. Н. Островского о секретных совещаниях в Гатчине весною 1882 года позволило заново осветить в главе шестой всю эпопею с проектом возрождения земских соборов и т. д. и т. п.

Приемы цехового историка, сказавшиеся в особенностях подхода Е. М. Феоктистова к мемуарной работе, не помешали ему при экспозиции собранного материала широко использовать возможности фельетонно-публицистической его трактовки.

Памфлетно-обличительная установка некоторых страниц воспоминаний не подлежит сомнению. Человек определенного политического лагеря чувствуется в Феоктистове каждый раз, когда ему приходится упомянуть или рассказать какой-нибудь анекдот о Герцене, Бакунине, Некрасове, Чаадаеве, Чернышевском. Прием, к которому при этом прибегает Феоктистов, очень прост. Он берет, например, всем известный факт картежной страсти Некрасова и, как по канве, вышивает на нем свою характеристику поэта «без

вдохновения», общественного деятеля «без политических убеждений», циника и т. д. Насколько неверна и пристрастна эта характеристика, видно, между прочим, из того, что сам же Феоктистов рассказывает, как Некрасов однажды плакал, читая свои стихи с обращением к матери и «горькими сожалениями, что загубил свою жизнь». Имеется много свидетельств современников, не оставляющих никаких сомнений в искренности «кнутом иссеченной» музы Некрасова. К их числу принадлежал и Достоевский, натура не менее, чем Некрасов, страстная и склонная к «противочувствиям». Или возьмем другой пример. Феоктистов подробно останавливается на денежной неаккуратности Бакунина — факт, тоже давно и хорошо известный, но это для него всего лишь повод сказать про Бакунина, что «это была порядочная скотина». Бакунин — друг Белинского и Герцена, «апостол разрушения», революционер, наконец, просто человек, если встать на эстетическую точку зрения, какого-то грандиозного художественного беспорядка — для Феоктистова не существует. Для него Бакунин — герой «сумбурных теорий и безобразных похождений за границей», «странствующий рыцарь всевозможных революций». Равным образом отметить в Чаадаеве одну черту «самолюбования» мог только человек, которому историческая позиция Чаадаева и его идеологическое обоснование были, если так можно выразиться, политически неприятны.

Справедливость требует, однако, сказать, что жестко и зло очерчены в воспоминаниях Е. М. Феоктистова и представители дружественного ему политического лагеря — вдохновители позднейшей реакции.

Редко и неохотно упоминал мемуарист только об одном — о своем собственном прошлом.

Проделав сложную идеологическую эволюцию и перейдя из одного общественно-политического лагеря в другой, он как будто бы не нашел достаточно убедительных слов для мотивировки своих вольных и невольных измен, для обоснования противоречий своего нынешнего и прежнего положения. Вот почему оказался так тщательно затушеванным в записках Е. М. Феоктистова самый процесс превращения политически неблагонадежного радикала-разночинца в слугу и апологета дворянской реакции, западника-

конституционалиста в сподвижника К. П. Победоносцева и Д. А. Толстого, редактора оппозиционной «Русской речи» и борца за свободу печати в инициатора цензурного террора 80—90-х годов. Поэтому, вероятно, были вытравлены из «Воспоминаний» и почти все элементы интимной биографии автора. Поэтому и повествование развернулось не в порядке последовательного заполнения определенной хронологической канвы, а в форме цикла рассказов о наиболее примечательных спутниках мемуариста на его долгом и пестром жизненном пути.

* * *

«Мои записки и дневник — вот единственное наследие, которое я могу завещать моей жене, — писал Е. М. Феоктистов 6 декабря 1896 года. — К сожалению, и этим наследием нельзя будет ей скоро воспользоваться; я писал, не соображаясь с цензурными условиями, и, вероятно, немало пройдет времени, пока все, написанное мною, можно будет напечатать».

Эти опасения автора «Воспоминаний» оправдались, и оставленный им материал вышел из-под спуда лишь после Октябрьской революции. Только весною 1918 года бумаги Е. М. Феоктистова сданы были престарелой вдовой мемуариста в Пушкинский дом с условием, однако, не печатать политических глав воспоминаний еще «много лет».

В 1921 году Б. Л. Модзалевский опубликовал несколько листов первой главы воспоминаний Е. М. Феоктистова в «Тургеневском сборнике» под редакцией А. Ф. Кони, а в 1926 году им же дана была большая часть главы второй в издании «Атеней» под ред. Б. Л. Модзалевского и Ю. Г. Оксмана (кн. III, с. 86—114).

Приняв на себя после кончины Б. Л. Модзалевского подготовку к печати всего текста «Воспоминаний» Е. М. Феоктистова, мы в основу издания положили их беловой автограф — девять тетрадей большого почтового формата, по реестру Пушкинского дома № 9123. LII. 8. 15.

Тетради эти, перенумерованные самим Е. М. Феоктистовым в порядке, не отвечающем ни времени их написания, ни датировке охваченного в них материа-

ла, нами расположены были в некоторой хронологической последовательности и снабжены, как заголовками, краткими тематическими реестрами. Каждая тетрадь рассматривалась при этом как особая глава воспоминаний, и лишь обширность размеров одной из них заставила нас разбить ее на три части (гл. V, VI и VII). Таким образом, материал девяти тетрадей оказался разделенным на одиннадцать глав. Из них временно отложена издательством публикация главы второй, большая часть которой напечатана была в сборнике «Атеней» (кн. III, с. 86—114).

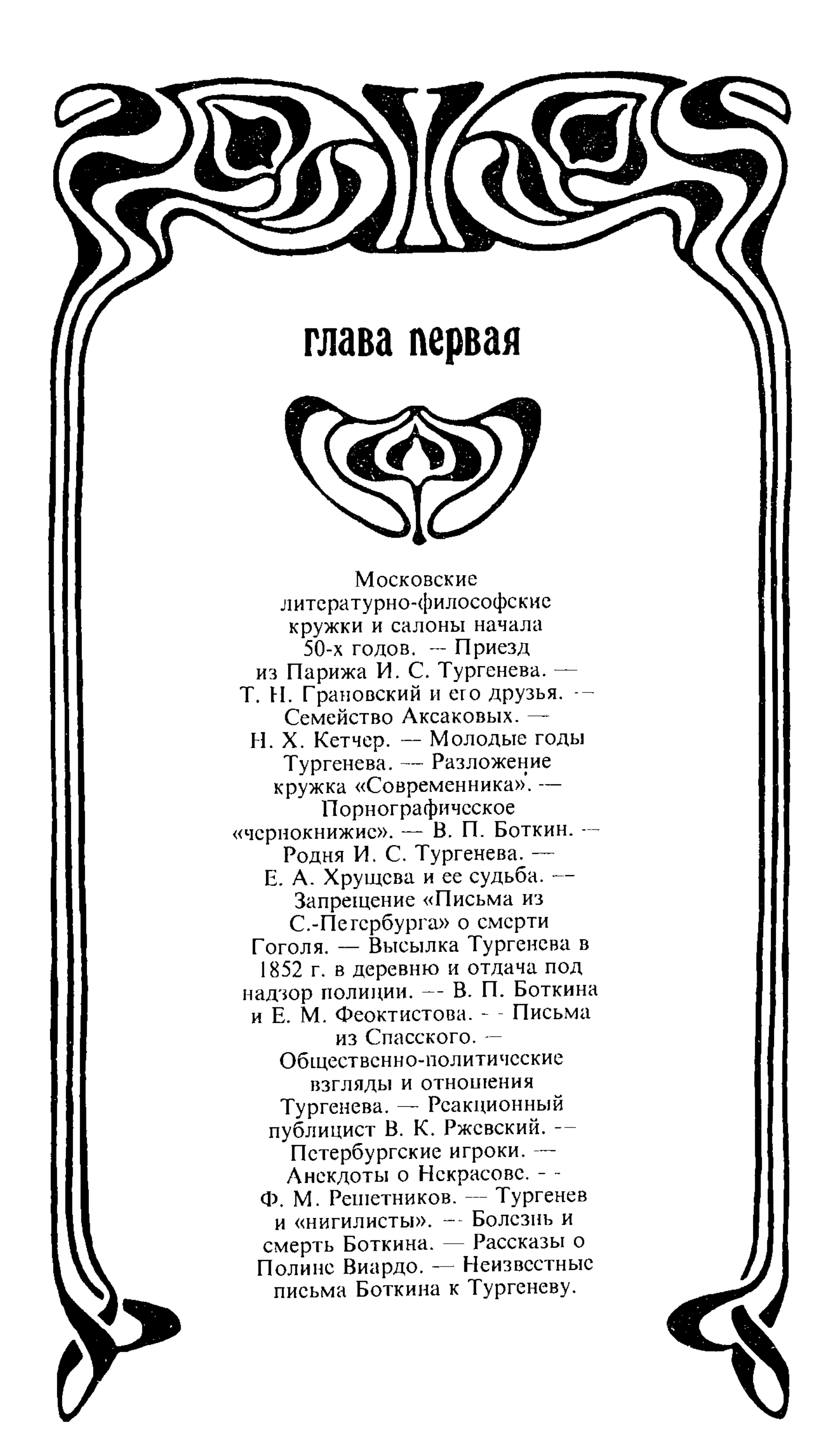
Печатая текст прочих глав полностью, мы с соответственными разъяснениями в примечаниях переместили один из эпизодов главы III в главу VII и в нескольких строках глав VI, VII и X воздержались от передачи слишком резких эмоциональных эпитетов и сентенций мемуариста.

Все наши вставки отмечены в основном тексте квадратными скобками; редкие черновые варианты, в случае их существенности, оговорены в комментариях; переводы иноязычных слов даны под строкою.

При составлении примечаний к воспоминаниям Е. М. Феоктистова особое внимание было нами обращено на документы его архива, в первую очередь на дневники и переписку, переданную в Пушкинский дом частью С. А. Феоктистовой, частью дошедшую до нас в составе собрания автографов Д. Н. Любимова. Из данных государственных актохранилищ нам приходилось пользоваться материалами главным образом министерств внутренних дел и народного просвещения.

Ближайшее участие в работе по сверке текста воспоминаний, а также по собиранию некоторых материалов для наших комментариев к ним принял Лев Борисович Модзалевский. Содействие изданию справками и советами оказали А. С. Николаев, А. Е. Пресняков, А. А. Шилов и С. П. Шестериков.

Ю. Г. Оксман



глава первая

Московские литературно-философские кружки и салоны начала 50-х годов. — Приезд из Парижа И. С. Тургенева. — Т. Н. Грановский и его друзья. — Семейство Аксаковых. — Н. Х. Кетчер. — Молодые годы Тургенева. — Разложение кружка «Современника». — Порнографическое «чернокнижие». — В. П. Боткин. — Родня И. С. Тургенева. — Е. А. Хрущева и ее судьба. — Запрещение «Письма из С.-Петербурга» о смерти Гоголя. — Высылка Тургенева в 1852 г. в деревню и отдача под надзор полиции. — В. П. Боткина и Е. М. Феоктистова. — Письма из Спасского. — Общественно-политические взгляды и отношения Тургенева. — Реакционный публицист В. К. Ржевский. — Петербургские игроки. — Анекдоты о Некрасове. — Ф. М. Решетников. — Тургенев и «нигилисты». — Болезнь и смерть Боткина. — Рассказы о Полине Виардо. — Неизвестные письма Боткина к Тургеневу.

В 1850 году впервые я увидал И. С. Тургенева — у графини Салиас, к которой привез его В. П. Боткин[1]. Он только что вернулся из-за границы, где был свидетелем Февральской революции и последовавших за нею событий[2]. Можно себе представить, как были интересны его рассказы, особенно для людей, примыкавших к кружку Грановского[3], для людей, которые с горячим участием относились ко всему, что происходило тогда во Франции и отражалось в Европе. А Тургенев умел рассказывать, как никто. Недаром П. В. Анненков[4] называл его «сиреной»; блестящее остроумие, уменье делать меткие характеристики лиц, юмор — всем этим обладал он в высшей степени, а если присоединить сюда обширное образование и оригинальность суждений, то, конечно, Тургенев был самым очаровательным собеседником, какого мне когда-либо приходилось встретить. По натуре своей я был расположен увлекаться людьми; с течением времени это свойство моего характера значительно притупилось, но в молодости оно вполне владело мной. Неудивительно поэтому, что я поддался как нельзя более обаянию Тургенева.

Не помню, по каким причинам в следующем году провел он несколько месяцев сряду в Москве, где жил на Остоженке в доме (или квартире) своего брата Николая Сергеевича. Полагаю, что какие-нибудь особые соображения побудили его к этому, потому что Москва была ему вообще не симпатична. В обществе он показывался мало, да и чем могло бы оно при

своей пустоте и ничтожестве привлекать его? Что касается небольших кружков, в которых сосредоточивалась умственная жизнь первопрестольной столицы, то с одним из них — с кружком славянофилов — у него не было ничего общего. Впрочем, он посещал иногда семейство Аксаковых[5]; не раз встречал я у него по вечерам Константина Аксакова, вступавшего с ним в ожесточенные споры по вопросам, разделявшим тогда наше образованное общество на два враждебных лагеря[6]. В кружке Грановского Тургенев был обычным гостем, но и тут он чувствовал себя не совсем на месте. Встречали его там, по-видимому, очень радушно, дорожили беседой с ним, но, в сущности, смотрели на него косо. Для меня не подлежало это ни малейшему сомнению. Грановский высказывался предо мной очень откровенно насчет Тургенева. Отдавая справедливость его необычайной талантливости и уму, он находил, что это натура дряблая, лишенная солидных нравственных качеств, на которую никогда и ни в чем нельзя положиться. По словам его, никто так верно не определил Тургенева, как А. Ф. Тютчева (вышедшая впоследствии замуж за И. С. Аксакова)[7], которая будто бы однажды сказала ему в глаза: «vous n'avez pas d'épine dorsale au moral»*.

Множество анекдотов об Иване Сергеевиче ходило в кружке Грановского. Когда m-me Виардо появилась на петербургской сцене и сводила с ума публику[8], то Кетчер, живший тогда в Петербурге[9], и его друзья абонировали ложу где-то чуть ли не под райком; конечно, это было чересчур высоко, но Тургеневу приходилось завидовать даже им; он сблизился с знаменитою певицей, был одним из habitués ее салона, а между тем, как нарочно, в это время находился в крайней нужде, потому что его мать, поссорившись с ним, не высылала ему ни копейки; очень часто не хватало у него денег даже для того, чтобы купить себе билет, и тогда он отправлялся в ложу Кетчера, но в антрактах непременно спешил вниз, чтобы показаться лицам, с которыми привык встречаться у m-me Виардо[10]. Один из этих господ обратился к нему с вопросом: «С кем это вы, Тургенев, сидите в верхнем ярусе?» «Сказать вам по правде, — отвечал сконфуженный

* Вы беспозвоночны в моральном отношении *(фр.)*.

Иван Сергеевич, — это нанятые мною клакеры; нельзя без этого, нашу публику надо непременно подогревать...» На беду, случился при этом разговоре кто-то из знакомых Кетчера, который и поспешил сообщить ему, какая ему навязана приятная роль. Кетчер пришел в неописанную ярость. Можно было привести немало других анекдотов в том же роде, свидетельствовавших, во всяком случае, о том, что для кружка Грановского Тургенев отнюдь не был героем. Признаюсь, они глубоко меня огорчали; мне было неприятно это разоблачение мелочности и слабостей человека, внушавшего мне непреодолимые симпатии. Сам Тургенев сознавал очень хорошо, что кружок его недолюбливал, мстил ему за это едкими сарказмами[11]. Никогда, впрочем, не вырывалось у него резкого слова о Грановском[12] — вообще я не встречал ни одного человека, который позволил бы себе неуважительный или даже сколько-нибудь шутливый отзыв об этой светлой личности, — но щедро расточал он остроты против всех, окружавших его, и надо сказать, что остроты эти были очень метки. «Неудавшееся стихотворение Уланда» — можно ли было злее и, увы, вернее обрисовать фигуру жены Грановского?[13]. А портрет Фролова, начертанный в «Гамлете Щигровского уезда»: «Отставной поручик, удрученный жаждой знания, весьма, впрочем, тугой на понимание и не одаренный даром слова». Конечно, Тургенев никому не говорил, кого он имел тут в виду, да и не было в том нужды — всякий тотчас же узнавал Н. Г. Фролова[14]. В той же повести, о которой я упомянул сейчас, есть страница, посвященная вообще характеристике кружка: «Кружок — да это пошлость и скука под именем братства и дружбы, сцепление недоразумений и претензий под предлогом откровенности и участия; в кружке благодаря праву каждого приятеля во всякое время и во всякий час запускать свои неумытые пальцы прямо во внутренность товарища ни у кого нет чистого, нетронутого места на душе» и т. д. Приговор этот отчасти справедлив. Беседа с Грановским доставляла великое наслаждение; она будила ум, направляла его ко всему высокому и прекрасному, облагораживала сердце; всякий, приближавшийся к этому необычайно привлекательному человеку, чувствовал себя, если можно так выразиться, несколькими

нотами выше. Помню, в каком возбужденном настроении возвращался я домой после нескольких часов, проведенных в скромном домике у Харитонья в Огородниках; нередко почти целые ночи проводил я в раздумье под влиянием всего мною слышанного. Но такое впечатление производил только сам Грановский, а уж никак не люди, составлявшие его кружок. В 1848 году, когда я познакомился с Грановским, Герцен и Огарев находились уже за границей, а Евгений Корш переехал на службу в Петербург[15]; лучшими из оставшихся были Кетчер и Александр Станкевич[16]; первый из них недавно сошел в могилу (пишу эти строки в 1887 году), и в журналах появились статьи о нем, авторы коих старались всячески его идеализировать; действительно, это был человек в высшей степени честный, горячо преданный своим друзьям, но дикарь в полном смысле слова; самая наружность его поражала безобразием, которое вместе с его нечистоплотностью производило неприятное впечатление; он был добр, но доброту его могли ценить лишь люди, бывшие в очень близких с ним отношениях, всякого другого он поражал грубостью, резкостью своих манер, своим зычным голосом, бесцеремонностью в спорах, доходившею до неприличия. Никогда не случалось Кетчеру сказать что-либо оригинальное и умное, никогда беседа с ним не была занимательна, но он кричал, шумел, говорил грубости всякому, кто не соглашался с его мнением. Если таков был Кетчер, то что же сказать об остальных? Пикулин, Николай Щепкин (сын знаменитого артиста), Фролов, Сатин — все это было полнейшее ничтожество[17]. Они благоговели пред Грановским, поклонялись и угождали ему единственно потому, что близость с ним давала им некоторое raison d'être, заставляла, по крайней мере, их самих думать, что они имеют некоторое значение. Все они топорщились, старались рассуждать о возвышенных предметах, подделываясь под тон Грановского, и смотрели косо на всякого, кто становился посетителем кружка; у них выработался известный кодекс идей, и они не прощали друг другу ни малейшего отступления от него; нельзя без изумления читать в «Былом и Думах» рассказ о том, как Герцен и Огарев были возмущены признанием Грановского, что он верит в бессмертие души, и из-за этого разошлись с

ним! Эпигоны Герцена и Огарева следовали по их стопам, и это выходило и противно и смешно.

«Das schrecklichste der Schrecken ist ein кружок in der Stadt Moskau»*, — говорит Тургенев в упомянутой выше его повести. Его тянуло в Петербург, только там он чувствовал себя привольно. Нельзя не удивляться этому. В Петербурге встречался он с другою крайностью. По-видимому, нравы петербургского литературного общества должны были бы производить удручающее впечатление на человека с таким тонким умом и так сильно развитым чутьем изящного.

П. В. Анненков рассказывал, что какой-то провинциальный, весьма почтенный писатель приехал в Петербург и жаждал познакомиться с тамошними литераторами; удовольствие это было ему доставлено; старик внимательно прислушивался к разговору, но мало-помалу становился все мрачнее, на лице его выражалось неописанное изумление, и когда вышел на улицу, то на вопрос приятеля: «Что вы скажете?» — он вместо ответа горько заплакал. И было от чего! Не забудем, что эта сцена относится к концу пятидесятых годов, когда бедствия Крымской кампании пробудили общество, и в воздухе уже пахло реформами. Но что же было при господстве николаевского режима! Мне самому случилось быть свидетелем сцены почти такой же, какая описана сейчас: вскоре по выходе моем из университета обедал я у В. П. Боткина с несколькими приятелями его, приехавшими из Петербурга; тут были Григорович, Дружинин, Панаев, а между ними очутился как-то и известный романист прежнего времени Лажечников. Я не спускал с него глаз; мне любопытно было следить, какое впечатление производила на него застольная беседа, по поводу которой обедавший с нами А. В. Лохвицкий[18] сделал очень верное замечание: «Похваляясь своим чудовищным развратом, эти господа, кажется, и не подозревают, что каждый из их подвигов подходит прямо под ту или другую статью свода уголовных законов».

В Петербурге процветала обширная литература, которая своим содержанием могла бы возбудить зависть в Баркове: Дружинин, Владимир Милютин, Григорович, Некрасов, Лонгинов и др. трудились и

* Нет ничего страшнее, чем «кружок» в городе Москве *(нем.)*.

порознь и сообща над сочинением целых поэм одна другой грязнее; даже заглавия этих произведений никто не решится упомянуть в печати — много было в них остроумного, но вместе с тем грубейшее кощунство и цинизм, превышающий всякую меру. Трудно понять, как люди, переживавшие далеко не веселое время, могли находить развлечение в подобных мерзостях; в оправдание их Тургенев указывал на «Декамерона» Боккаччо: в разгар страшной чумы мужчины и изящные женщины стараются забыть о том, что происходит вокруг них, и, собравшись в тесном кружке, забавляют друг друга рассказами достаточно скабрезного содержания, — а разве, говорил Тургенев, николаевский гнет не был для образованного общества своего рода чумой? Аналогия так натянута, что нельзя, конечно, серьезно останавливаться на ней. Нет, вовсе не так называемая гражданская скорбь, а просто-напросто легкомыслие и нравственная распущенность породили литературу, о которой идет речь. Писал непристойные стихи Пушкин, писал их Лермонтов, но это были грехи их юности, вспышки молодого и искреннего разгула; ничего общего с этим не имели петербургские литераторы описываемого мною времени: хладнокровно, без увлечения, без страсти эти господа, уже далеко не блиставшие юностью, а некоторые из них даже с порядочными лысинами на голове, упражнялись в сочинении картин, которые вызывали смех, но вместе с тем и тошноту[19].

В кружке Грановского находился человек, очень любивший услаждать себя этою литературой, — В. П. Боткин[20]. Весьма существенные интересы привязывали его к Москве: он не решался на сколько-нибудь продолжительное время покинуть отца, ибо надеялся — и не обманулся в своих надеждах, — что ему удастся прибрать к рукам значительную часть родительского состояния, но сердце влекло его к Петербургу. Когда он попадал туда, то уподоблялся рыбе, которой из лохани удалось юркнуть в воду. Сколько раз Тургенев говаривал: «Какое несчастье, что Боткин мне друг; как бы мне хотелось изобразить его, и ручаюсь, что портрет вышел бы верен». Не сомневаюсь в этом. Тургенев отлично изучил Боткина и сумел бы выставить все отличительные свойства его натуры.

Боткин родился в купеческой семье, такой же неве-

жественной и дикой, как все купеческие семьи того времени. Ни отцу, ни матери и в голову не приходило дать ему сколько-нибудь порядочное образование[21]. Обучить его грамоте и арифметике, для того чтобы засадить его за прилавок, — далее этого не простирались их заботы. Но в Боткине рано вспыхнула священная искра; он с жадностью набрасывался на книги, читал все, что ни попадало ему под руку, и почти самоучкой усвоил себе иностранные языки. Это был, конечно, самый привлекательный период в жизни Боткина; несмотря на гонения, испытываемые им дома, он отбился от торговли, ничего не понимал в ней и мало-помалу завоевал себе самостоятельное положение, т. е. на него махнули рукой. С течением лет, однако, Боткин сумел подчинить себе и семью, внес в нее луч света, старик Петр Кононович, отец его, видя, какое почетное положение занял он в обществе, совершенно примирился с ним, а братья и сестры были всецело обязаны Василию Петровичу тем, что и они сделались образованными людьми.

Это была очень даровитая натура. Никто не догадался бы, что этот человек не прошел никакой высшей школы и всем был обязан исключительно самому себе. Все было одинаково доступно ему — философия, литература и искусство, но только во всем он являлся дилетантом; он не имел основательных сведений и никогда не высказывал оригинальных мыслей, но несомненно, что люди, значительно превосходившие его образованием, находили большое удовольствие в беседе с ним. Боткин обладал в высшей степени искусством схватывать, усваивать чужие знания и идеи и распоряжался ими очень ловко. Дорогою же чертой в нем была его отзывчивость на все общественные и умственные интересы; в этом отношении он наряду с немногими представлял замечательное явление среди тогдашнего апатичного общества. Впрочем, в искусстве он был, по общему мнению, знаток — страстно любил музыку, живопись и отличался тонким критическим чутьем; не могу судить, в какой мере была заслуженна эта репутация, потому что очень мало смыслю в искусстве, да не думаю, чтобы можно было составить об этом понятие по писаниям Боткина, так как писал он очень мало. Всякий литературный труд давался ему не легко; с самой незначительной по размеру статейкой возился он по це-

лым неделям, ибо усидчивость, напряженная работа надоедали ему. Помню, как долго высиживал он свои «Письма из Испании», хотя злые языки уверяли, будто он бесцеремонно черпал для этой книги (сначала появилась она статьями в «Современнике») из иностранных сочинений. Публика почти вовсе не знала Боткина как литературного критика, но в кружке, к которому он принадлежал, очень ценили его тонкий, хотя несколько капризный вкус, и, между прочим, Тургенев никогда не упускал случая прочесть Василию Петровичу свою повесть или роман, прежде чем отдать в печать.

Я упомянул выше об отзывчивости Боткина, но не следует думать, чтобы он принимал какие бы то ни было интересы слишком горячо к сердцу. Этого не допускал его чудовищный эгоизм, выражавшийся нередко с комическою наивностью. Я убежден даже, что если в молодости он увлекался более, чем бы ему хотелось, то источником этого было опять-таки своего рода сластолюбие: так приятно щекотало его чувство, что из невежественной среды попал он в общество образованных людей, так пленялся он тонким юмором Грановского, блестящим остроумием Герцена, страстными порывами Белинского, что всецело примкнул к их кружку и шел по одному с ними пути. Впоследствии удивлялись перемене, происшедшей в нем, но, в сущности, перемены не было никакой. Боткин всегда оставался верен себе, только обстоятельства изменились, а вместе с тем ослабело влияние на него его друзей, и он дал полную волю чувственным инстинктам, преобладавшим в его натуре. Особенно важное значение имела в его судьбе смерть Белинского, которого он любил, но вместе с тем и боялся; он даже связал себя узами законного брака благодаря Белинскому, убедившему его, что было бы бесчестно пользоваться привязанностью какой-то молоденькой француженки-модистки и затем бросить ее на произвол судьбы[22]. Боткин-семьянин, Боткин, заботящийся о жене и воспитывающий детей, тот самый Боткин, который природой был предназначен заботиться исключительно о собственной персоне, — можно ли представить себе что-нибудь нелепее этого! Да он, впрочем, и не выдержал навязанной ему роли. После свадьбы молодые отправились за границу, и когда

пароход прибыл в Штетин, Боткин обратился к своей супруге со словами: «Madame, voici vos malles et voici les miennes, — separons-nous...*»

С Боткиным познакомился я несколько прежде, чем с Тургеневым. Он жил на Маросейке, в доме своего отца, и благодушествовал в полном смысле слова. Европейцем старался он быть во всех отношениях — по манерам и вкусам, по покрою платья, а главным образом по произношению. На иностранных языках объяснялся он не особенно бойко, но зато очень хотелось ему щеголять своим акцентом. По этому поводу И. С. Тургенев потешал нас рассказом, за правдивость коего я, конечно, не ручаюсь, но, во всяком случае, он очень характеристичен. Боткин, уезжая как-то в Англию, выпросил у Тургенева рекомендательное письмо к г-же Карлейль, жене знаменитого писателя. Несколько месяцев спустя и Тургенев отправился в Лондон. М-me Карлейль обратилась к нему с упреками: «Что за охота вам, — сказала она, — рекомендовать мне вашего друга, который не знает никакого языка, кроме русского?» — «Как так?» — «Подают мне карточку г-на Боткина; входит джентльмен очень почтенной наружности; начинаю с ним говорить, он отвечает мне по-русски; перевожу разговор на французский язык, затем на немецкий... та же история. Я посмотрела на него с недоумением и вышла из комнаты; тем и ограничилось наше знакомство». При свидании с Боткиным Тургенев поспешил разъяснить эту загадку. «Помилуй, — воскликнул с отчаянием Василий Петрович, — ведь я говорил с нею чистейшим английским языком...»[23]

Помимо таких мелких неудач, Боткин, в то время как я сблизился с ним, был как нельзя более доволен своею судьбой. Наслаждаться жизнью — вот что, по-видимому, составляло главную его задачу, и надо сказать, что в этом обнаруживал он редкую виртуозность. Принадлежал он к числу людей, которые стараются отогнать от себя всякую мысль, отделаться от всякого ощущения, способного нарушить спокойствие их духа, умеют ловить момент, пользоваться всем, что среди каких бы то ни было обстоятельств жизни представляет наиболее отрадного.

---

* Мадам, вот ваши чемоданы, а вот мои, — расстанемся *(фр.)*.

При малейшей неприятности он приходил в неистовое раздражение, шипел, проклинал весь мир, но как же мало требовалось для того, чтобы все представлялось ему в розовом свете! Он восхищался природой Швейцарии и Италии, но точно так же млел от восторга, сидя на балконе в какой-нибудь подмосковной даче, смотря на расстилавшийся перед ним далеко неказистый пейзаж; изысканный, тонкий обед был для него дороже всего, но и после посредственного обеда он чувствовал себя блаженнейшим человеком, особенно если завязывался интересный для него разговор. «Боже мой, — говаривал он, закрывая глаза, — как был бы я счастлив, если бы кто-нибудь прочел мне хорошие стихи...»

В такие минуты он способен был столь же безотчетно всех любить, сколько в другие ненавидеть. Боткин не отказывал себе ни в чем, но никогда не тратил на себя много, потому что скуп был чрезвычайно; иной безумно сорит деньгами и не испытывает удовольствия, а он ухитрялся насладиться даже на гроши. Все его помыслы были обращены на самоуслаждение. Тургенев говорил о нем, что когда он умрет, то надо будет положить его в гроб с трюфелем во рту.

Боткин, Грановский и Кетчер были обычными посетителями Тургенева, когда — как уже упомянуто выше — провел он несколько месяцев в квартире своего брата. Помещался он, таясь наверху, в мезонине, в трех маленьких комнатках. Познакомился я и с его родственниками; Николай Сергеевич производил впечатление очень дюжинного человека, каким, впрочем, выставлял его и брат, упражнявшийся в остроумии над ним, как и вообще над всеми. По словам его, Николай Сергеевич ровно ничего не понимал в литературе.

— Поверите ли, — говорил Тургенев, — что слово «поэт» для него синоним шута. Недавно Яков Полонский читал у меня стихи, по обыкновению, глухим голосом и несколько завывая; через несколько дней угостил нас чтением Фет; этот, напротив, декламирует восторженно, с увлечением. Я спросил брата, что он думает о том и другом. «Оба хороши, — отвечал брат серьезно, — но Фет, пожалуй, еще забавнее, чем Полонский».

Жена Николая Сергеевича, Анна Яковлевна, производила довольно неприятное впечатление; она казалась мне злою женщиной, и одно обстоятельство, о котором упомяну ниже, по-видимому, подтвердило это[24].

Вообще же родственники Ивана Сергеевича по своему образованию и умственному развитию имели с ним мало общего; он появлялся у них лишь на короткое время, а большею частью сидел у себя в мезонине. В это время он усердно работал и, между прочим, написал «Провинциалку»; так как комедию эту решено было поставить на сцене Малого театра, то нередко посещали его М. С. Щепкин и С. В. Шумский — с этим последним, который долгие годы был связан со мной тесною дружбой, я впервые встретился у Тургенева[25]. Но особенно много читал Тургенев: Монтень не выходил у него из рук, он был в совершенном восторге от этого писателя, увлекавшего его столь же глубоким знанием человеческой натуры, сколько образностью и меткостью своего языка. Симпатично действовал на него и самый характер Монтеня, который в одну из самых бурных исторических эпох, в то время, когда религиозный фанатизм разделил все общество на два проникнутые неистовою враждою лагеря, оставался как бы равнодушным зрителем этого движения и бесстрастно анализировал людские страсти и отношения. Помню, что наряду с другими книгами крайне интересовали его письма Цицерона, которые читал он в немецком переводе; по вечерам сообщал он нам свои впечатления с обычным своим остроумием и блеском. «Я ставлю себя в положение Цицерона, — говорил он, — и сознаюсь, что после Фарсальской битвы еще больше, чем он, вилял бы хвостом пред Цезарем; он родился быть литератором, а политика для литератора — яд».

Жаль, что в последние годы своей жизни Тургенев вдруг усмотрел в себе то, чего никогда у него не было, и явился орудием в руках политической партии.

Счастливое было время, о котором я вспоминаю. И Тургенев всегда останавливался на нем с удовольствием. «Помните ли, — говорил он мне в своих письмах, — наши вечера на Остоженке?» Видались мы с ним тогда почти ежедневно, и я имел возможность хорошо изучить его характер, но это был период мое-

го крайнего увлечения Тургене́вым, а потому, если я и подмечал в нем слабые стороны, то мне было как-то неприятно и даже больно останавливаться на них. А этих слабых сторон было немало. Так, например, я удивлялся, что Иван Сергеевич с особенным удовольствием посвящал не только своих друзей, но и просто хороших знакомых во все подробности родственных своих отношений. Мало ли сколько горечи выносит иногда человек из своей семьи, какие тяжелые воспоминания пробуждают в нем образы близких ему по крови лиц, но я решительно не постигаю, чтобы это могло служить темой для более или менее игривой беседы. А между тем Иван Сергеевич не скупился на рассказы о том, что из нравственной щепетильности следовало бы, кажется, обходить молчанием. И если бы, по крайней мере, эти рассказы были правдивы! Вообще он никогда не довольствовался передачей чего бы то ни было, как оно действительно проходило, а считал необходимым всякий факт возвести в перл создания, изукрасить его ради эффекта порядочною примесью вымысла и этим приемом не брезгал, даже изображая портрет своей матери. Недавно в «Вестнике Европы» случилось мне прочесть записки бывшей воспитанницы г-жи Тургеневой*, которая, конечно, не польстила ей, но Иван Сергеевич приписывал своей родительнице такие поступки, на какие едва ли она была способна. Он уверял, между прочим, что в бытность его в сороковых годах за границей, когда средства его были крайне истощены, а рассердившаяся мать не давала ему вовсе денег, вдруг получил он из России посылку. Так как посылка не была франкирована, то он уплатил за нее свои последние гроши, и — о ужас! — что же в ней оказалось: ящик был набит кирпичом. Это будто бы m-me Тургенева прибегла к столь замысловатому средству, чтобы заставить его сделать весьма чувствительный для него расход. Все это выслушивалось, конечно, без возражений, ибо тут не мог вставить словечко даже Сальников**, который нередко, когда Тургенев с обыч-

---

* Житова В. Н. Воспоминания о семье И. С. Тургенева Вестник Европы. 1884 г. Кн. XI и XII. — *Ред.*

** Человек, подававший некоторые надежды, слушавший в Берлине лекции Шеллинга, который очень полюбил его, но потом по-

ным блеском и юмором описывал какое-нибудь из своих приключений за границей, прерывал его замечаниями: «Ах, Иван Сергеевич, ведь это происходило при мне и вовсе не так, как вы рассказываете», — на что сконфуженный Тургенев отвечал: «Охота вам прерывать, уж если все так удачно сложилось в голове».

За матерью следовал отец, за отцом брат, за братом дядя; все они проходили пред слушателями Ивана Сергеевича в далеко не привлекательном виде, каждого из них обрисовывал он с каким-то добродушием, без ожесточения и злобы, как будто это были совершенно посторонние ему лица, и заботился лишь о рельефности красок. Впрочем, он не щадил никого; он мог быть в самых дружеских отношениях с человеком, но это нисколько ему не мешало отпускать на его счет язвительные шутки.

Вскоре одно обстоятельство посеяло на время раздор между мною и Тургеневым.

В семье его брата приютилась родственница Елисавета Алексеевна (фамилии не помню — кажется, Хрущева), очень молодая и чрезвычайно красивая особа[26]. От Ивана Сергеевича я узнал ее печальную судьбу. Против воли вышла она замуж за человека ничтожного да еще одержимого тяжкою болезнью, которая довела его до сумасшествия. Жила она с ним не более двух лет, а затем несчастного посадили в дом умалишенных. Не мог я не заметить, что близости между нею и Иваном Сергеевичем не было, и это удивляло меня, так как нельзя было отказать ей ни в уме, ни в образовании. Зато В. П. Боткин относился к ней далеко не равнодушно. Нередко по целым вечерам, когда мы у Ивана Сергеевича сражались в преферанс, он оставался внизу, читал ей что-нибудь или беседовал с ней. Надо сказать, что Боткин, хотя и отличался наружностью сатира, имел значительный успех у женщин, на которых смотрел вообще не с идеальной точки зрения. Однажды вырвалось у него восклицание, как нельзя лучше характеризовавшее его. «Какими достоинствами ни отличалась бы женщина, — заметил при нем кто-то, — я не был бы в состоянии полюбить ее, если она дурна со-

---

грязший в совершенном тунеядстве. Он кончил, как мне рассказывали, тем, что потешал в Москве гостинодворских купцов. — *Е. Ф.*

бой». «Еще бы полюбить, — зашипел Боткин. — Некрасивую женщину я даже уважать не могу».

Никому, однако, не приходило в голову подозревать что-либо предосудительное в отношениях Боткина к Елисавете Алексеевне. Весной он почти одновременно с Тургеневым отправился в Петербург, откуда Иван Сергеевич ранее его прибыл в Москву проездом в свою деревню.

— Знаете ли, какая произошла пасквильная история? — сказал он мне при первом же свидании со мной. — Елисавета Алексеевна ни более ни менее как продалась Боткину; моя belle-sœur совершенно случайно нашла у нее его письмо, а уж тут, кстати, открылось и многое другое; возможно ли было предположить, что эта женщина, такая изящная, такая, повидимому, порядочная, просто-напросто торговала собой! Разумеется, Анна Яковлевна не могла допустить подобного разврата в своем доме и без всяких церемоний выгнала ее.

Я не верил своим ушам, слушая этот рассказ, но Тургенев находился в каком-то непривычном ему возбужденном состоянии.

— Ах, боже мой, — говорил он, — вы еще очень молоды и ничего в этом не понимаете; повторяю вам, Елисавета Алексеевна — потаскушка; она и продает-то себя дешево, по мелочам. Вот вам средство убедиться в этом: если у вас найдутся лишние пятьдесят рублей, то смело отправляйтесь к ней; не бойтесь, головой ручаюсь, что вы не разыграете глупой роли.

Беседа наша изложена здесь вкратце, но она продолжалась довольно долго, и Тургенев не щадил красок, чтобы выставить свою родственницу самым презренным и незаслуживающим ни малейшего сочувствия существом.

— Узнав о моем приезде сюда, — заметил он, — она прислала мне письмо, но я, разумеется, ничего не отвечал, а поручил только на словах передать ей, чтобы она не смела показываться мне на глаза.

Все это было очень странно; каким образом женщина, пользовавшаяся безупречною репутацией, вдруг снизошла на последнюю ступень разврата, почему Анна Яковлевна, о которой я знал от Боткина, что, прежде чем сделаться женой Николая Сергееви-

ча, она находилась в связи с ним, приняла на себя роль неумолимой гонительницы порока; почему сам Иван Сергеевич подвизался в той же роли? Я не имел никаких данных, чтобы разобраться в этой истории.

Тургенев уехал, а вскоре затем вернулся из Петербурга В. П. Боткин. Со своей стороны он тотчас же рассказал мне историю Елисаветы Алексеевны, историю, которая представилась мне в совершенно ином виде: всеми святыми клялся он, что не был в связи с Елисаветою Алексеевной, хотя питал к ней чувство более нежное, чем обыкновенная дружба, что Анна Яковлевна давно ненавидела ее и согласилась дать ей пристанище у себя только по настояниям своего мужа, что она окружала ее систематическим шпионством, перехватывала ее письма, истолковала в самом ненавистном смысле письмо к ней Боткина и, сделав ей невероятную сцену, осыпав ее площадными ругательствами, буквально выгнала ее из дома. Боткин не отличался чувствительностью, но мне показалось, что на этот раз он был действительно растроган. Возмущенный всем этим, я тотчас же написал Тургеневу несколько жестких слов, спрашивая его, как ему было не стыдно принять участие в сплетне, позорить беззащитную молодую женщину. Тургенев поспешил ответом, который до сих пор сохранился у меня. Вот он:

«Что за странное, хотя, по-вашему, и весьма серьезное письмо написали вы мне, любезный Ф.? Признаюсь, я от вас никак не ожидал такой выходки, но, верно, самые порядочные люди не могут избавиться от влияния той среды, в которой они находятся, недаром вы житель Москвы, города, в котором все одержимы желанием совать свой нос в чужие дела. Что это за старушечья, морбидная, чисто московская страсть всовывать свои пальцы «между деревом и корой»; я не намерен вдаваться в объяснения по поводу истории Елисаветы Алексеевны с Боткиным — это значило бы только увеличивать снежный ком, тем более, что я оставался совершенно посторонним (?) человеком в этом деле; скажу вам только, что письмо, которое было перехвачено, по словам Боткина, «совершенно необъяснимым образом», было представлено горничною Елисаветы Алексеевны ее родному брату Михаилу Алексеевичу, что Михаил

Алексеевич (мне нечего вам говорить, что я этого не оправдываю) предъявил его, в свою очередь, дяде Петру Николаевичу[27] как старшему в семействе, что моя belle-sœur имела неосторожность вмешаться в это дело с точки зрения нравственности и родственных отношений (что́, разумеется, весьма нелепо), что, собственно, я ни во что не вмешивался и вмешиваться не намерен. Что же касается Елисаветы Алексеевны, то мнение мое на ее счет основано на известных мне данных, а впрочем, желаю ей всех возможных благ; в одном только вы можете успокоиться — она не притеснена. Мне очень неприятно, что в этом письме вы найдете несколько резких для вас выражений, но делать нечего...»*

Нетрудно было отвечать на это жалкое послание, в каждой строке коего проглядывала попытка выгородить себя, наговорив мне разных неприятных вещей.

«Вы обвиняете меня в том, — писал я Тургеневу, — что я вмешиваюсь в чужие дела, но разве когда-нибудь обращался я к вам с расспросами об Елисавете Алексеевне? Разве интересовался я хотя малейшим образом ее судьбой? Разве старался я разузнать, что делается в семье вашего брата? Во все это вы сами посвятили меня. Вся моя вина в том, что я слушал вас, когда вы позорили Елисавету Алексеевну, советовали мне отправиться к ней с 50 руб. в кармане, слушал и Боткина, когда он доказывал мне, что вы клевещете на нее; еще я виноват в том, что отнесся к этому не равнодушно, а откровенно высказывал вам свое мнение, но вину такого рода я охотно принимаю на себя».

Письмо мое было написано резко, и, отправив его, я не сомневался, что близкие наши отношения порвались. Несколько месяцев не доходило до меня никаких известий о Тургеневе. Однажды осенью сидел я у себя в кабинете, как вдруг, к величайшему моему изумлению, он вошел ко мне. Остановившись на пороге, он воскликнул:

— Ради Бога, ни слова об Елисавете Алексеевне!

---

* Это письмо И. С. Тургенева, автограф которого сохранился в бумагах Е. М. Феоктистова, относится к лету 1851 года и писано из Спасско́го-Лутовинова. — *Ред.*

Забудем эту нелепую историю; сознаюсь, что я поступил не совсем хорошо, что напрасно вспылил на вас — чего же более? Пожалуйста, без объяснений...

И действительно, никаких объяснений между нами не было; все пошло по-прежнему, мы остались приятелями, но печальная история с Елисаветой Алексеевной послужила для меня доказательством, что правы были люди, упрекавшие Тургенева в дряблости характера; он поступил неблаговидно относительно своей родственницы не из какой-либо неприязни к ней, а единственно потому, что поддался влиянию такой энергичной дамы, как супруга его брата.

В записках своих Иван Сергеевич рассказал подробно историю своей ссылки в деревню за статью по поводу кончины Гоголя. История эта отразилась и на мне неприятными последствиями. Дело в том, что статью Тургенев прислал Боткину для помещения в «Московских ведомостях»[28], но Боткин попросил меня доставить ее М. Н. Каткову, редактору этой газеты, потому что был в ссоре и не видался с ним. Я тем охотнее исполнил это, что и сам получил от Ивана Сергеевича маленькое письмецо, в котором он упоминал о своей статье[29]. Чрез несколько времени, в 11 часов вечера, вернувшись домой, я встретил у себя в передней жандарма, подавшего мне повестку о том, что я должен «немедленно» явиться к генерал-губернатору графу Закревскому. Я колебался, ехать ли в такой поздний час, но жандарм объявил, что граф Закревский ждет меня[30]. Нетрудно понять, какое удручающее впечатление должны были производить подобные приглашения в тогдашнее тяжелое время. Генерал-губернатор весьма внушительным тоном сообщил мне, что дело идет о статье Тургенева, что сам Тургенев уже «во всем сознался» (!), и советовал мне последовать его примеру, ибо только чистосердечное признание может смягчить ожидающую меня кару. В ответ на эту чепуху я объяснил, какого рода было мое участие в напечатании статьи, о которой ни Боткину, ни мне не было известно, что она подвергнулась запрещению со стороны Петербургской цензуры; в доказательство сего я сослался, между прочим, на записку Тургенева. Закревский потребовал, чтобы я представил ему эту записку на следующее утро (ве-

роятно, она сохранилась в делах III отделения)*. Точно такому же допросу подверглись Боткин и Катков, и затем нас оставили в покое. Оставалось ждать, чем кончится эта неприятная история. Мне и в голову не приходило, чтобы она могла иметь какие-либо серьезные последствия, но В. П. Боткин, который при своей трусливости и слабодушии способен был от всякой невзгоды падать духом, был другого мнения [31]. Беспрерывно рисовал он мне самые мрачные картины того, что ожидает нас...

— Еще хорошо, — говорил он, — если бы сослали в Вологду или Пермь...

— Да вы с ума сошли, с какой стати ехать в Вологду!

Возражения эти только раздражали Боткина.

— Смотри, какая прыть, — восклицал он, — нет, батюшка, Вологда — губернский город, там еще можно устроиться и встретить образованных людей, а не хотите ли прогуляться в Колу? Я был бы счастливейший человек, если бы нас упекли куда-нибудь не дальше Вологды.

Не помню, сколько времени прошло после моего свидания с Закревским, и вот снова меня зовут к нему.

— Наследник цесаревич (император Николай Павлович находился тогда, кажется, за границей), — сказал он, — рассмотрев мое представление по делу о напечатании в Москве запрещенной статьи Тургенева, определил не подвергать наказанию ни вас, ни Боткина, но оба вы отданы под надзор полиции, а вам сверх того приказано поступить на службу. Под полицейским надзором оставались мы до 1856 года: в этом году явилась для меня возможность ехать за границу, и помню я, что много стараний стоило мне выхлопотать заграничный паспорт[32].

С Тургеневым виделся я мельком у Грановского, когда он проезжал чрез Москву в свое деревенское изгнание. Осенью того же года отправился я в Крым, где поступил на службу в Таврическую палату госу-

---

* В делах III отделения сохранилась копия этого письма Тургенева, подлинник же найден был лишь после Октябрьской революции при разборе бумаг архива Московского генерал-губернаторства в секретном «деле» 1852 г., № 74. — *Ред.*

дарственных имуществ[33], которою управлял давнишний приятель моего семейства И. И. Брадке. Во время моего пребывания там, продолжавшегося, впрочем, не более года, мы часто переписывались с Тургеневым, и некоторые из его писем сохранились у меня. Из них видно, между прочим, как неправы те, которые, говоря о нем после его кончины, старались изобразить в самом мрачном свете изгнание, которому он подвергся. «Я должен сказать, — писал он (от 27 декабря 1852 года), — что мое пребывание в деревне не только не кажется мне тягостным, но я нахожу его весьма даже полезным; я никогда так много и так легко не работал, как теперь». А в другом его письме (от 6 марта 1853 года) находятся следующие строки: «Клянусь вам честью, вы напрасно думаете, что я скучаю в деревне. Неужели бы я вам этого не сказал? Я очень много работаю, и притом я не один; я даже рад, что я здесь, а не в Петербурге. Прошедшее не повторяется, и — кто знает — оно, может быть, исказилось. Притом надо и честь знать, пора отдохнуть, пора стать на ноги. Я недаром состарился — я успокоился и теперь гораздо меньшего требую от жизни, гораздо большего от самого себя. Итак, уже я довольно поистратился, пора собрать последние гроши, а то, пожалуй, нечем будет жить под старость. Нет, повторяю, я совсем доволен своим пребыванием в деревне».

Из этого видно, что Тургенев был совсем другого мнения, чем многие, писавшие об его административной ссылке, насчет постигшей его судьбы. Правительство обнаружило относительно него самый грубый, возмутительный произвол, оно восстановило этим против себя всех порядочных людей, но Тургеневу против своей воли оказало даже услугу.

Вернулся я из Крыма в Москву в августе 1853 года. Уже ясны были предвестия кровавой борьбы, которая должна была иметь столь громадные для нас последствия, хотя при первых выстрелах, раздавшихся на Дунае, едва ли кто догадывался, что для России novus nascitur ordo*. Может быть, в другом месте

---

* Новый нарождается порядок вещей *(лат.)*. Измененный стих Виргилия.

удастся мне рассказать многое, что происходило на моих глазах любопытного в это замечательное время, — теперь же я имею в виду исключительно Тургенева. Поразительная перемена, совершившаяся в России, не могла, конечно, не отразиться и на нем. В воспоминаниях своих он упомянул, между прочим, что до того времени было у него одно заветное чувство — ненависть к крепостному праву — и что он поклялся Аннибаловою клятвой всячески преследовать его. Заявление довольно странное в устах Ивана Сергеевича. Если бы Аннибал, глубоко ненавидя римлян, сидел преспокойно в Карфагене, не предпринимал похода в Италию и не прославился бы там чудесами храбрости в борьбе со своими врагами, то ни для кого не было бы интересно, клялся ли он погубить их или нет. Все дело в его подвиге, в том, что клятва не была для него пустым словом, что осуществление ее сделалось задачей его жизни. Уж, конечно, никогда Тургенев борьбу с крепостным правом задачей для себя не ставил. Все образованные люди ненавидели это страшное зло нашего общественного строя, ненавидел его и он; почти во всех лучших литературных произведениях того времени проглядывала более или менее ясно, смотря по цензурным условиям, эта тема; затронув ее в своих «Записках охотника», Тургенев более, чем кто-либо, производил впечатление на читателей, но это потому, что он был неизмеримо талантливее других. Никогда, однако, несмотря на Аннибалову клятву, он не увлекался тенденцией, не жертвовал для нее требованиями искусства, ибо был исключительно художником, и всякого рода политические стремления и цели были ему совершенно чужды. Среди тогдашнего избранного кружка не встречал я человека, который по самой натуре своей был бы так мало склонен заниматься политикой, как Тургенев, и он сам сознавался в этом: «Для меня главным образом интересно не *что́, а как* и *кто*». Вот фраза, которую беспрерывно приходилось слышать от него близким ему лицам. На первом плане стояли для него типы, характеры, а вовсе не деятельность сама по себе в том или другом направлении. Так было всегда, до того самого времени, когда известная партия, опьянив его похвалами и лестью, навязала Тургеневу совершенно не свойственную ему роль, и он имел слабость

поддаться на удочку. Впрочем, кто только не эксплуатировал его! Он сам рассказывал по этому поводу уморительные вещи. Так, например, В. К. Ржевский уж, конечно, мог быть по всей справедливости причислен к разряду людей, которых принято у нас называть «крепостниками»; это был человек незавидной нравственности, но умный, сведущий и считавшийся одним из корифеев партии, враждебной освобождению крестьян[34]. Когда начались заседания редакционных комиссий, он поспешил в Петербург; по словам его, он объездил почти все гостиницы и нигде не нашел сколько-нибудь удобного приюта, а потому на основании долгого и близкого знакомства с Тургеневым — оба они были орловские помещики — счел за лучшее поселиться у него. Однажды, вернувшись с прогулки, Иван Сергеевич нашел у себя неожиданного сожителя. Но это бы еще ничего.

— Можете себе представить, — рассказывал он, — что вот уже более двух недель, как моя квартира превратилась в главный штаб крепостничества; с утра до ночи приходят к Ржевскому господа, самые имена которых достаточно говорят о том, что́ они замышляют; человек мой избегался, подавая им чай и закуски; я отлично знаю, что за стеной, рядом с моим кабинетом, вырабатываются планы, придумываются всевозможные каверзы, чтобы затормозить освобождение крестьян, но что хотите — у меня просто не хватает духу отправить их всех к черту...

Действительно, положение несносное для человека, связанного Аннибаловою клятвой! Можно ли удивляться после этого, что Некрасов в течение долгого времени распоряжался Тургеневым как хотел? У Ивана Сергеевича открылись наконец глаза, но Некрасов все еще долго казался ему привлекательным как своеобразный тип.

— Знаете ли, — говорил он мне, — что я испытываю даже некоторое удовольствие, следя за тем, как Некрасов систематически обирает меня...

Кстати, о Некрасове. Уж если его имя попалось под перо, считаю здесь нелишним сказать о нем несколько слов. Вместо общей характеристики приведу несколько анекдотов, достаточно рельефно изображающих этого господина. В 1865 году отправился я с женой за границу и пред отъездом завернул проститься-

ся с бывшим директором Азиатского департамента Е. П. Ковалевским[35]. Этот почтенный старик одержим был неистовою страстью к картам и постоянно вращался в обществе игроков[36]. В разговоре со мной он упомянул, что не так давно Некрасов и Зубков обыграли в пух и прах какого-то тамбовского или саратовского помещика, приехавшего в Петербург заложить свое имение, что все деньги, полученные этим несчастным из банка, перешли в их карманы. Так как это было дело весьма обыкновенное в том кружке, в котором Некрасов занимал одно из видных мест, то я и не обратил на него особого внимания. В Берлине, в British Hotel, встретил я Некрасова, который и затащил меня в свой номер.

— Если верить Егору Петровичу, — сказал я ему, — вам посчастливилось недавно с каким-то помещиком?

— Не могу пожаловаться, кое-что зашиб, — отвечал он своим хриплым голосом, по обыкновению растягивая слова, — досадно только, что подлец украл у нас семь тысяч.

— Как украл?

— Да как же, ведь мы с Зубковым не спускали с него глаз, точно няньки ухаживали за ним; так нет же, однажды вечером куда-то улизнул и проиграл семь тысяч в другом месте, а ведь мы уже считали эти деньги своими.

В другой раз Некрасов объяснил мне тайны своего счастья в карточной игре.

— Разумеется, — говорил он, — если не идут карты, то ничего не поделаешь, но и тут есть средство выпутаться из беды; самое главное — изучить характер противника[37]. Вот, например, Андрей Иванович Сабуров[38]: едва ли кто лучше его играл в пикет, борьба с ним была нелегка, но я большею частью выходил из этой борьбы победителем только потому, что подметил его слабую сторону, а именно: он до такой степени увлекался игрой, что решительно не мог оторваться от нее. Вот я и приеду к нему завтракать; играем мы с ним до обеда, после обеда, ночью; мало-помалу он начинает ослабевать, сообразительность, видимо, изменяет ему — вот тут-то я и беру его, как сонную рыбу[39].

Таков был человек, которому составили репута-

цию одного из великих русских поэтов. И поэзия его была своего рода кулачеством.

— Успех Некрасова, — говорил Тургенев, — объясняется тем, что он умеет как нельзя лучше применяться к настроению публики; стихом владеет он довольно ловко, а вдохновения ему и не нужно; выходит он на крыльцо, подают ему карету, и вот у него уже готово стихотворение: ах я подлец, еду в карете, а мимо меня идет нищий, изнемогающий от голода, и т. д. — сколько угодно на подобные темы.

О политических убеждениях Некрасова нечего и говорить, он не имел их вовсе, да и не мог их иметь при совершенном своем невежестве; издавал он журнал с явно социалистическим направлением, но опять только потому, что это было выгодно[40].

Раннею осенью 1865 года ехал я из Москвы в Петербург, и одним из моих спутников оказался Некрасов. Я выразил ему удивление, что он так рано возвращается из деревни.

— Что делать, — отвечал он, — дошли до меня слухи, будто в настроении правительства произошел переворот, ожидают каких-то чрезвычайных строгостей; неизвестно, правда это или нет, а все-таки не мешает подтянуть моих семинаристов; ведь этим молодцам только распусти вожжи, они наговорят такого, что сам попадешь с ними в беду; вот и спешу в Петербург, чтобы не довести дело до закрытия журнала...[41]

Цинизм проглядывал в каждом слове этого человека. А между тем вдруг пробуждалось в нем что-то такое, сбивавшее с толку даже людей, как нельзя лучше изучивших его. Однажды, когда я вернулся поздно домой, жена моя рассказала мне, что у нее долго сидел Некрасов, читал ей свои стихотворения и когда дошел до того из них, в котором обращается к матери с горькими сожалениями, что загубил свою жизнь, то закрыл лицо руками и зарыдал. Конечно, в эту минуту он не разыгрывал комедии, но подобные порывы раскаяния проявлялись у него редко, и ни из чего не видно, чтобы они оставляли по себе какой-либо след.

Тургенев не остался чужд веяниям времени. Прежние исключительно литературные интересы уступили место интересам политическим; возникли новые

партии, новые направления; для России наступил период смутного брожения, и весьма естественно, что Тургенев был увлечен этим переворотом. Не надо, однако, думать, чтобы у него сложился какой-либо определенный образ мыслей; никогда мне — и вообще, полагаю, кому бы то ни было — не приходило в голову интересоваться, чего он хочет, к чему стремится, какие его идеалы — всякий знал, что политика такая сфера, которая не задевает его заживо. Но он видел, что общественные отношения резко изменились, что на сцену выступили люди, о которых не было и помину в прежнее время, и так как натура его была чрезвычайно отзывчивая, то он всячески старался уловить типы этих новых деятелей. Но как же он относился к ним? Возьмите, например, Рудина, Базарова и других выставленных им героев, и вы затруднитесь, конечно, отвечать, преклонялся ли он пред ними или хотел заклеймить их сатирой. Объясняется это вовсе не мнимою объективностью его взгляда — нет, разгадка заключалась в том, что при шаткости своих политических убеждений он сам недоумевал, как следует ему подойти к этим типам. Являлась пред ним какая-нибудь фигура, которая ему, человеку глубоко образованному, с изощренным до тонкости вкусом, с привычками избалованного барича, казалась в высшей степени противною, но были в ней черты, привлекавшие симпатии нашей так называемой интеллигенции, которая усвоила себе теории грубого радикализма, и Тургенев терялся, у него не хватало смелости изобразить эту фигуру в настоящем свете. К тому же, как ни был антипатичен известный тип, но именно своею резкостью, угловатостью и признаками какой-то дикой, необузданной силы он производил на дряблую натуру Ивана Сергеевича неотразимое обаяние. Мне случалось это наблюдать на отношениях его к некоторым внезапно появившимся тогда на сцене представителям нашего своеобразного прогресса. Не последнее место между ними занимал Решетников[42]. Никогда не видал я его, но привожу здесь рассказы о нем самого Тургенева. Он познакомился с ним чрез Писемского.

— К тебе придет на днях, — говорил ему Писемский, — один из наших литераторов, прими его получше.

— По какой же причине я принял бы его дурно? — отвечал Тургенев.

— Нет, я только предостерегаю тебя, чтобы ты как-нибудь неосторожно не толкнул его.

— Это что́ такое?

— Видишь ли, он явится к тебе, вероятно, совсем трезвый, но если ты его толкнешь, то взболтаешь сивуху на дне его желудка, ну вот он мгновенно и опьянеет.

Впоследствии Салтыков (Щедрин) сообщил Тургеневу любопытные подробности о Решетникове. Пришел к нему Решетников нечесаный, немытый, оборванный и просил походатайствовать о напечатании какой-то своей повести, ссылаясь при этом на крайне бедственное свое положение.

— Есть ли у вас семья? — спросил Салтыков.

— Детей нет, а только жена.

— Чем же она занимается?

— Она — публичная женщина, — отвечал Решетников хриплым от пьянства голосом.

Салтыков в смущении отступил назад.

— В публичных домах, впрочем, не живет, у нее своя квартира, — продолжал его собеседник, нисколько не конфузясь.

Принесенная им повесть была напечатана, гонорар ему выдан, и затем он пропал. Чрез несколько времени посетил он Салтыкова еще более мрачный и растерзанный.

— Где вы скрывались, что вы делали?

В ответ тот же глухой шепот:

— Пил запоем, только нынче вышел из дому, потому что голод выгнал; дайте денег.

— Деньги можно дать, но ведь это вам же во вред, вы опять запьете?

— Нет, когда я голоден, то не пью.

Однажды Салтыков был вынужден отправиться отыскивать его на квартире. Это было какое-то логовище, темное, грязное, и сам он в припадке пьянства спал на голой скамье. Салтыков тщетно старался разбудить его.

— Постойте, я вам помогу, — воскликнула хозяйка, — его надо будить по-своему. — С этими словами схватывает она палку и наносит несчастному удар; он вскочил, но ни́сколько не обиделся; видно было, что

такой оригинальный способ пробуждения практиковался зачастую. Конечно, человек, дошедший до такого глубокого нравственного падения, озлобленный, развращенный и невежественный, не мог произвести ничего, что говорило бы уму и сердцу, а между тем — как ни кажется это удивительным — он имел поклонников; еще удивительнее, что Тургенев усмотрел в его произведениях какую-то «трезвую правду» и не задумался поставить его на пьедестал[43]. В этом случае он поступал совершенно так же, как позднее в сношениях своих с нигилистами. Странно было бы предполагать, что он сколько-нибудь сочувствовал им; не могло быть у него с ними ничего общего, но они ему казались какими-то демоническими натурами, и он охотно сближался, благодушно беседовал, спорил с этими людьми[44]; отнюдь не смущала его мысль, что на душе какого-нибудь Лопатина, которого, как я слышал, он выставил в своей «Нови», было не одно кровавое преступление[45]. Как это объяснить? Разгадка заключается, мне кажется, отчасти в характере Тургенева, а отчасти в обстоятельствах, среди коих сложился этот характер. Николаевский режим имел тлетворное, гибельное влияние на многих людей, которым приходилось быть свидетелями безобразий, достигших своего апогея преимущественно в конце сороковых и в начале пятидесятых годов. До сих пор наша литература, вообще болтливая, отнюдь не отличающаяся сдержанностью, остерегалась упоминать об одном явлении, которое может показаться невероятным, а между тем не подлежит сомнению: говорю о том, что во время Крымской войны люди, стоявшие высоко и по своему образованию, и по своим нравственным качествам, желали не успеха России, а ее поражения. Они ставили вопрос таким образом, что если бы император Николай восторжествовал над коалицией, то это послужило бы и оправданием и узаконением на долгое время господствовавшей у нас ненавистной системы управления; мыслящим людям было невозможно мириться с этою системой; она безжалостно оскорбляла самые заветные их помыслы и стремления. Все это понятно, но не совсем понятно то, что в негодовании своем интеллигентные кружки тогдашнего общества (за исключением, впрочем, славянофилов) сторонились от русской действительнос-

ти, взоры их были почти исключительно обращены к Западной Европе, они усвоили себе ее идеалы, жили ее интересами, а интересы своей собственной страны оставляли в каком-то забвении. Направление такого рода было в высшей степени ненормально, и когда после Крымской войны вдруг с неожиданною и негаданною быстротой наступила для России новая эпоха развития, то людям, о которых я говорю, пришлось пережить трудный внутренний кризис, отказаться от многого, чему они поклонялись, и вместо прежнего увлечения обольстительными теориями сосредоточить свой ум на изучении действительных потребностей России. Некоторые так и не справились с этою задачей. Герцен, проживая за границей, продолжал обсуждать русские события с точки зрения европейских революционеров, пред которыми он (а также и его друзья) привык благоговеть, когда еще проживал в Москве. Недалеко ушел от Герцена и Тургенев. Конечно, он никогда и ничего не проповедовал, потому что — как уже заметил я выше — был большим индифферентом в политике, но он продолжал смотреть на Россию как на что-то грубое, дикое и безобразное. Сердце его не лежало к ней. «Увы, надо признаться, что он Россию не любит», — говорил мне один из ближайших к нему людей, поверенный самых сокровенных его дум, П. В. Анненков. Впрочем, и сам Тургенев не стеснялся открыто развивать мысль о том, что русский народ по сравнению с другими европейскими народами принадлежит к разряду жестоко обиженных природой. Он судил так не только о России, но вообще о всем славянстве. Неудивительно, что при таком отрицательном отношении к России Иван Сергеевич мог спокойно выслушивать дикие разглагольствования наших нигилистов. Он находил, конечно, их теории нелепыми, спорил с ними, удивлялся фанатизму этих людей, но они не вызывали в нем омерзения, он не отворачивался от них с негодованием и ужасом. В сущности, предмет спора оставлял его довольно равнодушным. Зная его очень близко, я мог заметить, что не политические ереси, а только ереси в области искусства заставляли его выходить из себя. Однажды он так вознегодовал на Стасова[46], что, несмотря на обычную свою деликатность, предложил ему выйти вон. Не подлежит сомнению,

что ни Лавров[47], ни другие эмигранты, посещавшие его, не могли опасаться для себя ничего подобного со стороны Ивана Сергеевича.

В самом начале, однако, при первых встречах своих с представителями направления, которое им самим так удачно было окрещено названием «нигилизма», Тургенев относился к ним с раздражением. Он видел, что это что-то новое и в высшей степени ненавистное. Его коробило издевательство Чернышевского и компании над всеми наиболее дорогими приобретениями европейской цивилизации, над всем тем, что лучшим людям, среди которых с ранней молодости вращался Иван Сергеевич, казалось заветным идеалом. Тогда-то явилась у него мысль об «Отцах и детях». Однажды, когда он был поглощен этим романом, сошлись мы с ним у Боткина.

— Я выставлю тип,— говорил он, — который многим покажется, быть может, странным, потому что он еще не достаточно определился, но для меня он уже как нельзя более ясен; только русская жизнь способна была произвести подобную мерзость.

С типом «нигилиста» Тургенев, однако, не совладел. Это далеко не случайность, что некоторые из вожаков нашего радикализма увидели в Базарове злую на себя сатиру, а другие, как, например, Писарев, утверждали, что Базаровым может только гордиться молодое поколение. Такова уж была натура Ивана Сергеевича, что он не был в состоянии очертить фигуру резкими и определенными штрихами. Удивительнее всего, что впоследствии он сам счел нужным заявить, будто симпатии его были вполне на стороне Базарова, будто он разделял все убеждения избранного им героя! Встретившись с ним в 1870 году в Бадене, я напомнил ему о нашем разговоре у Боткина.

— Помните ли, — говорил я ему, — с каким отвращением относились вы к только что зарождавшемуся у нас нигилизму, в какую заслугу вы ставили себе намерение изобличить его; помните ли, что вы своими словами привели в восторг даже В. П. Боткина, а уж это значит очень много... И вдруг теперь вы хотите уверить, будто сочувствуете в Базарове всему, решительно всему, стало быть, даже его взглядам на искусство, в котором он видит не что иное, как празд-

ную забаву: ну скажите пожалуйста, зачем вам понадобилось это?

Иван Сергеевич засмеялся и махнул рукой.

— Что хотите, — сказал он, — я уж действительно хватил через край...

Несколько слов по поводу Боткина, о котором я упомянул сейчас. Переворот, уже давно обозначившийся в нем, достиг крайнего своего проявления в последние годы его жизни. Грановский острил над ним, что он сделался консерватором не столько по убеждению, сколько из скупости и трусости. И это было действительно так. Жилось ему отлично, он имел возможность удовлетворить все свои прихоти, но, когда обнаружились у нас первые признаки революционного брожения, им овладел панический страх. Воображение беспрерывно рисовало ему картины общего мятежа, в котором погибнут его капиталы, а вместе с ними, пожалуй, и он сам. По обыкновению он выражал свои страхи очень наивно и ничем не стесняясь. Нередко можно было слышать от него такие фразы: «Напрасно нападают у нас на шпионов; я шпионов люблю; только благодаря шпионам можно жить спокойно». Или же с любовью начинал он описывать пытки, которые употреблялись в старину, и очень скорбел, что нельзя прибегать к ним при наших нравах и понятиях. Под конец, видимо, старался он пробудить в себе религиозное чувство, даже принимался читать религиозные книги, но все это как-то у него не выходило... Всякий раз, когда наступало затишье и Боткин успокаивался от смущавших его зловещих признаков, он тотчас же клал богословский трактат в сторону и переходил к Шопенгауэру. Предсмертные его дни оставили во мне неизгладимое воспоминание.

Это было в 1869 году. Из-за границы, куда отправился он для лечения, приходили тревожные о нем известия, но никто не предполагал, чтобы он был так плох, как оказалось это в действительности. Летнее время упомянутого года я провел в деревне в Московской губернии, куда один из моих приятелей писал, что Боткин вернулся из своего путешествия. По приезде моем в Петербург я нашел у себя на столе записку какой-то неизвестной госпожи, сообщавшей,

что Василий Петрович очень болен и очень желает меня видеть. Вечером того же дня я посетил его — и не верил своим глазам. Предо мною был не живой человек, а труп. Боткин лежал на диване навзничь, со сложенными на груди руками; казалось, все тело его было парализовано и он не мог двигать ни одним мускулом; лицо восковое, мертвенно-бледное и страшно исхудавшее; говорил он — и то несколько слов — глухим, невнятным шепотом, который едва удавалось улавливать. Разумеется, ни о какой беседе с ним нельзя было и помышлять; полчаса просидел я около несчастного, разговаривая с находившеюся при нем девушкой (она-то и писала мне записку), обязанности коей состояли в том, чтобы ухаживать за ним и по возможности его развлекать. Вдруг появились у него какие-то судороги на лице, и он начал делать мне знаки глазами.

— Вы хотите что-нибудь сказать? — спросил я.

— Какого вы мнения, — прошептал Боткин, — о кулебяке со стерлядью и разною другою рыбой?

— Что же, вещь хорошая.

— Пожалуйста, приходите завтра обедать, буду ждать.

Я обещал, но, конечно, не думал исполнить свое обещание: какой тут обед, когда несчастному ежеминутно угрожала предсмертная агония! Девушка, провожавшая меня в другую комнату, уверяла, однако, что я сильно огорчу Василия Петровича отказом, что единственная его отрада — собирать вокруг себя своих приятелей, что Григорович, Гончаров, Анненков, Ф. И. Тютчев непременно явятся на приглашение. Действительно, на другой день я нашел их в сборе. Боткина не было в гостиной, он лежал в спальной и — как мы узнали — чувствовал себя хуже, чем когда-нибудь. У нас уже являлась мысль удалиться, но компаньонка его — та девушка, о которой упоминал я сейчас, — очень убеждала нас не делать этого. Севши за стол, мы с изумлением заметили, что одно из мест остается незанятым. Неужели, спрашивали мы друг друга, это место предназначается для Боткина, неужели он в своем отчаянном положении считает возможным принять участие в трапезе? Недолго длились наши недоумения. Чрез несколько минут

послышался шум, лакеи подкатили к обеденному столу кресло, на котором сидел Боткин; он не мог держаться прямо, голова его была закинута назад, глаза закрыты... Когда подавали блюдо, лакей кричал ему на ухо: «Василий Петрович, угодно ли кушать?» — и в ответ ни звука, ни малейшего движения. «Умер», — шептал мне Гончаров. Нет, он еще не умирал, и лакей кормил его, как грудного младенца, после чего опять наступало оцепенение. Конечно, не совсем приятно было Дон-Жуану ужинать с командором, но командор явился к нему мраморною статуей, а мы обедали с трупом, который, вместо того чтобы положить его в гроб, посадили рядом с нами. Было от чего содрогаться! После этого «веселого» пиршества перенесли Боткина в гостиную на диван, и одна из его родственниц, отличная музыкантша, играла ему Бетховена и Шумана. Сколько можно было судить по выражению его глаз, музыка доставляла ему наслаждение даже в эти минуты, когда он оставался глух и равнодушен ко всему.

Этим, однако, не кончилось. Чрез несколько дней друзья Боткина получили приглашение к нему на утренний концерт. Я не мог пойти к нему, мне нужно было целое утро просидеть за служебными делами, но, вышедши пред обедом на Невский проспект, я встретил П. В. Анненкова.

— Знаете ли, что случилось? — воскликнул он. — Подъезжаю я нынче к квартире Боткина и вижу: у подъезда вынимают из фургона контрабас, скрипки, флейты и т. п. Вслед за музыкантами поднимаюсь я по лестнице, глядь, навстречу нам идет священник с причтом... Бедный Василий Петрович-то скончался, и только что отслужили по нем первую панихиду[48].

Aimable païen*, как выразился о покойном Ф. И. Тютчев. Он жил для наслаждения и остался верен этому до последнего своего вздоха!

С половины семидесятых годов (если даже не раньше, быть может, память изменяет мне) Тургенев бывал в России лишь наездами и на самое короткое

* Добрый язычник *(фр.)*.

время. Мне ничего не известно о заграничной его жизни и об отношениях его к семейству Виардо[49]. Как-то в Бадене доктор Гейлигенталь, близкий человек в этом семействе (я часто встречал его у Н. А. Милютина), удивлялся, что Иван Сергеевич осудил себя на роль, не совсем приличную ни для его лет, ни для его литературной репутации. Не знаю, в какой мере это справедливо. Своих друзей, за исключением двух или трех, в том числе Боткина, он не знакомил с г-жой Виардо, и это, как уверяли, будто бы потому, что она вообще питала непреодолимое отвращение к русским. И у нас платили ей, кажется, тою же монетой. Однажды Я. П. Полонский начал говорить Тургеневу при мне, что она возбуждает неприязненное к себе чувство уже потому, что оторвала его от России. Тургенев ее защищал.

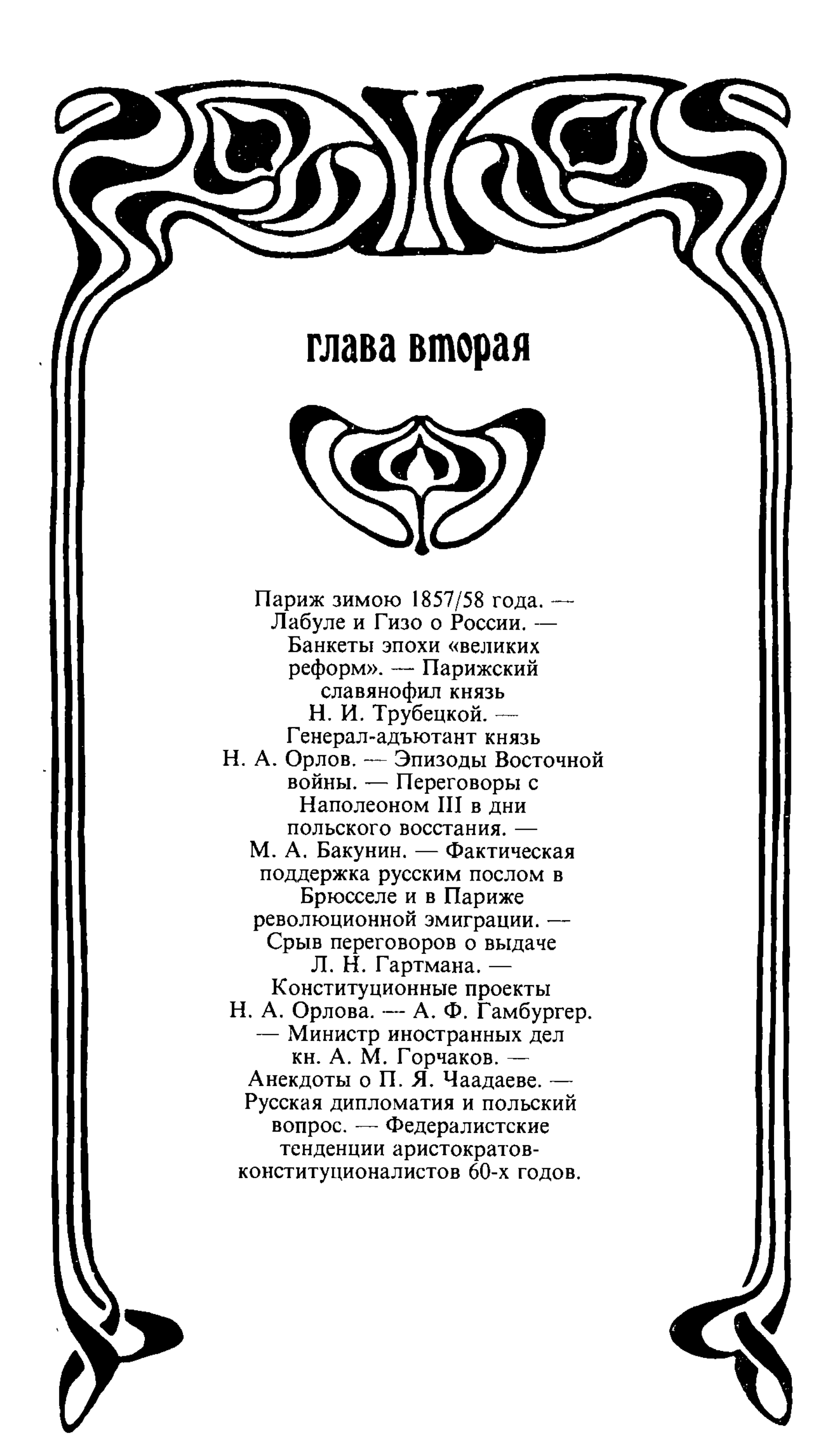
«Мне кажется, — сказал я, — что нападки на m-me Виардо не совсем основательны; не она, так другая; натура ваша такова, что непременно кто-нибудь должен был забрать вас в руки; некоторые люди, в том числе и вы, находят в этом необходимое для них успокоение». Тургенев рассмеялся и обнял меня. «Что делать, это так, — воскликнул он. — Вы высказали неопровержимую истину...»

В самые последние годы жизни Тургенева я уже не встречался с ним. Приезжая в Россию, он, видимо, сторонился своих прежних приятелей[50]. Это было время, когда наша так называемая либеральная партия, долго преследовавшая его своими нападками, вдруг догадалась, что несравненно выгоднее расточать ему восторженные похвалы, курить ему фимиам, и Иван Сергеевич охотно пошел на эту приманку. Не буду останавливаться на этом печальном периоде его жизни, не представляющем ничего загадочного для того, кто знал его характер. Тургенев был баловень судьбы. Природа была щедра к нему, и обстоятельства сложились так, что на жизненном пути своем он встречал только цветы и никаких терний; за исключением пресловутой ссылки в деревню, которая, как замечено мною выше, вовсе не была для него особенно страшной, он не испытал невзгод; утраты близких ему лиц не причиняли ему глубокого и продолжительного горя, он не способен был сильно любить, но постоянно нуждался в том, чтобы его обожали, ле-

леяли, чтобы как можно более занимались им. Человек с огромным талантом, пользовавшийся совершенно независимым положением, он мог бы обнаруживать благотворное влияние на общество, но для этого прежде всего требовалась стойкость характера и убеждений, чего именно и недоставало Тургеневу. Он не в состоянии был руководить другими, у него не хватило мужества перенести недоброжелательство, которое под влиянием газетных крикунов начала обнаруживать к нему публика, и он пошел в хвосте людей, от которых ожидал, что они восстановят утраченную им популярность. Кончая этот очерк моего близкого знакомства с Тургеневым, я охотно забываю, однако, слабые его стороны, и в моих воспоминаниях рисуется лишь то, что делало его неотразимо привлекательным. Те часы, которые я проводил с ним в первые годы моей с ним приязни, когда он еще не принимал никакой политической окраски, останутся навсегда незабвенными для меня. Да и впоследствии можно было сетовать на Тургенева, жалеть о легкомыслии, с каким он относился к вопросам великой важности, но нельзя было все-таки не восхищаться им и не любить его.

Долго после того, как были написаны эти строки, мне случилось прочесть уцелевшие письма В. П. Боткина к Тургеневу. Он упоминает в них между прочим о своих отношениях к Е. А. Х/рущевой/. Оказывается, что он находился с ней в связи, хотя, конечно, не только не сознавался мне в этом, но уверял, напротив, что чувства его к ней были совершенно иного свойства. Бедная Елисавета Алексеевна! Она умерла через два года, после того как была изгнана из дома своей родственницы, и вот каким образом оплакивал Боткин эту женщину, пожертвовавшую ему своей репутацией! «Скажу откровенно, — пишет он Тургеневу, — утомили и измучили меня наши отношения так, что, если бы теперь с кем-нибудь из *подобных ей* встретилась возможность завести таковые же, я убежал бы без оглядки. Вообще, употребляя твое выражение, *въедаться* друг в друга, и принимать на себя ответственность за судьбу женщины — помилуй Бог! Меня, по крайней мере, мучает это так, что делаюсь решительно несчастнейшим человеком...» В этих словах вполне выразилась натура Боткина, натура дряб-

лого эгоиста и сластолюбца, который всегда хотел только наслаждаться и с ужасом отгонял от себя мысль о каких-либо нравственных обязательствах. По молодости я принял горячо к сердцу то, что было мне известно об его истории с m-me Хрущевой, но история эта прошла лишь мимолетным облаком в его отношениях к Тургеневу. Оба они очень скоро убедились, что из-за таких пустяков не стоит им и ссориться.



глава вторая

Париж зимою 1857/58 года. — Лабуле и Гизо о России. — Банкеты эпохи «великих реформ». — Парижский славянофил князь Н. И. Трубецкой. — Генерал-адъютант князь Н. А. Орлов. — Эпизоды Восточной войны. — Переговоры с Наполеоном III в дни польского восстания. — М. А. Бакунин. — Фактическая поддержка русским послом в Брюсселе и в Париже революционной эмиграции. — Срыв переговоров о выдаче Л. Н. Гартмана. — Конституционные проекты Н. А. Орлова. — А. Ф. Гамбургер. — Министр иностранных дел кн. А. М. Горчаков. — Анекдоты о П. Я. Чаадаеве. — Русская дипломатия и польский вопрос. — Федералистские тенденции аристократов-конституционалистов 60-х годов.

Зиму 1857/58 года провел я в Париже. Осуществилось наконец заветное мое желание побывать за границей, о чем в последние годы царствования Николая не только мне, но и вообще никому, за крайне редкими исключениями, нечего было и мечтать. Русских нахлынула в Париж целая толпа; между прочим, встретил я там нескольких друзей моих, бывших товарищей по университету. Счастливое было время! Все возбуждало в нас живейший интерес, с любопытством присматривались мы к чуждым для нас порядкам, посещали лекции в Collège de France и в Сорбонне; с некоторыми профессорами, между прочим с Лабуле[52], который пользовался особенным успехом, случилось мне свести личное знакомство; из России беспрерывно приходили известия одно другого отраднее; знаменитые манифесты, свидетельствовавшие о том, что правительство приняло твердое намерение отменить крепостное право, были приветствованы нами с опьянением восторга. Лабуле передавал мне однажды беседу свою с Гизо[53] который, несмотря на свою безусловную преданность конституционным учреждениям, утверждал, что Россию ожидают тяжкие испытания, если в русском обществе проявится стремление ослабить верховную власть, что только она своим безграничным авторитетом может устранить тревожные последствия задуманного переворота. Но опасения такого рода казались нам совершенно праздными. Будущее рисовалось в самом обольстительном свете, мы желали только одного — чтобы правитель-

ство шло неудержимо вперед в твердой уверенности, что каждая его мера в либеральном направлении не породит ничего, кроме добра. Между прочим, довольно значительное число русских, проживавших в Париже, задумали собраться на обед для чествования предстоявшей крестьянской реформы. Подобные торжества, которые в прежнее время не прошли бы безнаказанно, начали устраиваться тотчас после смерти Николая Павловича; произносились на них речи, и собеседники жадно ловили каждый сочувственный им намек, но все это, по непривычке или из страха, от которого еще не успели освободиться, делалось робко, не без оглядки. Мне случалось присутствовать на нескольких из подобных собраний, так, например, на обеде в день юбилея знаменитого артиста М. С. Щепкина, когда И. С. Аксаков произнес тост «за общественное мнение», приведший в неистовый восторг всех присутствовавших. После коронации 1856 года в Москве же, в одной из зал ресторана Дюссо, сошлись люди одинакового образа мыслей, чтобы приветствовать за дружеским обедом амнистию, дарованную императором Александром Николаевичем декабристам; оратором явился известный Н. Ф. Павлов[54], но у него не хватило смелости упомянуть прямо об амнистии, выразить явное сочувствие пострадавшим за свой безумный поступок, он развивал только в общих, несколько туманных выражениях ту тему, что милосердие — драгоценнейшее качество монарха, что нет ничего радостнее, как слышать из его уст слова «простить, отменить, возвратить», и всякий понимал, к кому эти слова в настоящем случае относились. Некоторые находили, однако, что и это чересчур смело, а сидевший возле меня В. П. Боткин положительно трепетал. И относительно обеда в Париже, о котором я сейчас упомянул, были приняты нами же самими меры; все находили, что не следует давать слишком много воли языку, и в предварительных совещаниях подвергнуты были строгой цензуре заготовленные спичи. Съехалось не менее 50 человек, обед прошел очень оживленно, шумные аплодисменты действовали возбуждающим образом на ораторов и преимущественно на Лохвицкого, который никак не мог примириться с тем, что его заставили выкинуть из речи следующую характеристику николаевского режима: «То

было время, когда слышались только свист кнута и звуки барабана». Когда дошла до него очередь говорить, он объявил трагическим тоном распорядителям обеда: «Пусть лучше погибну, а фразу свою произнесу». Он произнес ее и, конечно, не погиб. Довольно подробное описание нашего обеда появилось в газете «Nord».

В Париже был у меня довольно многочисленный круг знакомых, и я хочу собрать здесь воспоминания свои об одном из них, князе Н. А. Орлове[55], сыне государственного человека, игравшего столь видную роль при императоре Николае. Останавливаюсь на нем потому, что помимо своего общественного положения он представляет собой довольно интересную фигуру. Познакомился я с ним в доме Трубецких, дочь которых только что сделалась его невестой. Это была в своем роде прелюбопытная семья[56]. Князя Николая Ивановича Трубецкого изобразил Константин Аксаков в своей комедии «Луповицкий». Он давно уже уехал из России, хотя и не порвал с нею всех связей, перешел в католическую веру и проживал зимой в Париже, а летом в прекрасном своем поместье Belle-fontaine близ Фонтенбло: иезуиты делали из этого очень добродушного, но крайне ограниченного человека все что хотели, и пользовались им как дойною коровой. В вопросах религии он был фанатик, но в то же время считал себя весьма искренно славянофилом, — все это как нельзя лучше совмещалось в его сумбурной голове. Нельзя сказать, чтобы проводил он время праздно, напротив — по целым дням строчил он какие-то обширные проекты о преобразовании России, преимущественно по финансовой части, ибо считал себя большим знатоком в этом деле, хотя совершенно расстроил свое огромное состояние и кончил тем, что передал впоследствии все свои земли князю Н. А. Орлову, с тем чтобы тот ежегодно выдавал ему крупную сумму на содержание. Резкую ему противоположность представляла его супруга, княгиня Анна Андреевна, урожденная графиня Гудович. Образ ее жизни был весьма причудливый: до вечера она никого не пускала к себе в комнаты, даже муж не имел права входить к ней, и занималась, по крайней мере по ее словам, чтением книг философского содержания. Обедала она тоже совершенно одна. Нередко

князь Николай Иванович приглашал к обеду гостей, даже дам, но хозяйки не было налицо; все привыкли к ее отсутствию и не находили этого странным. Ровно в 9 часов князь произносил обычную фразу: «Je crois que nous pouvons passer chez la princesse», и тогда гости отправлялись в гостиную, где княгиня ожидала их, лежа на кушетке. Я ни разу не видел ее иначе, как в лежачем положении; объясняла она это болезнью ног, вследствие коей с трудом могла двигаться по комнате. Князь слепо, безусловно верил во все, что наговаривали ему католические попы, монахи и сестры милосердия; княгиня решительно ни во что не верила, гордилась тем, что была esprit fort и говорила во всеуслышание, что обходится как нельзя лучше без религии. «Que voulez vous, je l'adore, mais c'est une folle»*, — выражался о ней князь Николай Иванович. «Il a un co eur d'or, mais c'est un idiot»**, — отзывалась о нем его супруга. Впрочем, взаимное их согласие, кажется, никогда не омрачалось.

Много мудрила княгиня в воспитании своей дочери, княжны Екатерины Николаевны, девушки очень неглупой и замечательно красивой; кроме гувернанток главным руководителем по части наук выбран был Мориц Гартман, известный немецкий писатель, проживавший в Париже, человек крайне радикального образа мыслей[57]. В доме Трубецких держал он себя с большим достоинством и приходил в совершенное отчаяние от этих русских бар. «Поместье их следовало бы назвать не Belle-fontaine, а Folle-fontaine», — часто говаривал он. Пришлось выдавать княжну замуж, и вот в этот-то момент я попал в Париж. Искателем ее руки явился, как упомянуто мною выше, князь Н. А. Орлов, и, кажется, не было причины отказать ему уже потому, что княжна влюбилась в него, но княгиня Анна Андреевна долго не хотела слышать об этом браке. Никак не решалась она примириться с мыслью, что дочь ее сделается женою простого смертного, — она мечтала для нее о каком-нибудь великом художнике, поэте или об ученом, проложившем новые пути для человеческого знания. Вообще

---

* Что поделаешь, я ее обожаю, хоть она и сумасшедшая *(фр.)*.
** У него золотое сердце, но он — идиот *(фр.)*.

предназначала она ее чем-то вроде приза за выходящие из ряда вон успехи в науках и искусстве. Немало усилий стоило и ее дочери, и близким к ней лицам поколебать ее нерасположение к Орлову. Свадьба состоялась уже после моего отъезда из Парижа[58], но я живо представляю себе, чтó такое происходило в салоне Трубецких в это время: с одной стороны, отчаянные клерикалы, с другой — Мориц Гартман и его приятели, из коих многие считались преступниками за свое участие в революционном движении 1848 года в Германии, а посреди них бывший шеф жандармов А. Ф. Орлов, приехавший порадоваться счастью своего сына. Впрочем, и он отличился: из русских приглашено было на свадьбу очень мало, но по желанию графа Алексея Федоровича присутствовал на ней Геккерен, убийца Пушкина[59]...

Скажу теперь несколько слов о князе Николае Алексеевиче. Очень многое свидетельствовало в его пользу: единственный сын вельможи николаевского царствования, имевший полную возможность сделать блестящую карьеру, не прилагая для этого никаких стараний, наследник громадного состояния, он не задумался, однако, с честью исполнить свой долг военного человека. В начале Восточной войны 1853—1856 годов он выпросил себе как милости позволения отправиться под Силистрию. Император Николай, относившийся к нему с особенною нежностью, неохотно согласился на это; при расставании он поставил его на колени пред киотом, сам молился с ним и благословил его образом. Все это я слышал от князя Орлова, который много рассказывал мне также о своих беседах с Паскевичем[60]. Фельдмаршал очень любил его и охотно делился с ним своими планами. Известно, что в лагере были недовольны его образом действий, винили его в медлительности и колебаниях, и Орлов по приезде своем поддался этому настроению. Все его усилия были направлены к тому, чтобы пробудить в старике энергию, а наиболее верным для этого средством было действовать на его самолюбие, говорить ему об его прежних подвигах, восхвалять его военный гений. Под влиянием таких бесед Паскевич воспламенялся, уверял, что непременно будет штурмовать Силистрию, но затем опять возникали опасения, внушаемые ему австрийскою политикой. Известно, какая

жестокая участь постигла Орлова под осажденною крепостью. Его обвиняли в том, что он подбил генерала Сельвана, не имевшего никаких на то приказаний от высшего начальства, на подвиг отчаянный, для которого ничего не было подготовлено и долженствовавший окончиться тяжкою неудачей[61]. Генерал Сельван понадеялся будто на то, что в случае успеха простят ему самовольный поступок, а если дело окончится дурно, то он не понесет ответственности, так как разделить ее с ним пришлось бы и Орлову. Но Орлов рассказывал иначе. По словам его, ничего не было условлено, не существовало никакого плана, а когда неприятельские войска, сделавшие вылазку и понесшие поражение, бросились в крепость, то окружавшие Сельвана говорили, что следовало бы проникнуть туда по их стопам. Сельван обратился к Орлову с вопрошающим видом, и Орлов заметил, что рассуждать теперь некогда, а уж если попробовать счастья, то надо пользоваться моментом. Таким образом, все произошло вдруг, в пылу увлечения и совершенно неожиданно для всех действующих лиц. Орлов был так изранен, что в первое время считали даже бесполезным делать ему перевязку, ожидая с часу на час его кончины. Однако он уцелел и, оправившись немного, поехал для излечения за границу. Вскоре по окончании войны вышла его книга о походе Наполеона против Пруссии в 1806 году, книга, с которою я познакомил публику в довольно обширной статье, помещенной в «Русском вестнике» (1856 года). Впоследствии я узнал, что много помогал автору, по крайней мере относительно литературного изложения, известный барон М. А. Корф[62], но, во всяком случае, тот факт, что молодой князь Орлов, привыкший вращаться в среде, весьма равнодушной и к литературе, и к науке, взялся за перо, не мог не внушать к нему симпатии. Упомяну здесь, кстати, об одном обстоятельстве, выставляющем его с весьма выгодной стороны. Д. А. Милютин[63] рассказывал мне, что сочинение, о котором упомянуто выше, прислано было к нему еще в рукописи на просмотр; при чтении он делал на полях весьма резкие заметки, рассчитывая потом стереть их, но вдруг Орлов попросил возвратить ему рукопись. Милютин поспешил исполнить это, причем совсем забыл об испещрявших ее замет-

ках. Хотя они должны были подействовать очень неприятно на самолюбие Орлова, я могу засвидетельствовать, что в разговорах со мной о Д. А. Милютине не проглядывало у него ни малейшего чувства неудовольствия и желчи. Это был действительно вполне добродушный человек.

Орлов жил в Париже в двух шагах от меня, и, кроме того что мы часто видались у Трубецких, я заходил к нему рано по утрам, когда можно было застать его одного дома. Он делился со мной известиями, которые получал от петербургских своих приятелей. Одним из постоянных его корреспондентов был А.В. Головнин, которому предсказывал он важную роль в будущем[64]. Тут не требовалось, впрочем, большой проницательности, потому что Головнин был близок к вел. кн. Константину Николаевичу, а Орлов знал, каким влиянием пользовался великий князь в описываемое время. Упомяну, между прочим, и о другом его предсказании. Однажды мы были с ним вечером у князя Вл. Львова[65]. Этот вечер мне особенно памятен. Только что собрались гости, и князь Н.И. Трубецкой, вытащив из кармана довольно объемистую тетрадь, приготовлялся преподнести им трактат о вернейших средствах улучшить наши финансы, как вошел в гостиную наш священник в Париже Васильев и сообщил известие о только что совершившемся покушении Орсини на жизнь императора Наполеона[66]. Начались толки об этом событии; трактат, к счастию для нас, был отложен в сторону, а несколько позднее Орлов предложил мне отправиться на бульвары к зданию Оперы, посмотреть, что там происходит. Картина была замечательная. От улицы Lepeletier на бульваре и по улице де la Paix стояли по обеим сторонам на тротуарах непроходимые толпы народа; самые улицы были совершенно чисты, полиция не дозволяла даже переходить с одной стороны на другую; несмотря на многолюдство, царила мертвая тишина; не слышалось даже разговоров; что-то крайне натянутое, тревожное носилось в воздухе... Около 11 часов проскакал от Оперы отряд жандармов, а затем показалась карета императора в сопровождении конвоя, и тут раздались такие приветственные клики или, лучше сказать, вопли, как будто мы очутились в Москве на Красной площади и видели пред собой им-

ператора Николая Павловича. Но воспоминание о нашей прогулке отвлекло меня от того, что сказал мне Н. А. Орлов на вечере у Львова. В числе гостей находился там высокий, белокурый, еще почти молодой человек, которого до тех пор нигде я не встречал. «Вот один из моих приятелей, — заметил Орлов, — который не нынче-завтра может сделаться министром». То был Рейтерн[6].

«Ведь князь Орлов умен», — говорил мне в то время И. С. Тургенев, а чрез несколько лет после того выражался он о нем как о весьма ограниченном и даже пустом человеке. Где же правда? Был умен Орлов или нет? Как ни покажется это странным, я полагаю, отвечать на этот вопрос надо таким образом, что вначале он действительно был не лишен ума, а затем постепенно умственные его способности, видимо, слабели. Обыкновенно люди с годами умнеют, с Орловым же случилось, видимо, наоборот. Объясняется это различными причинами и прежде всего его раной: она жестоко его мучила, и по временам еще выходили у него из головы осколки величиной с мелкую дробь; одного глаза он лишился вовсе, а другим владел так плохо, что вынужден был почти вовсе отказаться от чтения; ему трудно было даже прочесть небольшое письмо, и помогал ему в этом его камердинер. Я убежден, что с течением времени рана обнаружила на его умственные способности гибельное влияние; не то чтобы она вовсе притупила их, но всякое сколько-нибудь продолжительное напряжение мысли становилось ему не по силам, он не мог ни на чем сосредоточиться; даже простой разговор, если отличался он сколько-нибудь серьезным характером, заметно его утомлял; он как-то перебегал от одного предмета к другому, скользил по ним. В характере его было много привлекательных черт. Никому не приходило в голову отрицать, что это был человек в высшей степени честный, чуждый каких бы то ни было низких и корыстных побуждений. В нем не проглядывало и тени кичливости своею знатностью и богатством; всегда приветливый, отличавшийся крайнею простотой в обращении, он готов был каждому оказать услугу. При всем том, странностями своих поступков и своего образа мыслей он приводил многих в изумление[68]. Не давала ему покоя какая-то ненасытная жажда по-

пулярности; расположить в свою пользу всех и каждого: поляков, немцев, нигилистов и консерваторов, высших и низших — вот чего никогда не упускал он из виду, и для чего это делалось? Не под влиянием ли того чувства, которое заставило сыновей Я. И. Ростовцева[69] присоединиться к либеральному лагерю? Едва ли, потому что Орлов никогда не порывал близких связей — и не думал скрывать этого — с людьми, которые относились крайне враждебно к нашему либерализму шестидесятых годов. Руководил ли им какой-нибудь расчет? Трудно допустить это, потому что, кажется, он ничего не домогался, ни к чему не стремился, ибо знал, что дипломатическая его карьера обеспечена, а занять какой-нибудь видный пост в России он не мог по состоянию своего здоровья, не переносившего нашего климата. Вернее предположить, что он сам не отдавал себе ясного отчета в своих поступках. Когда в 1863 году вспыхнул польский мятеж, все симпатии Орлова были на стороне поляков; он проливал слезы об их страданиях, вопил против Каткова и национальной партии, не давал покоя М. Н. Муравьеву своими ходатайствами за инсургентов, а о реформах, предпринятых в Царстве Польском после подавления бунта, отзывался с ожесточением. Об истории Польши, об отношениях ее к России, о современном ее состоянии имел он весьма смутное понятие и, говоря о ней, пробавлялся анекдотами. «В начале пятидесятых годов, — рассказывал он мне, — сопровождал я мою матушку за границу; ехали мы на Варшаву, и матушка, которая терпеть не может никаких торжественных приемов, сильно опасалась, что Паскевич устроит ей что-нибудь подобное. Так и случилось. При въезде в город нас встретил полицмейстер, в назначенном для нас доме ждали нас комендант и один из адъютантов фельдмаршала, вся прислуга была в придворной ливрее. Через несколько минут приехал и сам Паскевич. Матушка стала ему выговаривать. "Ах, боже мой, — воскликнул он, — стоит ли об этом толковать! Предположите, что я приехал бы *к вам в деревню,* ведь вы, вероятно, захотели бы оказать мне радушный прием; могу ли же я поступить иначе, принимая вас у себя?" Вот как смотрели у нас, — прибавлял Орлов, — на целую страну; Паскевич управлял ею как бы на кре-

постном праве», — и из этого собеседник мой выводил заключение, что нельзя винить поляков, если они еще раз попытались возобновить свою вековую распрю с Россией. В самый разгар мятежа князь Орлов без ведома государя и Министерства иностранных дел решился принять участие в вопросе о дальнейшей судьбе Привислянского края, ездил в Варшаву для переговоров с великим князем Константином Николаевичем и вел переговоры с императором Наполеоном. Об этом последнем эпизоде он сообщил мне потом несколько любопытных подробностей: по словам его, сам Наполеон пожелал с ним видеться, свидание должно было происходить в глубочайшей тайне; Орлову, нарочно приехавшему из Брюсселя в Париж, было сказано, чтобы в назначенный день, поздно вечером, он вышел из гостиницы и сел бы в первый извозчичий фиакр, который найдет близ подъезда; извозчик, подставленный агентами, даже не спросил, куда надо везти его, а прямо направился к Тюильрийскому дворцу. Все эти бестолковые и компрометировавшие наше правительство поступки сильно раздражали государя против Орлова; от Н. А. Милютина слышал я (в 1865 году), что ему случилось при докладе сослаться на какой-то разговор свой с Орловым (находившимся тогда в Петербурге) о польских делах. «А ты считаешь возможным, — заметил государь, — беседовать с ним о серьезных вопросах?» При этом он отозвался очень строго и о действиях его в минувшую войну, очевидно, возлагая на него главную вину за нашу тяжкую неудачу под Силистрийским укреплением. «В сущности, — сказал он, — следовало бы предать его военному суду, а покойный батюшка пожаловал ему Георгиевский крест».

Можно было бы объяснить бестактность Орлова его безграничною преданностью великому князю Константину Николаевичу, желанием вывести великого князя из затруднительного положения, но для многих других его выходок нельзя приискать никакого оправдания. В Париже проживала во время и после польского мятежа графиня Салиас (Евгения Тур); тесная дружба соединяла ее с поляком Вызинским[70], яростным ненавистником России, занимавшим несколько позднее должность частного секретаря у князя Владислава Чарторыйского[71]. Неудивительно, что

он приводил к ней своих друзей и что квартира ее сделалась мало-помалу притоном членов народового жонда, к которым присоединялись и русские выходцы. Между сими последними самое видное место принадлежало Михайле Бакунину, знавшему графиню Салиас уже с Москвы. Бакунин только что разыграл подлейшую комедию, снарядив экспедицию для вторжения в русские пределы, которая была задержана в Стокгольме[72]; он очень хлопотал об облегчении участи некоторых польских революционеров, сосланных в Сибирь, а к кому же было обратиться для этого, как не к князю Орлову? Можно было предполагать, что для графини Салиас, близкой подруги княгини Анны Андреевны Трубецкой, он сделает все, что от него зависит. И вот Орлов приглашен был на свидание. Сцена происходила таким образом: в одном углу комнаты, у камина, Калинка, Клячко и tutti quanti[73], а в другом — Бакунин, преспокойно беседующий с нашим посланником в Бельгии, генерал-адъютантом и личным другом императора Александра князем Орловым! И надо было видеть, с какою наивностью повествовал мне Орлов об этом событии, как будто не было тут ничего необыкновенного и достойного удивления.

А вот другой его рассказ. Однажды является к нему какой-то полячок (к сожалению, я забыл его имя), который в 1861 году участвовал в известном заговоре варшавских офицеров и только бегством спасся от смертной казни[74]. Он начал с того, что прямо объяснил Орлову свои antécédents.

— Я знаю эту историю, — отвечал Орлов, — ведь, кажется, главным пунктом обвинения против всех вас было то, что вы распространяли заграничные издания Герцена и других?

— Ну не одно это. Заграничные издания были нужны нам как средство для достижения цели, а целью было взбунтовать несколько полков и действовать в союзе с поляками.

— Неужели вы верили серьезно в возможность подобного предприятия? Ведь это такая нелепость, такая химера...

— Не говорите, если бы нам дали еще три-четыре месяца, то неизвестно, как повернулось бы дело.

— Чего же вы хотите от меня теперь?

— А вот чего, князь: я в нищете, не имею никаких занятий, но не хочу жить на счет общего фонда польской эмиграции. Как человек сильный и здоровый, я считаю это постыдным. А между тем мне говорят, что если бы года два поучился я в Парижской Ecole des arts и métiers, то не остался бы без работы, ибо дельных людей, выходящих из этой школы, рвут по рукам. Но чтобы заняться вполне учением, надо иметь обеспеченный кусок хлеба, по крайней мере, франков 800 в год. Не согласитесь ли выдавать мне эту сумму?

—Я подумал-подумал, — говорил Орлов, — да и дал ему эти деньги.

Не следует, впрочем, думать, чтобы Орлов обнаруживал сочувствие лишь к тому, что соприкасалось с польскою смутой, он был не прочь заискивать популярности и среди героев смуты чисто русской. По хозяйственным своим делам приезжает он, например, в Воронеж и узнает, что в этом городе находится под полицейским надзором девица Корсини[75]. о которой в начале шестидесятых годов говорили очень много в Петербурге, где она была непременным членом всяких уличных демонстраций, студенческих сходок и т. п. Орлов делает ей визит, посещает ее в другой, в третий раз, пьет у нее чай, к великому изумлению городских властей, совершенно сбитых с толку, как вследствие того нужно им относиться к своей узнице.

В /1880 г./ правительство наше потребовало выдачи Гартмана, главного виновника одного из покушений на жизнь императора Александра Николаевича, бежавшего за границу и нашедшего себе пристанище в Париже[76]. Обязанность вести переговоры по этому предмету лежала на Орлове, который незадолго пред тем занял должность нашего посла во Франции. Приехав несколько месяцев спустя в Петербург, он откровенно рассказывал мне и моей жене, каким образом старался он выполнить свою задачу. Дело в том, что он вовсе не желал достигнуть успеха. «В случае выдачи Гартмана, — говорил он, — нетрудно угадать, какая постигла бы его судьба; во всякой другой стране можно вполне довериться суду, а я знаю, что такое наш суд, когда дело идет о политическом преступлении; несчастного приговорили бы к смерти, даже порядочно не выслушав его»[77].

На основании этих совершенно правдивых рассказов о князе Н. А. Орлове читатель предположит, конечно, что он принадлежал к числу весьма многих, которые были сбиты с толку мнимо либеральными теориями и действовали последовательно в их смысле. Но нет, подобное заключение о нем было бы ошибочно. Не брезгая сноситься с кем угодно из лагеря, явно враждебного правительству, он в то же время не упускал случая посещать Каткова, обращался к нему за советами, отдал в его лицей обоих сыновей своих и говорил, что нигде не могут они получить лучшего воспитания. Он поддерживал самые близкие сношения с людьми, которые уж никак не могли одобрить его странный образ действий и высказывали ему это прямо, но он обезоруживал их своим добродушием и откровенностью. Слушая его собственные признания, оставалось лишь пожимать плечами. Вообще, недаром занял он место в сумасбродной семье Трубецких, где уживались, нисколько не мешая друг другу, и неистовый клерикализм, и атеизм, и славянофильство, и аристократические замашки, и демократические тенденции (князь Николай Иванович торжественно объявил однажды своим приятелям, что он гнушается аристократией и хочет принадлежать к «среднему сословию»).

Чтобы иллюстрировать еще яснее образ мыслей князя Орлова, привожу здесь письмо, которое я получил от него в 1865 году:

«Отвечаю на ваше письмо, любезный друг, дошедшее до меня еще до отъезда моего из Брюсселя. Заметьте, что государь в разговоре с Милютиным* не отрицал возможности представительных учреждений и не говорил, как говорилось лет десять тому назад, что самодержавие есть краеугольный камень, на коем зиждется Российская держава. Вспомните, что при начале крестьянского дела в 1857 году запрещалось об оном говорить в печати, а в 1859 году собирались об этом вопросе мнения всех русских людей; наконец, не забудьте, что тверских и подольских дворян за адресы сажали в крепость, а московским дворянам сдела-

* С Николаем Алексеевичем. В то время обнаруживались у нас поползновения создать нечто вроде конституционных учреждений, которым Милютин не сочувствовал. — *Е. Ф.*

ли только замечание в форме рескрипта. Все эти сближения показывают, что время скоро, очень скоро приучает самих самодержцев к несвойственным их званию понятиям. Полагаю, что в настоящее время Земский собор был бы только повторением собрания депутатов времен Екатерины. Вопрос татарина князю Орлову в 1767 году мог бы и теперь повториться и привел бы к тому же последствию. Реформу следует начать снизу, и тогда она будет надежна. Самоуправление крестьянских обществ есть основание всему. Оно уже существует во всей силе, и молодое крестьянское поколение вырастет с сознанием своей законной силы; земские учреждения выведут на сцену новых людей и обуздают самоуправство местных властей; присяжные и адвокаты будут грозой для бюрократических деспотов. В непродолжительном времени вы сами все это сознаете на деле. Остается еще один важный шаг: учреждение высших земских собраний или местных парламентов. Они будут представлять не губернии, а целые полосы России, и их голос нельзя будет подавить так легко, как голос столичного собора; за Земским собором будет стоять один только призрак; за местными же парламентами будут стоять земские учреждения, за последним — община, то есть весь народ. При этом самодержавие уже не будет деспотизмом, и не станет более произвола на Руси. Конечно, Россия сделается федеративным государством, но в федерации вся ее будущность. При огромности страны и различии нужд народонаселения одно только железное самодержавие может сохранить Россию в сплошной массе; Муравьев — тип представителей сплошной России; при общем парламенте власть верховная ослабеет и Россия распадется на части; при местном же представительстве Россия будет федеративным государством и во всех частях империи нужды ее жителей получат законное удовлетворение. Вот мое мнение. Простите, что заболтался» и т. д.

Полагаю, всякий согласится со мной, что все эти измышления князя Орлова были не более как детским лепетом. Он никогда не мог отделаться от них, мало того, с течением времени они становились у него все сумбурнее и запутаннее, так что трудно было даже понять, чего он хочет. О тесте Орлова, князе

Н. И. Трубецком, Лохвицкий заметил однажды, что беседовать с ним истинное мучение, ибо сначала надо выслушать его, затем самому приискать какую-нибудь рациональную основу для его слов и, наконец, из приличия ему возражать. То же самое, без большой натяжки, можно было бы сказать и о князе Николае Алексеевиче. И вдруг назначен был он нашим послом в Берлине! До тех пор занимал он довольно продолжительное время такой же пост в Париже, но там это было не так опасно, ибо Франция после страшного погрома, постигшего ее в 1870—1871 годах, как бы утратила одно время значение великой державы, не играла выдающейся роли в международной политике, но совсем другое было дело стоять лицом к лицу с таким первоклассным и отважным игроком, как Бисмарк. Князю Орлову не пришлось, однако, исполнять свои новые обязанности; вскоре после своего назначения этот, в сущности, милый и добрейший человек скончался.

Кстати, о нашем дипломатическом мире. Я имел возможность составить о нем довольно верное понятие по некоторым представителям его, известным мне более или менее близко.

Вскоре после переселения моего из Москвы в Петербург познакомился я с А.Ф. Гамбургером[78], занимающим теперь, когда я пишу эти строки, должность нашего посланника в Швейцарии. Природа не наделила его ни умом, ни сколько-нибудь представительною наружностью: горбатый, неуклюжий, с лицом орангутанга, он производил с первого взгляда весьма неприятное впечатление, но люди, сближавшиеся с ним, знали очень хорошо, что это был человек в высшей степени добрый и услужливый. Князь Горчаков, сделавшись министром иностранных дел, потребовал для себя чиновника, который при отличном знании французского языка мог бы быстро писать под его диктовку; откомандировали к нему Гамбургера, и Гамбургер был принят вначале не совсем любезно, ибо князю Горчакову, так высоко ценившему изящество и внешний лоск, неприятно было видеть около себя эту унылую и непривлекательную фигуру. Прошло, однако, немного времени, как Гамбургер сделался для него совершенно необходимым человеком. Объясняется это тем, что он обладал многими неоце-

ненными достоинствами — во-первых, был нем как могила; все, коснувшееся его слуха и взора, замирало в нем и никогда не выходило наружу; затем это была сама аккуратность, мелкая, щепетильная, которую ни днем, ни ночью нельзя было захватить врасплох; услужливость его не знала границ, и канцлер пользовался ею без малейших церемоний. Он призывал к себе Гамбургера во всякое время, не разбирая, болен он или здоров, призывал его даже, мучимый бессонницей, ночью для беседы, заставлял его бегать с поручениями г-жи Акинфиевой[79], в которую имел глупость влюбиться на старости лет, ворчал на него, когда тот не успевал сообщить ему какую-нибудь новость, приходил в ярость, если эта новость была неприятного свойства. Бедный Гамбургер в интимной беседе часто сравнивал свою жизнь с жизнью невольника на американских плантациях, но надо сказать, что князь Александр Михайлович умел и награждать его; в сравнительно короткое время он выхлопотал ему столько чинов и звезд, что Гамбургер превратился почти в сановника, а затем занял дипломатический пост, хотя и не особенно важный, но о котором за несколько лет пред тем не осмеливался, конечно, и мечтать. Вообще это была довольно бесцветная личность; думаю, однако, что его мемуары должны представлять значительный интерес, ибо со свойственною только ему аккуратностью он имел обыкновение записывать изо дня в день все, что случалось ему слышать и видеть, а круг его знакомств был весьма обширен.

В 1863 году, когда европейские державы предприняли против России дипломатический поход из-за польского вопроса, приехал ко мне на дачу в Павловск Гамбургер и сообщил, что, как это ни может показаться странным, Министерство иностранных дел очутилось в довольно забавном положении. Изготовлены были ответные депеши ополчившимся на нас дворам (те самые, которые главным образом составили славу князя Горчакова), надлежало сделать русский их перевод для помещения в «Северной почте»; князь Горчаков особенно заботился о том, чтобы перевод был удовлетворителен, и вот для этой-то нехитрой, по-видимому, задачи не оказывалось подходящего лица. В Министерстве иностранных дел (или,

как говорил часто Катков, в «иностранном Министерстве русских дел») все отлично писали по-французски и никто не владел порядочно русским языком. Гамбургер предложил мне заняться этим трудом, и я с большою готовностью выразил согласие. По утрам я приезжал в Царское Село, работал там, а после завтрака читал князю Горчакову то, что успевал написать. Таким образом началось мое знакомство с ним, знакомство, впрочем, не очень близкое, так как, несмотря на расположение, которое он оказывал мне, я не считал уместным беспокоить его частыми посещениями.

Все-таки князь Александр Михайлович рисуется предо мной довольно живо. Вращаясь почти всю жизнь за границей, в лучшем обществе, он был по внешности в полном смысле слова grand seigneur, отличался представительною наружностью, изяществом манер, умел вести блестящий, хотя чисто светский разговор. Видел он на своем веку очень много и любил говорить о замечательных лицах, с которыми сталкивала его судьба, но в рассказах о них он всегда ухитрялся отводить самому себе видное место[80]. Так поступал он даже относительно Пушкина. Из слов его оказывалось, будто он имел сильное влияние на развитие таланта знаменитого поэта, будто Пушкин особенно доверял его вкусу, читал ему свои произведения и подчинялся всем его замечаниям. Плохо верится этому, так как между натурами Пушкина и Горчакова едва ли могло быть много общего. На ученической скамье и вскоре по выходе из лицея Пушкин мог писать ему послания, но затем каждый из них пошел своею дорогой, встречались они редко, и при одной из этих встреч знаменитый поэт с горечью заметил, как сильно Горчаков выдохся (письмо Пушкина напечатано в «Русском архиве», но Бартенев не решился, разумеется, обозначать имя Горчакова)[81]. Как бы то ни было, князю Александру Михайловичу приятно было похвалиться мнимым влиянием своим на бывшего товарища, прославившего свое имя. Вообще прежде всего поражало в нем непомерное тщеславие. Не было, кажется, такой грубой, наглой лести, которую не принимал бы он за чистую монету; он нуждался в поклонении, в том, чтобы беспрерывно курили ему фимиам, прославляли его доблести. Мне не

приходилось видеть человека, который так много занимался бы собственной персоной. Ф. И. Тютчев указывал на другой экземпляр в том же роде, на Чаадаева, автора известной статьи[82], и рассказывал о нем характеристические анекдоты. Задумал Чаадаев подарить друзьям свой портрет масляными красками. Найден был живописец, молодой и талантливый человек, усердно принявшийся за работу, но эта работа сделалась для него тяжким мученьем. Чаадаев заставлял его переделывать портрет не менее пятнадцати раз, так что несчастный художник воскликнул однажды:

— Откровенно признаюсь, что я не могу равнодушно смотреть на вас, писать два или три месяца одно и то же лицо — это ужасно!

— Мне остается только сожалеть, — возразил ему с невозмутимым спокойствием Чаадаев, — что вы, молодые художники, не подражаете вашим предшественникам, великим мастерам XV и XVI веков, которые не тяготились воспроизводить постоянно один и тот же тип.

— Какой же это?

— Тип Мадонны.

А вот еще один анекдот о том же Чаадаеве. Однажды поссорился он с Александром Ивановичем Тургеневым и прочел Тютчеву письмо, которое написал своему противнику, письмо крайне резкого содержания: «Mais, mon dieu, vous allez avoir un duel, — сказал ему Тютчев. — «Oh non, je n'ai pas envoyé la lettre». — «Alors pourquoi la garder?» — «Je la garde comme modelè d'éloquence; ne vous rappelle-t-elle pas la fameuse lettre de Rousseau à l'archevèque de Paris?»* Я думаю, что о князе Горчакове можно было бы привести целые десятки анекдотов в том же роде.

В 1863 году имя его прогремело во всей России. «Je suis l'homme le plus populaire en Russie», — говорил он императрице Марии Александровне и, спохватившись, прибавил: «après l'empereur»**. «Очевидно, он сделал эту уступку только из любезности ко мне», —

---

* Но, боже мой, у вас будет дуэль. — О, нет, я письма не послал. — Тогда зачем его хранить? — Я храню его как образец красноречия; не напоминает ли оно вам знаменитое письмо Руссо архиепископу Парижскому? *(фр.)*

** Я самый популярный человек в России... после императора *(фр.)*.

рассказывала императрица Альбединскому. Когда собирались у него гости (я сам неоднократно присутствовал при этом), князь всякий раз приказывал камердинеру принести полученные им с Нижегородской ярмарки платки с изображением на них его портрета. «Вот моя лучшая награда, — воскликнул он, — народ меня знает и любит меня...» Нельзя, конечно, отрицать, что популярность его была значительна, но другой вопрос, обязан ли был он ею самому себе, своим действительным заслугам. Не подлежит, мне кажется, сомнению, что самым главным ее виновником был Катков. Он, т.е. Катков, создал репутацию князя Горчакова точно так же, как еще в гораздо большей степени создал репутацию графа Д. А. Толстого. Тому, кто не пережил сам времени шестидесятых годов, трудно составить себе даже понятие о том громадном влиянии, которым пользовались статьи «Московских ведомостей» по польскому вопросу, о впечатлении, производимом ими на публику. Князь Горчаков слишком заискивал популярности, чтобы не увлечься общим потоком. В 1864 году, когда уже рассеялись тучи, висевшие над Россией, я встретился в Киссингене с нашим послом при Наполеоне III, бароном Будбергом[83], и как-то в разговоре спросил его, что, вероятно, он ценит по достоинству громадные услуги, оказанные Катковым. «Еще бы, — отвечал Будберг, — заслуги эти неисчислимы; Катков давал всему тон; когда в самый разгар нашего столкновения с державами приходили ко мне из России газеты и деловые бумаги, я принимался прежде всего не за депеши нашего министерства, а за «Московские ведомости»; je préférais toujours l'original à la copie»*.

Конечно, барон Будберг не был доброжелателем князя Горчакова, но слова, приведенные мною, были подсказаны ему не враждебным чувством; в них выражалась несомненная истина. Если бы князь Горчаков был действительно проникнут сознанием национальных интересов России, то это отражалось бы не на том или другом отдельном эпизоде, а на всей его политике; смею думать, однако, что именно этого уж никак нельзя сказать о ней. Даже в 1863 году в польском вопросе он обнаруживал сильные колебания,

---

* Я предпочитал всегда оригинал копии *(фр.)*.

ему хотелось сделать решительный шаг, но вместе с тем приходил он в содрогание от воображаемых им опасностей. Д. А. Милютин рассказывал мне, что надо было постоянно ободрять его, внушать ему мужество; однажды после какого-то совещания под председательством государя, совещания, в котором Горчаков склонялся к уступкам требованиям держав, государь, оставшись наедине с Милютиным, сказал ему очень грустным тоном: «Вот с каким человеком приходится мне вести дело». Вечером того дня, когда в «Северной почте» появились известные депеши, я встретил в Павловске князя Горчакова и поспешил подойти к нему с поздравлениями, но, к удивлению, князь, принимавший с таким удовольствием все, что могло ему льстить, казался сильно озабоченным и даже сконфуженным. «Мы дали на себя вексель, — сказал он, — но теперь дело в том, как его уплатить...»

Добрые его отношения к Каткову продолжались недолго. С течением времени они постепенно ухудшались, а пред франко-прусскою войной 1870 года произошел полный разрыв. Не сам лично, а чрез Жомини[84] неоднократно обращался ко мне князь Александр Михайлович с просьбами подействовать на Каткова, который громил Министерство иностранных дел за то, что оно очертя голову бросается в объятия Пруссии. В одном из своих писем ко мне Жомини говорил:

«Nous avons deux catégories d'intérêts qui se contredisent depuis cinquante ans dans notre politique: l'Orient et la Pologne. Par les alliances conservatrices nous avons longtemps cru nous défendre contre les révolutions qui devaient aboutir en Pologne. Nous avons subordonné à cette politique nos intérêts orientaux; dès que nous avons voulu toucher à l'Orient en 1853, ces belles alliances ont croulé et nous avons eu tout le monde contre nous. Actuellement les événements nous placent entre la Prusse et la France; l'appui de l'une peut nous couvrir en Pologne, l'appui de l'autre peut nous aider en Orient. Que vous dit que nos préférences apparentes actuelles pour la Prusse ne se rattachent pas à un marché en train de se faire et que finalement nous ne nous déciderons que pour celle des deux alliances qui nous offrira le plus d'avantages?..»*

---

* Два рода интересов уже пятьдесят лет сталкиваются в нашей

Катков не поддавался, однако, этим заманчивым намекам; он был убежден, что князь Горчаков и не помышляет извлечь выгоды из необыкновенно счастливого для нас положения дел, а если бы даже и задался подобною мыслью, то не сумел бы осуществить ее. События доказали, что он был совершенно прав. Письмо Жомини, из которого я привел сейчас несколько строк, не только не убедило его, но нападки его на нашу близорукую политику сделались еще резче и запальчивее. Вследствие сего я получил записку от барона Жомини:

«Le prince Gortchakow me charge de vous dire qu'en s'adressant par votre entremise à M. Katkow il ne parlait nullement comme ministre à un journaliste, mais de patriote à patriote, persuadé que, poursuivant le même but national, on devait supposer le désir mutuel d'y concourir, chacun dans sa sphère et non celui de se contrecarrer. Mais puisqu'au lieu de nous donner son concours, Mr. Katkow prôfite d'un avis tout-à-fait privé et confidentiel pour se livrer à de grossières attaques, nous nous abstiendrons désormais de compter sur sa coopération et nous tâcherons de nous en passer»*.

Так действительно князь Горчаков и поступил. Не знаю только, гордился ли он тем, что доставил Пруссии полную возможность достигнуть всего, чего она хотела, а мы остались ни при чем.

политике: Восток и Польша. Предохранительными союзами мы долгое время рассчитывали защитить себя от революции, которая должна была произойти в Польше. Мы подчинили этой политике наши восточные интересы; как только мы захотели коснуться Востока в 1853 г., эти прекрасные соглашения рухнули, и все оказались против нас. Ныне события ставят нас между Пруссией и Францией; поддержка одной прикрывает нас в Польше, поддержка другой может нам помочь на Востоке. Кто вам сказал, что наши нынешние видимые предпочтения Пруссии не связаны с подготовляющимся договором и что в конце концов мы не выберем тот из союзов, который окажется наиболее выгодным?.. *(фр.)*

* Князь Горчаков поручил мне вам сказать, что, обращаясь при вашем посредничестве к г-ну Каткову, он отнюдь не говорил как министр журналисту, но как патриот патриоту, уверенный, что, стремясь к одной и той же национальной цели, следует предполагать взаимное желание соревновать друг другу, каждому в своей области, а не противодействовать. Но поскольку вместо оказания содействия г. Катков пользуется совершенно частным и конфиденциальным суждением для грубых выступлений, мы отныне перестанем рассчитывать на его сотрудничество и постараемся обойтись без него... *(фр.)*

В заключение маленький анекдот для характеристики князя Горчакова. Он чрезвычайно любил щеголять пышными фразами, не вдумываясь, однако, надлежащим образом в их смысл; в устах его постоянные разглагольствования о национальной политике, о законных интересах России были, к сожалению, не более как фразой; много и других фраз не сходило у него с языка. Так, например, он являлся жарким поборником свободы печати, не допускал для нее на словах ни малейших стеснений, а между тем его коробило от самых невинных вещей, появлявшихся в печати, если они имели к нему хотя малейшее отношение. В 1864 году я очень часто виделся с ним в Киссингене, где он находился при государе. Однажды я упомянул в разговоре, что читаю с большим интересом немецкую книгу Мендельсона-Бартольди о графе Каподистрии[85], которого князь Горчаков знал лично и отзывался о нем с большими похвалами. «Я уверен, — сказал он, — что ваш немецкий автор не имеет понятия об одном весьма важном документе, а именно об автобиографической записке графа Каподистрии, поданной им императору Николаю Павловичу; эта записка хранится в архиве нашего министерства, и, если хотите, я вам дам ее по возвращении в Петербург».

Князь был так любезен, что не только не забыл своего обещания, но разрешил мне познакомить публику с упомянутою автобиографией. Следствием сего была моя статья, появившаяся в «Журнале Министерства народного просвещения». Привожу из нее следующее место (дело идет о посещении императором Александром Павловичем Варшавы, после того как Царству Польскому дарована была конституция): «Графу Каподистрии поручено было составить проект тронной речи для открытия сейма на основании мыслей, высказанных ему государем, причем против некоторых из них он позволил себе представить возражения. Чрез несколько дней после того, говорит он, я прочел императору упомянутую речь, которую он оставил себе, сказав, что мы займемся ею после, а это означало, что его величество не был доволен моим трудом. Действительно, Каподистрии поручено было заняться снова тою же работой, но уже на этот раз придерживаясь почти буквально проекта, начертанного самим государем. Каподистрия выполнил за-

дачу; оставаясь, однако, неизменно верным своему прежнему образу мыслей, он решился написать опять свой собственный проект и представил одновременно тот и другой на усмотрение его величества.

— Вы не поддаетесь, — сказал Александр после нескольких минут молчания, — это более чем настойчивость; жаль, что вы трудились понапрасну; благодарю вас, но я предпочитаю свою редакцию вашей.

Я умолял государя выслушать меня еще раз и изложил ему причины, побудившие меня быть до такой степени докучливым.

— Все это прекрасно, — отвечал он, — но я не изменяю своего решения; подумаю, впрочем, нельзя ли из этих двух проектов составить третий.

В течение дня государь позвал меня в кабинет и вручил, как он выразился, свой ультиматум.

— Прикажите переписать эту речь, я произнесу ее завтра. — Император заменил несколько фраз своей редакции другими, заимствованными из моего проекта, но сущность осталась та же».

Вот и все. Из приведенных строк читатель мог только заключить, что граф Каподистрия не сходился с императором Александром Павловичем во взглядах на польский вопрос, не разделял его увлечений поляками, но что же тут особенного? Разве уже не были напечатаны документы, свидетельствовавшие, что и в других из своих приближенных Александр не встречал сочувствия, разве публика не была знакома со знаменитым письмом Карамзина, разве во время польского восстания 1863 года во всех газетах, начиная с «Московских ведомостей», не было высказано все, что только можно было сказать о гибельных последствиях политики Александра Павловича? В состоянии ли был я предположить, что, резюмируя в нескольких словах воззрения Каподистрии на польский вопрос, я совершаю нечестивое дело?.. А между тем князь Горчаков обвинял меня в злоупотреблении его доверием и месяца два дулся на меня! Мало того, впоследствии он разрешил Русскому историческому обществу напечатать вполне автобиографию графа Каподистрии, но потребовал исключить из нее то место, которое касалось Польши...

Наряду с Гамбургером ближайшим к князю человеком был Жомини, о котором я упомянул выше.

Вот тоже интересная фигура! Швейцарец по происхождению, француз по складу ума, образованию и образу мыслей, он так и остался французом до конца своих дней. Не только не был он «русским» дипломатом, но я полагаю, что нельзя было бы нарочно приискать человека, менее пригодного вообще для дипломатии. Дарования его не подлежат сомнению, он мог в течение недели написать целые десятки более или менее блестящих по форме депеш, но содержание их представлялось ему совершенно безразличным. Таков был он во всем; это был какой-то артист, не имевший вовсе определенного образа мыслей и который мог бы по справедливости применить к себе слова, сказанные каким-то французом: «Que voulez vous, je ne suis jamais de mon avis»*. Он потешал нас своими противоречиями и с обычным своим добродушием не думал сердиться, когда мы смеялись над ним. Вдруг, например, начинал он превозносить до небес императора Александра Николаевича: «Укажите мне в истории, — говорил он, — более славное царствование; достаточно одной такой великой и благотворной реформы, как эмансипация крестьян, чтобы навеки обессмертить монарха». Затем чрез каких-нибудь полчаса, когда беседа касалась, положим, нашего материального разорения, Жомини с точно таким же пафосом восклицал: «Cette maudite émancipation des paysans, qui a ruiné toute la noblesse»** и т. д. Русским языком не владел он вовсе; кое-как умел он составить небольшую фразу, немилосердно коверкая слова; все это не мешало ему, в свою очередь, распространяться о политике, основанной на национальных интересах, причем он иногда ошеломлял своего собеседника соображениями, что восточный вопрос не существует для нас вовсе, что он имеет значение для Западной Европы, но отнюдь не для России. С. М. Соловьев рассказывал мне, что, беседуя однажды с Жомини о своих занятиях, он упомянул об изготовляемом им обширном труде, который был посвящен иностранной нашей политике в царствование Александра I.

---

* Что поделать, я никогда не бываю согласен со своими суждениями *(фр.)*.

** Проклятое освобождение крестьян, разорившее все дворянство... *(фр.)*

Жомини удивился. «Что же вы надеетесь сообщить тут нового, — заметил он, — ведь все это уж описано Тьером...»

В шестидесятых годах познакомился я с другим, гораздо более видным деятелем Министерства иностранных дел, который занимал в то время должность директора Азиатского департамента /граф Н. П. Игнатьев./ Но о нем я буду иметь случай сообщить несколько сведений в другом месте.

В дополнение к моему рассказу о князе Орлове считаю не лишним поместить здесь письмо, полученное мною от его тестя, князя Н. И. Трубецкого. Подлинник его сохранился у меня вместе с письмами других лиц; вот оно:

Бельфонтен, 11/23 марта 1869 года.

«На ваше дружеское письмо я хочу отвечать по почте; говорят здесь, что у нас все письма распечатываются, да пусть так, а мне что за дело; честному человеку нечего бояться; у него на душе, что и на языке, и он не запнется высказать свои убеждения, кто бы ни пожелал их узнать. Так пусть читают себе досыта. Заговорщик другое дело; как бы наивен он ни был, а все-таки смыслу станет, чтобы не проговориться в письме. Спрашивается, кому же выгодно от вскрытия писем? Разве чиновникам III отделения, получающим огромное содержание в ущерб казне и податному сословию. Позволительно здешнему тузу (императору Наполеону. — *Е. Ф.*) прибегать еще к такому способу открытия заговоров, потому что, будучи сам заговорщиком во время оно, он не может забыть, что сам попался два раза в кандалы, когда способ был в полном действии секретно (?), но ведь с тех пор люди поумнели, и мне кажется, что это лишь повод к тому, чтобы меньше писали письма, и особенно поощрение выдумывать разные средства секретных сообщений, о которых бы и не думали иначе.

После предисловия поспешаю благодарить вас, благодарить от души, а не то что сердиться за вашу откровенность. Ваш отзыв подтверждает мои предположения, но справедливо ли судят — это другой вопрос. Во-первых, нет более преданного слуги Отече-

ству и престолу, но при этом каждый может иметь свое собственное убеждение насчет лучшей меры для водворения спокойствия в крае. Что Орлов не стоял и не стоит за поляков, в том служит доказательство то презрение к популярности между ними, какое он оказывает, преследуя подделывателей государственных кредитных билетов не на живот, а на смерть. Стоять за административную автономию не значит стоять за поляков; это мнение разделяют люди государственные и нелицемерные русские. Ведь Финляндия пользуется же автономией, и даже в состав ее вошла Выборгская губерния, давно присоединенная к России. Неужели выгоднее для России управлять народностями нерусскими в смысле завоеванных, неужели, предоставив им некоторую самостоятельность, спаивать их, так сказать, понемногу с преобладающей народностью посредством выгод и самосохранения (?), ибо эти иноземцы не могут же существовать отдельно. Вы скажете, что в том-то поляки и не убеждены, да ведь это сумасбродство; когда же Украйна либо Белоруссия поддадутся Польше? Стоит правительству махнуть пальцем, и ни единого поляка не останется на всей Русской земле. Я пойду дальше: присоедините Смоленскую, Новгородскую, Псковскую губернии к Белорусской области, а Черниговскую, Полтавскую, Харьковскую к заднепровской Украйне, и вы получите тотчас же большинство даже в помещичьем сословии, если только вместо губернских земств будут установлены областные земства. В уездных земствах большинство всегда оставалось бы на стороне выбранных крестьян, и тогда нововведения, обессмертившие нашего славного царя, могли бы тотчас быть вводимы без опасения по всей России. И Белоруссия, и Малороссия, и Новороссия не менее самой Москвы русские земли, но состав областной, кроме того, что имеет историческое значение, с экономической точки зрения даст возможность строить железные дороги, заводить школы и проч. без всякой государственной гарантии и тем облегчить государственную казну, столь затрудняющуюся в своих оборотах.

Что же касается дружбы Орлова с великим князем Константином Николаевичем, то Орлов был бы достоин презрения, если бы изменил ему в то самое время, как общественное мнение восстало против

него. Они вместе учились, вместе воспитывались, и как же после этого было ему изменить или охладеть к нему. Но тут нет ничего общего с польским вопросом (?!)».

В этом письме глупость Н. И. Трубецкого выразилась вполне, но ведь несчастный старик болтал лишь то, что слышал от своего зятя князя Н. А. Орлова, который, в свою очередь, учился мудрости у великого князя Константина Николаевича, следовавшего советам Головнина и ему подобных.



глава третья

Славянофилы и западники. — Профессор П.Н. Кудрявцев. — Молодость М.Н. Каткова. — Н.П. и М.Л. Огаревы. — М.А. Бакунин. — Катков в Московском университете. — Закрытие кафедры философии. — «Московские ведомости». — Пораженческие настроения эпохи Крымской войны. — Письмо К.Д. Кавелина о смерти Николая I. — Общественный подъем середины 50-х годов. — Начало издания «Русского вестника». — Б.Н. Чичерин. — Столкновение М.Н. Каткова с А.И. Герценом. — Академия генерального штаба в 1862 году. — Литератор С.С. Громека. — Арест поэта М.И. Михайлова. — Приезд в Москву Н.Г. Чернышевского. — Московская дворянская фронда — Мысли Николая I о дворянстве и крестьянской реформе. — М.Н. Катков как публицист и общественный деятель. — «Окраины России» Ю.Ф. Самарина. — Шеф жандармов граф П.А. Шувалов. — Обращение министра внутренних дел к представителям печати в 1871 году. — Задачи национальной политики 60-х и 70-х годов. — Лекции П.Л. Лаврова. — Официальное германофильство. — Берлинский двор в 1871 году. — Принц Фридрих-Карл и император Вильгельм в Петербурге. — Свидание М.Н.Каткова с великим князем Константином Николаевичем. — Проект назначения И.С. Тургенева и М.Н. Каткова членами Государственного совета в 1881 году.

Во время моей молодости общество людей образованных, живших умственными интересами, было немногочисленно в Москве и распадалось, как известно, на два кружка: один из них сформировался около Т.Н. Грановского, во главе другого стояло семейство Аксаковых и Хомяков. Но были люди, которые не примыкали вполне ни к тому, ни к другому из этих кружков; к числу их принадлежал профессор всеобщей истории в университете П.Н. Кудрявцев[86].

Странно было бы, если бы в своих воспоминаниях не упомянул я об этом горячо любимом мною человеке, которому, точно так же как Т.Н. Грановскому, обязан был я чрезвычайно много своим умственным развитием. Графиня Салиас (Евгения Тур) предвосхитила многое, что я мог бы сказать о нем, в превосходной статье своей, помещенной на страницах «Полярной звезды» — журнала, который очень короткое время издавал ее сын. Я заметил сейчас, что кружок Грановского не считал Петра Николаевича одним из своих членов, но из этого не следует, чтобы от самого Грановского держался Кудрявцев в стороне; напротив, глубокая и искренняя симпатия соединяла их; не было, кажется, человека, которого он более любил бы и уважал, но Кудрявцев отличался натурй сосредоточенною, замкнутой, слишком дорожил святыней своего внутреннего мира, чтобы не ограждать ее от назойливых посягательств и притязаний кружковщины. Истинным наслаждением была для него беседа с Тимофеем Николаевичем; никакого удовольствия не

находил он в общении со многими из окружавших его лиц. Редко приходилось мне встречать человека, в котором проявлялось бы так много нежности и чувствительности, самой утонченной деликатности — эти свойства были развиты в нем в высшей степени, и все, что способно было оскорблять их, отзывалось на нем крайне тяжело. Особенно дурно подействовала на него школа; происходя из духовного звания, он обучался в Московской семинарии и вынес из нее солидные сведения, но грубость господствовавших там нравов, грубость и товарищей, и начальства произвели на него такое впечатление, что никогда не вспоминал он об этом периоде своей жизни иначе, как с содроганием. Идеалист в лучшем смысле слова, он оставался до конца своей жизни глубоко верующим человеком, только верования его не совсем сходились с теми, каким обучали его в семинарии. Горячо любил он отца своего, одного из московских священников, и относился далеко не дружелюбно к духовенству вообще. Не способен был он даже оценить того, что было поистине высокого в знаменитом московском иерархе митрополите Филарете, и видел в нем только одного из главных виновников гнета, который, порабощая наше духовное сословие, развивал в нем непривлекательные наклонности.

Когда по окончании университетского курса Петр Николаевич выступил на поприще общественной деятельности, господствовавшие у нас порядки не представляли ничего отрадного; сколько помню, он занял кафедру в Московском университете в 1848 году, тотчас по возвращении своем из-за границы, а именно с упомянутого года наступило беспощадное, и тупоумное преследование всякой живой мысли, малейшего проявления самостоятельности в обществе. Неудивительно, что Кудрявцев еще более укрепился в том либеральном направлении, которое, несмотря на все строгости николаевского режима, охватило большинство образованных людей. Лекции его привлекли к нему тотчас же симпатии лучших между его слушателями; в течение целого годичного курса читал он нам о реформации, и, конечно, курс этот был таков, что не стыдно было бы выступить с ним в любом из европейских университетов; припоминая его по сохранившимся еще у меня, хотя и далеко не полным за-

пискам, могу заключить, что главное достоинство упомянутых лекций состояло в обширном знакомстве профессора с литературой предмета, а также в искусстве изложения. Особенно характеристика Лютера, подробное изложение того процесса, каким дошел он до разрыва с католицизмом, сильно действовали на нас.

Странное дело, взоры Грановского и Кудрявцева обращены были главным образом к Европе; там они искали своих идеалов; первый из них никогда не изучал сколько-нибудь внимательно русской истории, а второй следил за всем, что появлялось замечательного по этой части в печати, но у Грановского все-таки национальное чувство и сознание русских государственных интересов проявлялось гораздо сильнее. «Нельзя, — говорил П.Н. Кудрявцев, указывая на С.М. Соловьева[87], — безнаказанно сосредоточивать свои занятия исключительно на русской истории». Тимофей Николаевич был другого мнения; в Соловьеве он высоко ценил политический его смысл. Упомяну, между прочим, о следующем обстоятельстве: в то время, о котором идет речь, значение польского вопроса представлялось весьма смутным для многих, причислявших себя даже с достаточным основанием к числу людей образованных; можно сказать без преувеличения, что сущность этого вопроса разъяснилась вполне для большинства общества лишь с 1863 года благодаря преимущественно М.Н. Каткову. Подобно многим другим, Кудрявцев видел в разделах Польши только грубое насилие и желал для поляков свободы, увлекаясь какими-то смутными мечтаниями о том, что они воспользуются ею без вреда для России. В своем отношении он вовсе не сходился с Грановским, который высказывал о вековой распре России с Польшей суждения, смущавшие даже ближайших его друзей, как это случилось, между прочим, однажды при весьма резком его столкновении с поляком Вернадским[88], профессором политической экономии в Московском университете. Вернадский позволил себе презрительный отзыв о России, что не прошло ему даром со стороны Грановского.

Гораздо более ученым в настоящем смысле слова был Кудрявцев, чем сотоварищ его по кафедре истории. Зная основательно греческий и латинский языки,

он обращался прямо к источникам; Грановский не мог соперничать с ним в этом отношении, зато начитанность его была изумительна; мало того, что он читал много и очень быстро, но все прочитанное сохранялось в его памяти. В частной беседе Тимофей Николаевич увлекал блестящим и тонким остроумием — такими качествами, которыми не обладал Кудрявцев; не представляют ничего особенно яркого и повести Петра Николаевича; но всякий, кто захочет составить себе ясное о нем понятие, должен обратиться к этим литературным его произведениям, ибо в них отражается все, что было прекрасного и глубоко нравственного в его натуре. Он страстно любил искусство и верно судил о нем; когда отправили его за границу для подготовки к университетской кафедре, он, прослушав несколько курсов в германских университетах, поспешил в Италию и с трудом мог вырваться оттуда; такое обаятельное впечатление произвела она на него своими художественными сокровищами. Заветною его мечтой было посетить еще раз этот чудный мир, и мечта эта наконец осуществилась. Когда, вскоре по кончине императора Николая, открылись для всех желающих двери в Европу, Кудрявцев поспешил один из первых воспользоваться этою счастливою переменой, и как он радовался! Кто мог предположить, что впереди ожидает его такое горе, которое и самого его сведет в могилу: «Вся эта поездка от Москвы до Флоренции, — говорил он мне впоследствии, — была погребальным шествием...»

Кудрявцев отправился в Италию в конце лета 1856 года, а через несколько месяцев позднее и мне представилась возможность поехать за границу. Там получал я от него письма, проникнутые сильной тревогой по поводу болезни его жены, но трудно было понять, каким недугом она страдала. Варвара Арсеньевна Кудрявцева — женщина, отличавшаяся всегда крепким здоровьем, — поднимаясь однажды по лестнице какого-то дворца во Флоренции, вдруг почувствовала сильную боль, как будто у нее что-то оборвалось в полости живота, и с этой минуты она испытывала ужасные страдания. Читая впоследствии биографию известной английской писательницы Шарлотты Бронте, я остановился на предположении, что признаки смертельного ее недуга были почти такие же, как у

Кудрявцевой; замечательно, что английские доктора так же мало сумели объяснить его причину, как и доктора итальянские, лечившие жену Кудрявцева.

Мне не удалось тогда заехать во Флоренцию, потому что из Генуи должен был я отправиться в Рим морем. Там получил я от Петра Николаевича телеграмму: «Все кончено, приезжайте, если можно» — и поспешил к нему. Боже, в каком я нашел его положении! Справедливо выразился тогда Некрасов, тоже бывший во Флоренции, что «на лице у него виден гроб».

Кудрявцев любил посещать во Флоренции монастыри, изучая их архитектуру и сохранившиеся в них памятники; какой-то из этих монастырей особенно интересовал его; можно сказать положительно, что он знал в нем почти каждый угол. Однажды жена его почувствовала себя настолько лучше, что он успокоился и по неотступным ее просьбам счел возможным сделать небольшую прогулку; машинально отправился он к упомянутому монастырю и вдруг наткнулся там на надгробный памятник, которого никогда не видал прежде, — памятник с русскою надписью, гласившею, что под ним погребено тело какой-то нашей соотечественницы, принявшей католицизм. Непостижимо томительное чувство овладело им; чуть не бегом бросился он домой и застал жену в предсмертной агонии. Она скончалась через два часа после его прихода[89].

Бедный Петр Николаевич! Он поехал со мной в Рим и поместился там в том же доме, где жил я и семейство графини Салиас. Утешать его значило бы только растравлять раны его сердца; он не хотел быть в тягость никому, старался принимать участие в беседе, но для всякого было ясно, что дни его сочтены. Из Рима совершенно одинокий отправился он в Россию, а в начале 1858 года пришло в Париж, где я находился, известие об его кончине.

У Кудрявцева сблизился я с М.Н.Катковым[90].

Вполне схожих портретов этого человека, снискавшего столь славную известность, не сохранилось; во всяком случае, они не дают понятия о том, каким был он в своей молодости, когда я познакомился с ним. Весьма привлекательное и выразительное лицо его носило, однако, болезненный отпечаток; вообще

Катков отличался крепким сложением, но нервная его система была потрясена в высшей степени; особенно мучился он бессонницей, по нескольку дней сряду не знал почти вовсе сна; впрочем, и впоследствии этот недуг не покидал его. Жил он уединенно, посещал лишь немногих знакомых; тесная дружба соединяла его с П.М. Леонтьевым[91], а через Леонтьева он сблизился с Кудрявцевым. У Грановского не показывался он вовсе, и это казалось странным для многих, не имевших понятия о столкновении его с кружком Тимофея Николаевича. Графиня Салиас рассказывала мне по этому поводу следующее: вскоре после женитьбы Огарева между его женой, светскою, молодою, любившею развлечения, и приятелями ее мужа начался разлад, усиливавшийся с каждым днем; она не могла выносить людей вроде Кетчера, оскорблявшего ее грубостью своих манер, обвиняла их в том, будто бы они хотели завладеть им, а они со своей стороны утверждали, что m-me Огарева старается порвать тесную связь, издавна соединявшую их с Николаем Платоновичем[92]. Победа, видимо, склонялась на сторону кружка, тем более что m-me Огарева нередко обнаруживала большую бестактность. Из всех лиц, посещавших ее мужа, она высоко ценила только Каткова, который страстно влюбился в нее. Однажды известный М. Бакунин вошел в кабинет m-me Огаревой и увидел, что Катков сидит на скамейке у ее ног, положив голову на ее колени; он быстро ретировался, но не замедлил рассказать о сцене, которой пришлось ему быть свидетелем. Друзья Николая Платоновича сильно возмутились, хотя с точки зрения их теорий не следовало бы им, кажется, обнаруживать большую строгость в этом случае; проповедь Жорж Занд приводила их в восторг. Произошло неприятное объяснение, и Катков порвал всякие сношения с кружком. Таков рассказ, слышанный мною от графини Салиас, которая могла иметь верные сведения по своей близости с Огаревым[93]. Замечу здесь, что сего последнего я видел лишь раза два (ибо вскоре он совсем уехал за границу), и производил он на меня впечатление какого-то физически расслабленного человека.

Известно, что Катков вызвал Бакунина на дуэль, и оба они должны были ехать для этого за границу, но

Бакунин благоразумно уклонился от угрожавшей ему опасности[94].

О Бакунине я мог составить себе понятие только по рассказам Грановского и других лиц, и нельзя сказать, чтобы они клонились в его пользу. Совершенно независимо от его сумбурных теорий и беспутных подвигов за границей, где он являлся странствующим рыцарем всевозможных революций, это была порядочная скотина*. Делать долги, не помышляя об уплате их, забирать в магазинах книги на имя своих приятелей без их ведома, бесцеремонно тратить деньги, вручаемые ему для передачи кому-нибудь, — все это считал он делом обыкновенным и безупречным[95]. Частная собственность, то есть собственность чужая, не существовала для него еще задолго до того времени, как он возвел отрицание ее в принцип. Как-то, еще в пятидесятых годах, И.С. Тургенев, имевший привычки хранить всякие получаемые им письма, показал мне огромную пачку писем Бакунина и на замечание мое, что они должны быть очень интересны, отвечал: «Можете взять их для прочтения, да пожалуй уж, и не возвращайте их мне». Меня удивило это равнодушное отношение Ивана Сергеевича к письмам близкого ему человека, но, ознакомившись с ними, я перестал удивляться: в них только и говорилось, что о займах, долгах, о столкновениях с ростовщиками и т.п.[96] Если бы письма Бакунина представляли какой-либо ничтожный, малейший интерес, я, конечно, сохранил бы их, но в этом не представлялось надобности.

Я убежден, что и помимо того столкновения, о котором рассказано мною со слов графини Салиас[97], Михаил Никифорович раньше или позднее все-таки разошелся бы с кружком Грановского, как и со всяким другим. И по характеру, и по своему уму он был слишком самостоятелен, чтобы занимать место в

---

* «Всегда признавал и теперь признаю я в тебе благородную львиную породу, дух могущий и глубокий, необыкновенное движение духа, превосходные дарования, бесконечное чувство, огромный ум, — писал В.Г. Белинский 12 — 24 октября 1838 г. М.А. Бакунину. — Но в то же время признавал и признаю чудовищное самолюбие, мелкость в отношениях с друзьями, ребячество, легкость, недостаток задушевности и нежности, высокое мнение о себе на счет других, желание покорять, властвовать, охоту говорить другим правду и отвращение слушать ее от других» (Письма Белинского. Спб., 1914. Т. 1. С. 302). — *Ред.*

каком-нибудь хоре, связать себя узами, налагаемыми даже самою тесною дружбой[98]. Он всегда был сам по себе, а в кружке требовалось, чтобы все походили друг на друга, диссонанс не допускался. Ведь Герцен и глупый Огарев чуть не разошлись с Грановским из-за того, что Грановский признавал существование личного Бога, а они считали подобное верование обскурантным. Уже гораздо позднее, в 1853 или 1854 году, — не могу с точностью определить время — Катков начал снова посещать Грановского, который, впрочем, всегда пользовался его уважением, но посещения были редки.

Незадолго до этого вступил он в брак с княжной Шаликовой, дочерью бездарного поэта, и событие это немало изумило близких к нему лиц[99]. Все знали, что он был страстно влюблен в m-lle Делоне, дочь доктора, пользовавшегося некоторою известностью в Москве; я не был знаком с нею, но мне случалось встречать ее в обществе, где она производила самое приятное впечатление; это была девушка красивая, умная, образованная, она изучала даже греческий язык под руководством лучшего из тогдашних преподавателей Каетана Коссовича; при всем том не замечалось в ней и тени того, что называют «синим чулком», ни малейшего признака аффектации[100]. Таковы были общие о ней отзывы. Катков был без ума от m-lle Делоне и сделал ей предложение, которое было принято; вскоре после того случилось ему куда-то уехать — сначала жених и невеста беспрерывно обменивались письмами, затем письма Михаила Никифоровича становились все реже, холоднее и наконец совсем прекратились. Впоследствии, когда Делоне была уже много лет женой известного петербургского доктора-психиатра Балинского, она рассказывала Т.И. Филиппову, что решительно не в состоянии объяснить причину разрыва с ней Каткова, что с ее стороны не было ни малейшего к тому повода. Трудно, однако, предположить, чтобы и Михаил Никифорович, относившийся всегда так глубоко, серьезно к принимаемым им на себя обязательствам, не отдавал себе строгого отчета в своем поступке. Загадка эта осталась неразрешенною. Никогда не слыхал я даже от ближайших друзей Каткова, чтобы он сообщил им что-нибудь об этом эпизоде в своей жизни; впрочем,

нет ничего удивительного в этом, потому что он не любил пускаться в откровенности о самом себе. Что касается Делоне, то последующая ее участь была некрасива: по словам Филиппова, который поддерживал с нею близкие отношения в память их общего друга Коссовича, муж этой несчастной женщины мучил ее самою бессмысленною ревностью.

Но вот что изумительно: вскоре после разрыва с своею прежнею невестой Михаил Никифорович, как упомянул я выше, женился на княжне Шаликовой. Что он нашел в этой особе, никак нельзя понять! Тщедушная, маленького роста, она была очень дурна собой; образование ее не шло далее умения болтать по-французски, но все бы это еще ничего, если бы не образцовая ее глупость. Чем могла она подействовать на такого человека, как Катков? Княжеский ее титул ровно ничего не значил, состояния она не имела никакого: Шаликовы, без всякого преувеличения, находились чуть не в нищете. Ф. И. Тютчев по поводу этого странного союза человека не только умного, но почти гениального с глупою женщиной заметил однажды: «Que voulez-vous, probablement Katkow a voulu mettre son esprit à la diette»*. Сколько лет я был связан тесною дружбой с Михаилом Никифоровичем, но никогда не мог сойтись с его супругой; она положительно действовала мне на нервы. Глупость кроткая, безобидная, пожалуй, примиряет с собой, другое дело глупость с претензиями, которых у Софьи Петровны Катковой было очень много, и самых нелепых.

Кафедру философии в Московском университете Катков вынужден был покинуть вследствие общего распоряжения, которым преподавание этого предмета возложено было на духовных лиц, профессоров богословия. Вспоминаю при этом рассказ Н.А. Любимова, находившегося в весьма близких отношениях к семейству тогдашнего попечителя Московского учебного округа генерал-адъютанта Назимова[101]; не подлежит ни малейшему сомнению, что Назимов передавал вполне точно слова императора Николая, выслушанные им с благоговением перед мудростью монарха, и

---

* Что же, вероятно, Катков хотел свой ум посадить на диету *(фр.)*.

точно так же нельзя усомниться в правдивости такого человека, как Любимов. Вскоре после состоявшейся меры относительно преподавания философии император в разговоре с Назимовым спросил его: «Случалось ли тебе когда-нибудь читать философское сочинение?» «Нет, ваше величество, не случалось», — отвечал изумленный Владимир Иванович, который вообще чтение каких бы то ни было книг не считал полезным и приятным занятием. «Ну а я прочитал их все и убедился, что все это только заблуждение ума». Известно, что в сороковых годах философия была в большом почете в интеллигентных кружках нашего общества, но плодов от этого оказалось мало; Гегелем и Шеллингом зачитывались, потому что имена их гремели в Европе; увлечение ими не оставило, однако, прочного следа у нас: Катков занимал видное место среди тех немногих лиц, которые серьезно изучали философию, и лекции его по этому предмету начинали уже сильно интересовать студентов, как вдруг он вынужден был прервать их. Если бы суждено было ему оставаться более продолжительное время на кафедре, то, вероятно, он много содействовал бы успехам философского образования в России.

Выброшенный обскурантным распоряжением правительства из университета, лишенный всяких материальных средств, он был очень рад, что ему удалось занять место редактора «Московских ведомостей». Вести эту газету так, как ему хотелось бы, он не мог; она находилась совершенно в распоряжении правительства, суммы на ее издание были крайне скудны, но все-таки Катков с первых же шагов успел оживить ее и пробудить к ней интерес публики. А между тем время, когда выступил он впервые на журнальное поприще, было грозным временем для России: вскоре началась Крымская война.

В печати не раз указывалось на то обстоятельство, что люди, вращавшиеся в сфере умственных интересов, мечтавшие о лучшей будущности для своего Отечества, вовсе не были воодушевляемы тогда патриотическим чувством: явление, по-видимому, в высшей степени странное, безобразное, и очень понятно, что впоследствии делаемы были попытки сгладить, умалить его значение. Так, между прочим, поступил Станкевич в своей прекрасной биографии Т.Н. Гра-

новского*. Память Тимофея Николаевича для меня священна, я беспредельно любил его, и он всегда оказывал мне доброе расположение, но не считаю нужным утаивать, что и он, и люди, составлявшие его кружок, и те, которые, не принадлежа к этому кружку, были солидарны с ним по своему образу мыслей, оставались более чем равнодушны ко всяким воинственным увлечениям. Конечно, только изверг мог бы радоваться бедствиям России, но Россия была неразрывно связана с императором Николаем, а одна мысль о том, что Николай выйдет из борьбы победителем, приводила в трепет. Торжество его было бы торжеством системы, которая глубоко оскорбляла все лучшие чувства и помыслы образованных людей и с каждым днем становилась невыносимее; ненависть к Николаю не имела границ. Чрез несколько дней после его кончины получено было из Петербурга письмо К.Д. Кавелина[102], вероятно, сохранившееся в бумагах какого-либо из его московских друзей: это был вопль восторга, непримиримого озлобления против человека, воплощавшего собой самый грубый деспотизм. Письмо переходило из рук в руки и в каждом из читавших его вызывало полное сочувствие.

О тогдашнем настроении известной, весьма многочисленной части общества свидетельствуют и «Московские ведомости». Просматривая их теперь, трудно поверить, чтобы они были издаваемы Катковым, тем самым Катковым, который впоследствии представил столько доказательств своего пламенного патриотизма: так бледно отражались в них события, тревожившие всю Россию. Конечно, главная вина этого лежала на безобразной цензуре; она требовала, чтобы и самый патриотизм выражался по казенному шаблону, — в этом случае правительство императора Николая, несмотря на постигшие его невзгоды, оставалось неуклонно верным самому себе. Si non e vero, e ben trovato: рассказывали, будто император спросил однажды графа А.Ф. Орлова, чем занята публика, и на ответ, что повсюду только и думают и говорят о войне, заметил: «А им что за дело до этого?» Иногда, впрочем, у правительственных лиц являлась мысль,

---

* А. Станкевич. Тимофей Николаевич Грановский (биографический очерк). М., 1896. — *Ред.*

что хорошо было бы, если бы в печати послышались отголоски злобы дня; между прочим, Назимов — вероятно, по чьему-нибудь совету — выразил московским профессорам желание, чтобы они взялись за перо. Тотчас же отозвался на это Вернадский; статья его, в которой он изображал жестокосердную и коварную политику Англии, появилась в «Московских ведомостях», и чрез непродолжительное после этого время получил он орден. Назимов в профессорской комнате (слышано мною от Грановского) имел бестактность сказать: «Вот Вернадский награжден, а другие молчат — им шиш».

Катков, видимо, стеснялся идти вразрез с настроением лучшей части общества, стеснялся не из угодливости ему — это было совершенно не в его характере, — а потому, что в нем накипело слишком много горечи ввиду безобразий николаевского режима: «Если бы император Николай восторжествовал, — говорил он, — то трудно и представить себе, что сделалось бы с ним; он уподобился бы Навуходоносору — вышел бы в Летний сад и стал бы щипать траву...»

И всегда впоследствии Катков отзывался с негодованием о николаевском режиме. Помню, что уже в восьмидесятых годах на обеде у И.Д. Делянова некоторые лица с пресловутым князем Мещерским («Гражданином») во главе вздумали доказывать, что Николай был великий человек. Михаил Никифорович очень горячо и убедительно утверждал, напротив, что именно его и следует считать одним из главных виновников нашего нигилизма.

Пронеслась севастопольская «буря». Россия, хотя и побежденная, все-таки вздохнула свободно; не только не проявлялось нигде упадка духа, но возникали самые радужные надежды на будущее. Отразилось это и на литературе. Катков начал помышлять о своем собственном журнале. Только очень немногие и особенно близкие к нему люди предвидели, сколько ума и дарований обнаружит он на этом поприще. «Никто и не подозревает, — говорил мне его друг П.М. Леонтьев, — какие таятся в нем разнообразные сокровища духа». Действительно, это представлялось еще загадкой. Все, и даже недоброжелатели Каткова, считали его очень крупной силой, но никому не приходило в голову, чтобы деятельность публициста бы-

ла его призванием. «Из Каткова, — говорил Грановский, — может выработаться отличный ученый; он уже отчасти доказал это своими трудами, но от журналиста требуется нечто другое, чего у него нет и в помине». Одновременно с Катковым хлопотал о журнале и Евгений Корш, один из друзей Грановского, о котором в кружке составилось чрезвычайно высокое мнение; это был человек неглупый, образованный, но почему-то считали его великим мудрецом, каждое слово которого должно цениться на вес золота. И.С. Тургенев, нередко составлявший себе понятие о людях с чужих слов, охотно верил этому: «Я преклоняюсь пред Коршем, — говорил он, — уж если что-нибудь прошло чрез его мозг, так это так зрело, так основательно, что устраняет всякую возможность спора и сомнений...» К сожалению, это лестное мнение об Евгении Корше не оправдывалось ровно ничем; он блистал только в обществе своих приятелей, публика знала его лишь по более или менее удачным переводам с иностранных языков; доживя до глубокой старости, ничего другого он не произвел и произвести не мог.

Опасаясь разъединения сил, Катков предложил Коршу издавать журнал сообща, но право издания было выхлопотано на имя Михаила Никифоровича. Первая книжка «Русского вестника» появилась в январе 1856 года, а осенью того же года отправился я за границу и там получил известие, что между Катковым и Коршем произошел разрыв. Очень это удивило всех нас. Хотелось узнать что-нибудь достоверное, но получамые нами письма не удовлетворяли нашего любопытства. Летом 1857 года И.Н. Кудрявцев отправился в Москву и обещал сообщить нам все подробности — однако и его сведения отличались какою-то неопределенностью: он писал, что все это прискорбная история, что, конечно, Катков имел некоторые основания разойтись с своими товарищами по изданию журнала, что винить его нельзя, хотя и нельзя также вполне его оправдывать.

Впоследствии, когда дело объяснилось, я понял, что Петр Николаевич по характеру своему и не мог говорить иначе. Он тоже отличался отчасти нетерпимостью, но только относительно самых заветных своих убеждений; ему трудно было примириться с

мыслью, чтобы можно было порвать связи с людьми, которые, не сходясь между собой в тех или иных воззрениях, принадежали вообще к одному лагерю. Пред ним вдруг проявилась такая сторона в характере Каткова, которую он не подозревал в нем только потому, что она не имела еще случая обнаружиться.

Как упомянуто мною выше, Евгений Корш представлял собой весьма незначительную величину, но другое дело его приятель Борис Чичерин[103]. Это был человек отлично образованный и с большими способностями; можно было предполагать, что ему предстоит блестящая карьера, потому что все складывалось в его пользу; помимо несомненных своих достоинств он обладал связями и независимым состоянием; впоследствии — в шестидесятых годах — благодаря графу С.Г. Строганову занял он место в числе наставников цесаревича Николая Александровича, который очень полюбил его и сблизился с ним. При нашем безлюдьи как бы не играть такому человеку видной роли, а между тем надежды на него не оправдались: несколько изданных им дельных книг, кратковременная профессура в Московском университете, затем столь же кратковременное исправление должности московского городского головы — вот и все; пожалуй, можно сказать, что и этого достаточно, если принять в расчет ученые его заслуги, но Чичерин вовсе не довольствовался учеными трудами, он хотел быть общественным деятелем, а именно это ему не удалось. Почему так? Едва ли не по той причине, что он был не столько умен, сколько талантлив, что, во всяком случае, ум его был доктринерский, относившийся к явлениям общественной жизни чисто теоретически, а потому и бесплодный; много вредило также Чичерину непомерное его самомнение.

Главным образом с ним-то и произошло у Каткова столкновение. После — как выразился кто-то — «севастопольского страшного суда», совершенно подорвавшего веру в порядок вещей, который еще недавно наше невежественное общество считало верхом политической мудрости, Катков задался мыслью, что для России необходима система самоуправления в широких размерах. Не стану говорить о том, как развивал он эту тему; всякий может обратиться для этого к тогдашнему «Русскому вестнику». Самоуправление

дало пышный цвет на английской почве — отсюда преклонение Михаила Никифоровича пред Англией, преклонение довольно странное почти на другой день после того, как в кровавой борьбе Англия явилась самым злым и непримиримым нашим врагом. Об увлечении Каткова в это время нельзя составить точного понятия по статьям, появившимся в его журнале; надо было слышать его в тесном кругу приятелей; Францию, страну административной централизации, позволялось хулить сколько угодно, но Катков тщательно вычеркивал в статьях своих сотрудников всякие неблагоприятные отзывы об Англии из опасения, что отзывы эти могут подорвать веру и уважение к стране, внутреннее устройство коей должно служить образцом для России. Однажды Капустин[104] в составленном им для какой-то книжки «Русского вестника» политическом обозрении отозвался не совсем похвально о том, как распоряжался лорд Пальмерстон с какими-то африканскими царьками; Михаил Никифорович не вычеркнул этого места лишь после долгих колебаний.

Вернулся я в Москву в августе 1858 года. Общественная деятельность Каткова, освободившегося от своего товарища по изданию «Русского вестника», находилась тогда в полном развитии; о характере ее я мог составить себе понятие, еще когда был за границей, следя с величайшим интересом за его журналом. Известно, что до конца царствования Николая Павловича в нашей печати не появлялось ровно ничего, что имело бы хотя малейшее отношение к политике. Белинский, например, пользовавшийся таким успехом до конца сороковых годов, высказывал свои мысли по поводу сочинений Пушкина, Гоголя, Лермонтова и др., но обратиться прямо к общественной жизни, говорить о том, что в известный момент составляло злобу дня, это было совершенно невыносимо. Даже в самое первое время по воцарении Александра Николаевича литература не дерзала пролагать себе новые пути, во всяком случае, попытки ее в этом роде были крайне робки; тем более сильное впечатление производили так называемые «политические обозрения», появлявшиеся начиная с 1857 года в «Русском вестнике»; это было что-то новое, небывалое и сразу обеспечившее журналу громадный успех.

По возвращении моем из-за границы я увидал, что около Михаила Никифоровича уже сгруппировалось многочисленное общество; по субботам вечером устраивались даже танцы, а в кабинете шла оживленная беседа, главною темой которой служил выдвинутый правительством вопрос об отмене крепостного права; Катков был уже не тот человек, каким мы его знали прежде — задумчивый, привыкший более слушать, чем говорить, лишь изредка принимавший горячее участие в беседе; теперь охватил его пламенный интерес к перевороту, совершавшемуся в России, и отразилось это благотворно даже на его здоровье.

Задача моя состоит вовсе не в том, чтобы представить здесь очерк общественной деятельности М.Н. Каткова; всякий может судить о ней сам на основании громадного материала, вышедшего из-под его пера; мне хотелось бы главным образом уловить некоторые черты его характера, его нравственной физиономии, а также дополнить то, что уже сделано было моим дорогим приятелем Н.А. Любимовым (см. изданную им в 1889 году книгу «М.Н. Катков и его историческая заслуга»).

Сознавая настоятельную необходимость широких реформ, Катков задался с самого начала мыслью влиять на общественное мнение или, вернее, создать его в таком смысле, чтобы оно могло действовать на правительство, но вместе с тем не становилось бы во враждебные к нему отношения. К сожалению, на этом пути встретил он опасного себе соперника в лице Герцена. Это был человек несомненно даровитый, но лишенный всякого политического смысла; вырвавшись в конце сороковых годов за границу, он тотчас же бросился там очертя голову в революционное движение, старался щеголять пред вожаками самого крайнего социализма, что они не только не пугают его своими теориями, но что он готов идти даже далее их; что касается России, возникавшего в ней нового порядка вещей, он не мог, конечно, сказать не единого дельного слова, но его хлесткие, пересыпанные остротами статьи сильно действовали на нашу легкомысленную публику*. Герценом восторгались; многие

* Характеристика публицистической деятельности Герцена под-

из наших соотечественников, ездивших за границу, и даже такие, которых можно назвать в полном смысле слова крепостниками, считали долгом являться к нему на поклон. Между прочим, немало возился он там с князем Г/олицыным/, который впоследствии дирижировал концертами в разных городах, в Петербурге и Москве[105]. Об этом Г/олицыне/ я составил себе понятие, лишь когда появилась в 1890 году книжка «Очерки из истории Тамбовского края», составленная Дубасовым на основании документов, сохранившихся в местных архивах. Вот что Дубасов рассказывал о нем: «Этот князь приказывал иногда давать своим крестьянам по тысяче ударов розог и потом прикладывать к избитым местам шпанские мушки; однажды он созвал к себе своих крепостных девушек и в их присутствии приказал сечь одну из них, а сам в это время играл на бильярде; сечение продолжалось целый час, и результатом его было то, что несчастную немедленно после экзекуции приобщили...» В документах сохранился об этом господине следующий отзыв одного административного лица: «Крестьяне князя Г/олицына/ самые несчастные и угнетенные существа, которые имеют имущество свое и самую жизнь в ежедневной опасности...» Герцен посвятил ему в своих «Записках» отдельный очерк, в котором очень добродушно выставил его самодуром и чудаком, тогда как это был в полном смысле слова изверг[106]. Что касается вообще нашей публики, не приготовленной к восприятию каких бы то ни было серьезных идей и вследствие сего относившейся с любопытством почти истерическим ко всему *запрещенному*, воспринимавшей это запрещенное без всякой критики, то Герцен тотчас же сделался для нее авторитетом. Если иногда даже старики поклонялись ему, то о молодежи нечего и говорить. Таким образом, подготовлялось то необычайное явление, что люди вроде Чернышевского, Добролюбова, Писарева, какого-то Зайцева[107] и других выступили вершителями судеб Русского государства, не останавливаясь даже пред самыми преступными замыслами[108]. В Москве это движение еще не обнаруживалось так резко, как в Петербурге, куда я переселил-

---

чинена в записках Е.М. Феоктистова национально-охранительной точке зрения редакции «Московских ведомостей». — *Ред.*

ся на жительство весной 1862 года; вскоре я занял там место профессора всеобщей истории в Академии генерального штаба*; незадолго пред тем Д.А. Милютин поставил во главе его генерала Леонтьева[109], человека энергического, умного и дельного, который дал этому высшему учебному заведению совершенно иное направление, но рассказы о том, что еще недавно происходило в его среде, были изумительны. Быстрый переход от николаевского режима к новому порядку вещей отразился гибельно не только на слушателях, молодых офицерах, но и на профессорах. От одного из старожилов Академии, генерала А.П. Шевелева[110], я слышал следующее: начальник военно-учебных заведений известный Иван Онуфриевич Сухозанет[111] еще при императоре Николае сетовал на упадок дисциплины в армии и, обращаясь к офицерам с наставлениями по этому поводу, приводил им в пример самого себя таким образом: «Тотчас по вступлении моем на военную службу надлежало мне явиться к начальнику артиллерии князю Яшвилю[112]; надо заметить, что князь Яшвиль был в близком родстве с моим семейством и очень любил моего отца. Он принял меня холодно, сдержанно, как подобает начальнику, но на другой день пригласил к себе обедать; за столом я едва прикасался к вилке и ложке, сидел навытяжку и не спускал глаз с князя, а теперь? Попробуй я позвать обедать какого-нибудь плюгавого прапорщика... ест!» И вдруг под влиянием новых веяний Академия совсем преобразилась; авторитет начальства был поколеблен, и руководителями молодых офицеров сделались люди вроде Сераковского, одного из главных руководителей польского восстания, который был впоследствии повешен Муравьевым в Вильне[113].

Когда Катков (не помню, в 1860 или 1861 году) поехал за границу, то в Лондоне виделся с Герценом. Не забудем, что в то время наша печать вовсе не пользовалась свободой; все периодические издания были подчинены цензуре; это отзывалось в высшей степени прискорбно даже на тех из них, которые же-

* Е.М. Феоктистов приглашен был читать лекции по «политической истории» в Академии генерального штаба 14 ноября 1863 г. — *Ред.*

лали бы добросовестно служить поддержкой правительству в его реформаторской деятельности, но всякое откровенное, смелое слово было так непривычно для наших государственных людей, что приходилось говорить о многом намеками или даже вовсе молчать. Вследствие этого газета, издаваемая за границей, могла бы принести существенную пользу, но лишь с тем условием, чтобы она относилась к делу серьезно. Вот что советовал Катков Герцену. Тщетная попытка! По самому складу своего ума, по своему образу мыслей, по совершенной неспособности отнестись сколько-нибудь основательно к вопросам, волновавшим тогда русское общество, Герцен не был в состоянии, если бы даже и пожелал, выполнить такую задачу.

Упомяну здесь еще об одной довольно странной попытке Михаила Никифоровича в том же роде. В Петербурге выработан был устав Общества пособия нуждающимся литераторам; учредители его обратились к литераторам московским с предложением примкнуть к ним для осуществления этой цели[114]. Конечно, ничего нельзя было возразить против этого; благая мысль требовала поддержки, но у Каткова и Леонтьева явилось намерение воспользоваться упомянутым Обществом, чтобы установить правильные сношения между Петербургом и Москвой. Им хотелось бы, чтобы литераторы того и другого города съезжались в определенные сроки в каком-нибудь промежуточном пункте, например в Твери, и там, покончив с делами, касавшимися благотворительности, уделяли более или менее значительную часть времени обсуждению различных вопросов. Это было бы нечто вроде литературного парламента. Никто, однако, не откликнулся на такое предложение.

Достойного сподвижника Герцена, главного руководителя журнала «Современник» Чернышевского, случилось мне видеть только один раз, и любопытно, что встретился я с ним у Каткова. Произошло это таким образом: в 1861 году приехал из Петербурга в Москву Громека[115] — личность, не лишенная интереса; все мы хорошо его знали; он принадлежал к числу сотрудников Михаила Никифоровича; нельзя было отказать ему ни в уме, ни в способностях, но в кружке нашем носил он вполне шедшее к нему название «бурнопламенный Громека». Всегда восторженный,

готовый чуть не проливать слезы, когда слышал какую-нибудь неприятную новость, или увлекаться самыми несбыточными мечтами, он быстро переходил от одного впечатления к другому. На этот раз Громека с яростью повествовал о событии якобы громадной важности, о таком событии, которое, по его мнению, неопровержимо доказывало, что правительство решилось отказаться от всех своих либеральных начинаний и круто восстановить режим времен императора Николая Павловича. Что же такое случилось? Поэт Михайлов, отличавшийся не столько своим талантом, сколько крайним радикализмом, был арестован по обвинению в том, что напечатал в Лондоне «золотые грамоты», которые предназначались к распространению между крестьянами с целью вызвать бунт[116]. Громека вопил, что все это клевета, что в лице Михайлова попраны священные права интеллигенции и что литераторы опозорят себя, если не вступятся за своего собрата; по словам его, в Петербурге уже заготовлен был протест и москвичам непременно следовало присоединиться к нему[117]. Михаил Никифорович сильно встревожился; он понимал, что если люди благоразумные ответят отказом, то найдутся /и такие/, которые с великим удовольствием примут участие в демонстрации, а это не замедлило бы отозваться прискорбными последствиями на литературе. Вследствие этого он решился созвать у себя некоторых ее представителей, чтобы обсудить дело или, вернее, чтобы дать отпор петербургской затее.

Когда в назначенный день приехал я к нему вечером, то нашел у него довольно многочисленное общество. Обратил мое внимание какой-то господин с жалкою физиономией, который как будто никого не знал и держался в стороне*. Катков сказал мне, что это Чернышевский, прискакавший из Петербурга с

* Н. Г. Чернышевский «наружным видом не мог производить особенного впечатления, — свидетельствует близко знавший его Н. В. Шелгунов. — Небольшого роста, совсем белокурый, с легким оттенком рыжеватости, худощавый, тонкий, нервный, но с приятными, умными, добрыми голубыми глазами, Чернышевский смотрел потупившись, говорил как бы с усмешкой, имел привычку прибавлять «с» — «да-с», «нет-с», был очень застенчив и скромен в манерах. Львом он являлся только в своих статьях, и тогда это был действительно лев, учитель, «власть имущий». — *Ред.*

целью поддержать бурнопламенного Громеку[118]. Уселись мы за стол, и началась беседа, впрочем, непродолжительная. Более всех других говорил С. М. Соловьев, которому нетрудно было выставить всю нелепость вмешательства в дело, никому в сущности не известное, ручаться за Михайлова, который если и покусился на государственное преступление, то, разумеется, держал это в глубокой тайне, доказывать, не дожидаясь даже судебного следствия, что он невинная жертва грубого произвола. Любопытно, что на совещании, о котором я рассказываю, Чернышевский не произнес ни слова; зачем же он приезжал? Или, быть может, видя общее настроение, он понял, что разглагольствования его не привели бы ни к чему?

Пора было убедиться, что за крайне редкими исключениями наша так называемая «интеллигенция» была вовсе лишена здравого политического смысла. Вскоре, месяца через два после воцарения императора Александра Николаевича, мне пришлось быть в Петербурге; я посетил К.Д. Кавелина, который буквально захлебывался от восторга, говоря о новом государе. «Вы знаете, — воскликнул он, — что к Николаю Павловичу нельзя было относиться иначе как с ненавистью; всякий сколько-нибудь свободно мыслящий человек видел, что на шею его закидывают петлю, а теперь, просыпаясь утром, с радостным чувством сознаешь себя верноподданным». Прошло, однако, немного лет, и Борис Утин[119], профессор С.-Петербургского университета, ближайший друг Кавелина, живший, можно сказать, его умом, старался объяснить мне, в чем состоит непростительная вина М.Н. Каткова: «Правительство действовало до сих пор наугад, как бы в потемках, а Катков старается выработать и навязать ему определенную программу; к счастью, едва ли он в этом успеет».

А между тем положение дел становилось невыносимым; общественному спокойствию угрожали не подметные только прокламации, сочиняемые нигилистами вроде Михайлова; вскоре вооруженный мятеж охватил Польшу и те коренные русские области, которые в былые времена были отторгнуты ею; революционный жонд рассчитывал на поддержку со стороны Франции, Англии, Австрии, и, казалось, не без основания ввиду оскорбительных для русского прави-

тельства требований этих держав! С этого времени общественная деятельность Михаила Никифоровича выразилась в полном блеске и справедливо упрочила за ним славу одного из тех достойнейших граждан своего отечества, имена коих навсегда сохранятся в истории. И тогда, то есть до половины шестидесятых годов, он все еще лелеял мысль, что не останется одиноким в поле воином, что соберется вокруг него сила, с которою и правительство вынуждено будет считаться. Взоры его обратились на дворянство. В 1865 году происходило в Москве одно из очередных заседаний московских дворян, которые выдвинули вопрос о необходимости представительных учреждений[120], все это условливалось будто бы самыми патриотическими целями; вожаки движения щеголяли и своим просвещенным консерватизмом, и негодованием на проявлявшиеся у нас повсюду антинациональные стремления; Катков был обольщен, он отзывался с восторгом о речах графа Орлова-Давыдова и Безобразова[121], но не пришлось ему ждать слишком долго, чтобы отрезвиться. Несколько времени спустя прибыл в Петербург из Вильны граф М. Н. Муравьев, грозный усмиритель польского мятежа[122]; в честь его устроен был торжественный обед, на котором присутствовал и министр внутренних дел Валуев, заклятый враг Муравьева, никогда не пропускавший случая вредить ему[123]. Трудно решить, в честь кого — Валуева или Муравьева — раздавались более шумные рукоплескания на этом торжестве; во всяком случае, господа дворяне, между которыми находилось немало и московских, как бы не делали между ними различия. Катков был крайне удручен. «Вот эти людишки, — говорил он мне. — Достаточно было Валуеву польстить им, надавать им несбыточные обещания, и они поспешили расшаркиваться пред ним». Конечно, не это обстоятельство заставило Михаила Никифоровича отказаться от надежд, которые возлагал он на наше дворянское сословие, но вместе со многим другим и оно укрепило в нем взгляд, выраженный им в беседе с Н.А. Любимовым: «Во мне иссяк всякий источник одушевления; предо мною прошли представители всех слоев русского общества; нигде не видно крепкой закваски, нет никакого общественного типа, имеющего задатки силы» (см. книгу Любимова «М. Н. Кат-

ков и его историческая заслуга». С. 240). В этих словах содержится глубокая истина. Михаил Никифорович и впоследствии продолжал поддерживать дворянство как наиболее образованное сословие между всеми другими, но он понял, что оно неспособно ни на какую политическую роль; если в первые годы своей общественной деятельности смотрел он на него иначе, то под влиянием овладевшей им одно время англомании. Роль этого сословия определил вполне верно император Николай в речи, с которою в 1848 году обратился он к депутации петербургских дворян: «Полиции у меня нет, и я ее не люблю; вы — моя полиция; обязанность каждого из вас охранять существующий порядок вещей и о всяких покушениях против него доводить до моего сведения; будем действовать единодушно, и тогда мы непобедимы». Но в той же речи император убеждал дворян не злоупотреблять своим привилегированным положением, не доводить до отчаяния ту массу темного люда, которая находилась у них в рабстве. «Я сам помещик, — говорил он в речи к петербургскому дворянству. — Если дойдет до вашего сведения, что на моих землях притесняют крестьян, сообщайте мне об этом». Нельзя, кажется, считать такие требования чрезмерными, но в среде дворянского сословия распространялось сильное неудовольствие и против императора Николая, всегда помышлявшего об отмене крепостного права. В 1834 году говорил он Киселеву[124], указывая на картоны, стоявшие в его кабинете: «Здесь хранятся все бумаги, относящиеся до процесса, который я хочу вести против рабства». Ничего, однако, из этого не выходило, все ограничивалось полумерами, постоянно встречал император противодействие даже со стороны членов своего семейства. Вот что, между прочим, я слышал от военного министра Д. А. Милютина, близкого родственника графа Киселева. Однажды государь рассказывал Киселеву, что еще в первые годы по вступлении своем на престол остановился он на определенном плане уничтожения у нас рабства, но захотел предварительно узнать мнение своего брата Константина Павловича; тот отвечал из Варшавы, что умоляет дать ему умереть спокойно, не смущать его мыслью о тех ужасах, которые неминуемо постигнут Россию: «Я не мог, — заметил Николай Павлович, —

не уважить это требование, ибо для всех вас я император, а для меня императором был брат мой Константин».

Роль дворянства, весьма верно обозначенная в вышеприведенных словах императора Николая, совершенно изменилась вследствие освобождения крестьян. Интересно следующее обстоятельство: в одной из книжек «Русской старины» напечатан был перевод письма, с которым за несколько времени до манифеста 19 февраля 1861 года обратился к государю Гизо; цензурное ведомство не признало возможным допустить обнародование этого документа, ибо знаменитый французский писатель и государственный человек предостерегал в нем нашего монарха относительно неизбежных последствий, которые должна была повлечь за собой предпринятая им реформа. Не принимая в расчет, что наше дворянство не имеет ничего общего с высшими сословиями Западной Европы, Гизо не сомневался, что оно потребует для себя политических прав в вознаграждение за понесенный им материальный ущерб и что правительство не будет в состоянии отвечать ему отказом. Напрасные тревоги: для этого у дворянства не хватило бы ни сил, ни уменья; конечно, впоследствии оно обнаруживало такие вожделения, стараясь прикрыть эгоистические свои интересы заботами об общем благе; одно время, а именно в 1865 году, когда в Московском дворянском собрании обсуждался пресловутый адрес государю, Катков увлекся речами графа Орлова-Давыдова, Голохвастова и Безобразова, но очень скоро понял, какие в сущности преследовали они цели.

И чем далее шло время, тем более укреплялся он в намерении полагаться исключительно на самого себя, держась совершенно в стороне от всяких партий, не ища себе союзников. Опыт уже доказал, какую громадную пользу принес он, идя этим путем, ибо главным образом, или даже исключительно, ему обязаны были мы успехом в борьбе с возмутившейся Польшей. Сам по себе мятеж был не страшен, но весьма серьезная опасность заключалась в безалаберном настроении общества и в шатаниях правительства; даже такой энергический человек, как граф М. Н. Муравьев, очутился бы в затруднительном положении, если бы Катков не произвел быстрого и

благотворного переворота в общественном мнении и если бы не подкрепил государя, который колебался среди различных и весьма опасных влияний. И Катков понял, в чем состоит его призвание, решился быть верным слугой правительства, быть его советником, не занимая никакого официального положения, преследуя лишь цели, клонящиеся к пользе и безопасности государства.

Но что представляло собой тогдашнее правительство? Уже гораздо позднее, когда император Александр Николаевич сошел в могилу, а в Москве происходило торжество коронования его преемника, Михаил Никифорович хотя и сдержанно, но очень метко указал в своей газете на слабые стороны прошлого царствования. Между советниками государя находились люди совершенно противоположных направлений; они вели упорную борьбу между собой, старались всячески повредить друг другу, а посреди их стоял благодушный монарх, оказывавший одинаковое благоволение этим враждебным лагерям. При таких условиях роль Михаила Никифоровича становилась очень затруднительною; своими великими заслугами в польском вопросе он завоевал себе положение государственного деятеля без государственной должности; недостаточно было бы сказать, что он являлся выразителем общественного мнения: нет, он создавал общественное мнение, которому приходилось следовать за ним. Конечно, такой союзник был бы драгоценным кладом для правительства, и каждый из тогдашних государственных людей с величайшей радостью заручился бы его поддержкой, но для Каткова на первом плане было дело, а не люди; он соединялся только с тем или другим из них, который в данную минуту, когда возникал вопрос значительной важности, твердо шел по указанному им пути; но это нисколько не обязывало его оставаться верным временному союзнику; он был очень расположен к братьям Милютиным, когда на очереди стоял польский вопрос, и навлек на себя ненависть их в вопросе о классическом образовании; составил блестящую репутацию князю Горчакову, отважившемуся после долгих колебаний под влиянием «Московских ведомостей» дать решительный отпор западным державам, выступившим с наглыми требованиями относительно Польши, а за-

тем сурово и вполне справедливо порицал того же Горчакова, не умевшего разгадать замыслы Бисмарка. Не буду приводить другие примеры, но замечу только, что даже государственные люди, встречавшие опору со стороны Каткова, крайне тяготились ею; самолюбие их в высшей степени раздражалось тем, что они вынуждены были заискивать перед человеком, который представлял собой своего рода особую инстанцию в государстве и в покровительстве которого просвечивала известная доля презрения к ним[125].

О Каткове можно сказать, что он был, как выражаются французы, un mauvais coucheur*. Обладал он натурой деспотическою и в высшей степени страстною, не допускал никаких компромиссов и уступок в ущерб делу, которое близко принимал к сердцу. Всякий вопрос, имевший существенно важное значение, обдумывал он и изучал до мельчайших подробностей, преимущественно на нем сосредоточивал свое внимание, и нередко случалось мне слышать от него: «Здесь все; если в этом деле пойдем мы по ложному пути, то печальные последствия отразятся и на дальнейших наших начинаниях». И он мучился, не знал покоя ни днем ни ночью; особенно в последние годы своей деятельности, при неутомимой работе, сопровождавшейся мучительными волнениями, он становился в полном смысле слова страдальцем. Приезжал он, например, в Петербург; у меня или у кого-либо другого встречался с людьми, которых любил и уважал, но сидел безмолвный и унылый, едва отвечая на вопросы своих собеседников до тех пор, пока разговор не касался темы, важнее которой не было для него в известную минуту; тогда он вдруг преображался, и речь его текла неудержимым потоком; он объяснял, доказывал, возражал, не обращая внимание на позднее время, засиживаясь в гостях чуть не до рассвета[126]. Нервность Михаила Никифоровича, при всем глубоком и многостороннем его уме, доводила его нередко до поразительных крайностей.

Подтверждать подробно сказанное мною примерами было бы слишком долго; остановлюсь лишь на некоторых эпизодах.

Польский мятеж был подавлен, но безотлагатель-

---

* Неудобный сожитель *(фр.)*.

ного разрешения требовал вопрос о том, какие причины вызвали его и какие органические меры следовало принять правительству для предупреждения такого зла на будущее время. Задача расширялась, касаясь не Польши только, но и вообще наших окраин. В 1867 году появилась наделавшая столь много шума книга Самарина «Окраины России»[127], которая впервые пролила яркий свет на наши Прибалтийские губернии, где немецкое дворянство и интеллигенция, прикрываясь мнимою лояльностью, старались с редкою последовательностью и упорством обособиться от своего общего отечества. Особенного внимания требовали также и Северо- и Юго-Западный края: разве там, в этих коренных русских областях, не лилась недавно русская кровь, разве поляки не дерзнули возбудить вопрос о них? Каких еще нужно было уроков, чтобы убедиться в необходимости обратить все свое внимание в эту сторону?

Преобладающим влиянием на государя Александра Николаевича в то время, о котором я говорю, пользовался шеф жандармов граф П.А. Шувалов; в публике его называли даже вице-императором[128]. Обладал он, кажется, умом блестящим, но поверхностным, не способным к серьезному мышлению; если о каждом государственном человеке следует судить по его делам, то Шувалов, сойдя с поприща, не оставил по себе ровно ничего, что могло бы быть поставлено ему в заслугу. Но честолюбие его было безгранично, и он всячески старался оттеснить людей, которые могли бы быть опасными ему соперниками. Серьезная опасность угрожала ему со стороны братьев Милютиных: оба они, особенно младший из них, Николай Алексеевич, слишком тесно связали свое имя с укрощением польского восстания; стесняясь прибегать к мерам демократического характера для ослабления высших классов в Польше, достаточно явно стояли на стороне крестьян против помещиков во всем, что касалось крестьянского вопроса, чтобы Шувалов не упускал случая выставлять их чуть не революционерами. Посещая часто Милютиных, я беспрерывно слышал от них рассказы о том, как шеф жандармов старался вредить Дмитрию Алексеевичу в этом смысле; о всяком ничтожном беспорядке студентов Военно-медицинской академии и т. п. представ-

ляемы были доклады государю, вызывавшие неприятные объяснения. Сам Шувалов явился в роли консерватора, он постоянно говорил государю о замыслах нигилистов, стращал его, старался его убедить, что только неутомимой деятельности III отделения обязан государь своею безопасностью, а что касается других вопросов первостепенной важности, везде обнаруживалось его противодействие их разрешению. Генерал-губернатором Северо-Западного края назначен был такой ничтожный человек, как Потапов[129], который воздвигнул там гонение на русских людей, в высшей степени почтенных патриотов в лучшем смысле слова; относительно Прибалтийских губерний не предпринималось ровно ничего; Шувалов и его друзья открыто заявляли, что все должно оставаться там как было, без перемены.

В 1871 году, после разгрома Франции Германией, правительство наше решилось заявить, что оно не намерено соблюдать оскорбительные для России статьи Парижского трактата относительно Черного моря. Ниже я еще возвращусь к этому событию, а теперь замечу только, что признано было полезным созвать редакторов петербургских периодических изданий и растолковать им всю важность упомянутого акта в надежде, что они при обсуждении его отнесутся к нему с должным патриотизмом. Обязанность эта была возложена на министра внутренних дел Тимашева[130], достойного друга графа Шувалова. Речь, которую он произнес, была тотчас же записана Краевским[131] и сообщена им мне. Привожу ее здесь:

«Вам известна, господа, декларация князя Горчакова относительно Парижского трактата; неизвестно еще, каким образом отзовется Европа на эту меру; во всяком случае, мы должны быть готовы ко всему. Правительство рассчитывает на поддержку со стороны печати, и вы сами должны сознавать, какая серьезная лежит на вас ответственность. От вас зависит настроить в том или другом смысле общественное мнение, ибо общественного мнения самостоятельного в России не существует. Известно, как оно слагается у нас: каждый читает утром за чашкой кофе газету и в течение дня пробавляется тою мудростью, которую он в газете прочитал. При подобном положении дел вы должны быть особенно осторожны. Я вовсе не на-

мерен обращаться с нареканиями к печати; соглашаюсь, что многие ее органы проникнуты патриотическим настроением, но советовал бы вам вспоминать почаще, что патриотизм патриотизму рознь; ведь патриотами величают себя даже отъявленные враги общественного порядка; они тоже говорят, что ими руководит любовь к России; с этой точки зрения, пожалуй, и Нечаев патриот*. Я хочу этим сказать, что истинную пользу приносит только патриотизм разумный, который избегает всяких крайностей. К сожалению, некоторые органы нашей печати руководятся не им, а тем, что нельзя назвать иначе как *ультрапатриотизмом*. Вот тому доказательство: не стыдно ли печати, что в Остзейском крае создала она вопрос балтийский и не перестает разглагольствовать об опасностях, которые будто бы угрожают оттуда России; если бы не увлекалась она задором, то поняла бы, что менее чем двухмиллионное население Остзейского края — совершенное ничтожество сравнительно с громадными силами всей империи. Но она умышленно видит опасность там, где ее нет, чтобы щеголять своим патриотизмом. Вообще у нас много сходного с тем, что я видел во Франции, посетив ее накануне последней ее несчастной войны; та же кичливость, тот же знаменитый афоризм «шапками закидаем», такое же презрение ко всем и ко всему, кроме нас самих. Но перейдем к делу: вы сами, конечно, догадываетесь, что великий шаг, сделанный теперь Россией, был возможен только при глубоком к нам сочувствии одной из европейских держав. Понятно, что я говорю о Пруссии. Не стану распространяться о том, как это совершилось, но что Пруссия готова нас поддерживать и на будущее время — в этом нет сомнения. А если так, то государь не может допустить со стороны нашей печати ни малейшего порицания дружественной нам державы: если по-прежнему вы будете держаться враждебного относительно ее тона, то примите к сведению, что правительство не ограничится угрозами, а прибегнет к суровым карательным мерам».

Нетрудно представить себе, какое впечатление

---

* Нечаев — один из главных участников незадолго пред тем открытого заговора. — *Е. Ф.*

должна была произвести эта речь: глупые выходки против «ультрапатриотизма», презрительные отзывы об общественном мнении, лишенное всякого достоинства заявление о том, будто Пруссия облагодетельствовала Россию, — можно ли было придумать что-нибудь постыднее этого?

Понятно, как относился ко всему этому Михаил Никифорович. Он не допускал мысли, чтобы люди, не лишенные совсем рассудка, были в состоянии идти наперекор тому, что он имел основание считать существенными интересами государства. Единственное объяснение этого он видел в самой бессовестной интриге. Отчасти он был прав: конечно, Шувалов, указывая беспрерывно государю на опасности со стороны революционного движения и преувеличивая его размеры, стоял на весьма твердой почве, выставлял себя человеком, необходимым для борьбы с ним, но подозрительность свою Михаил Никифорович простирал гораздо далее. По его мнению, все эти Чернышевские, Добролюбовы, Писаревы и другие, им подобные, все нигилисты, сбившие с толку молодежь, никогда не имели бы успеха, если бы не направляла ко злу их искусная рука. Положим, что это так: одним из главных вожаков революционной свистопляски был некто Лев Тихомиров[132], который впоследствии, уже по воцарении императора Александра Александровича, принес повинную и сделался сотрудником «Московских ведомостей»; в изданной им за границей брошюре «Начала и концы, либералы и террористы» он довольно обстоятельно характеризовал своих бывших союзников; ему ли было не знать их, ибо, по изустным его рассказам, он сам, проживая за границей, подписывал инструкцию этой /   /*, которая в России слепо повиновалась им. «Слабый, оторванный клочок дикого мяса, выросший на язве денационализированного слоя», — вот какой выдал он ей диплом. И вдруг с этим-то «ничтожным сбродом» приходилось вести борьбу одному из наиболее могущественных правительств Европы! Являлось опасение, что глупость едва ли не восторжествует над рассудком. Увы, история представляет нам немало примеров подобных кризисов. Иловайский в своей

* Ругательство, тщательно зачеркнутое. — *Ред.*

книге «Смутное время Московского государства»[133] говорит, что «в сущности Иван Грозный был непосредственным виновником Смутного времени, приготовив для него почву своим необузданным деспотизмом» (стр. 259); конечно, было бы слишком нелепо сравнивать Николая Павловича с Иваном IV Васильевичем; но не подлежит сомнению, что гнет, тяготевший над умственным движением в николаевское время, мнимый консерватизм, состоявший в том, чтобы ограждать все безобразия крепостного права, беззакония и неправду в судах, произвол и корысть администрации, принес свои плоды. С воцарением Александра Николаевича мы из одной крайности бросились в другую; наше легкомысленное общество в погоне за прогрессом не знало никаких границ; удивительно ли, что сбитая с толку молодежь упивалась крайними демократическими теориями, сами профессора усердно просвещали ее в этом смысле; между прочим, Петр Лаврович Лавров, составивший себе репутацию отчаянного революционера и бежавший впоследствии за границу, читал в шестидесятых годах лекции в какой-то военной академии; он рассказывал мне, что одна из его лекций произвела такое громадное впечатление на его слушателей, что они обратились к нему с просьбой повторить ее; желание их было исполнено, но они не удовольствовались, и он вынужден был прочитать то же самое в третий раз. Меня удивило это, ибо курс его был совершенно специальный. «Это ничего не значит, — отвечал мне Лавров, — специальность служила только прикрышкой, а я воспламенил молодежь для подвигов самопожертвования»[134].

Известно, что в процессе Каракозова Михаил Никифорович, при всем своем уважении к графу М.Н. Муравьеву, не мог простить ему, что тот не сумел вывести наружу, какая властная рука, какие таинственные влияния подвинули убийцу на его адский замысел. Он ждал разоблачения интриги. «Нельзя же было мне, — говорил Муравьев, — отыскать то, чего не осталось и следов».

Возвращаюсь, однако, еще раз к нелепой речи Тимашева, в которой он издевался над «ультрапатриотизмом» и приглашал представителей нашей периодической печати благоговеть перед Германией. К сожалению, в этом случае он был верным отголоском

самого нашего монарха, который унаследовал от своего отца нежные чувства к прусскому царствующему дому, и шел даже далее его. Никогда еще наше правительство не находилось в таком разъединении с общественным мнением, как во время разгрома Франции немецкими полчищами. Подачка, брошенная нам императором Вильгельмом, который заявил, что в вопросе об отмене некоторых статей Парижского трактата 1856 года употребит все свое влияние в нашу пользу, отнюдь не изменила это настроение. Московская городская Дума подлила масла в огонь своим адресом, который был составлен — надо сказать, довольно бестактно — под влиянием городского головы князя Черкасского[135]. Сочтено было необходимым обратиться к государю с советами, заявить, что от него ожидает Россия «довершения благих начинаний и — первее всего — простора мнению и печатному слову, без которого никнет дух народный и нет места искренности и правде в отношениях его к власти; свободы церковной, без которой недействительна и самая проповедь, наконец, свободы верующей совести — этого драгоценнейшего из сокровищ для души человеческой» и т. д. Катков не принимал ни малейшего участия в составлении адреса; он предвидел, что резкие нравоучения, рассеянные в нем наряду со скромными похвалами, произведут весьма дурной эффект. Даже петербургские друзья Черкасского, как, например, Милютины, были в высшей степени раздражены бестактностью москвичей.

Между тем внешняя политика продолжала развиваться в прежнем направлении, и Михаил Никифорович имел полное право говорить, что у нас существует не русское Министерство иностранных дел, а иностранное министерство русских дел.

Государь не знал, как достаточно выразить свои восторги по поводу побед, одержанных немцами. Он послал императору Вильгельму орден Георгия первой степени и намеревался даже почтить такою же наградой наследного принца, но — как я слышал от барона Жомини — князю Гагарину удалось убедить его, что подобная демонстрация будет истолкована в Европе в весьма неблагоприятном для нас смысле. Между прочим, ради курьеза привожу здесь рассказ графа Ностица[136], которому было поручено отвезти в Берлин упо-

мянутый орден: Вильгельм показал вид, что чрезвычайно растроган, рассыпался в изъявлениях своей сердечной признательности, говорил, что это неожиданная, самая высокая для него честь, и пригласил Ностица к обеду; кстати же, при дворе происходило в этот день какое-то празднество. Когда император вошел в обеденную залу, Ностиц с удивлением заметил, что на мундире его не было Георгиевской звезды; уже когда все уселись, военный министр фон Роон сказал что-то шепотом Вильгельму, который быстро взглянул в сторону Ностица, смутился, подозвал к себе лакея и дал ему приказание. Через несколько минут тот потихоньку, стараясь, чтобы это не было замечено присутствовавшими, принес Георгиевскую звезду, и император, закрываясь салфеткой, прицепил ее на груди. Ностиц все это видел, но, конечно, показывал вид, что ничего не видит. Вильгельм явился без звезды только потому, что забыл надеть ее, но уже самая эта забывчивость свидетельствовала, как мало он придавал цены полученному им подарку. Не таков был наш государь: он не расставался с орденом pour le mérite, которым отблагодарил его дядя.

Впрочем, еще другое великое удовольствие ожидало его: в последних месяцах 1871 года прибыл в Петербург принц Фридрих-Карл; так как Альбединский[137] назначен был состоять при нем, то я имел некоторые сведения об его пребывании у нас[138]. В свите принца находились фельдмаршал Мольтке и несколько прусских генералов, более или менее прославившихся в недавней войне; разумеется, публике было интересно видеть этих героев; в театрах все взоры были обращены на их ложу; во дворце происходило что-то необычайное; государь находился как бы в чаду; разумеется, не только придворные, но даже великие князья подделывались под этот тон, за исключением цесаревича (покойного государя Александра III). В первый же день по приезде своем в Петербург принц Фридрих-Карл вознамерился сделать визит наследнику престола, которого Альбединский поспешил уведомить об этом, но получил в ответ: «Он не застанет меня дома». «Как бы не обиделся принц», — возразил Альбединский. «Нечем тут обижаться, ибо это зачастую между нами делается». Действительно, цесаревич остался верен своему намерению, но

Фридрих-Карл догадался, что устроено это было не без умысла, и на возвратном пути заговорил с Альбединским о своем неловком положении относительно цесаревны. «Конечно, ей неприятно, — сказал он, — видеть человека, оказавшего кое-какие услуги своему Отечеству в войне с Данией, но политика никогда не была моим призванием; я человек военный и исполнил только свой долг; можно ли винить меня в этом?»

Принц держал себя вообще с большим тактом; из разговоров с ним нетрудно было понять, что он принадлежал к числу недовольных. «Я заслужил титул фельдмаршала еще под Кенигсгрецом, — говорил он Альбединскому, — весь план этого сражения и исполнение его принадлежало мне; вовсе не наследный принц руководил битвой, но так как нельзя было сделать его фельдмаршалом, то и мне не дали фельдмаршальского жезла». С своею солдатскою откровенностью заметил он даже, что если не изменится его положение в Берлине, то он все бросит и переселится на житье в Рим.

Государь обратился к нему однажды с такими словами: «Votre arrivée m'a fait un enorme plaisir, mais si l'Empereur Guillaume était venu, j'aurais été complétement heureux»*. Чрез несколько времени и это несказанное счастье выпало на долю нашего монарха. Вильгельм приехал в Петербург. Среди всяких торжеств и празднеств происходил в честь его парад; Гурко рассказывал мне, что когда появились верхом оба государя, то Вильгельм пришпорил коня, быстро понесся вперед, стал во главе полка своего имени и салютовал приближавшемуся Александру Николаевичу. «Надо было видеть выражение лица нашего государя, — говорил Гурко, — это было какое-то неизречимое блаженство; кажется, ему хотелось бы воскликнуть: ныне ты отпущаеши раба твоего с миром».

Принц Фридрих-Карл ездил в сопровождении Альбединского осматривать Москву. Там посетил он Лицей цесаревича Николая[139] и был очень внимателен к

---

* Ваш приезд доставил мне громадное удовольствие, но, если бы приехал император Вильгельм, я был бы совершенно счастлив *(фр.)*.

Каткову, вообще, видимо, старался произвести повсюду самое приятное впечатление.

В дополнение к сказанному мною о Михаиле Никифоровиче приведу здесь еще несколько черт для его характеристики.

Он способен был сильно ненавидеть, но ненавидел только людей, которые, по легкомыслию, расчету или сознательно усвоив себе вредные тенденции, выступали против того, что он считал жизненным интересом государства. Если, однако, казалось возможным отрезвить их, он не задумывался ради успеха дорогого ему дела — особенно если пользовались они влиянием в правительственных сферах — сделать все возможное, чтобы привлечь их на свою сторону. Таких примеров было немало; приведу один из них, наиболее замечательный: в 1869 году вопрос о классическом образовании находился в самом разгаре, и так как проект реформы средних учебных заведений должен был поступить на рассмотрение Государственного совета, председателем коего был великий князь Константин Николаевич, то Катков решился искать у него поддержки. Казалось бы, после всего, что происходило в 1863 году, когда великий князь управлял Царством Польским, а «Московские ведомости» громили его политику, было бы безумно рассчитывать на успех, но Михаил Никифорович сделал попытку. Свидание с великим князем устроил ему А.А. Киреев[140]. Сам Катков сознавался потом, что приехал в Мраморный дворец крайне смущенный, но великий князь поспешил вывести его из затруднения, начав беседу с самого щекотливого пункта, то есть со своей роли во время польского восстания. «У меня было много недоброжелателей, — сказал он, — и самым непримиримым между ними я имел право считать вас; вероятно, вы приписывали мне дурные намерения, но я люблю Россию и дорожу ее могуществом не менее кого другого; если некоторые мои распоряжения казались не соответствовавшими положению дел, то лишь потому, что порицатели мои не знали, в каких обстоятельствах я находился; со временем беспристрастная история раскроет все это и отдаст мне справедливость». Неизвестно, на что намекал великий князь этими последними словами: не на инструкции ли, полученные им из Петербурга, ибо политика государя по польско-

му вопросу отличалась колебаниями? После непродолжительной беседы на эту тему великий князь перешел к вопросу об учебной реформе и в течение целого часа весьма внимательно выслушивал все, что Катков объяснял ему. Михаил Никифорович вернулся домой с твердым убеждением, что великий князь будет на стороне графа Толстого. Так и случилось.

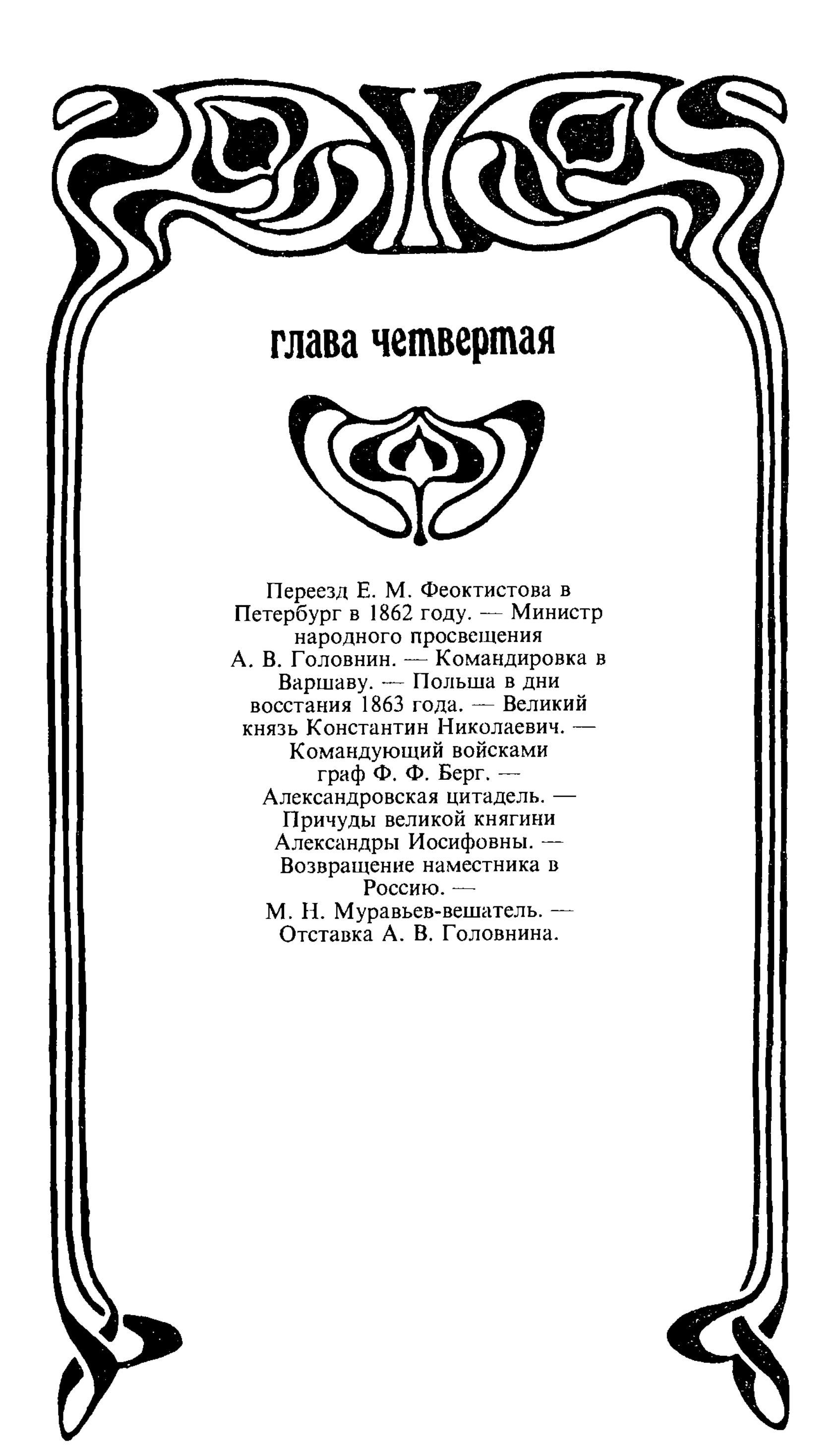
Свидание это раздражило в высшей степени графа Шувалова. «На днях, — говорил он Альбединскому, — перлюстрировано было письмо Александра Киреева к его сестре Новиковой, в котором он извещал ее, что удалось примирить Константина Николаевича с Катковым. Копия этого письма представлена была государю, и, признаюсь, я надеялся, что оно сильно его раздражит. И что же? Можешь себе представить, при первом же свидании государь сказал мне: «Я очень рад, что брат Константин виделся с Катковым; обмен мыслми с таким человеком всегда полезен».

Еще несколько слов в дополнение к моим беглым заметкам о М.Н. Каткове. Враги его усердно подмечали в нем присущие всякому человеку слабости и старались эксплуатировать их в ненавистном смысле; так, например, они ставили ему в вину, что старшая дочь его была назначена фрейлиной; конечно, можно было бы обойтись и без этого, но Михаил Никифорович не устоял против своей жены, которая считала свой род (князей Шаликовых) одним из самых знатных в Российской империи и при содействии московского генерал-губернатора князя В.А. Долгорукова достигла своей цели. Конечно, Катков был в высшей степени доволен, но лишь потому, что видел в этом доказательство расположения к нему государя, признания оказанных им заслуг в ожесточенной борьбе, истощавшей его силы. Упомяну еще об одном обстоятельстве, очень его раздражившем: вскоре по воцарении Александра Александровича министр внутренних дел граф Игнатьев возымел мысль посадить в Государственный совет нескольких особенно выдающихся литераторов и для первого дебюта остановился на М.Н. Каткове и И.С. Тургеневе; со свойственной ему болтливостью он начал разглашать об этом еще прежде, чем принял какие-нибудь меры для осуществления своей затеи, а потом, когда получил отказ от государя, напечатал в «Правительственном

вестнике» опровержение распространенных им же самим слухов. Понятно было негодование Каткова[141].

Иван Сергеевич Тургенев, заседающий в Государственном совете, обсуждающий там государственные дела, в которых он смыслил столько же, сколько грудной младенец, — можно ли придумать что-нибудь забавнее этого! Даже ближайшие его друзья разводили руками от изумления, но что сказать о Михаиле Никифоровиче? От тогдашнего государственного секретаря А.А. Половцева я слышал, что однажды в разговоре с государем он упомянул о предположении графа Игнатьева и получил в ответ: «Я не сомневаюсь, что сам Катков не пожелал бы этого».

Может быть, это и не так; может быть, Михаил Никифорович и не отвечал бы отказом, но не думаю, чтобы Государственный совет был пригодным для него поприщем. Разумеется, умом и способностями он значительно превосходил заседавших там сынов отечества, но для него необходимо было перо, и никогда не отличался он как оратор даже в самом скромном смысле этого слова. Говорил он далеко не красно, и это, мне кажется, происходило оттого, что, касаясь всякого занимавшего его вопроса, он слишком старался выяснить его до мелочей, с разных сторон, имел в своем распоряжении множество аргументов и, не исчерпывая одного из них, быстро переходил к другому, часто повторялся, слишком стараясь уяснить слушателям свою мысль. К тому же в Государственном совете, за редкими исключениями, едва ли он встретил бы к себе сочувствие. Могучим орудием Каткова было его перо; я не сомневаюсь, что наряду со многими громадными его достоинствами отдадут ему справедливость как великому писателю, который с одинаковым совершенством владел и пафосом и сарказмом.



глава четвертая

Переезд Е. М. Феоктистова в Петербург в 1862 году. — Министр народного просвещения А. В. Головнин. — Командировка в Варшаву. — Польша в дни восстания 1863 года. — Великий князь Константин Николаевич. — Командующий войсками граф Ф. Ф. Берг. — Александровская цитадель. — Причуды великой княгини Александры Иосифовны. — Возвращение наместника в Россию. — М. Н. Муравьев-вешатель. — Отставка А. В. Головнина.

В 1862 году семейные обстоятельства заставили меня искать службы в Петербурге. За несколько времени пред тем министром народного просвещения назначен был А.В. Головнин[142], о котором в бытность мою в Париже приходилось мне много слышать от князя Н.А. Орлова. По словам его, это был человек чрезвычайно умный, просвещенный, либерального образа мыслей и оказывавший благотворное влияние на великого князя Константина Николаевича. Что же, казалось, лучше, как служить у такого начальника? Князь Орлов выразил готовность рекомендовать ему меня, и вскоре получил я официальное извещение, что назначен чиновником особых поручений при Головнине.

С грустным чувством покидал я Москву. Правда, ничего хорошего она для меня в это время не представляла, но все-таки я был истый москвич, и очутиться среди совершенно новой и непривычной обстановки казалось мне страшным. По приезде в Петербург я узнал, что служебные мои обязанности будут состоять в изготовлении так называемых царских обозрений, т. е. ежедневных обозрений газетных и журнальных статей для государя. Этим делом занимались уже давнишний мой знакомый П.К. Щебальский (составивший себе известность своими историческими статьями)[143] и П.К. Капнист[144]. Я должен был присоединиться к ним.

Все это объяснил мне А.В. Головнин при первом моем ему представлении. Впечатление произвел он на меня не совсем приятное. Я увидел пред собой человека довольно безобразной наружности, маленького

роста, горбатого — было в нем что-то, напоминавшее японца; говорил он медленно, докторальным тоном, впрочем, манеры его отличались утонченною вежливостью, и вообще держал он себя джентльменом. Я состоял при нем на службе четыре года, и ни разу не приходилось мне слышать, чтобы он на кого-либо вспылил, высказал сколько-нибудь резко свое неудовольствие. Злопамятства было у него, однако, очень много, но он предпочитал выждать удобного случая, чтобы спустить неприятного ему человека.

Головнин приобрел печальную известность в России. Одни ставили его очень высоко, другие считали его воплощением всяческого зла; полагаю, что ни друзья, ни враги не относились к нему достаточно беспристрастно. По моему мнению, к нему вполне применяется известный стих

Il ne mérite en vérité
Ni cet excès d'honneur, ni cette indignité*.

Начать с того, что доброжелателей было у него гораздо меньше, чем людей, глубоко его ненавидевших, и между его доброжелателями те, которые действительно выдвигались вперед умом и способностями, смотрели на него свысока. Н.А. Милютин, например, находился в очень хороших отношениях к Головнину; по некоторым вопросам — преимущественно по крестьянскому — он был с ним одинакового образа мыслей и признавал за ним в этом отношении значительные заслуги; и тем не менее Милютин постоянно отзывался о нем как о дюжинной посредственности; в интимном своем кружке он называл его не иначе как «государственным прыщом»; ему казались смешными притязания Александра Васильевича разыгрывать роль глубокомысленного государственного человека; по рассказу его, Головнин давно уже обнаруживал неистовое желание занять видный пост, и однажды Милютин заметил ему, что при его трудолюбии и аккуратности должность государственного секретаря (в Государственном совете) была бы наиболее для него пригодной. Головнин обиделся, что показалось Милютину очень странным, ибо ему не приходило в голову, чтобы он имел право метить куда-нибудь дальше. Нетрудно было, однако,

* ...Он не заслуживает, поистине, ни этого чрезмерного почета, ни этого негодования *(фр.)*.

убедиться, что честолюбие его не имело пределов и что для удовлетворения этого честолюбия он готов был прибегать ко всевозможным интригам. Не буду останавливаться здесь на том, каким образом успел он втереться в доверие вел. кн. Константина Николаевича[145], как мало-помалу он совершенно овладел им и при разрешении крестьянского вопроса, и по управлению Морским министерством: все это известно мне лишь по слухам, и, конечно, другие лица, бывшие близкими свидетелями его неугомонной деятельности, сообщат о ней верные и подробные сведения.

Головнину нужно было обнаружить при этом много изворотливости, ловкости и такта — качества, которыми нельзя пренебрегать; к ним следует присоединить еще неутомимое трудолюбие. Способен был он работать с утра до ночи без отдыха; почти никогда нельзя было застать его без занятий; подчиненным своим не давал он покоя, предлагал им разработать тот или другой вопрос, требуя от них сведений, объяснений и т. д.; видно было, что проекты самые разнообразные сменялись в его голове, как в калейдоскопе, с изумительною быстротой. В течение четырехлетнего своего управления министерством ничего не оставил он в прежнем виде, перевернул всю нашу учебную систему. Но ничего основательного и полезного создать он не мог. Почему? Находилось немало людей, которые утверждали, будто он никогда и не имел в виду благо России, — напротив, будто с сатанинскою злобой старался он сеять в ней семена всякого зла. Это мнение о нем особенно укоренилось в разгар польского мятежа. В конце 1864 года приехал в Петербург М.Н. Катков. При первом же моем свидании с ним он стал доказывать, что самому великому князю Константину Николаевичу не пришло бы в голову разыграть ту постыдную роль, которою он запятнал свое имя в Варшаве, что всему виной злой демон, его руководитель, что Головнин отуманил его пошлым либерализмом, а за спиной его сносится с Пальмерстоном, Маццини, со всеми нашими врагами и коноводами европейской революции. Все это казалось мне не более как шуткой. «Боже мой, — заметил я смеясь, — какие грандиозные замыслы приписываете вы Александру Васильевичу...» «Чему вы смеетесь? — воскликнул Катков. — Я вовсе не шучу, а твердо убежден, что Головнин находится в ближайших сношениях с заграничными революционерами». Оказа-

лось, что он действительно не шутил. Одна из отличительных черт Михаила Никифоровича заключалась в том, что всякую деятельность, шедшую явно вразрез с интересами России, он не хотел объяснять легкомыслием, недальновидностью, сумбуром, который господствовал у нас в умах; он не допускал мысли, чтобы люди шли по ложному пути только потому, что не понимали, где находится настоящий путь; для него самого истина была так ясна и очевидна, что — казалось ему — только со злым умыслом можно было закрывать на нее глаза. Именно с такой точки зрения смотрел он на Головнина, и мало-помалу жалкая фигура Александра Васильевича начала рисоваться пред его взорами в чудовищных формах; в негодовании своем приписывал он ему такие свойства, каких у того не было и в помине, — и ум необычайно проницательный, и непоколебимую твердость воли, и уменье приобретать безграничное влияние на людей; только все это было направлено на зло, всем этим пользовался Головнин на погибель России. Целью этого Мефистофеля было будто бы довести страну до коренного переворота, чтобы посадить вел. кн. Константина Николаевича на престол и самому управлять от его имени. Предполагать в нем такие замыслы значило делать ему слишком много чести. Я не был близок к Головнину, но все-таки имел возможность достаточно узнать его, и мне всегда казалось, что это был человек ума весьма ограниченного. Он представлял собой одну из самых видных жертв той смуты, которая воцарилась у нас после Крымской войны. Он уверовал, что спасение России заключается в широком развитии либеральных учреждений, что ей следует идти быстрыми шагами по пути какого-то неясного для него самого прогресса и как можно скорее и решительнее порвать связи с прошлым. И многие другие увлекались такими же идеями, но, приступив к делу, сознав ответственность, лежавшую на них, наученные наконец опытом, они постепенно убедились в несостоятельности своих увлечений. Для примера можно указать на Н.А. Милютина, который в позднейший период своей деятельности был уже вовсе не таким, каким знали его вначале. Но для Головнина подобная перемена по самому свойству его ума, узкого и теоретического, была невозможна. Усвоив себе раз известные идеи, он не был в состоянии проверить, в какой мере соответствуют они действительным по-

требностям общества, — этому препятствовала и его недальновидность, и неуменье его разбирать между голосами, доносившимися до него, то, что было разумно и что пропитано ложью. Я не сомневаюсь, что Головнин искренно преклонялся пред теориями, процветавшими у нас в шестидесятых годах, хотя, с другой стороны, к этому примешивался и расчет: теории эти имели большой успех в среде нашей жалкой интеллигенции, а ему очень хотелось заручиться ее расположением. Он был выдвинут вперед великим князем Константином Николаевичем, но помимо этой опоры домогался еще другой и думал найти эту опору в тогдашнем настроении так называемого «общественного мнения».

Он приступил к управлению Министерством народного просвещения, не имея никаких надлежащих для того сведений. Но это нисколько его не смущало. Он не сомневался, что обладает талисманом для устранения всех препятствий и недоразумений на своем пути, что ему удастся поставить учебное дело на такую высоту, на какой оно никогда у нас не стояло. Если никто учиться не хотел, если во всех учебных заведениях господствовал хаос, если профессора университетов сбивали с толку студентов, а студенты устраивали уличные демонстрации и правительство выводило войска для их усмирения, то, по мнению Головнина, для всего этого была весьма законная причина, а именно недовольство каким-то мнимым гнетом. Стоило лишь выставить знамя либерализма, и либерализм этот послужит панацеей от всяких зол. Краевский рассказывал мне, что Головнин вечером того же дня, когда состоялось его назначение, прислал за ним и предложил ему полное свое содействие для получения права издавать газету (таким образом возник «Голос»). Прежде всего Александр Васильевич позаботился обзавестись своим печатным органом. Но и в других журналистах усердно заискивал он: казалось ему, между прочим, весьма либеральным послать за границу целую толпу молодых ученых, во-первых, для подготовки их к занятию университетских кафедр, а затем для исследования каких-то вопросов, но так как Головнин недоумевал, на ком остановить свой выбор, то обращался за указаниями к разным лицам, в том числе к Панаеву и Краевскому. Кто же, как не они, эти представители «общественного мнения», издавна вращавшиеся на литера-

турном поприще, могли подать ему мудрый совет? Краевский, человек опытный и солидный, поступил весьма рассудительно — он рекомендовал своего сына[146], которого, как нарочно, в это время нужно было послать за границу лечиться от дурной болезни. Вообще же мнимых молодых ученых, будущую надежду России, ловили чуть ли не на улице. Очутился между ними и бывший мой товарищ по университету Альбертини[147], жалкая посредственность, писавший бесцветные статейки для журналов; его тоже снабдили деньгами, и он воспользовался ими, чтобы отправиться прямо в Лондон к Герцену, где и утвердил свое пребывание; тайная полиция проведала об его подвигах там, и надо было впоследствии много хлопотать, чтобы мог он беспрепятственно вернуться в Россию. Разумеется, от этого наплыва на Европу русских «молодых сил» не вышло ровно ничего путного; в результате оказался нуль по той простой причине, что, увлекшись либеральною мыслью, Головнин и не подумал о том, чтобы сколько-нибудь разумно осуществить ее. Быстрота, или, как выражается один мой приятель, скоропостижность его в этом отношении, была поистине изумительна. Для примера приведу следующий случай из моей служебной практики[148]. Головнин изыскивал все способы отделаться от находившейся в его ведении цензуры, и это очень понятно при тогдашних обстоятельствах; любопытны, однако, соображения, которые высказывал он по этому поводу посещавшим его литераторам; по словам его, Министерству народного просвещения совершенно несвойственно сколько-нибудь обуздывать печать, прибегать к карательным против нее мерам, ибо, с точки зрения этого министерства, всякие мнения, даже самые превратные и которые принято считать вредными, должны быть высказываемы беспрепятственно; для него не существует ни безусловной истины, ни безусловной лжи — оно обязано в интересах свободы оставаться беспристрастным зрителем борьбы мнений, с твердою уверенностью, что в борьбе такого рода истина восторжествует над ложью. Трудно и придумать, кажется, что-нибудь либеральнее и вместе с тем глупее этого. Старания Головнина увенчались успехом; цензура перешла в Министерство внутренних дел. В тот самый день, когда состоялось постановление об этом, Александр Васильевич при-

слал за мной и сообщил мне радостную для него новость.

— Наконец, — сказал он, — прекратились ненавистные отношения, существовавшие между Министерством народного просвещения и литературой; до сих пор литература имела право смотреть на него, как на своего врага; но следует ли из этого, что отныне всякая связь между ними порвана? Напротив, я думаю, что она должна быть теснее, чем когда-нибудь, только характер ее будет совершенно другого рода. В прежнее время Министерство народного просвещения преследовало печать, с этой же минуты оно обязано покровительствовать ей, не щадить средств для ее поощрения. Вот, между прочим, что предпринято мною с этой целью: я испросил у государя известную сумму денег, которую мне хотелось бы ежегодно распределять между нашими учеными в пособие на приготовляемые к печати их издания, а также между редакторами педагогических журналов. Не можете ли составить список тех лиц, которые нуждаются в пособиях такого рода?

Разумеется, я выразил полную готовность.

— Когда же вы привезете мне этот список? — продолжал Головнин.

Связать себя каким-либо сроком казалось мне очень странным, ибо надо было тщательно собрать сведения, и я попросил, чтобы он не стеснял меня в этом отношении. Лицо Александра Васильевича омрачилось.

— Что же тут трудного? — воскликнул он. — У нас столько бедных тружеников, стоит только сделать выбор; вы очень одолжили бы меня, если бы нашли возможным исполнить мое поручение чрез два дня.

Никакие возражения не действовали на Головнина. И вот я отправился к давнишнему моему другу К. Н. Бестужеву-Рюмину (известному нашему историку)[149] и к (И. Д.) Галанину, заведовавшему делами Ученого Комитета нашего министерства[150], с просьбой оказать мне помощь. Первый из них назвал мне нескольких молодых ученых, а Галанин указал на кое-какие педагогические издания, которым, уж если это непременно требовалось, можно было бы выдать деньги, хотя они этого и не заслуживали, ибо в сущности все они не стоили ни гроша. Головнин был в восторге и поручил мне немедленно раздать деньги по назначению. Забавные сцены происходили при этом: являюсь

к какому-нибудь господину и спрашиваю его, не нужно ли ему денег? Тот в недоумении, ему кажется невероятным, чтобы вдруг, совершенно неожиданно, выпала на его долю такая благостыня... Нужно ли прибавлять, что и в этом случае казенные деньги были растрачены совершенно даром. Еще хорошо, что тотчас же за сим по неизвестной причине Головнин отказался от своей затеи.

Но, приступая к ней без толку и разбора, он был убежден, что совершает полезное дело. Он действовал во имя принципа весьма либерального и просвещенного — чего же более? И так во всем.

— Нельзя сомневаться, — говорил он мне, — что принцип самоуправления вообще принадлежит к числу тех, которыми должно дорожить всякое образованное общество; пора применять его и к России; мне кажется, Министерство народного просвещения имеет возможность показать блистательный пример в этом отношении. И действительно, что нужно для успешного развития самоуправления? Не то ли, чтобы были привлечены к нему люди наиболее образованные, с наибольшим умственным развитием и высокими идеалами, а где же искать их, как не в рассадниках науки, в университетах? Вот почему я решился организовать наши университеты по возможности на основах широкого самоуправления.

Программа была выполнена с замечательною последовательностью, но — увы! — результаты оказались прискорбные. Петербургская интеллигенция щедро награждала, однако, попытки Головнина своими аплодисментами, и, вероятно, он преспокойно пожинал бы лавры, если бы не встретил страшного врага в лице Каткова. Могучие, энергические протесты знаменитого публициста против безобразных увлечений и общества, и государственных людей возбудили в нем вначале видимое изумление. Он как будто и не подозревал, чтобы у кого-нибудь хватило смелости бороться с потоком. Мне случилось быть у него на другой день после того, как пришла в Петербург книжка «Русского вестника», в которой была напечатана знаменитая статья Каткова о Герцене[151].

— Читали вы эту статью? — спросил меня Головнин.

— Да, читал.

— Что же вы о ней скажете?

— Она меня не удивила, ибо в ней выражено все

то, что уже не раз приходилось мне слышать от Каткова; он всегда считал деятельность Герцена в высшей степени пагубною.

— Он мог думать это, — возразил Головнин с ядовитою улыбкой, — но другое дело высказывать свои мысли так откровенно; Катков наживет себе немало врагов. Смелый он человек!

Очевидно, для Головнина в том сумбуре, который охватил Россию, и выражался истинный прогресс, самые безобразные проявления этого сумбура нисколько не смущали его. Сколько раз приходилось мне слышать от него такое мнение: «Многие вопят против того, что происходит на наших глазах, но это только потому, что они не освободились от устаревших взглядов и привычек, не понимают условий настоящей свободы; все пойдет как нельзя лучше, если мы не обнаружим малодушия и не свернем с избранного пути».

Ограничиваясь этими краткими заметками о Головнине, я должен упомянуть здесь об одной истории, в которой, по милости его, пришлось мне разыграть довольно глупую роль. Относится она к польскому мятежу 1863 года.

От обоих братьев Милютиных слышал я, что Головнин уговаривал великого князя Константина Николаевича не ездить в Польшу, и это вовсе не потому, чтобы не одобрял он политику уступок полякам, которую вознамерились у нас испробовать в самых широких размерах. Такая политика вполне согласовалась с его взглядами, но он опасался, что отъездом великого князя воспользуются многочисленные враги, которых он нажил себе по крестьянскому вопросу. Если бы поколеблено было положение Константина Николаевича, то не удержался бы и его фаворит. В этом отношении Головнин оказался замечательно дальновидным.

Назначение великого князя наместником Царства Польского, однако, состоялось, и известно, к каким оно повело последствиям. Противником его выступил Катков, роль коего в событиях 1863 и 1864 годов представляла великое и еще не бывалое у нас зрелище. Это был первый пример в России, чтобы человек без связей и покровительства, единственно силой своего таланта и горячего убеждения приобрел неслыханную диктатуру над умами. Кто пережил это время, тот никогда его не забудет. Отрадно было видеть,

как под влиянием громовых статей «Московских ведомостей» рассеивался мало-помалу хаос в понятиях общества и как проникалось оно сознательным участием к своим интересам. О Каткове можно без преувеличения сказать, что он создал здравое общественное мнение; у него был целый сонм пламенных приверженцев, которые чуть не клялись его именем, и множество исступленных врагов, которым хотелось бы стереть его с лица земли. Правительство боялось его и вместе с тем заискивало перед ним. Несмотря ни на какие препятствия, он смело шел вперед, и тщетно тупоумная цензура пыталась остановить его. «Московские ведомости» читались нарасхват, имя его гремело во всей России, едва ли кто после Пушкина пользовался такою славой.

А.В. Головнин изыскивал все способы, чтобы ослабить общее негодование против своего августейшего патрона. Особенно приводили его в отчаяние корреспонденции «Московских ведомостей» из Варшавы, писанные Воронцовым-Вельяминовым и Юшеновым[152] и искусно аранжированные самим Катковым. Ослабить впечатление их на публику, найти другого корреспондента, который сообщал бы известия более благоприятные для великого князя, — эта мысль не давала ему покоя, и для осуществления ее он обратился ко мне. Как скоро он заикнулся об этом, я отвечал положительным отказом, и, конечно, у меня не было недостатка в доводах, чтобы отклонить от себя подобное предложение: я был вовсе не знаком с Царством Польским; в письмах своих мне пришлось бы непременно говорить о военных действиях, о которых я не имел ни малейшего понятия; болезнь жены не позволяла мне покинуть Петербург; но самое существенное — и это я откровенно объяснил Головнину — основные взгляды «Московских ведомостей» на польский вопрос казались мне непреложно верными. Головнин нахмурился, но счел бесполезным убеждать меня. Прошло несколько дней, и я уже полагал, что он совсем оставил меня в покое, как вдруг получаю от него приглашение приехать к нему утром на дачу в Царское Село. С первых же слов Головнина я понял, что он устроил весьма опасную для меня ловушку.

— Вы отказались, — говорил он, — ехать в Варшаву корреспондентои я, считая вполне основательными ваши возражения, не намерен беспокоить вас далее своими настояниями. Но в настоящее время

мне необходимо послать туда кого-нибудь, чтобы сообщить великому князю выработанные в нашем министерстве замечания на проект учебных заведений в Царстве Польском, а также получить от него некоторые сведения, относящиеся к этому предмету. Выбор мой остановился на вас; никого другого, подходящего для этого дела, нет теперь при мне; очень было бы мне желательно, чтобы вы выехали не позднее 6 августа.

Что мог бы я возразить? Если бы Головнин захотел, то имел бы полное право послать меня по делам службы как одного из своих чиновников особых поручений не только в Варшаву, но в Томск или Иркутск. Смешно было бы выйти в отставку из-за того, чтобы отвезти бумаги и чрез несколько дней вернуться с другими бумагами назад. Тем не менее я не обманывался насчет настоящих намерений Головнина: очевидно, он рассчитывал, что хотя я еду с официальным поручением, но если в Варшаве меня обласкают и под разными предлогами удержат на долгое время, то нелегко будет мне отделаться от обязанностей корреспондента. Положение мое могло сделаться невыносимым.

По желанию Головнина я выехал из Петербурга 6 августа. Излагаю то, что следует, по заметкам, сохранившимся у меня. Так как я жил в Варшаве без всякого дела, не имея ровно никаких занятий, то у меня было достаточно досуга записывать ежедневно все, что приходилось мне слышать и видеть.

Никогда не забуду путешествия до Варшавы. Спутниками моими были всё военные и ни одного штатского; начиная с Динабурга, один из открытых вагонов 3-го класса наполнился солдатами с заряженными ружьями, повсюду уныние, затишье, словно пред грозой, да гроза отнюдь не была призраком воображения, а могла разразиться над нами каждую минуту. Кто мог поручиться, что при проезде чрез леса вагоны наши не будут осыпаны пулями? По всей дороге стояли пикеты казаков, и верховые беспрерывно сновали на наших глазах из одного места в другое. Казалось, все меры были приняты, а между тем от спутников моих я только и слышал, что о разных безобразиях, случавшихся почти ежедневно: здесь пытались сжечь мост, там развинтили рельсы или набросали на них кучу камней и т. п.

Наконец около 9 часов вечера прибыли мы в Варшаву. На станции тысяча формальностей — требование пачпортов, расспросы: зачем приехал и долго ли намерен остаться в городе, имею ли я там знакомых. Все это потребовало более получаса времени, после чего я отправился в Европейскую гостиницу. Вечер, проведенный мною там, отнюдь нельзя назвать приятным: прислуга отличалась умышленною грубостью, вокруг все какие-то мрачные, недоброжелательные лица, за исключением, разумеется, военных. Я глубоко чувствовал тоску одиночества, сидя у себя в номере и думая о своем семействе.

На другое утро поспешил я представиться великому князю. Мне впервые случилось видеть вблизи этого человека, о котором ходило так много разнообразных толков, которого одни считали чуть ли не гением и главным виновником освобождения крестьян, а другие человеком легкомысленным и вздорным. С нетерпением ожидал я, когда войдет он в приемную залу, где собралось множество всякого люда. Наконец он появился и начал обходить присутствовавших. Когда дошла очередь до меня, я подал ему бумаги и письмо Головнина, но он не стал его читать. Вообще, нетрудно было заметить, что он знал заранее о моем приезде и имел обо мне подробные сведения. Так, например, одним из первых его вопросов было, давно ли я знаком с князем Н.А. Орловым, хотя об Орлове я не упоминал ему ни слова; с какого времени начал заниматься литературой, где печатал свои статьи и т. п. Конечно, все это предварительно сообщил ему Головнин, но если он счел нужным сообщать такие сведения, то только потому, что рекомендовал меня как человека, которым следовало бы воспользоваться для предположенной им цели. Я еще более убедился в этом, когда великий князь закончил разговор со мной следующими словами: «Зачем вам спешить в Петербург? Поживите у нас. Не забудьте заехать к графу Бергу[153], ему будет приятно с вами познакомиться».

Впечатление, произведенное на меня великим князем, было не совсем приятное. Его манеры, разговор отличались каким-то мальчишеством (не могу подобрать другого, более удачного слова), он удивлял ребяческими выходками, которые были особенно неудачны в его серьезном положении. Вот одна из них. Лишь только отошел он от меня, ему подали теле-

грамму. «Телеграмма из Петербурга», — сказал он громким голосом и затем стал долго и тщательно обнюхивать ее со всех сторон. «Я всегда привык узнавать по запаху, — заметил он, — хорошие или дурные сведения заключаются в телеграмме». Конечно, это пустяки, но впоследствии я имел случай убедиться, что великий князь очень часто занимался пустяками такого рода.

Вечером того же дня явился ко мне в гостиницу курьер и подал записку из канцелярии графа Берга. В записке было сказано, что графу желательно меня видеть и что он примет меня на другой же день *в 8 часов утра.* Начальник войск, расположенных в Царстве Польском, не имевший отдыха от бесконечных хлопот и занятий, до такой степени воспылал желанием вступить со мной в личные сношения, что первый протягивал мне руку. Можно ли было бы придумать что-нибудь забавнее этого! Несколько месяцев назад все эти господа отнеслись бы с высокомерным презрением к мелкому чиновнику, упражнявшемуся отчасти в литературе, а теперь они принимали его à bras ouverts*, готовы были всячески ласкать его, и все это в надежде, что он скажет о них доброе слово... Не доказывает ли это, каким слабым и беззащитным чувствовало себя варшавское правительство? Приглашение графа Берга было в высшей степени для меня неприятно, но не было возможности уклониться от него. Я должен был отправиться на свидание. О графе Берге не раз приходилось мне слышать, что это самое верное воплощение Фигаро, и нужно сознаться, что наружность его как нельзя более оправдывала эту репутацию. Анекдотов о нем ходило множество. Между прочим, Н.А. Орлов рассказывал мне, что во время Венгерской войны Берг находился при австрийской армии и там, со свойственною ему наклонностью к интригам, всячески пакостил Паскевичу, которого терпеть не мог[154]. Паскевич поклялся, что как только встретится с ним, то наговорит ему таких вещей, так оборвет его, что он никогда этого не забудет. Разумеется, Берг тщательно уклонялся от свидания. Но война кончилась. Паскевич прибыл в Петербург, где Николай Павлович превознес его до небес, велел отдавать ему царские почести, и назначен был день, когда все высшие военные чины должны были

* С распростертыми объятиями *(фр.).*

явиться к нему с поздравлением. Смущенный предстоявшею ему сценой, Берг поспешил к графу А.Ф. Орлову, тогдашнему шефу жандармов (отцу князя Николая Алексеевича), с просьбой, не может ли он ехать вместе с ним, ибо в его присутствии, зная его расположение к Бергу, Паскевич не решится устроить слишком крупный скандал. «Ах, батюшка, — отвечал Орлов, — оставьте меня в покое, что мне за дело до ваших распрей, и с какой стати я буду разыгрывать для вас роль chaperon...» Наконец наступил тревожный для Берга день. Приезжает Орлов к Паскевичу, поднимается на лестницу — глядь, Берг идет рядом с ним. «Как это вы ухитрились?» — спрашивает он его. «Признаюсь, граф, — отвечал Берг, — я сидел чуть не полчаса в экипаже на Мойке (где жил Орлов), ожидая, когда вы выедете, и поспешил вслед за вами; можете сердиться на меня или нет, а уж я от вас не отстану». Действительно, он не отходил от него ни на шаг. Все обошлось благополучно, Паскевич только бросал исполненные ненависти взоры на своего врага. Гораздо позднее хороший мой приятель П. К. Щебальский ездил в Варшаву искать места редактора тамошней официозной газеты. Место это занимал Павлищев, и Берг, бывший уже тогда наместником, никак не соглашался сменить Павлищева[155]. Он предлагал Щебальскому сделаться помощником Павлищева, весьма красноречиво убеждал его не спешить, не садиться сразу на первое место и ждать, когда очередь дойдет и до него. «Именно так, — воскликнул он, — действовал я здесь при великом князе — стоял на втором плане, довольствовался скромною ролью, а между тем исподволь подготовлял все, чтобы занять первую роль, et vous voyez, quand à présent je n'ai pas à me plaindre*...»; этими словами граф Берг определил весьма верно свой образ действий: он знал, что если бы дела шли хорошо, то честь этого была бы всецело приписана Константину Николаевичу, а с другой стороны, он был слишком хитер, чтобы принять на себя ответственность за безрассудные распоряжения великого князя. Поэтому il laissait faire, laissait aller, втайне радуясь сумбуру, который господствовал в Польше.

К этой-то курьезной личности я был направлен великим князем. Вероятно, графу Бергу было ска-

---

* И как видите, теперь я не могу пожаловаться... *(фр.)*

зано, чтобы он принял меня как можно лучше и, изобразив мне положение дел, заставил бы меня взяться за перо. Не сомневаюсь, что последнему обстоятельству не придавал он ни малейшей важности: в самом деле, мог ли он при своих понятиях и царедворских привычках допустить мысль, чтобы такая незначащая личность, как я, отказалась служить великому князю, когда великий князь делал мне честь потребовать моих услуг... Граф Берг повел поэтому дело круто и без всяких околичностей.

Я застал его в маленькой комнате за столом, на котором лежала географическая карта. «Le grand duc m'a dit beaucoup de bien de vous*, — сказал он при моем входе. — К тому же Головнин, которого я искренно люблю, прислал сюда самые лучшие о вас отзывы et les amis de mes amis sont toujours mes amis**. Вы посетили нас в критическую минуту».

Граф Берг тотчас же пустился в подробный рассказ о том, что происходило в Привислянском крае. Он говорил много и очень ловко — с начала до конца по-французски. Вообще картина, нарисованная им, отличалась весьма мрачным колоритом. «Toute la nation polonaise, — говорил он, — est contre nous et les plus devoués sont ceux qui se taisent; ce sont les meilleurs et les mieux disposés»***. В распоряжении нашем находится 200 000 войска — с первого взгляда кажется достаточно, но не так на деле: этими войсками мы должны охранять границы прусскую и австрийскую, железную дорогу от Белостока и две дороги от Варшавы в Пруссию и Австрию. Кроме того, мы держим войска в пяти крепостях, во многих городах, и нам приходится беспрерывно конвоировать военные снаряды от Бреста до Варшавы и других пунктов: сообразив это, нельзя удивляться, что двухсоттысячная армия далеко не удовлетворяет всем потребностям. Но это еще не все. Варшавское управление ведет борьбу не только с Царством Польским, но также с Познанью и Галицией; из обеих этих областей еженедельно переходят к нам шайки и перевозятся снаряды. Богатые познанские помещики не скупятся ни на

---

* Великий князь говорил мне много хорошего о вас *(фр.)*.

** И друзья моих друзей — мои друзья *(фр.)*.

*** Весь польский народ против нас, и самые преданные — те, которые молчат; это лучшие и наиболее к нам расположенные *(фр.)*.

какие жертвы для успеха мятежа; чтобы судить об этих жертвах, достаточно сказать, что в Торне, например, захвачен был недавно склад оружия на полтора миллиона талеров. В Галиции дела еще несравненно хуже, ибо не существует там почти вовсе немецкого элемента, который служил бы противовесом польской шляхте. Австрийское правительство не в силах бороться со злоумышленниками. Граф Менсдорф (тогдашний первый министр) беспрерывно присылает нам шифрованные депеши с указанием, что вооруженные шайки формируются в том или другом месте, но шайкам этим австрийцы не препятствуют переходить через границу; быть может, даже они рады, чтобы эта саранча удалилась из их пределов. В настоящее время происходит то же самое, что было в 1831 году: я ехал тогда из Италии, чтобы присоединиться к нашей армии в Царстве Польском, и на пути, в Галиции, виделся с тамошним губернатором Лобковицем. С полною откровенностью выразил я ему свое удивление, что австрийские власти дозволяют инсургентам вторгаться в Россию. «Que voulez-vous, mon cher, — отвечал мне Лобковиц, — nous ne pouvons rien entreprendre, mais nous desirons sincérement que vous les tuyez tous*... Галиция богатая страна, обладающая большими средствами, и заговор существует там в огромных размерах...» Берг решился высказать, что есть, пожалуй, средство бороться с мятежом, это — опереться на крестьян, но великий князь не хочет прибегнуть к нему; его устрашает мысль о повторении Галицийской резни[156]; внимая советам маркиза Велепольского, он считает долгом сдерживать крестьянское население[157]. Берг считал это большою ошибкой, но несомненно потому только, что ему хотелось уколоть великого князя; нельзя предположить ни на минуту, чтобы он сам помышлял о тесном сближении с крестьянами; подобный план слишком резко противоречил всем его понятиям, и, случись что-нибудь подобное, он сам прежде других завопил бы о революции. К тому же в разговоре со мной он более десяти раз повторял одну и ту же фразу: «Il nous faut menager l'opinion de l'Eu-

---

* Что вы хотите, мой дорогой, мы ничего не можем предпринять, но мы искренно хотели бы, чтобы вы их всех перебили... *(фр.)*

rope; nous ne devons pas irriter les gouvernements européens...»*

Не стану излагать здесь подробно нашу беседу, продолжавшуюся более часа. Многое касалось в ней частных вопросов — передвижения войск, распоряжений Военного министерства, личных качеств разных действующих лиц. В этом длинном монологе граф Берг говорил без умолку, и мне оставалось только слушать его — ни одного искренно сочувственного слова о великом князе; правда, иногда он похвалял его, но как-то сквозь зубы, и в самой похвале слышалось порицание.

Заключительные его слова немало меня встревожили.

— Notre position est dramatique et peut bien devenir tragique**, — сказал он. — Со дня на день ждем мы поголовного восстания в городе. Впрочем, мы уже приняли необходимые меры на этот случай, и меры эти не только не составляют тайны, но я предоставляю вам право говорить о них во всеуслышание кому угодно... Всем начальникам войск приказано при малейшей тревоге занять по секретной диспозиции некоторые пункты в городе и, лишь только раздастся выстрел из какого-нибудь дома, врываться в этот дом и вырезывать без разбора все его население.

Что могло бы быть ужаснее очутиться среди такого побоища! Вот угощение, которое приготовил мне А.В.Головнин. Могло ли быть что-нибудь страннее, как сидеть без всякого дела в Варшаве, когда Варшава могла быть ежедневно залита потоками крови?

— Но что же будет со мною, — воскликнул я, — если начнется битва? Я исполнил свое поручение, и, надеюсь, великий князь не встретит препятствий отпустить меня в Петербург.

— К чему так спешить, — отвечал граф Берг. — Вам лично не угрожает никакой опасности. Где вы остановились?

— В Европейской гостинице.

— Эта гостиница прилегает к Саксонской площади, на которой всегда стоят войска; при первых выстрелах или звуках набата ступайте на площадь, и вы

---

* Нам нужно считаться с мнением Европы; мы не должны возбуждать европейские правительства... *(фр.)*

** Наше положение драматично и может стать трагическим *(фр.)*.

спасены. Нет, не торопитесь, поживите у нас. Для любознательного человека все, что происходит теперь в Варшаве и вообще в здешнем крае, представляет много поучительного; постарайтесь вникнуть в положение дел, уясните себе громадные трудности, с которыми мы вынуждены бороться, и вы можете оказать существенную услугу, если постараетесь рассеять нелепые предубеждения, которыми увлекается наша печать.

Я как будто и не слыхал последних слов графа Берга и расстался с ним в весьма тяжелом настроении духа. Прямо от него поехал я к генералу Чарницкому[158], к которому было у меня письмо от одного из моих товарищей, профессора Академии генерального штаба. В разговоре с этим господином я упомянул между прочим о мерах, задуманных правительством на случай восстания в городе. Чарницкий подтвердил, что распоряжения в этом смысле действительно существуют; он находил мое положение крайне незавидным. «Конечно, вы русский, — сказал он, — но в кровавой схватке кто отличит вас от поляка? Весьма может быть, что выстрелы раздадутся и из Европейской гостиницы, толпа разъяренных солдат ворвется туда и зарежет вас, не слушая ваших объяснений». Чарницкий советовал мне переехать на житье к какому-нибудь знакомому из военного люда, но к кому? К счастью, он тут же упомянул, что в Александровской цитадели стоит со своим полком генерал Ралль[159]. Я знал В.Ф.Ралля давно; мы познакомились в 1850 году у графини Салиас и находились в отличных отношениях. От Чарницкого я полетел к нему, и лишь только заикнулся о своем затруднительном положении, как он предложил мне поместиться в его квартире. В другое время и при других обстоятельствах я не пожелал бы стеснить его, но теперь колебания были неуместны. В тот же вечер перебрался я к Раллю и впервые со времени моего приезда в Варшаву почувствовал себя совершенно спокойным. Конечно, жизнь в Александровской цитадели не представляла ничего приятного: у ворот крепости с утра до ночи толпилось множество всякого люда, желавшего видеться со своими родственниками и знакомыми, которые содержались под арестом. Это было в высшей степени грустное зрелище. Начальство не отказывало, кому можно, в пропускных билетах, но выдавать их приходилось с крайнею осторожностью, потому что между

посетителями было немало людей в высшей степени злонамеренных. Трудно представить себе, какие страшные и странные сцены разыгрывались пред входом в крепость. Ралль рассказывал мне, что он заметил однажды нашего солдата, разговаривавшего с молодою и прилично одетою дамой уже не у ворот, а в некотором отдалении от них. Он прикрикнул на солдата и спросил его, о чем он мог шептаться с неизвестною женщиной. «Да вот, ваше пр-ство, все упрашивает меня, чтобы я провел ее в цитадель; сперва обещала деньги, а потом говорит, что придет ко мне куда угодно ночью, только бы я послушался ее». Удивительное самоотвержение, не отступающее даже пред развратом!

Всякий раз, когда я возвращался из города, меня останавливали в воротах крепости, подвергали допросу, зачем и куда я еду, потом один из солдат садился на козлы «дрожек» и сопутствовал мне до самого подъезда квартиры генерала Ралля. Он сдавал меня, так сказать, хозяину с рук на руки. Все это было очень скучно и досадно; несмотря на то, Александровская цитадель казалась мне раем в сравнении с Европейскою гостиницей. Утешительно было сознание, что уже никто тебя не трогает за стенами, с которых целые десятки пушек направлены на Варшаву...

После свидания с графом Бергом целых два дня никто меня не тревожил. После обеда, 9 августа, Ралль предложил мне отправиться в Лазенки. Это местечко, служащее обыкновенно в летнее время любимым гуляньем варшавских жителей, представляло тогда странное зрелище: посетителями его были исключительно офицеры, лишь изредка мелькало между ними штатское пальто. Около шести часов приезжал великий князь, часто с супругой, в сопровождении конвоя линейных казаков, которыми командовал какой-то султан или хан в чалме и азиатском костюме. У дворца гремел оркестр музыки, а по аллеям уныло бродили господа офицеры. Вот этим-то развлечением хотел угостить меня мой радушный хозяин. Только что прибыли мы в Лазенки и высадились из экипажа, как показался поезд великого князя. Со всеми был он очень любезен, разговорчив, сказал мне несколько приветливых слов и пожелал представить меня великой княгине[160]. /Помимо своей замечательной красоты производила она впечатление поря-

дочной дуры*./ Начала она разговор прямо с того, что возбуждало неистовое негодование ее супруга, но о чем он имел такт умалчивать, а именно с «Московских ведомостей»; она поспешила мне объяснить, что называет Каткова не иначе как «противный Каток», вероятно, находя это весьма остроумным. «Бог знает, что он о нас пишет, просто ужас, — говорила она. — Корреспонденты его следят за каждым нашим шагом и все перетолковывают в дурную сторону. Однажды случилось мне надеть малиновый плащ, так и тут стали кричать, будто я ношу польские национальные цвета. Конечно, положение дел в Варшаве невыносимо; не далее как сегодня, в полдень, почти у ворот нашего дворца убили какого-то полицейского. Вы не можете себе представить, какое впечатление производит все это на великого князя; он сильно страдает, за несколько дней пред вашим приездом слег даже в постель и хотел причащаться. Я пишу каждый день свой дневник и, если хотите, покажу его вам, вы увидите из него, сколько мы выстрадали в эти последние месяцы. Конечно, я этого не отрицаю, мужу моему предлагали корону, но я тогда же сказала им (кому?), что они не заслуживают счастья иметь великого князя своим королем. Он решительно отклонил их предложение. Вот как благородно поступил он, а московская газета осмеливается заподазривать его в недостатке патриотизма...»

Все это было высказано по-французски, с лихорадочною торопливостью и с самой пошлой, плаксивой интонацией голоса. Напрасно великий князь, стоявший тут же, пытался обуздать дражайшую спутницу своей жизни: она неслась, как река, и мне оставалось только сожалеть, зачем мы не беседовали с ней с глазу на глаз. Вероятно, она пустилась бы еще и не в такие откровенности.

Посторонний наблюдатель мог живо заинтересоваться всем, что происходило пред моими глазами, но меня беспрерывно тревожила мысль, что произнесено будет роковое слово, что ко мне обратятся уже не с намеками, а с положительными настояниями. Но, конечно, самый изворотливый ум не ухитрился бы сказать что-нибудь в пользу варшавского управления. Ежедневно приходилось мне беседовать с разными лицами, имевшими верное понятие о положении

---

* Сентенция эта в оригинале зачеркнута. — *Ред.*

дел, и нельзя было представить ничего подобного такому хаосу и такому упадку духа. Для всех было ясно, что великий князь совершенно сбился с толку и не отдавал себе отчета, куда он идет, какую имеет в виду цель. В беседе со мной граф Берг указывал только на громадные трудности, с которыми вынуждено бороться правительство, но и из его слов нельзя было заключить, надеется ли оно преодолеть их и какими именно средствами.

К счастью, тревогам моим положен был внезапный и весьма благоприятный конец. Однажды вечером отправился я в Лазенки. Вскоре затем прибыл туда великий князь, видимо, чем-то озабоченный и недовольный. Он подошел ко мне: «Завтра утром я еду в Петербург, — сказал он. — Так как без меня вам незачем тут оставаться, то, если хотите, можете отправиться вместе со мной».

Я просто не верил своим ушам, восторгу моему не было границ. По возвращении моем домой оказалось, что генерал Ралль уже знал об отъезде великого князя. Весть эта как молния облетела всех близких ко дворцу, но передавали ее друг другу шепотом, хотя и не сомневались в ее достоверности. Никто не мог объяснить себе этого неожиданного события, но были убеждены, что великий князь вернется, тем более что жена его и дети оставались в Варшаве.

Почти всю ночь напролет мы проболтали с Раллем. На другой день рано утром (отъезд был назначен в 10 часов) я отправился на станцию железной дороги, которая отстоит очень далеко от цитадели. По пути беспрерывно обгоняли меня военные в полной форме. Ввиду этих быстро скачущих экипажей и всей этой суетни прохожие с изумлением останавливались на улице. Около станции стояли какие-то войска. Кое-как успел я отыскать начальника движения Варшавской дороги, который объяснил мне, что я займу место в вагоне, назначенном для адъютантов. Вскоре затем приехал граф Берг, а чрез несколько минут послышались клики солдат, с которыми великий князь здоровался по пути к дебаркадеру. Мы двинулись в путь.

Я сидел с адъютантами Арсеньевым, Киреевым и графом Комаровским. До самого обеда мы почти не видали великого князя. Обед был общий — не помню

уж, на какой станции. Вышедши из-за стола, Константин Николаевич предложил мне перейти в его вагон, куда явился также и Набоков[161]. Беседа наша продолжалась до самого вечера, и едва ли я ошибусь, сказав, что она достаточно мне уяснила, что такое был великий князь.

Я нашел в нем человека умного и обладавшего разносторонними сведениями. Особенно это последнее сказалось, когда от разговоров о делах в Царстве Польском он перешел к своим путешествиям по Востоку и Германии. Он много читал, и все, что случилось ему прочесть, помнил до мельчайших подробностей — память его была поистине изумительна. Иногда вырывались у него меткие и остроумные замечания. Но — удивительное дело — этот человек как будто не привык останавливаться долго на одном предмете, а только скользил по нему, вследствие чего в ту самую минуту, когда с жаром витийствовал он о чем-нибудь, стоило сделать какое-либо возражение, и оно, видимо, его затрудняло. Мне показалось, словом, что был у него ум, но более бойкий, чем основательный, были сведения, но сведения отрывочные и не приведенные в систему. Беседа наша касалась преимущественно положения дел в Польше. Весьма понятно, что великий князь был поглощен этим предметом, говорил о нем с лихорадочным волнением, знал об общем неудовольствии против него в России. Следовало ожидать, что он постарается отразить нападки на него, будет оправдывать свою политику, а между тем именно тут и оказывался он крайне слабым и несостоятельным.

— До сих пор не могу я понять, — воскликнул он, — чего хотят от меня, что находят предосудительным в моем управлении? Вот вы недавно приехали из Петербурга: сообщите же мне, пожалуйста, тамошние толки.

Странное дело, как будто обвинения против него недостаточно ясно были формулированы печатью! Неужели не вычитал он из «Московских ведомостей», почему негодовали на него и почему преклонялись пред Муравьевым? Я счел долгом заметить, что в сущности неудовольствие сводится к следующему: нельзя после всего совершившегося оболь-

щать себя мыслью о возможности примирения с поляками, нельзя сохранять автономию в крае, который весь объят смутой, нельзя все должности — от высших до низших — предоставлять по-прежнему полякам, ибо если администрация не будет вполне русскою, то даже и войско окажется бессильным для борьбы.

— Но я жду той минуты, — воскликнул великий князь, — когда в самом польском обществе обнаружится реакция против теперешних безобразий.

— Никто у нас, ваше высочество, не верит, чтобы реакция когда-нибудь обнаружилась. Все поляки одинаково ненадежны; коноводы теперешнего движения никогда не образумятся, а что касается тех, которые не дерзают открыто присоединиться к восстанию, то их немного, и они слишком малодушны, чтобы выступить с открытым протестом.

Если система великого князя была основана на чаянии какой-то реакции, то, конечно, он никак не мог согласиться с тем, что было высказано мною. Иначе из чего же сидел он сложа руки и упорствовал в своем бездействии?.. Но, к величайшему моему изумлению, он тотчас же — и это случалось не раз в течение нашего разговора — сдался на доводы своих противников, мало того — постарался подкрепить их примерами.

— Действительно, — сказал он, — дряблость и несостоятельность людей, на которых можно было бы, кажется, нам рассчитывать, превосходит всякое вероятие. С самого прибытия моего в Польшу я убеждался в этом на каждом шагу. Несомненно, что когда польские дворяне съехались в Варшаву, после того как я был ранен, то целью их было подать мне адрес с выражением полнейшего сочувствия[162]. Несколько дней сряду они совещались, и в это время революционеры успели так обработать их, что адрес был составлен в духе, явно враждебном правительству. До последней минуты они сами не поверили бы, что дело кончится таким образом. А Фелинский? Вот еще замечательный пример! Мы понимали затруднительность его положения и старались всячески облегчить его, но ничто не помогло[163]. Когда он подал в отставку из Государственного совета и сочинил известное

письмо государю, то предварительно приехал с ним ко мне. Я толковал с ним целых два часа и убеждал его отказаться от задуманного им поступка; я выставлял ему на вид всю нелепость притязаний революционной партии, указывал ему на меры, которыми правительство думает обеспечить благосостояние Польши, и разговор наш кончился тем, что Фелинский со слезами на глазах бросился мне на шею. Казалось, дело кончено. На другой день, однако, он снова является в замок. «Hier l'homme a eu raison, mais l'archeveque a eut tort!»* — воскликнул он и уже не поддавался ни на какое соглашение. А еще Фелинский лучший из поляков. Что же сказать о других? Преобладающая черта в их характере определяется французским словом, которому у нас нет равносильного, — словом lacheté. Это какая-то смесь низости и слабодушия.

И это говорил человек, который отрицал необходимость суровых мер, а советовал опереться на польское же общество, чтобы подавить мятеж. Где же тут логика?

В дальнейшей беседе великий князь нередко удивлял меня своею бестактностью. О своих противниках говорил он не иначе как с бранью; имя Муравьева не сходило у него с языка, и он поносил его кстати и некстати. «Муравьеву легко, — говорил он, — потому что в Западном крае можно опереться на православный и русский люд, а то ли дело в Польше? Но если бы и была у меня такая опора, я все-таки не унизился бы до роли палача. Муравьев действовал бы совсем иначе, если бы у него было что-нибудь заветное и святое, но ведь вы слыхали, конечно, что это за человек: après moi le deluge** — вот его лозунг. Ему бы только снискать популярность, выказать себя, а затем он уйдет и предоставит расхлебывать кашу другим. Разве такие люди помышляют о будущем?» Подобные речи, не совсем приличные в положении великого князя, продолжались во всю дорогу.

Под вечер вошел в вагон генерал Стюрлер[164], и разговор коснулся других предметов. Нетрудно было за-

---

* Вчера как человек я был прав, но как архиепископ — ошибался! *(фр.)*

** После меня — хоть потоп *(фр.)*.

метить, что по мере приближения нашего к Вильне великий князь становился задумчивее и беспокойнее. Наконец, за одну или две станции до этого города (в Вильну мы приехали поздно вечером) он заметил, что пора успокоиться, и отпустил нас. Перешедши в наш вагон, я не скрыл от А. Киреева, которого знал уже прежде, что меня удивляет ажитация великого князя. «Как тут не ажитироваться, — отвечал он. — Великий князь, видимо, озабочен, выедет ли Муравьев к нему навстречу или нет...»[165]

Получив разрешение загадки, я был в высшей степени заинтересован предстоявшею встречей. Начать с того, что мне ни разу не случилось видеть Муравьева, который в 1863 году сделался чуть не легендарною личностью; заслуги его в деле усмирения польского мятежа были до такой степени важны, что огромное большинство публики произносило его имя с благоговением. Теперь представлялся мне случай взглянуть на него (ибо, по мнению адъютантов великого князя, он непременно должен был выехать навстречу, и всякие опасения на этот счет казались неосновательными), и, кроме того, было крайне любопытно посмотреть, как сойдутся лицом к лицу эти два мужа — патриот par excellence и чуть ли не «изменник», как общий голос честил тогда великого князя Константина Николаевича.

Вот показалась наконец платформа Виленской станции. Она была усеяна всяким чиновным людом в мундирах, и тут же стоял почетный караул. Когда остановился наш поезд, то я заметил, что во главе этой толпы находится какой-то генерал, которого я по описанию принял за Муравьева: толстый, сутуловатый, очень безобразный и с голубою, как мне показалось, лентой через плечо. «Не правда ли, это Муравьев?» — спросил я кого-то из адъютантов великого князя. «О нет, — отвечали мне, — это виленский комендант Вяткин»[166]. Потом уже я разглядел, что Вяткин был без усов, тогда как Муравьева на фотографических карточках я видел с усами, и что на нем была не голубая, а синяя лента (Белого Орла).

Вяткин стоял с рапортом впереди. За ним вытянулись остальные должностные лица в ожидании появления великого князя, но прошло несколько минут, а великий князь не показывался из вагона. Наконец он

вышел и, едва остановившись пред Вяткиным, который начал ему что-то бормотать, двинулся вперед; на пути он встретил другого господина, который отрекомендовался ему таким образом: «Гражданский губернатор города Вильны Панютин»[167]. «С чем вас и поздравляю», — отвечал великий князь. Вообще и он сам, и все встречавшие его были до такой степени сконфужены, что сцена эта производила крайне тяжелое впечатление. Когда главные действующие лица ушли в станционные комнаты, я остался на платформе, не зная, следовать ли мне за ними; вскоре, однако, и меня пригласили туда же. В первой зале я нашел целую толпу, а вошедши в другую комнату, увидел, что великий князь разговаривает с Вяткиным и жандармским полковником, которые сообщали ему подробности о поимке негодяя, покушавшегося на жизнь виленского предводителя дворянства Домейки[168]. Разговор длился, однако, недолго. Вяткин и жандармский полковник вышли. В комнате остались только великий князь, Набоков, Стюрлер, Киреев, Арсеньев, граф Комаровский и я.

Комната эта была ярко освещена, уставлена цветами, и в ней находился буфет. Возможность поужинать приятно обольщала нас, потому что, выехав из Варшавы рано утром, мы останавливались только для обеда и обедали очень дурно. Но ожидания наши были обмануты.

— Генерал Вяткин, — сказал Арсеньев, — просил меня доложить вашему высочеству, что М.Н. Муравьев распорядился приготовить ужин.

— Ну это он напрасно беспокоился, — отвечал великий князь. — Не правда ли, господа, ведь вы не хотите ужинать? Будет гораздо лучше, если мы спросим себе только по стакану чая.

Он не мог скрыть своего раздражения. Оно выражалось и в его голосе, и в жестах.

— Видишь теперь, что я был прав, — повторял он неоднократно сидевшему около него Стюрлеру, который в ответ возводил только очи к небу. — Я знаю этого человека, он на все способен.

— Не прикажете ли, — произнес глупый Киреев, — пригласить к чаю генерала Вяткина?

— Это зачем? Может подождать и там.

Затем опять начались восклицания: «Это совер-

шенно в его характере; не знает меры своей подлости, когда чего-нибудь ему нужно, и задирает нос, как скоро ему везет...» Стюрлер по-прежнему вздыхал. Наконец чай был выпит.

— Пора в дорогу, — произнес великий князь и направился к выходу. Случилось так, что я шел прямо вслед за ним. В большой зале он остановился пред Вяткиным и сказал ему громким и звучным голосом:

— Скажите генералу Муравьеву, что когда проезжает великий князь, брат государя и наместник Царства Польского, то он мог бы потрудиться выехать к нему навстречу, не ссылаясь на болезнь.

Остальное путешествие не представляло ничего замечательного. В течение следующего дня я видел великого князя лишь урывками. Когда мы прибыли в Царское Село, то на платформе находился уже с многочисленною свитой сам государь, который встретил брата особенно радушно, долго обнимал его и целовал. Очевидно, это делалось с целью ободрить великого князя, на которого публика смотрела как на зачумленного.

Таким образом окончилась неприятная моя поездка в Варшаву. Головнин виден тут вполне: могло ли быть что-нибудь нелепее, как послать человека, не решившись высказать ему прямо, зачем это делается, человека, который уже заявил ему, что не примет на себя навязываемой ему роли? Это было столь же глупо, как последующая попытка Александра Васильевича произвести в публике благоприятный для великого князя поворот посредством брошюры, которую поручил он сочинить дюжинному писаке Фирксу (Шедо-Феротти)[169] и неизвестно зачем разослал ее по высшим учебным заведениям. Никто не любил так много толковать об общественном мнении, как Головнин, и никто менее его не был чуток к этому мнению и не отличался большею неспособностью действовать на него. Малообщительный, замкнутый в очень тесном кружке людей одинакового с ним образа мыслей, усвоивший в Мраморном дворце навык к мелким интригам, он постоянно принимал миражи за действительность и в этом отношении оставался верен себе до конца.

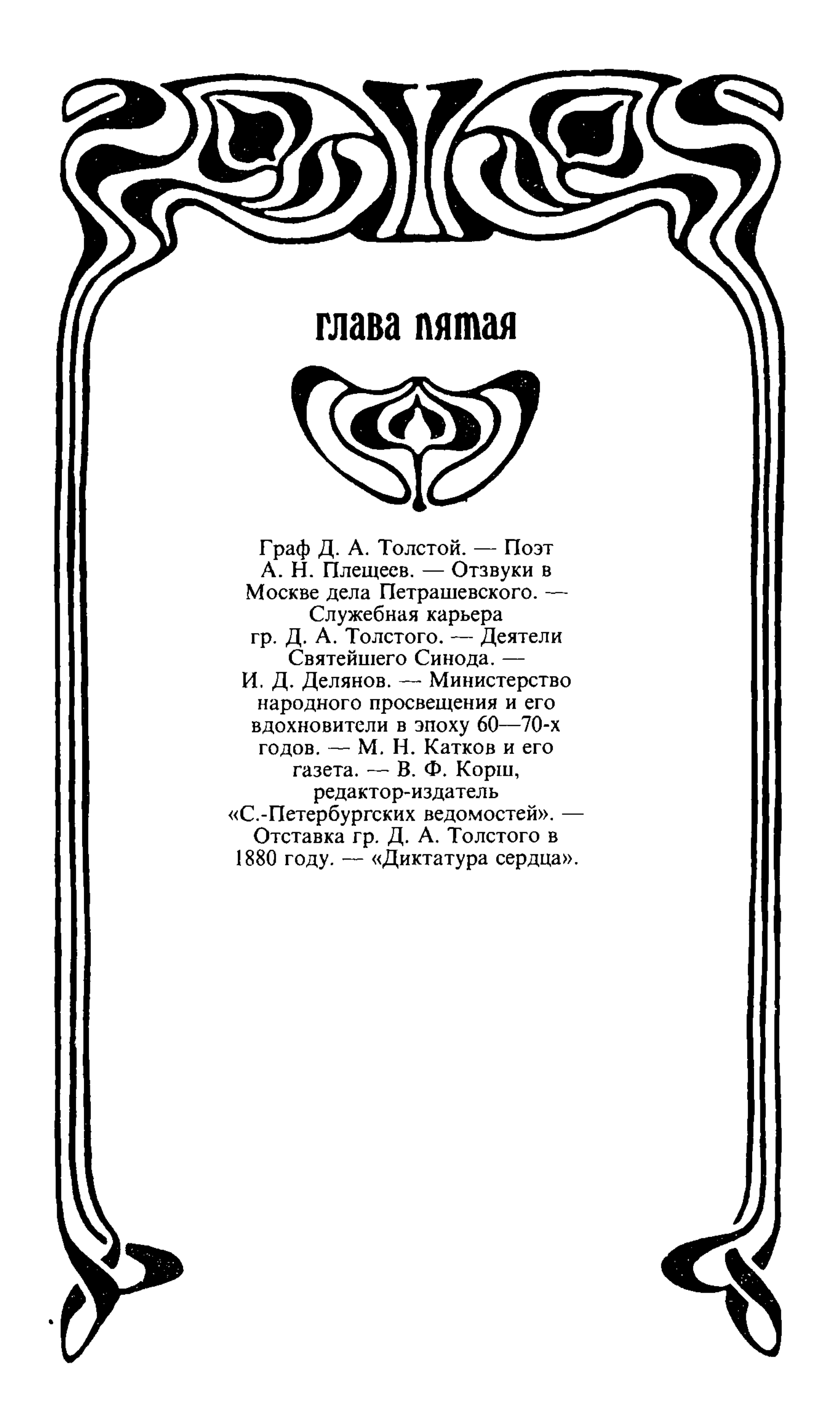
В последние годы своего управления министерством Головнин не скрывал враждебного чувства к

тем из своих подчиненных, которые были дружны с Катковым. Только поэтому, без всякого повода и причины вытеснил он такого талантливого и полезного человека, как Щебальский. Если такая же участь не постигла и меня, то лишь благодаря моей близости с князем Н. А. Орловым, но я сам тяготился своим положением и уже хлопотал о перемене службы, когда в 1866 году состоялось увольнение Головнина[170]. Он пожелал, однако, проститься со мной, рассказывал мне довольно подробно, как состоялось его падение, и коснулся, между прочим, своего преемника[171].

— Вы знаете лично графа Толстого? — спросил он меня. На отрицательный мой ответ он продолжал:

— Нельзя отказать ему ни в уме, ни в способностях, ни в трудолюбии, но есть у него недостаток, который, как мне кажется, будет очень вредить его успехам. Меня всегда удивляло, что этот человек в свои еще далеко не старые годы усвоил себе ультраконсервативный образ мыслей.

Решительно, по мнению А.В. Головнина, без либерализма, который в шестидесятых годах проповедовали наши газеты и журналы, не было спасения для России!



глава пятая

Граф Д. А. Толстой. — Поэт А. Н. Плещеев. — Отзвуки в Москве дела Петрашевского. — Служебная карьера гр. Д. А. Толстого. — Деятели Святейшего Синода. — И. Д. Делянов. — Министерство народного просвещения и его вдохновители в эпоху 60—70-х годов. — М. Н. Катков и его газета. — В. Ф. Корш, редактор-издатель «С.-Петербургских ведомостей». — Отставка гр. Д. А. Толстого в 1880 году. — «Диктатура сердца».

Значительная часть моей служебной деятельности протекла при графе Д.А.Толстом[172]. Я служил в Министерстве народного просвещения в течение всего того времени, когда он управлял этим министерством, а затем он же вскоре по назначении его министром внутренних дел предоставил мне место начальника Главного управления по делам печати. Отношения мои к нему можно считать довольно близкими, по крайней мере, насколько по натуре своей он способен был сближаться с людьми; некоторые даже считали меня вполне доверенным его лицом, но это совершенный вздор; все ограничивалось служебною сферой, и тут действительно граф Толстой оказывал мне большое доверие, но никогда не переступал я эту черту и не касался ничего, что не входило в круг моих прямых обязанностей. Во всяком случае, я имел возможность достаточно хорошо изучить этого государственного человека и хочу теперь собрать о нем свои воспоминания.

Когда граф Толстой заменил Головнина, я не имел никакого о нем понятия. От М. Н. Каткова и П. М. Леонтьева приходилось мне иногда слышать, что это человек с твердыми убеждениями и благонамеренный — вот и все; впервые я увидел его при общем представлении ему служащих в Министерстве народного просвещения; граф Толстой обратился к нам с речью, которая произвела очень хорошее впечатление; вообще он умел говорить — речь, произне-

сенная им в 1867 году на обеде в честь приехавших к нам австрийских славян, имела большой успех.

Впоследствии мне случалось слышать кое-что о том, как протекали молодые годы графа Толстого. По словам известного нашего ученого А.Н.Попова[173], материальные его средства были очень скудны; нередко перебивался он со дня на день, так что без приглашения приходил к Попову и к другим близким знакомым обедать, откровенно признаваясь им, что у него нет ни гроша в кармане. С матерью своей он был не в ладах, потому что, оставшись вдовой, она вступила в брак с каким-то гувернером или лекарем; граф Дмитрий Андреевич никогда не мог простить ей этого[174]. О кончине его отца, графа Андрея Степановича, рассказывал мне Н.А.Ратынский[175], и я передаю здесь этот рассказ, хотя не могу ручаться за его правдивость, так как не имел возможности проверить его. Толстой ехал в гости с каким-то помещиком и, будучи в нетрезвом виде, вздумал похваляться, будто находится в интимных отношениях с его женой; отсюда ссора, продолжавшаяся, когда они уже сидели в гостях за обедом; обиженный требовал, чтобы Толстой отказался от своих слов, и, получив отказ, вышел из-за стола, взял в тарантасе пистолет и, вернувшись, застрелил Толстого.

И воспитанием, и первыми своими шагами на служебном поприще граф Дмитрий Андреевич был обязан своему дяде графу Дмитрию Николаевичу[176], оставившему по себе добрую память; летом 1871 года жил я в с. Калистове (по Московско-Ярославской дороге, недалеко от Троицкой лавры) и познакомился там с этим почтенным человеком; беседа с ним была чрезвычайно приятна, ибо он обладал большими сведениями и недюжинным умом. (Записки его напечатаны в «Русском архиве» 1865 года.) Под руководством своего дяди граф Дмитрий Андреевич трудился очень усердно; он был не только хорошим чиновником, но приобрел известность и в литературе — если первый его труд (о финансах в царствование Екатерины) не отличался большими достоинствами, то другой, изданный им на французском языке под заглавием «Le catholicisme romain en Russie», нельзя не считать весьма ценным вкладом в нашу историческую науку.

В царствование императора Николая все образо-

ванные люди отличались более или менее либеральным образом мыслей — к числу их принадлежал и граф Толстой. Самым близким его другом и поверенным задушевных его тайн был А.Н.Плещеев, дюжинный писатель, пострадавший в известной истории Петрашевского[177]. Толстой и Плещеев были неразлучны; первое издание своих стихотворений посвятил Плещеев своему другу*; такая тесная связь существовала между ними, что когда Плещеев был посажен в крепость, то все, знавшие их, полагали, что та же участь постигнет и Толстого. Лет семь или восемь служил Плещеев солдатом где-то в Оренбургском крае, и когда разрешено было ему вернуться в Петербург, то уже не видался с графом Толстым; всякие сношения между ними были прерваны. Впоследствии, в управление мое цензурным ведомством, мне случалось иногда при докладах упоминать имя Плещеева, и граф Дмитрий Андреевич обнаруживал большое желание узнать что-нибудь о нем, об его семействе, но он делал это как-то неловко, видимо, не желая показать, что в былое время находился с ним в дружеских отношениях.

По поводу Плещеева не могу не упомянуть, что благодаря ему едва не постигло меня большое несчастье. В мрачном 1849 году я был студентом Московского университета; в то время нередко появлялись у нас на лекциях посторонние лица, интересовавшиеся наукой, и в числе их оказался однажды Плещеев, приехавший на короткое время в Москву. Он очень скоро сблизился со мной и с небольшим кружком особенно близких мне моих товарищей. Плещеев казался нам человеком ума довольно ограниченного, но он был добрый малый, а главным образом рекомендовало его в наших глазах то, что он состоял сотрудником «Современника», который пользовался большим успехом в среде молодежи[178]. Однажды Плещеев вызвался прочесть нам какое-то свое произведение, и для этого все собрались вечером у меня; мы думали, что это будет роман или повесть, — напротив, он преподнес нам довольно обширный трактат, в

* «Стихотворения А.Плещеева. 1845—1846» (Спб., 1846) не имеют общего посвящения, и подзаголовок «графу Д.А.Толстому» обозначен только на с. 12 при строфах «Ее мне жаль». — *Ред.*

котором развивал мысль, что необходимо пробудить самосознание в народе, что лучшим для этого средством было бы переводить на русский язык иностранные сочинения, приноравливаясь к простонародному складу речи, и распространять их в рукописях, а пожалуй, удастся как-нибудь их и отпечатать; что в Петербурге возникло уже общество с этой целью и что если бы мы пожелали содействовать ему, то для первого дебюта могли бы выбрать «Les paroles d'un croyant» Ламенне[179]. Все это было чересчур легкомысленно и глупо. Чтение это покоробило нас; мы никак не предполагали, однако, чтоб оно могло отозваться неприятными последствиями, но нашелся в нашем кружке студент Столыгво, отчаянный поляк, гораздо более нас сведущий в делах такого рода, который открыл нам глаза. Плещеев разглагольствовал о необходимости пропаганды, о дружных усилиях, чтобы расшевелить народные массы, погрязающие в рабстве, а всего этого, по словам Столыгво, было вполне достаточно, чтобы прогуляться нам в Сибирь. Мы условились сторониться Плещеева. Несколько дней спустя, когда я обедал с дядей и братом, докладывают мне, что он приехал и желает переговорить со мной наедине. Выхожу в другую комнату и вижу пред собой человека с лицом, покрытым мертвенной бледностью, с блуждающими, почти сумасшедшими глазами.

—Я погиб, — сказал он торопливо, — меня велено арестовать, и так как скрыть/ся/ некуда, то я решился сейчас же ехать к Лужину (тогдашнему московскому обер-полицмейстеру) и отдаться ему в руки. К несчастью, я имел неосторожность написать одному из моих приятелей в Петербурге о моем знакомстве с вашим кружком, о чтении, которое происходило у вас, причем выразился, что вы отнеслись ко мне сочувственно; приятель мой арестован и весьма быть может, что письмо мое попалось в руки тайной полиции; умоляю вас не сетовать на меня, если вы подвергнетесь неприятностям...

Действительно, при тогдашнем порядке вещей можно было ожидать всего дурного, и я не сомневаюсь, что если бы были удостоверены сношения, хотя и вполне невинные, Плещеева со студентами университета, то эти несчастные очутились бы в каких-

нибудь линейных батальонах. Тревожное чувство, овладевшее нами, усиливалось с каждым днем; прошло, однако, несколько недель, и никто нас не трогал. Вдруг присылает за мной Т.Н.Грановский, которому я рассказывал о нашей истории; я застал у него только что приехавшего из Петербурга К.Д.Кавелина. «Вот кому вы обязаны своим спасением», — сказал Грановский. Оказалось, что письмо Плещеева было адресовано Достоевскому, который сообщил его случайно для прочтения Кавелину, а у Кавелина оно залежалось до того времени, как у Достоевского произведен был обыск[180].

Прошу читателя извинить меня за это отступление и возвращаюсь к графу Толстому. Люди, знавшие его в молодости, рассказывали мне, что он был очень влюблен в замечательную красавицу Языкову, которая потом вышла за какого-то голландского дипломата при нашем дворе. Граф Дмитрий Андреевич сделал ей предложение и уже считался женихом, но свадьба не состоялась вследствие того, что дядя его Дмитрий Николаевич убедил его, до какой степени было бы безрассудно вступить ему в брак с девушкой, которая так же, как и он, не имеет состояния.

Под влиянием этих советов он вдруг и очень круто порвал всякие сношения с Языковыми. Этот эпизод в его жизни служит, между прочим, доказательством, что сильная страсть или вообще сколько-нибудь нежная привязанность была не в его натуре. В молодости он мог увлекаться, но все заставляет предполагать, что увлечения эти были непродолжительны, ибо эгоизм составлял отличительную черту его характера; в конце концов перевес всегда оставался на стороне холодного рассудка. Вскоре после разрыва своего с Языковой граф Дмитрий Андреевич женился на дочери известного Дмитрия Гавриловича Бибикова[181], Софье Дмитриевне, женщине очень недалекого ума, некрасивой, но в высшей степени доброй и благодушной. Недостатки свои она с лихвой искупала в его глазах тем, что принесла ему значительное состояние, и властвовал он над нею неограниченно, так что малейший его каприз был для нее законом. Здесь кстати будет вообще упомянуть об отношениях его к своим родственникам. В 1864 году я ездил с женой в Кис-

синген, куда собралось очень много русских, и в числе их находилась княгиня Львова, родная сестра графини Толстой. По возвращении в Петербург я упомянул в разговоре с графом Дмитрием Андреевичем, что видел его belle-soeur, но не имел случая познакомиться с нею. «Жалеть нечего, потому что это большая негодяйка», — отвечал он. Такой краткий, но далеко не лестный отзыв удивил меня, но с течением времени я привык к тому, что имя Львовой появлялось на его устах не иначе как с аккомпанементом самых бесцеремонных ругательств. С тестем своим находился он в дурных отношениях, но особенно ненавидел свою belle-mere, о которой, впрочем, от многих лиц, знавших ее, приходилось мне слышать только самые дурные отзывы; когда он был министром внутренних дел, старуха Бибикова посещала свою дочь Софью Дмитриевну, они ездили друг к другу, но граф Дмитрий Андреевич никогда не встречался с нею, не хотел о ней и слышать. Эта непримиримая вражда вызвана была, кажется, не чем иным, как денежными расчетами; граф Толстой постоянно жаловался, что его обделили, дали ему только часть того, на что он имел право; до какой степени была в нем чувствительна эта струна, лучше всего доказывают отношения его к своему дяде Дмитрию Николаевичу. Этот старик, которому был он немало обязан, непростительно провинился пред ним тем, что в преклонных летах вступил в брак с женщиной самого простого звания, с какою-то мещанкой или что-то в этом роде, к довершению всех бед он имел от нее ребенка, которому и передал свое состояние. Граф Дмитрий Андреевич счел это кровною для себя обидой и совершенно отшатнулся от дяди. Мне самому случалось слышать, как однажды у себя за обедом, имевшим, так сказать, официальный характер, ибо гостями были большею частью съехавшиеся в Петербург губернаторы, он отзывался о жене Дмитрия Николаевича в выражениях, которые было бы неприлично повторить здесь.

По-видимому, все это не представляет интереса — что кому за дело, в каких отношениях находился граф Толстой со своими родственниками, — но опять-таки нельзя не отметить, что, по всем рассказам, упомянутые пререкания и раздоры происходили исключитель-

но из денежных счетов. Чем богаче становился граф Дмитрий Андреевич, тем сильнее развивалась в нем страсть к приобретению. Он отстаивал свои интересы с непреклонным упорством и проникался озлоблением ко всякому, кто так или иначе нарушал их. Когда я сблизился с ним, он несколько раз заводил со мною речь о своих отношениях к своим бывшим крепостным крестьянам; я готов допустить, что с формальной точки зрения он был прав; доказательством служит, между прочим, что когда появилась по этому поводу в начале шестидесятых годов оскорбительная для него статья в «Отечественных записках» и Толстой привлек к суду издателя этого журнала Краевского, то судебное решение состоялось в его пользу. Суд не мог, конечно, рассматривать дело иначе как на основании формальных доказательств. Но, грешный человек, я думаю, что едва ли в этом деле, точно так же как в других, когда затрагиваемы были материальные его интересы, способен был он обнаружить хоть малейшее великодушие. Этому противилась его лишенная высоких побуждений натура.

От либеральных стремлений молодых лет не осталось в нем вскоре и следа. Было бы несправедливо упрекать его в этом, ибо смута, воцарившаяся у нас и в обществе, и в правительственных сферах с конца пятидесятых годов, способна была отрезвить благоразумного человека, замечательно только, что — сколько мне известно — переворот в настроении графа Толстого совершился слишком быстро и что поводом к тому послужило освобождение крестьян. Граф Дмитрий Андреевич решительно не сочувствовал началам, положенным в основу этой реформы, он шел в этом отношении гораздо далее своего дяди, со взглядами которого можно ознакомиться из мемуаров его, напечатанных в «Русском архиве»; он подал даже государю какую-то записку, направленную против редакционной комиссии, и записка эта была принята очень дурно. Вообще же этого периода деятельности графа Дмитрия Андреевича я не буду касаться за неимением надлежащих сведений; мне неизвестно, каким образом проник он к великому князю Константину Николаевичу и кто после ухода его из Морского министерства содействовал назначению его в должность обер-прокурора Синода. Пребывание его в

Морском министерстве ознаменовалось, между прочим, непримиримою его враждой с Головниным; оба одинаково отличались властолюбием, оба стремились создать себе карьеру, но Головнин обладал и изворотливостью и искусством в интриге, которых недоставало его сопернику, а потому победа осталась за ним; что касается графа Толстого, то, каковы бы ни были его недостатки, едва ли кто-нибудь считал его интриганом; он только злобствовал, разражался бранью против своих недоброжелателей, но не способен был подкапываться под них.

Пригоден ли был он для должности обер-прокурора? Отчего же нет, если занимали ее и граф Протасов[182], и многие другие, нисколько не стоявшие выше его ни по уму, ни по способностям? Мне кажется, однако, что при замещении этой должности следовало бы останавливаться на людях, не чуждых интересам церкви, вращавшихся более или менее в сфере церковных вопросов; если мнение это справедливо, то выбор графа Толстого представляется довольно странным. Я не думаю, чтобы он принадлежал к числу людей неверующих, — далеко нет, но веровал он, как очень многие в нашем образованном обществе, т. е. дело веры вовсе не было для него жизненным интересом, а состояло лишь в довольно ленивом исполнении обрядов; граф Толстой не обнаруживал в этом большого усердия[183]. В его глазах духовный регламент был одним из блистательнейших памятников мудрости Петра Великого; он постоянно говорил о нем с восторгом, находил его безупречным и в основных его положениях, и в подробностях. Сколько раз в беседах с ним я указывал на угнетенное, почти рабское положение нашего духовенства, старался доказать, что нападки на представителей нашей церковной иерархии не совсем справедливы, ибо они не могут быть иными вследствие тех условий, в которые поставлены. На это у графа Толстого был неизменно один и тот же ответ: «Всякий архиерей в глубине души своей лелеет мечту о том, чтобы сделаться папой; создайте для архиереев более самостоятельное положение, и они употребят все усилия, чтобы подчинить государство церкви». Странные опасения при том состоянии, в каком находится Россия...

— Я смотрю на духовенство, — говорил граф

Толстой, — не более не менее как на силу, которая должна находиться в подчинении правительству и которою умное правительство может искусно пользоваться для своих целей.

Ничто, однако, не показывает, чтобы духовенство послужило орудием в его руках, хотя именно это и имелось в виду при назначении его министром народного просвещения. Думали, что, находясь во главе двух ведомств, которым одинаково близки интересы народного образования, он воспользуется этим выгодным положением, чтобы совокупными их усилиями разрешить задачу, которая в то время особенно озабочивала правительство. Надежды оказались, однако, тщетными. Некоторые меры или, вернее, полумеры, придуманные графом Толстым, были лишь каплей воды в море, и это главным образом потому, что сердце его не лежало к церкви. Вообще он сделал кое-что для духовенства, преимущественно для духовных училищ, высших и средних, но наряду с этим некоторые из его предположений оказались неудачными и даже возбудили сильнейшее против него неудовольствие. Едва ли кто в духовном ведомстве пожалел о том, что пришлось с ним расстаться; последние годы управления графа Толстого этим ведомством одним из главных его сотрудников был архиепископ Литовский, впоследствии Московский митрополит Макарий[184], известный своими учеными трудами; он много был обязан графу Толстому, который быстро подвигал его вперед и предоставил ему Московскую кафедру вопреки желанию императрицы Марии Александровны. После падения графа Дмитрия Андреевича Макарий тотчас же отшатнулся от него; он не только не приехал выразить сожаление по поводу постигшей его невзгоды, но даже не отвечал на его визит. Конечно, это не могло способствовать тому, чтобы граф изменил свое мнение о наших иерархах.

Но я все отдаляюсь в сторону. Как известно, министром народного просвещения назначен был граф Толстой в 1866 году, вслед за событием, сильно взволновавшим Россию. То было покушение Каракозова[185]. Следствие по этому делу возложено было на графа М. Н. Муравьева, и в первые дни преступник упорно отказывался отвечать на вопросы, так что не представлялось возможности удостоверить его лич-

ность. Всех занимала мысль, из какой среды он вышел, кого имел сообщниками, и, между прочим, именно об этом толковали однажды вечером у графа Дмитрия Андреевича несколько знакомых, в числе коих находился В.К.Ржевский, тогда же сообщивший мне эти подробности. Вдруг фельдъегерь привозит Толстому приказание явиться утром следующего дня к государю. Толстой сильно смутился. «Вероятно, обнаружилось, — говорил он, — что преступник — семинарист, и меня ждет беда...» С этим тревожным чувством вступил он в кабинет государя, а вышел оттуда министром. По достоверным сведениям, обязан он был столь счастливым для себя событием Муравьеву, который остановился на нем, вероятно потому, что знал его образ мыслей, знал, что граф Толстой непримиримый враг великого князя Константина Николаевича и Головнина, а затем ожидал очень многого от взаимодействия светской власти и духовенства в вопросах народного образования.

Честолюбие графа Толстого было удовлетворено. Он достиг наконец того, о чем, вероятно, не переставал мечтать, не имея, однако, твердой надежды, чтобы мечты его когда-нибудь осуществились. Вдруг и неожиданно сделался он министром. Среди тогдашних обстоятельств вверенное ему министерство было одно из самых трудных: учебная система, довольно правильно поставленная Уваровым[186], подверглась коренной ломке в последние годы царствования императора Николая; вместо нее наступил какой-то хаос, а затем начались неудачные эксперименты Головнина, который в преобразованиях заботился главным образом о том, чтобы они как можно более соответствовали тогдашнему ходячему либерализму. Надлежало приняться серьезно за дело, но как повести его? В ком мог бы граф Толстой найти надежную для себя опору?

Конечно, не в тех лицах, которые при вступлении его в должность занимали наиболее видные места в Министерстве народного просвещения. Товарищем своим вскоре избрал он И.Д.Делянова[187], к которому было бы, конечно, совершенно бесполезно обращаться за советами — он и сам никогда не мог твердо стоять на ногах. Делянов представлял собой пример того, как можно у нас достигнуть очень высокого по-

ложения без сколько-нибудь выдающихся заслуг; никогда не был он не только тружеником — смешно и говорить об этом, — но даже дельцом в самом ординарном значении этого слова; никому не случалось, конечно, слышать, чтобы он высказал какую-либо мысль, которая была бы плодом зрелого и самостоятельного размышления; глупым человеком назвать его было нельзя, но не был он, конечно, и человеком умным; подобно всем своим соотечественникам-армянам, обладал он в значительной степени хитростью, знал Петербург как свои пять пальцев, со всеми находился в хороших отношениях, не имел врагов, потому что и враждовать с ним было как-то странно: он способен был всякого обезоружить своим невозмутимым добродушием. В обществе любили Ивана Давыдовича за его доброту, хотя и самая доброта эта была какая-то дряблая, пассивная; он готов был хлопотать без разбора за кого угодно: и за порядочных людей, и за людей вовсе не порядочных, так что на его рекомендации привыкли не обращать внимания, и он нисколько этим не обижался. Человек несомненно честный, отличавшийся чрезвычайной простотою своего образа жизни, никогда не кичившийся своим положением, всегда доступный всякому, кто хотел его видеть, так что двери его кабинета были постоянно открыты для просителей, Делянов не в состоянии был, однако, научить графа Толстого чему-либо дельному. Директором Департамента народного просвещения в первые годы управления министерством графа Толстого был Гирт[188] — очень трудолюбивый и добросовестный чиновник, но не получивший достаточного образования (оно и началось и завершилось курсом уездного училища). Значительная часть наиболее важных дел сосредоточивалась в ученом комитете, в котором председательствовал А. С. Воронов[189]. Я довольно хорошо знал его и готов отдать справедливость многим недюжинным его качествам — и несомненной его честности, и трудолюбию, и желанию принести пользу, но Господь Бог не наделил его умственными способностями: это был человек очень ограниченного ума; если какая-нибудь идейка западала в его голову, то он с исступлением цеплялся за нее и не было уж никакой возможности его отрезвить. Как только Министерство народного просвещения вверено

было адмиралу Путятину[190], он тотчас же вышел в отставку, мотивируя это тем, что не хочет быть одним из поборников обскурантизма, который, по его мнению, должен был водвориться в наших учебных заведениях при новом министре; это создало ему большую популярность в среде прогрессивных педагогов, которых с конца пятидесятых годов народилось у нас очень много.

Воронова прославляли на все лады, в известных кружках он сделался героем, и А. В. Головнин, заменивший Путятина, нашел, что нет лучшего средства польстить так называемому «общественному мнению», как водворить снова Воронова в министерство. Людям, окружавшим Андрея Степановича, хотелось бы, чтобы о классической системе образования не было и помину в России, чтобы вместо нее процветало у нас исключительно образование реальное; Воронов не решался идти так далеко — по его мнению, обе системы должны были существовать рядом с совершенно одинаковыми правами, причем все его симпатии были на стороне реальной. Неудивительно, что либеральные газеты и журналы расточали ему похвалы, что педагоги, взлелеянные Головниным, выставляли его великим мудрецом; они очень хорошо понимали, каким полезным для них союзником может служить Воронов, занимая должность председателя ученого комитета. По-видимому, графу Толстому следовало бы как можно скорее отделаться от него, но он держал его целых пять лет в упомянутом комитете, а затем, когда в 1871 году предоставил ему почетное место члена Совета министра, то все-таки расшаркивался пред ним и не жалел для него наград. И это не потому, чтоб он благоговел пред какими-либо его достоинствами, — напротив, он был невысокого мнения о Воронове, считал его своим врагом и предостерегал близких к себе людей, чтобы они ему не доверяли; нередко среди оживленной беседы, как скоро докладывали ему о Воронове, он просил нас быть особенно осторожными. В отношениях его к этому человеку проявлялась черта, на которую мне еще придется указывать не раз: устранить Воронова значило вызвать неудовольствие в известном лагере, подать повод к нареканиям и даже к агитации, а для этого, как во

многих подобных случаях, у графа Дмитрия Андреевича просто-напросто не хватало мужества.

Ожесточенная полемика, происходившая при Головнине, достаточно уяснила два совершенно различных направления относительно нашей учебной системы. Нетрудно было предвидеть, к какому из них примкнет граф Толстой. С одной стороны, непримиримая ненависть к Головнину, с другой — близкие связи с М.Н.Катковым и Леонтьевым побуждали его выступить горячим поборником классицизма, о котором он имел, однако, довольно смутное понятие; в первое время в суждениях его по этому вопросу нетрудно было заметить, что он в него не углублялся, не изучал, да и не имел возможности изучить. Он сознавал только необходимость что-нибудь сделать, но как и что именно — на первых порах это представлялось неразрешимою загадкой. Неудивительно, что он тотчас же прибегнул к советам и указаниям Каткова и Леонтьева, у которых давно уже созрели вполне определенные планы относительно существенных изменений, которые следовало произвести в реформах Головнина. Но руководить делом издали было нелегко; всякая здравая мысль, положенная в основу того или другого проекта, могла быть искажена при разработке, и это вовсе не вследствие дурного умысла, а просто потому, что не была усвоена надлежащим образом. По мнению Каткова и Леонтьева, при графе Толстом должно было находиться лицо, которое, пользуясь его доверием, служило бы в Петербурге их отголоском, и таким лицом явился А.И.Георгиевский[191]. Катков утверждал впоследствии, будто Толстой сам остановил свой выбор на Георгиевском, но я плохо этому верю: откуда он мог знать его? Переселившись из Москвы в Петербург, Георгиевский занимал несколько лет сряду должность редактора «Журнала Министерства народного просвещения», но уже и в это время все важные вопросы разрешаемы были при самом деятельном его участии.

Он был моим товарищем по университету, и, хотя мы находились на разных факультетах, между нами уже тогда установились довольно близкие отношения. Произошло это таким образом, что меня удостаивал особого расположения незабвенный наш профессор П. Н. Кудрявцев, с которым затем до самой его кон-

чины связывала меня тесная дружба, а у Кудрявцева в числе других студентов постоянно встречал я и Георгиевского. Товарищи не слишком любили его, и это вовсе не потому, чтобы обнаруживались в нем какие-нибудь дурные свойства; напротив, он был и честен, и трудолюбив, и умен, но ум его был чересчур тяжеловесный, а по натуре своей он уже с молодых лет представлял собой тип порядочного педанта; неприятно было в нем также крайнее самомнение, непоколебимая уверенность, что только он один способен овладеть каким угодно делом вполне основательно, хотя эта мнимая основательность состояла в том, что иногда без малейшей нужды и с упоением погружался он в море ненужных мелочей и подробностей. Ничего не могло быть противоположнее таких натур, как Толстой и Георгиевский. Граф Дмитрий Андреевич любил все схватывать быстро и легко; основательность уж отнюдь не была в числе его достоинств; между прочим, им владела странная мания, чтобы на рабочем его столе не залеживалось даже на самое короткое время ни единого клочка исписанной бумаги, и он любил этим хвастаться. Постоянно, когда он был министром народного просвещения, а потом внутренних дел, он говорил своим посетителям: «Попробуйте найти у меня что-нибудь на столе — видите, как чисто». Случалось послать к нему очень обширное дело, и через два или три часа он уже возвращал его со своими пометками; он не был спокоен до той минуты, пока не спускал его с рук. Понятно, что интерес дела не мог не страдать от подобной быстроты. Не выносил также граф Толстой медленных широковещательных докладов — каково же было ему беседовать с А.И.Георгиевским, который, приступая к какому-либо вопросу, начинал чуть ли не с грехопадения прародителей, не хотел пожертвовать самыми ничтожными деталями, и все это монотонным, гнусливым голосом... Нельзя, однако, отрицать, что при всех своих недостатках это был неутомимый и добросовестный работник, горячо преданный делу и честно служивший ему. Входя иногда вслед за Георгиевским в кабинет графа Дмитрия Андреевича, я находил его в сильном нервном возбуждении — так успевал Александр Иванович доехать его своею «основательностью»; но при совершенно противоположных качес-

твах министра и эта основательность приносила большую пользу. К чести Георгиевского относится, что он отстаивал свои мнения с замечательною твердостью, отстраняя всякие соображения о том, может это повредить ему или нет; он знал себе цену и держал себя независимо. Однажды граф Толстой вспылил и в присутствии директора департамента позволил себе наговорить ему много неприятного; вернувшись домой, Георгиевский отправил к нему письмо, которое потом показал мне; в письме этом он высказал, что ставит себя несколько выше заурядных чиновников, что если они способны выносить оскорбления, то он не потерпит ничего подобного, и что если граф Толстой не считает возможным обуздывать свои порывы, то лучше им расстаться. Первый шаг к примирению сделан был графом Дмитрием Андреевичем, и урок, видимо, подействовал на него. Говоря о Георгиевском, считаю необходимым прибавить, что его образ действий после падения Толстого и при Сабурове, и при бароне Николаи внушал уважение к нему даже его врагам: не подлежало сомнению, что оба названных министра стремились поколебать только что установившуюся у нас учебную систему, и в то время как многие из сотрудников графа Дмитрия Андреевича только и помышляли о том, чтобы примениться к новым веяниям, Георгиевский оставался неизменно верен своим убеждениям. Он видел, с каким недоброжелательством относились к нему, не мог не опасаться за свою судьбу, потому что существовал только службой, и все-таки ни на минуту не покривил душой. Такие люди у нас редки.

У меня нет намерения писать историю управления министерством графа Толстого. Для этого найдется немало документов. Мне хотелось бы только выяснить личность главного действующего лица.

В этот период своей жизни граф Дмитрий Андреевич далеко не походил на того, каким оказался позднее. Весь запас своих нравственных сил, все, что только было в нем энергии, вносил он в свою деятельность и работал как только мог и умел. Ни для кого не составляло тайны, кто был главным двигателем быстро следовавших одного за другим преобразований — и в обществе, и в печати их не называли иначе как «катковцами». Замечу, между прочим, что

ни разу не случалось мне подметить, чтобы граф Толстой выражал по этому поводу неудовольствие. Нельзя было не удивляться этому, зная, до какой степени он самолюбив и тщеславен. Самоотречение его можно, мне кажется, объяснять различным образом — во-первых, как уже упомянуто выше, его беспомощностью: у него не было собственных идей и он жадно уцепился за человека, который стоял пред ним с вполне готовою программой; во-вторых, громадным значением «Московских ведомостей»; для него было чрезвычайно важно, что газета, к голосу которой чутко прислушивались и друзья и враги, поддерживала его с необычайной силой и одушевлением; наконец, тут обнаруживалось вообще влияние сильной натуры на слабую. Путь был намечен, и по этому пути вела графа Толстого железная рука. Все преобразования осуществлялись и были приводимы в исполнение с такою непреклонною последовательностью и твердостью, что и сам граф Толстой приобрел в мнении громадного большинства общества репутацию человека крайне энергического. Какая злая ирония! Как изменилось бы мнение о нем, если бы он был предоставлен самому себе! Каткова едва ли он любил, и нельзя сказать, чтобы подчинялся ему без ропота и неудовольствия; большею частью случалось так, что с первого раза мысль, высказываемая Катковым, встречаема была им с недоумением, он долго не мог освоиться с нею, возражал, протестовал, боялся, что его завлекут слишком далеко, что он может скомпрометировать свое положение; сколько раз, опасаясь сломить себе шею, он обнаруживал склонность к уступкам, но настойчивость руководителя не допускала его отступить ни на шаг. Надо было неусыпно следить за ним, и Катков вспоминал впоследствии не иначе как с ужасом о том, что это ему стоило, он говорил, что в другой раз не хватило бы у него сил для подобного испытания[192]. Забавно было слышать, как иногда в минуты раздражения граф Дмитрий Андреевич восклицал: «Не могу же я, однако, сообразоваться со всем, что придет в голову журналисту...» И в конце концов он все-таки подчинялся настойчивым его требованиям; следует, впрочем, заметить, что и не для одного графа Толстого иметь дело с Катковым было нелегко. Как скоро в голове Михаила Ни-

кифоровича созревал план, то изменение малейшей черты в этом плане готов был он считать признаком самых дурных намерений. Приведу пример, чтобы показать, до чего это доходило у него. Оставалось несколько дней до обсуждения проекта гимназической реформы в общем собрании Государственного совета; граф Дмитрий Андреевич с целью распределить роли между своими доброжелателями, которых оказалось весьма немного, собрал их у себя на обед; находился между ними и дряхлый, добродушный В. П. Титов[193], который разделял мысль, что гимназии должны быть в настоящем смысле слова классическими, и с этой стороны вполне удовлетворял Каткова. Но почтенный старик позволил себе высказать в послеобеденной беседе замечание; он вовсе не думал настаивать на нем, а советовал только графу Толстому в последнюю минуту подвергнуть его обсуждению — не будет ли обременительно изучение двух древних языков для слишком юного возраста, не лучше ли начать преподавание греческого языка с четвертого или даже с пятого класса. Завязался по этому поводу спор, в котором Катков не принимал никакого участия и даже вышел в другую комнату. Немного спустя я последовал туда за ним; он ходил из угла в угол, потупив голову и с весьма мрачным видом. «Отчего же вы покинули общество?» — спросил я его. Катков остановился, помолчал несколько минут и воскликнул с яростью: «Не могу я слушать спокойно этого изверга Титова...»

Если даже безобидный В. П. Титов приводил в содрогание Михаила Никифоровича, то легко понять, что должен был он при крайней страстности своей натуры испытывать, имея дело с графом Толстым. Недоразумения между ними возникали нередко. Разрабатывался, например, вопрос о реальном образовании. Толстой, не условившись относительно всех подробностей с Катковым или не усвоив себе основательно его взгляды, возложил эту задачу на Воронова, а Воронов (от которого я сам это слышал) заручился предварительно согласием министра, что будет сохранено название реальных «гимназий», что эти учебные заведения не будут выпускать своих воспитанников в университеты, но останутся общеобразовательными с весьма широкою программой. Воронов

заранее ликовал и был убежден, что Толстой не изменит своих намерений. Упомянутый проект никаким образом не мог, однако, удовлетворить Каткова и Леонтьева, которые всегда опасались, что приверженцы реализма воспользуются первым удобным случаем, чтобы сравнять относительно прав излюбленные ими заведения с гимназиями, а потому они считали необходимым дать такое устройство реальным училищам, при котором были бы тщетны всякие попытки возвысить их. При первом известии о том, что замышлялось Вороновым, оба они поспешили в Петербург. Однажды получил я от Б. Маркевича[194] приглашение провести у него вечер; приезжаю и нахожу довольно многолюдное общество, в том числе Каткова, Леонтьева и Толстого. Граф Дмитрий Андреевич, видимо, находился в возбужденном состоянии и не замедлил объяснить мне причину этого. «Катков и Леонтьев, — сказал он, — требуют невозможного; если гимназический устав возбудил бурю в Государственном совете, то понятно, как отнесется он к проекту реальных училищ на придуманных ими основаниях; никогда не соглашусь на это...»

Однако он согласился, и даже очень скоро. В течение какой-нибудь недели Катков дал совершенно новый оборот делу, проект Воронова был устранен, Леонтьев с Георгиевским принялись за работу и окончили ее с необыкновенной быстротой.

Когда удавалось утвердить графа Толстого в какой-нибудь мысли, он уже не сбивался с пути, но тут возникали заботы другого рода. Граф Дмитрий Андреевич был вовсе не способен найти себе союзника, сформировать партию, не способен по многим причинам и, между прочим, потому, что я редко встречал человека менее общительного. Пусть не подумают, будто отличался он мрачным, сосредоточенным характером. Напротив, если удавалось кому-либо проникнуть к нему, он любил болтать без устали, болтать о чем угодно с большим одушевлением, но только он принимал все меры, чтобы доставлять себе как можно реже это удовольствие. Заветною его мечтою было запереться дома и не пускать к себе ни единой живой души. Таким он был всегда, но с течением времени эти анахоретские наклонности развились в нем до уродливости. Однажды, когда он управлял

уже Министерством внутренних дел, сын его — кретин в настоящем смысле слова, которого он не только любил, но положительно обожал[195], — отправился в заграничное путешествие, и это очень его опечалило. Секретарь его Романченко говорил мне, что граф очень скучает, что разлука с сыном подействовала даже на его здоровье. «Отчего же, — заметил я, — жена и дочь не стараются его развлекать?» «Да как же это сделать, — отвечал Романченко, — ведь для графа только и существует одно развлечение — никого не видеть». Развлечение довольно странное. «Чем это так занят ваш министр? — спрашивал Д. А. Милютин, — никогда и нигде его не видно; не может быть, однако, чтобы у него не оставалось свободной минуты от занятий, вероятно, он пишет какой-нибудь роман или повесть...»

Я объясняю себе нелюдимость графа Толстого чрезвычайною его нервностью, которая усиливалась в нем, во-первых, потому что он вынужден был работать более, чем способен был к тому по своей природе, а во-вторых, вследствие ожесточенной борьбы, которую приходилось ему выдерживать; неудивительно, что он постоянно нуждался в отдыхе и спокойствии. То, что для всех, знавших его, казалось странностью, было в сущности не чем иным, как болезненным симптомом. Недуг уже сидел в нем, когда еще и он и другие этого не замечали, а ожесточенная травля, которой подвергался он со стороны своих противников, надрывала его силы. Чтобы одолеть их, граф Толстой успел лишь в одном — он заручился поддержкой всемогущего тогда шефа жандармов графа Шувалова, но и этот союзник оказывал ему содействие вовсе не потому, что понимал важное значение предпринятого им дела. «Не думаешь ли ты, — говорил он Альбединскому, — что меня занимают эти скучнейшие распри о классицизме и реализме? Я стою на стороне Толстого только потому, что он принадлежит к моей партии и никогда не изменит мне».

Своими успехами обязан был граф Толстой не людям вроде Шувалова, а все-таки Каткову, который проявлял изумительную деятельность даже там, где, казалось, никак нельзя было рассчитывать на нее. Каждый раз с приездом его в Петербург все оживлялось и все проникались бодростью; он не знал отды-

ха, проводил ночи без сна, бросался в разные стороны, посещал всех лиц, которых можно было склонить в пользу дорогого ему дела. Уж если кто должен был ненавидеть Михаила Никифоровича, то, конечно, великий князь Константин Николаевич, но Катков сумел проникнуть даже к нему, зная, каким сильным влиянием может пользоваться он как председатель Государственного совета; великий князь забыл о громовых статьях «Московских ведомостей» во время польского восстания и благодаря главным образом Каткову содействовал успеху гимназической реформы. Катков попытался даже сблизиться с Головниным при посредстве генерала Киреева, но это не удалось ему: Головнин был слишком злопамятен, чтоб согласиться на свидание, из которого, впрочем, ничего не могло и произойти.

Своею ни перед чем не отступающею энергией Катков действовал возбуждающим образом и на Толстого, но, когда обстоятельства становились затруднительны, а Каткова в Петербурге не было, Толстой терялся и падал духом. Особенно проявлялось это при обсуждении проекта реальных училищ. Можно было опасаться, что в этом вопросе государь не сочтет возможным поддержать министра. Накануне Светлого Воскресенья (1871 год) Толстой пригласил меня к себе вечером, чтобы переговорить о каком-то деле; я нашел его крайне расстроенным, он не хотел ехать к заутрене в Зимний дворец, у него вырывались жалобы, что Катков завлек его слишком далеко, что ему предстоит удалиться от дел. Вдруг фельдъегерь привозит ему весьма лестный рескрипт с орденом Александра Невского; надо было видеть, что произошло с ним: он созвал семью, принимался несколько раз целовать нас и полетел во дворец. Но и после того дело представлялось еще в смутном виде. В общем собрании Государственного совета за проект реальных училищ высказалось лишь крайне незначительное меньшинство, а так как государь уезжал за границу, то и Толстой и Катков опасались, что он поддастся там дурным влияниям. При последнем своем докладе граф Дмитрий Андреевич, рассчитывая вызвать государя на разговор, по которому можно было бы предугадать его намерения, выразил сожаление, что государь не успеет рассмотреть проект зако-

на в Петербурге. «Так что же из этого, — возразил государь. — Разве ты думаешь, что меня трудно отыскать за границей?..» Этот сухой ответ, обнаруживший явное намерение уклониться от дальнейших объяснений, сильно смутил графа Дмитрия Андреевича. От считал дело окончательно проигранным, но обманулся самым приятным для себя образом[196].

Нельзя не пожалеть, что в описываемое время не хватало у графа Толстого мужества потребовать, настоять, чтобы положен был конец наглым, бессовестным нападкам на него в печати. Едва ли когда-нибудь разнузданность печатного слова доходила у нас до таких размеров. Передовое место в этом отношении принадлежало «Вестнику Европы» Стасюлевича и «Петербургским ведомостям», выходившим под редакцией В. Корша. Я близко знал сего последнего[197]; мы воспитывались вместе в Московской 1-й гимназии, и долго затем соединяла нас тесная дружба; Корш был милый, добрый малый, с благородными стремлениями, идеалист в полном смысле слова, но всегда отличавшийся изнеженностью, любовью к комфорту и впадавший в крайнее уныние, когда не имел средств удовлетворять свои прихоти. Ради этого не стеснялся он занимать деньги, которые часто не имел возможности уплачивать, но все это выходило у него так наивно, простодушно, что ни у кого не хватало духа упрекать его; по-видимому, он твердо верил, что не приятели и знакомые его одолжают, а он делает им одолжение, обращаясь к их кошельку. Ум его был весьма недалекого полета; ничего самостоятельного и серьезного провести он не мог, но зато Корш вполне принадлежал к разряду людей, которых И.С.Тургенев называл «сочувственниками»; он страстно сочувствовал всему возвышенному, а возвышенным, по его понятиям, могло быть только то, что проникнуто крайним либерализмом. Еще очень молодыми людьми собирались мы в Москве у нашего профессора и его родственника К. Д. Кавелина, тоже «сочувственника», вечно юного и вечно пребывавшего в экстазе; чего только ни касались беседы в этом кружке — и науки, и политики, и религии; помню, что, несмотря на нашу незрелость, мы подсмеивались над некоторыми фразами Константина Дмитриевича вроде следующей: «Христос был великий человек, но,

к сожалению, чересчур идеалист...» и т. п., но Корш прислушивался к Кавелину, как к оракулу. Кавелин умерял, однако, свои увлечения здравым смыслом; клеймя печальную действительность (воспоминания эти относятся к последней половине сороковых годов), он все-таки понимал, что такое Россия и каково историческое ее значение; что касается бедного Корша, тот ничего не видел перед собой, кроме Европы, особенно же Франции, о которой составил себе совершенно сказочное представление; по остроумному замечанию одного из наших приятелей, он думал, кажется, что французы никогда не предаются прозаическим, вульгарным занятиям вроде промышленности, а только с утра до ночи расхаживают по улицам с венками на голове и распевают гимны свободе.

Одно время Корш был помощником М. Н. Каткова по изданию «Московских ведомостей», когда эта газета была казенным изданием. Едва ли был такой человек, который, находясь в постоянных и более или менее близких сношениях с Катковым, не ощутил бы на себе его влияния, только Корш составлял исключение из этого правила, что, впрочем, и неудивительно при его легкомыслии. С начала 1863 года приступил он на арендном праве к изданию «С.-Петербургских ведомостей» и, переселившись в Петербург, тотчас сделался орудием в руках либеральной клики. В газете этой появлялись невозможные по дерзости статьи, направленные против министра народного просвещения, и наконец граф Толстой, выведенный из терпения, воспользовался истечением срока, на который «С.-Петербургские ведомости» были отданы Коршу, чтобы отнять их у него, но как неумело распорядился он в этом случае! Газета перешла к какому-то аферисту Баймакову[198], Корш получил с этого господина 50 000 рублей, и друзья его имели еще бесстыдство выставлять его мучеником, несчастною жертвой произвола[199]...

В последнее время своего управления министерством граф Дмитрий Андреевич стал заметно сторониться Каткова и даже с ближайшим своим сотрудником, Георгиевским, не видался иногда по целому месяцу. Объясняется это, вероятно, тем, что он вышел из борьбы совершенно надорванным человеком и желал бы безмятежно пользоваться плодами дорого

стоивших ему побед; ему казалось, что если он постарается стушеваться, будет сидеть тихо, то мало-помалу затихнет и вражда, которою его так долго преследовали. Расчет казался верным, между прочим, потому, что государь продолжал оказывать ему расположение. Наступила двадцатипятилетняя годовщина царствования Александра Николаевича, и к этому времени всеми министрами изготовлены были краткие обозрения деятельности их ведомств в означенный период; и граф Толстой распорядился составить карту, на которой было обозначено, сколько возникло новых разнообразных учебных заведений в его управление Министерством народного просвещения, т. е. с 1866 по 1880 г. Действительно, в этом отношении было чем похвалиться! Государь был очень доволен. У него вырвалась даже фраза: «Ты так много потрудился, что стоило бы поцеловать твои руки». Таким образом, все складывалось, по-видимому, благоприятно, и граф Толстой мог предаваться сладкому отдохновению на министерском кресле, но Катков смотрел на дело иначе. Он доказывал, что реформы графа Толстого остаются недовершенными, что преобразование гимназий не приведет вовсе к желаемым результатам, если не подвергнутся коренному преобразованию и университеты, что эта последняя реформа должна быть произведена безотлагательно; по мнению его, Толстой горько заблуждался насчет своего положения; не только в интересах дела, но в личных своих интересах следовало ему не ослабевать в преобразовательной деятельности, что только это может спасти его от невзгоды. Тщетные усилия! Граф Толстой оставался глух к увещаниям такого рода; перспектива новой, еще более упорной борьбы приводила его в трепет, и очень понятно, что он избегал бесед с Катковым. Правда, «университетский вопрос» уже давно был поставлен на очередь, затребованы были отзывы университетских советов; Делянов с целою комиссией объезжал университеты, выслушивал поочередно мнения каждого из профессоров, бумаги исписано было невероятное количество, выработан новый устав; мало того, устав этот был даже внесен в Государственный совет, и все-таки дело не спорилось. Очевидно, граф Дмитрий Андреевич не спешил облечься в бранные доспехи...

Однажды, незадолго до падения графа, государь спросил его при докладе: «А что же университетский устав, скоро ли начнется обсуждение его в Совете?» Узнав об этом, Катков считал несомненным, что государь в высшей степени заинтересован уставом, — мало того, впоследствии он не переставал повторять, что если Толстой утратил доверие государя, то единственно по той причине, что обнаружил колебания в этом деле... Одно из обычных увлечений Михаила Никифоровича! Прошло лишь несколько недель, после того как государь обратился к Толстому с приведенными выше лестными словами о его заслугах, как произошла резкая перемена в правительственных сферах, долженствовавшая прежде всего отразиться на нем.

«Диктатура сердца» на первых же порах жадно заискивала популярности, а что могло быть пригоднее для этого, как пожертвовать графом Толстым? Для всех было ясно, что дни его изочтены, и не хотел этому верить только М. Н. Катков. Он приехал в Петербург, бросился к Лорис-Меликову[200], с которым давно уже был знаком, и старался убедить его, как необходим Толстой на занимаемом им месте; разумеется, Лорису ничего не стоило рассыпаться в уверениях, что, собственно, с его стороны графу Дмитрию Андреевичу не следует опасаться каких-либо враждебных действий, что он никогда не отважится вмешиваться в вопросы народного просвещения, совершенно ему чуждые. Обнадеженный этим, Катков почти силой заставил Толстого сделать визит Лорису — и тут опять такие же успокоительные заявления, такие же любезности, не имевшие ни малейшей цены. Лорис устроил дело очень ловко, он как будто не принимал участия в падении Толстого, а орудием для этого явился тогдашний министр внутренних дел Маков[201]. В Комитете министров обсуждался возбужденный им вопрос об открытии часовен на Рогожском и Преображенском кладбищах в Москве, причем граф Дмитрий Андреевич, выступивший от имени Синода с сильными возражениями против этой меры, заметил по окончании заседания в частном разговоре с Сольским[202], что, вероятно, раскольники не поскупились на деньги. Слова эти были переданы Макову, который обратился к нему с весьма резким письмом, со-

державшим даже вызов на дуэль. Вслед за сим внезапно разнеслась весть об увольнении Толстого. «Я тебя поддерживал сколько мог, — сказал ему государь, — но теперь, когда ты восстановил против себя даже своих товарищей, тебе уже нельзя оставаться министром»[203].

Итак, Лорис остался в стороне, а видимым виновником падения графа Толстого был Маков, оскорбившийся наброшенным на него подозрением в подкупности, — тот самый Маков, который года три спустя кончил жизнь самоубийством, когда обнаружилось совершенное им наглое хищение! Вскоре по назначении графа Дмитрия Андреевича министром внутренних дел он выражал ему глубокое сожаление по поводу возникшего между ними столкновения. «Не сомневаюсь теперь, — говорил он, — что вы не хотели оскорбить лично меня; вообще во всей этой истории я имел наивность разыгрывать самую жалкую роль. Сначала воспользовались мною, чтобы свергнуть вас, а потом спустили и меня...»

Толстой с трудом перенес постигший его удар... Казалось, можно было бы ему удалиться с достоинством, проникнувшись сознанием своих крупных заслуг, тем более что у него было значительное состояние и ничто не мешало ему безмятежно предаться научным занятиям, к которым он всегда чувствовал склонность. Как мало, однако, у нас государственных людей, способных с мужеством перенести невзгоды, и к числу их отнюдь не принадлежал граф Толстой; недаром тщеславие развито было в нем до громадных размеров — он растерялся, поник духом и, вместо того чтобы держать голову высоко, принял вид какого-то опального. Он сделался таким смиренным, жалким, называл себя не иначе как «отставным генералом» и упорнее, чем когда-нибудь, сторонился общества. Достигнуть этого было нетрудно, потому что он никогда не имел друзей, а теперь, после его падения, недоброжелательство к нему выражалось в самой возмутительной форме, и даже люди, которые служили под его начальством и были много ему обязаны, старались перещеголять друг друга черною неблагодарностью. Не могу я в этом случае одобрить и образ действий Каткова, который совершенно отшатнулся от него. «Катков поступает так потому, — гово-

рил в раздражении граф Дмитрий Андреевич, — что я ему больше не нужен», намекая, будто Михаил Никифорович извлекал какие-то выгоды из своей близкой связи с ним. Это чистейший вздор; конечно, не Катков в Толстом, а Толстой постоянно нуждался в Каткове; Катков не обязан был Толстому ровно ничем, кроме того, что нашел в нем человека, воспринимавшего его идеи, но именно этого-то и не следовало бы забывать никогда. Вообще Михаил Никифорович ценил людей, лишь насколько они могли служить успеху того или другого дела, сосредоточивавшего на себе все его помыслы, а песня графа Толстого была спета, никому и в голову не приходило, что ему суждено было когда-нибудь занять влиятельный пост в государственном управлении, вследствие чего он и утратил для Каткова всякий интерес. Приезжая в Петербург, он никогда не считал нужным сделать ему даже простой визит, а в «Московских ведомостях» прямо укорял его за неуспех университетской реформы. В это время — и даже прежде, когда граф Толстой заметно старался выбиться из-под его опеки, — перед ним выступила только неприятная сторона его отношений к человеку и ничего более.

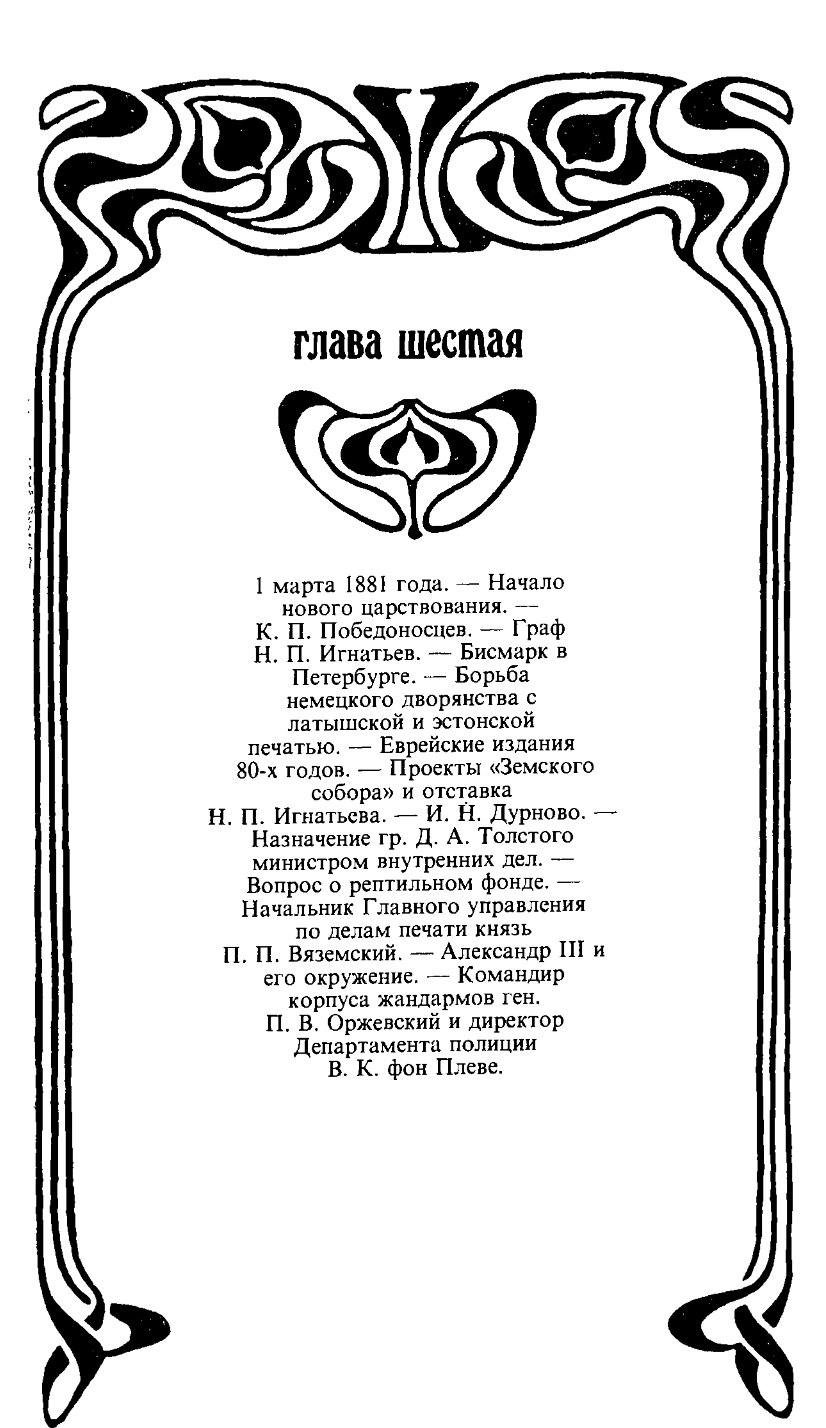
Что касается меня, то ввиду наглых поруганий, которым подвергался в печати граф Толстой, я старался держать себя так, как будто ничего не изменилось в его судьбе, — напротив, усугубил свою предупредительность к нему. Мы виделись довольно часто, я оказывал ему всевозможные услуги; так, например, граф Дмитрий Андреевич занимался — собственно, для себя, а не для публики — составлением кратких биографий замечательных людей екатерининского времени, и я принял на себя печатание этой книги. Все это сблизило меня с графом Толстым более, чем прежде, и он неоднократно говорил, что, кроме И. Д. Делянова, только трое из служивших при нем не изменили ему — я, Георгиевский и Брадке (директор Департамента народного просвещения)[204].

Бедный государь Александр Николаевич — в каком тяжком положении находился он, когда решился поставить Лорис-Меликова во главе управления. В феврале 1880 года отпраздновал он двадцатипятилетний юбилей своего восшествия на престол. Если бы кто-нибудь в этот день очень рано утром вышел на

Невский проспект, то увидел бы, что по направлению от Зимнего дворца мчится тройка, на которой сидит фельдъегерь с собакой, а через полчаса после этого показались бы другие сани, окруженные конвоем. Это ехал император на обычную утреннюю прогулку с своею собакой в сад Аничковского дворца. Прогулки в других местах сделались для него невозможны, ибо после целого ряда покушений он должен был беспрерывно страшиться за свою жизнь. Все это слышал я от И. В. Гурко, еще занимавшего тогда должность петербургского генерал-губернатора. В юбилейный день отовсюду неслись восторженные приветствия монарху, освободившему миллионы народа от крепостной зависимости, открывшему России новые пути развития, а он не дерзал даже на свободе подышать утренним воздухом. Невольно вспоминаешь при этом остроумное замечание Ф. И. Тютчева, сделанное им еще гораздо прежде по поводу того, что покойного государя, потерявшего веру в успех предпринятых им реформ, должно было коробить от расточаемых ему похвал. «Вероятно, в таких случаях, — говорил он, — государь испытывает то же самое, что каждый из нас, когда по ошибке вместо двугривенного дашь нищему червонец; нищий рассыпается в благодарности, прославляет ваше великодушие, отнять у него червонец совестно, а вместе с тем ужасно досадно за свой промах».

Диктатура Лорис-Меликова казалась многим последним якорем спасения. На вопрос М.Н.Островского[205], можно ли ожидать чего-нибудь от этого человека, А.А.Абаза отвечал: «Поверьте, что если не он, то никто не избавит нас от бедствий»[206]. Хорошо было это избавление! Нам, людям известного образа мыслей, приходилось переживать крайне тяжелые дни. Во главе Министерства народного просвещения поставлен был Сабуров[207], занимавший перед тем должность попечителя Дерптского округа. Хотя назначением своим в Дерпт обязан был он Толстому, граф Дмитрий Андреевич менее всего был повинен в этом. Он вообще старался игнорировать Прибалтийский край по той причине, что не хотел восстановить против себя сильную при дворе немецкую партию и еще гораздо более могущественного графа П.А.Шувалова; объехав почти всю Россию для осмотра учебных за-

ведений, он ни разу не заглянул в Остзейские губернии. Когда удален был из Дерпта Жерве[208], граф Толстой советовался с Брадке, кого бы избрать ему преемником, ставя при этом только одно условие, чтобы новый попечитель непременно носил русское имя. Брадке, один из самых яростных остзейцев, как нельзя лучше разрешил эту задачу: он совместил несовместимое, а именно — выставил человека, русского по происхождению и вместе с тем раболепного слугу немцев. В Дерпте Сабуров оставался вполне бесцветною личностью, никогда и ни в чем не проявлялась его инициатива, он беспрекословно повиновался внушениям баронов и пасторов, так что чуть ли не перещеголял самого Кайзерлинга. Но лишь только Сабуров сделался министром, им овладел необузданный либеральный зуд, стремление наложить на все свою неумелую руку. Кто-то выразился о нем, что он в это время походил на человека, который, в неистовом исступлении парясь в бане, выбегает с веником на двор, перекувырнется в снегу и потом опять бежит в баню. Под конец даже Лорис-Меликов приходил от него в отчаяние. «Как мало требовалось, — говорил он М. Н. Островскому, — чтобы после графа Толстого приобресть популярность, но Сабуров выкидывает такие штуки, что, чего доброго, пожалуй, и о Толстом станут сожалеть».



глава шестая

1 марта 1881 года. — Начало нового царствования. — К. П. Победоносцев. — Граф Н. П. Игнатьев. — Бисмарк в Петербурге. — Борьба немецкого дворянства с латышской и эстонской печатью. — Еврейские издания 80-х годов. — Проекты «Земского собора» и отставка Н. П. Игнатьева. — И. Н. Дурново. — Назначение гр. Д. А. Толстого министром внутренних дел. — Вопрос о рептильном фонде. — Начальник Главного управления по делам печати князь П. П. Вяземский. — Александр III и его окружение. — Командир корпуса жандармов ген. П. В. Оржевский и директор Департамента полиции В. К. фон Плеве.

«Диктатура сердца» завершилась страшною катастрофой 1 марта. Я говорю «страшною», но так ли это? Помню ясно ужасное, потрясающее впечатление, произведенное на всех покушением Каракозова, но с тех пор целый ряд злодейств такого же рода в связи с подробными о них отчетами, наполнявшими страницы газет, притупили нервы публики. Мало-помалу она привыкла к событиям такого рода и уже не видела в них ничего необычайного. Около 3 часов дня я узнал, что государь тяжело ранен, а вскоре затем пришла весть и об его кончине. Все мы дома находились в крайне угнетенном состоянии духа, хотелось знать, как произошла катастрофа, кто ее виновники, и вечером я отправился в сельскохозяйственный клуб, где собиралось обыкновенно много посетителей и можно было, следовательно, собрать какие-нибудь сведения. Странное зрелище представилось мне: как будто не случилось ничего особенного, большая часть гостей сидели за карточными столами, погруженные в игру; обращался я и к тому, и к другому, мне отвечали наскоро и несколькими словами и затем опять: «два без козырей», «три в червях» и т. д. В следующие дни такая же притупленность: некоторые высказывали прямо, что в событии 1 марта видят руку провидения; оно возвеличило императора Александра, послав ему мученическую кончину, но вместе с тем послужило спасением для России от страшных бедствий, угрожавших ей, если бы еще не-

сколько лет оставался на престоле несчастный монарх, который давно уже утратил всякую руководящую нить для своих действий, а в последнее время очутился в рабском подчинении княгине Юрьевской[209].

Известно, что упразднение «диктатуры сердца» вызвано было манифестом нового государя — манифестом, в котором было заявлено о самодержавии как коренной, незыблемой основе нашего государственного строя. К. П. Победоносцев[210] рассказывал мне, что еще в самый день 1 марта поздно вечером явился он в Аничков дворец и умолял государя уволить Лорис-Меликова[211]. Государь не счел это возможным. Очень понятно, что под влиянием страшного удара, разразившегося над ним, он растерялся, не отдавал себе ясного отчета в положении дел и считал возможным удержать в управлении Лориса и его друзей. Быть может, они и пользовались бы — по крайней мере на некоторое время — властью, если бы упомянутый манифест не привел их в неистовое раздражение[212]. По рассказам весьма сведущих лиц, они (говорю о Лорис-Меликове, Абазе и Милютине) были убеждены, что государь не может обойтись без них, не найдет советников, которые пользовались бы такою же популярностью, а потому подали просьбы об отставке с твердою уверенностью, что останутся на местах, но случилось иначе. Кстати, о манифесте: нередко приходилось мне слышать, будто он был сочинен совместно Победоносцевым и Катковым, — что за нелепость! Во-первых, Каткова не было тогда в Петербурге, а во-вторых, он ни тогда, ни впоследствии не одобрял манифеста, автором коего был Победоносцев. И действительно, к чему было это торжественное заявление перед лицом всего народа? В предшествовавшее время было немало заявлений подобного рода, и общество изверилось в них, приучилось не придавать им серьезного значения; требовалось действие, а не более или менее пышные формы; если государь хотел засвидетельствовать, что со вступлением его на престол порвана всякая связь с прежним направлением, то достаточно было бы просто-напросто уволить министров, которые в общем мне-

нии служили наиболее видными представителями этого направления. Всякий бы понял смысл этой меры.

Тяжкое наследие Лорис-Меликова перешло к графу Н. П. Игнатьеву[213]. При назначении его министром внутренних дел А.А.Абаза говорил Сольскому: «Вскоре вы убедитесь, что этот человек способен пойти гораздо дальше нас...» Пророческие слова! С Николаем Павловичем познакомился я тотчас по переезде моем на службу из Москвы в Петербург, когда он занимал должность директора Азиатского департамента. Кому в России неизвестна была печальная черта его характера, а именно необузданная, какая-то ненасытная наклонность ко лжи? Он лгал вследствие потребности своей природы, лгал, как птица поет, собака лает, лгал на каждом шагу, без малейшей нужды и расчета, даже во вред самому себе. Помню, что однажды, в шестидесятых годах, когда он прибыл из Константинополя в Петербург, я провел у него вечер с известным славянофилом А.Ф. Гильфердингом[214]. Кроме нас, никого не было. Игнатьев повествовал о своих дипломатических подвигах в Царьграде, желая, конечно, выставить их в самом блестящем свете, но, дав волю своей фантазии, начал изумлять нас совершенно непостижимыми вымыслами вроде того, как умел он расположить к себе Венский двор, как под руку советовал ему занять своими войсками Сербию, как надеется он в тесном союзе с Австрией подготовить распадение Оттоманской империи и т. д. Это была отнюдь не мистификация с его стороны уже потому, что он заискивал перед Гильфердингом, как вообще перед всем славянофильским лагерем. Мы просто не верили своим ушам. Зашла речь о болгарах. Я упомянул, что некоторые лица, в том числе Тертий Филиппов[215], считают возможным уладить церковный раскол на Востоке созванием Вселенского Собора; ни для кого не было тайной, что Игнатьев высказывался против этой меры, но на этот раз ему почему-то захотелось перещеголять Филиппова, и он стал уверять, будто весьма сочувствует собору, будто делал даже приготовления для него, а именно, собор должен был открыть свои заседания в Одессе; Игнатьев уже приискивал там удобное для него поме-

щение, причем чуть ли не названа была даже улица и на какой цене условились... Когда мы вышли от графа Николая Павловича, Гильфердинг только разводил руками. «О, Боже мой, — воскликнул он, — и зачем он все это болтает! Ведь если поверить многому из его рассказов, то следовало бы его повесить, но дело в том, что тут нет ни слова правды; он просто клеветал на самого себя...» Я ни на минуту не сомневаюсь, что у Николая Павловича была натура совершенно родственная Ноздреву, что он вполне олицетворял собою этот тип гоголевского героя; только находились они в разных положениях, а в сущности обладали совершенно сходными чертами характера. И этого-то человека хотели у нас некоторые, в том числе И. С. Аксаков, противопоставить Бисмарку! Кстати, о Бисмарке. Назначение его первым министром в самый разгар конфликта между прусским правительством и парламентом удивило у нас многих уже потому, что до сих пор он не пользовался у нас большою известностью. Посетив однажды Н. П. Игнатьева в Азиатском департаменте, я спросил его, знает ли он Бисмарка. «Еще бы, — отвечал он, — мы с ним друзья, ведь Бисмарк находился в Петербурге в должности посла». — «Что же это за человек?» — «Человек он умный, но необыкновенный чудак; голова его постоянно занята сумбурными планами о возвеличении Пруссии и чуть ли не о пересоздании всей Европы, и все это как-то висит у него в воздухе без малейшего отношения к современному положению дел; но он добрый малый и готов поверять свои фантазии кому угодно; сколько раз говорил я ему: послушайте, Бисмарк, ваше несчастье в том, что вы родились слишком поздно; если бы суждено было вам действовать столетия два назад, то, быть может, вы совершили бы нечто замечательное, но в теперешней Европе для вас нет места».

Так умел Николай Павлович распознавать людей.

Если находил он несостоятельными идеи Бисмарка, то трудно сказать что-нибудь определенное об его собственных идеях. В одно прекрасное утро пришла ему мысль причислить себя к славянофилам, то есть он нашел где-то на полу славянофильский ярлык и

приклеил его себе ко лбу, думая, что этим все сделано. До какой степени оставался он чужд и этому, как вообще всякому направлению, мог я, между прочим, убедиться, просматривая дела Главного управления печати, когда занял место во главе этого ведомства. Дворянство Прибалтийских губерний сильно негодовало на местную латышскую и эстонскую печать и желало бы вовсе задавить ее; беспрерывно оно обращалось к графу Игнатьеву с жалобами на послабление относительно этой печати со стороны местных цензоров, которые исполняли будто бы крайне небрежно свои обязанности уже потому, что жалованье, получаемое ими, было крайне незначительно. Немецкие бароны нашли средство помочь злу, а именно: предлагали увеличить это содержание из своих дворянских сумм, но с одним непременным условием: при назначении цензоров правительство должно было сообразоваться с их рекомендацией!.. Граф Николай Павлович нашел это как нельзя более разумным и совместным с достоинством правительства. В таком смысле представлен был им проект в Государственный совет, и немецкое дворянство, обрадовавшись неожиданному успеху своей затеи, поспешило, еще прежде чем проект был подвергнут обсуждению, внести часть жертвуемой им суммы в государственное казначейство. К счастью, Государственный совет разрушил эту махинацию, высказав, что дворянские суммы, о которых идет речь, имеют определенное назначение и дворянство не может распоряжаться ими для усиления надзора за ненавистною ему печатью.

Если уж граф Игнатьев хотел обуздать газеты, то следовало бы ему начать не с эстонских и латышских, а с русских, из которых многие продолжали проповедовать самые возмутительные доктрины, как будто кровавое событие 1 марта не имело ни малейшего значения. Недурно было бы также обратить внимание и на печать еврейскую. Из практики моей я мог убедиться, что эта последняя — страшное зло, с которым бороться очень трудно. Никто в Главном управлении по делам печати не мог наблюдать за еврейскими изданиями вследствие незнания языка; найти русских цензоров, знающих этот язык, не удавалось, не-

смотря на все старания; поневоле приходилось обращаться к евреям, но опыт доказал, что даже на тех из них, которые приняли христианскую веру, нет никакой возможности полагаться. По крайней мере, хорошо было уже то, что у нас существовали газеты только на древнееврейском языке, доступном лишь весьма незначительному меньшинству евреев; графу Игнатьеву принадлежит честь того, что возник у нас орган и на жаргоне. И это вопреки Совету Главного управления печати, высказавшему весьма убедительно, что издание такого рода должно принести только вред и что будет очень трудно следить за ним.

Упомяну еще об одном обстоятельстве. В 1883 году, уже при графе Толстом, возобновлен был отмененный благодаря стараниям Н. А. Милютина конкордат с римской курией; он встречен был крайне недоброжелательно и Катковым, и Аксаковым, которые подвергли его беспощадной критике; для графа Дмитрия Андреевича, окончательно приложившего руку к этому документу, было особенно чувствительно порицание Каткова. Он созвал несколько лиц, в том числе и меня, так как я уже занимал тогда должность начальника Главного управления по делам печати, для совещания по этому предмету. Граф Дмитрий Андреевич оправдывался тем, что вопрос о конкордате перешел к нему в самом последнем фазисе своего развития, что переговоры были уже почти совсем приведены к концу при графе Игнатьеве, что порвать их оказывалось невозможным и что все его усилия направлены были лишь к тому, чтобы хоть сколько-нибудь поправить дело. На совещании, о котором я говорю, были предъявлены нам все документы, относившиеся к вопросу о конкордате, и граф Дмитрий Андреевич разрешил мне взять их с собой на дом, чтобы ознакомиться с ними. Конечно, впоследствии они не будут уже составлять тайны, и всякий убедится из них, что Н. П. Игнатьев, этот государственный муж du coeur leger*, приводивший в восхищение славянофилов, делал уступки римской курии по всем пунктам, готов был выбросить за борт все гарантии,

* С легким сердцем *(фр.)*.

которыми со времени отмены конкордата наше правительство старалось оградить себя от происков католического духовенства. Если бы дело оставалось до конца в его руках, то от мер, принятых Н.А. Милютиным и князем Черкасским, не сохранилось бы и следа. Можно поставить в заслугу Толстому, что он не допустил до этой печальной крайности, но Катков и Аксаков упрекали его, зачем он вообще не воспротивился заключению конкордата. Это другое дело.

Рассказанное мною относится лишь к тому, что прошло через мои руки, а если рассмотреть другие дела, сколько бы представили они примеров мнимонациональных и славянофильских стремлений графа Игнатьева...

Никакой программы у него не было, и ничего близко не принимал он к сердцу. Это был ловкий Фигаро, мастер на всякого рода интриги и неразборчивый на средства. Одному говорил он одно, другому другое, и никто не мог разобраться в этой путанице; всех директоров департаментов сбил он с толку; предместник мой князь Вяземский[216] рассказывал мне, что иногда по целым дням не распрягали у него карету, потому что ему приходилось беспрерывно скакать к министру, — какая, кажется, заботливость о печати, а между тем ничего не выходило; директорам назначались определенные дни для докладов, но никто из них не был уверен, состоится ли доклад утром или поздно вечером или вовсе будет отменен; это потому, что двери министерского кабинета были постоянно открыты для посетителей, с которыми граф Николай Павлович занимался болтовней. При нем созываемы были из губерний для разъяснения разных вопросов так называемые сведущие люди, с ними-то преимущественно любил он беседовать: людям, известным своим консервативным образом мыслей, он толковал, что надо раз навсегда положить конец всяким поползновениям к правовому порядку, а либералам делал достаточно ясные намеки на свою готовность идти по следам Лорис-Меликова. Разумеется, они поверяли друг другу свои впечатления, недоумевая, кто же из них говорит правду и кто лжет, пока не убедились наконец, что враньем щеголяет только сам министр.

Доверенным лицом графа Игнатьева был Воейков[217], которого я знал с его молодости, занимавший должность правителя канцелярии: это был человек честный, образованный, но один из так называемых неудачников — имел он хорошее состояние и совершенно расстроил его, бросался в разные предприятия и запутывался в них; все это потому, что в голове его царил порядочный сумбур, ни к какому последовательному, серьезному занятию он не оказывался способным.

Неудивительно, что ничто не двигалось вперед и настроение общества было тревожное. Наступил уже второй год по восшествии государя на престол, но не делалось вовсе приготовлений к коронации, так как опасались, что революционеры воспользуются этим торжеством для своих адских замыслов. Правда, Н. П. Игнатьев уверял, будто он переловил всех нигилистов и что остались только какие-то двое или трое самые зловредные, которых он еще не успел захватить в свои тенета, но слушатели только покачивали головой. В сущности, он сам недоумевал, что следовало бы предпринять среди тяжких обстоятельств. Наконец совет явился к нему со стороны, и он схватился за него с восторгом.

Дело шло о пресловутом Земском соборе. Первое сведение о нем получено было от И. Н. Дурново[218]. Не могу не остановиться здесь на этой личности. Иван Николаевич наследовал от отца очень значительное состояние, но, подобно многим помещикам, вслед за освобождением крестьян не умел сохранить его за собой или сохранил только остатки; воспитывался он в каком-то военном училище, служил в гвардии, занимал должность черниговского предводителя дворянства и наконец назначен был губернатором в Екатеринослав. Повсюду и на всех местах умел он снискать общее расположение; не встречал я человека, который сказал бы о нем дурное слово. В Екатеринославе оставался он довольно долго, и заветною его мечтою было попасть в Сенат, но мечта эта казалась почти неосуществимою, как вдруг и совершенно неожиданно для него произошел счастливый переворот в его судьбе. Товарищ министра внутренних дел Готовцев[219]

расстался по каким-то причинам с Игнатьевым, который не знал, кем заменить его, и в это время почтенный старик, генерал-адъютант князь С. П. Голицын[220] указал ему на И. Н. Дурново.

Известен рассказ о свидании Наполеона I с Гёте в Эрфурте; когда знаменитый писатель вошел к императору, тот внимательно посмотрел на эту величавую фигуру и воскликнул, обращаясь к окружающим: «Voilà un homme*!»

Едва ли не те же самые слова были в устах всех, когда И. Н. Дурново появился на петербургском горизонте; как будто все долго ждали и искали человека и наконец человек нашелся. Особенно следует это сказать о высших придворных сферах — наглядное доказательство того, какие господствовали там скромные и незатейливые требования. Государь и императрица были в восторге от Дурново; награды и почести полились на него дождем; в течение каких-нибудь пяти лет, если еще не менее, сделан был он сенатором, членом Государственного совета, статс-секретарем, занял место во главе IV отделения собственной е. и. в. канцелярии, обе его дочери были назначены фрейлинами и т. д. Ярких способностей государственного человека он не обнаруживал, образование его было незавидное, я сомневаюсь даже, случилось ли ему когда-нибудь прочесть серьезную книгу, не отличался он сколько-нибудь самостоятельными взглядами и идеями, но если он проложил себе дорогу, то отнюдь не искательством и интригой. Своими успехами Дурново обязан был исключительно своему необычайно симпатичному и в высшей степени доброжелательному характеру; это был в полном смысле слова хороший человек, который считал себя счастливым, когда мог оказать кому-либо услугу, отзывчивый на всякое горе, не способный ни при каких обстоятельствах покривить совестью. Когда появлялся он где-нибудь, всем становилось светло на душе, все спешили к нему с приветствиями, в обществе даже не слышалась его фамилия, все знали, о ком идет речь, когда называли «Ивана Николаевича»: все это весьма характеристич-

---

* Вот — человек! *(фр.)*

но, особенно если принять во внимание необузданную нашу страсть к злословию и пересудам. Повторяю еще раз, политическим деятелем он не мог быть и, кажется, сам отлично сознавал это; недостаток способностей возмещался в нем редким тактом, умением держать себя, не преклоняясь ни перед кем, тщательно сохраняя свое достоинство. Шутники называли его «le bon roi Dagobert»*.

Однажды (это было в начале апреля 1882 года) И. Н. Дурново приехал к М. Н. Островскому и поведал ему под секретом удивительные вещи. Игнатьев, очень озабоченный предстоявшею коронацией и не зная, как и когда ее устроить, решился созвать Земский собор. Впрочем, эта оригинальная мысль явилась не у него самого, а была внушена ему со стороны: в Петербург прибыл с поручением от И.С.Аксакова один из близких ему людей, Голохвастов[221] который успел убедить графа Николая Павловича, что есть только одно вернейшее средство произвести коренную и самую счастливую перемену в настроении общества, а именно созвать представителей всех сословий; если государь согласится на такую меру, то сделается идолом народа; торжественное его коронование должно совершиться в следующем году, на второй день Пасхи, а вслед за тем откроются в Москве же заседания Собора. По словам Дурново, Игнатьев вполне усвоил себе эти предположения, он беспрерывно совещается с Голохвастовым, и все его старания были направлены к тому, чтобы мало-помалу подготовить государя[222].

Все это походило на какую-то сказку, и М. Н. Островский решительно не хотел ей верить. Оставалось искать объяснения в том, что И. Н. Дурново, как человек новый, не успел еще достаточно изучить Игнатьева и принимал его вранье за чистую монету. Возможно ли было допустить, чтобы министр внутренних дел, при всем своем легкомыслии, отважился на дело такой важности, не посоветовавшись предварительно ни с кем из своих товарищей, чтобы он задумал преподнести им Земский собор в виде сюрприза?

---

* Добрый король Дагобер *(фр.)*.

Дурново сообщил, однако, такие подробности, которыми, по-видимому, нельзя было пренебрегать; он уверял, что Игнатьевым уже составлен манифест о Соборе, что манифест этот должен появиться через несколько недель, а именно 6 мая и т. д.[223].

С целью выведать, сколько было во всем этом правды, М. Н. Островский после беседы своей с Дурново не раз заводил речь с Игнатьевым о предстоявшей коронации, но получал в ответ, что еще ничего не решено, что приходится ждать более благоприятных обстоятельств, что он не остановился ни на каком плане; точно так же и из разговоров с Победоносцевым можно было заключить, что и до него не достигал ни малейший слух о Соборе, а между тем Победоносцев пользовался таким положением при государе, что графу Игнатьеву следовало бы, кажется, прежде всего заручиться его содействием. Прошло несколько времени, и мы с М. Н. Островским перестали даже говорить о пресловутом Соборе — так все это казалось невероятным. Но мы ошибались. Накануне 6 мая, того самого дня, когда, как упомянуто выше, должно было состояться обнародование манифеста, граф Игнатьев неожиданно приехал к Островскому. С первого взгляда нетрудно было убедиться, что он находился в весьма тревожном настроении. Поговорив немного о разных делах, он обратился к тому, что составляло настоящую цель его посещения. «В следующем году во время Пасхи, — начал он, — необходимо устроить коронацию; это торжество должно отличаться всенародным характером, чтобы все могли убедиться воочию, какою беспредельной преданностью проникнута Россия к своему монарху; что же лучше для достижения такой цели, как созвать в Москву выборных от разных классов народонаселения? С целью польстить им можно было бы дать этому сборищу наименование Собора, государь обратился бы к выборным с несколькими милостивыми словами, они заявили бы, пожалуй, о своих нуждах, тем дело и кончилось бы; произведен был бы эффект, а вреда не произошло бы ни малейшего»[224]. По словам Игнатьева, государь отнесся будто бы довольно сочувственно к этому плану, но все-таки считает не

лишним посоветоваться о нем с другими министрами. «Вероятно, — продолжал он, — совещание состоится на днях, и я надеюсь, что встречу с вашей стороны поддержку». Вообще он повествовал о своем замысле таким тоном, как будто это дело было бы самое заурядное и не требующее того, чтобы долго ломать над ним голову.

Островский понял, что, несмотря на все усилия расположить к своему плану государя, Игнатьев потерпел в самую последнюю минуту поражение и что только вследствие необходимости подвергнуть мысль о Земском соборе общему обсуждению он вынужден заискивать перед своими товарищами. Если бы можно было устроить иначе, то он нисколько не поцеремонился бы с ними. На все его доводы М. Н. Островский отвечал, что ему трудно высказать определенное мнение о деле, о котором он слышит впервые и которое может иметь чрезвычайно важные последствия.

— Да что же тут важного? — воскликнул Игнатьев. — Поймите, что хочется только устроить как можно более пышную обстановку, это будет не более как декорация.

— И вы думаете, — возразил Островский, — что Земский собор удовлетворится такою ролью и не попытается подвергнуть своему обсуждению общее положение дел, не предъявит известных требований?

— В этом вы можете рассчитывать на меня. Скажу без похвальбы, что я пользуюсь достаточно широкою популярностью и что никакие выборные не станут мне противодействовать, когда я чего-нибудь не захочу. Конечно, на Соборе найдется немало болтунов, да к чему приведет их болтовня? Ведь тотчас после коронации все мы, правительственные лица, уедем в Петербург, они останутся одни, поболтают и разойдутся...

М. Н. Островский счел излишним затягивать беседу с этим пустейшим человеком и отделался от него, не приняв на себя никаких обязательств. По отъезде Игнатьева он отправился к Победоносцеву; тот уже знал все, государь еще накануне сообщил ему о намерениях министра внутренних дел. И он был в ужасе от проектированного Земского собора; свое мнение

он подробно изложил в письме к государю. Между тем граф Николай Павлович, видя настроение некоторых из своих товарищей, понял, что дело должно принять крайне неблагоприятный для него оборот, а потому с обычною своею изворотливостью вознамерился тотчас же отступиться от него, предать его забвению. Но это ему не удалось благодаря Победоносцеву, который при личном свидании с государем доказывал, что надлежало бы раз навсегда положить конец попыткам производить опасные эксперименты над коренными основами нашего государственного строя, которые, к счастью, не удались графу Лорис-Меликову и к которым с еще большею дерзостью задумал прибегнуть его преемник. К тому же слухи об его замыслах проникли и в печать; Катков выступил в «Московских ведомостях» с громовою статьей, в которой беспощадно клеймил его безрассудство. Так как Игнатьеву было известно, что я нахожусь с Катковым в тесной дружбе, то он заподозрил меня, и вполне основательно, в сообщении ему сведений о том, что не только для публики, но и для многих лиц, принадлежавших к правительству, оставалось тайной, и выражал по этому поводу свое негодование М. Н. Островскому. Как увидим сейчас, он пошел даже дальше.

Граф Игнатьев хотел замять дело, а Победоносцев настаивал, чтобы оно было подвергнуто обсуждению, и государь согласился с ним. Чрез несколько времени, а именно 27 мая, приглашены были в Александрию* Рейтерн, Игнатьев, Делянов, Островский и Победоносцев, причем граф Николай Павлович предполагал, что государь намерен побеседовать с ними о каком-нибудь другом вопросе, но отнюдь не о Земском соборе, который, казалось ему, был уже окончательно устранен и не оставил по себе следа.

Все, что происходило на упомянутом совещании, мне доподлинно известно по рассказу М. Н. Островского, и кроме того, я пользовался набросанными им беглыми заметками.

---

* Очевидно, описка. Местом совещания на с. 213 названа Гатчина. — *Ред.*

Упомянув в нескольких словах о предложении графа Игнатьева созвать Земский собор, государь сказал, что он желает уяснить раз навсегда, в какой мере удобно возбуждать подобные вопросы. Граф Николай Павлович начал уверять, будто он вовсе и не думал о Земском соборе как о постоянном и правильном учреждении, будто созванием выборных от сословий он хотел только возвысить характер торжества, но, к сожалению, печать вмешалась в это дело и своими лжетолкованиями исказила настоящие его намерения; здесь следовала ожесточенная диатриба против «Московских ведомостей», причем Игнатьев заметил: «Я уже имел счастие докладывать вашему величеству, кто именно, находясь в близких отношениях к Каткову, сообщил ему сведения о моем проекте». — «Конечно, — сказал государь, — печать не должна была касаться этого, но все-таки статья «Московских ведомостей» очень хороша, в ней выражены вполне верные мысли». В длинном объяснении граф Николай Павлович заботился только о том, чтобы выпутаться из неприятной для него истории, но это положительно ему не удавалось. Государь дважды прерывал его словами: «это не так», «это неправда». Рейтерн говорил, что если действительно выборные должны служить лишь более пышною обстановкой при коронации, то, быть может, в этом и нет большой беды. Тогда Победоносцев, решившийся вывести дело начистоту, обратился к государю с вопросом, нет ли каких-нибудь письменных документов, по которым можно было бы судить о настоящем значении задуманной меры; государь встал и вынул из конторки проекты манифеста и рескрипта на имя Игнатьева; сам граф Николай Павлович должен был прочесть их, и тут-то ясно обнаружилось, до какой степени все, только что сказанное им, проникнуто было ложью.

— Теперь другое дело, — начал Рейтерн, — теперь я вижу, что министр внутренних дел имел в виду создать у нас нечто вроде конституционных учреждений; от воли вашего величества зависит утвердить или отвергнуть его предложение, но долг совести заставляет меня высказать, что если созван будет Собор, то не пройдет много времени, как разрушится само-

державие; Собор не обеспечит благоустройства страны, не прекратит, а только усилит смуту.

М. Н. Островский говорил в таком же смысле, коснувшись, между прочим, довольно подробно вопроса, что представляли собой Соборы в прежнее время, почему со времен Алексея Михайловича они не возобновлялись и почему при изменившихся условиях нашей государственной жизни и опасно, и нет никакой разумной цели восстановлять искусственно эти отжившие учреждения. В совещании не послышалось ни одного голоса в пользу Игнатьева; если бы, видя неминуемую беду, он отступил, по крайней мере, с достоинством, но нет — он прибегал к самым мальчишеским изворотам, противоречил себе на каждом шагу, обнаружил полное незнакомство со старинными Земскими соборами, видимо, не дал даже себе труда прочесть то, что проповедовал о них Аксаков, — словом, сцена для всех присутствующих была весьма тяжелая или, как выразился М. Н. Островский, сцена невообразимая. Государь не раз уличал Игнатьева, ставил ему в вину, что у него нет никакой программы, и даже у него вырвалось выражение, что Министерство внутренних дел занималось только интригами[225].

Позволяю здесь маленькое отступление, чтобы характеризовать графа Н. П. Игнатьева. Как упомянуто выше, он обвинял меня в сообщении Каткову сведений об его замысле; он упомянул об этом даже на описанном мною совещании; от лиц, близких к нему, я слышал, что ему хотелось бы разорвать меня на части. Прошло несколько месяцев, я только занял должность начальника Главного управления по делам печати и приехал однажды на раут к графу Толстому. В комнатах была такая теснота, что с трудом можно было двигаться; вдруг вижу, что по направлению прямо ко мне идет Игнатьев; это была первая моя встреча с ним после его падения, и, признаюсь, я смутился, не зная, как поступить: с одной стороны, при давнишнем нашем знакомстве нельзя было не поклониться ему, а с другой — он мог, пожалуй, в раздражении своем и не ответить на мой поклон. Но граф Николай Павлович сам вывел меня из затруднения; он набро-

сился на меня, как будто мы были самыми задушевными друзьями, и отзывался с восторгом о моем назначении: «Как я рад, — говорил он, — что граф Дмитрий Андреевич остановил на вас свой выбор; ведь вот Лорис-Меликов не умел этого сделать, а сколько раз толковал я ему, что вы можете оказывать огромные услуги в управлении печатью...»

Почему графу Лорис-Меликову следовало обратиться именно ко мне, почему при моем образе мыслей, достаточно известном Игнатьеву, я оказался бы для Лориса подходящим человекам, все это оставалось, конечно, загадочным и для самого Николая Павловича. Он болтал, как будто ничего не произошло между нами, с поразительным добродушием. Но ведь и Ноздрев был очень добродушный человек.

Еще накануне совещания, происходившего в Гатчине, Победоносцев, беседуя с Островским, высказывал предположения о том, кем желательно было бы заменить графа Игнатьева в случае его удаления. «Мне кажется, — заметил он, — что единственно пригодный человек в настоящее время — это граф Толстой; у него есть громадные недостатки, но по крайней мере он представляет собой целую программу; имя его служит знаменем известного направления, уж никак нельзя от него ожидать, чтобы он покусился на такие меры, к которым хотели прибегнуть Лорис-Меликов и Игнатьев». Из этого можно заключить, что назначение графа Толстого было подсказано государю Победоносцевым, который прямо из Гатчины и отправился переговорить с ним об этом[226]. По словам его, графу Дмитрию Андреевичу стоило немало усилий, чтобы сдерживать свой восторг, он чуть не прыгал от радости. И понятно. Он уже считал свою карьеру вполне законченною, оскорбленное самолюбие разъедало его, и вдруг открывается пред ним широкий путь к новым почестям, он садится на место, которое занимал виновник его падения Лорис-Меликов, снова представляется ему возможность упиваться обаянием власти. Это была, конечно, одна из самых счастливых минут его жизни. Невозможно себе и представить, какой эффект произвело назначение графа Толстого уже потому, что оно было совер-

шенно неожиданно; можно сказать без преувеличения, что до той самой минуты, когда указ о нем появился в «Правительственном вестнике», не более десяти человек знали о готовившейся перемене. Вся либеральная партия ахнула от негодования, в этом отношении Победоносцев был прав, говоря, что в мнении публики появление на сцене графа Толстого должно было свидетельствовать о решительном повороте в политике правительства.

Дня за два до этого отправился я в Москву, чтобы оттуда ехать на летние месяцы в деревню. С великою радостью узнал от меня Катков об увольнении Игнатьева, но когда на вопрос его, кто же будет его преемником, я назвал графа Дмитрия Андреевича, то нельзя себе и представить, какое это произвело на него впечатление. Он так и присел на месте. «Ведь вы хорошо знаете, — воскликнул он, — каких стоило неимоверных усилий, чтобы сделать из него порядочного министра народного просвещения; еще и теперь не могу я вспомнить спокойно об этом тяжком испытании, а ведь в настоящее время предстоит ему гораздо более сложная и трудная задача: кто же будет руководить им?» Едва ли Катков мог рассчитывать, чтобы обязанности руководителя выпали на его долю, хотя в первое время он и говорил иногда: «Толстой скомпрометирует себя самым позорным образом, если не будет меня слушаться»; вскоре пришлось ему разочароваться в своих надеждах приобрести непосредственное влияние на Толстого. Я полагаю, что граф Дмитрий Андреевич, тоже вспоминавший не без ужаса о суровой над собой опеке, рассуждал теперь таким образом: «Конечно, Катков чрезвычайно важный авторитет в вопросах народного просвещения, тут было полезно и необходимо следовать его советам, но во всем остальном он дорог только своими общими взглядами и принципами, с которыми можно знакомиться из его статей в «Московских ведомостях»; действительной жизни, как выражается она в помещичьем и крестьянском быту, в земском и городском самоуправлении, он не знает; при всем его уме и громадных дарованиях теория преобладает у него в этой сфере над практикой, и я стою тут на гораздо более

твердой почве (события не замедлили показать, в какой мере было основательно подобное самомнение); следовательно, мне нечего прибегать к его содействию». Из разговоров моих с графом Толстым я мог убедиться, что именно таков был его взгляд. К этому присоединялось еще и другое обстоятельство: не было, кажется, человека более склонного, чем граф Толстой, руководиться личными побуждениями, он никогда не мог забыть образ действий относительно него Каткова после удаления его из Министерства народного просвещения.

Целое лето прожил я в деревне недалеко от Москвы и совершенно неожиданно получил там письмо от графа Дмитрия Андреевича. Он говорил в нем между прочим: «У меня есть на вас замыслы по одному политико-журнальному делу; писать об этом неудобно, переговорю при свидании; я слышал, что в сентябре вы сюда возвратитесь». Действительно, в сентябре я приехал в Петербург и на другой же день отправился к графу Толстому. Это было мое первое свидание с ним после назначения его министром внутренних дел. В довольно продолжительной беседе сообщил он мне, что печать наша по-прежнему держится весьма предосудительного направления, что всякие попытки обуздать ее оказываются неудачными и что, по его мнению, есть только одно верное средство помочь злу, а именно учредить у нас нечто вроде Reptilien-Fond'а, существующего в Германии! С целью привлечь на свою сторону газеты правительство намеревалось тем или другим из них выдавать субсидии, т.е., сказать попросту, подкупать их; Толстой уже докладывал об этом государю, и государь вполне одобрил его мысль; сумма для означенной цели могла простираться ежегодно до 20 000 руб., затруднение состояло лишь в том, что, по словам Дмитрия Андреевича, начальник Главного управления печати князь Вяземский — человек неповоротливый, непрактичный, а потому граф Толстой даже и не сообщил ему ничего о своих предположениях и ожидал, что я возьмусь осуществить его план.

С изумлением слушал я эту чепуху... Мне оставалось только объяснить графу Толстому, что едва ли

издатели газет продадут ему себя за 20 000 руб.; что если даже и обнаружат они столь умеренный аппетит, то для меня совсем непонятно, каким же это образом буду я, стоя в стороне, действовать на них подкупами независимо от князя Вяземского; но — самое главное — я доказывал, что правительство окончательно себя скомпрометирует, если вздумает торговаться с ними, вместо того чтобы показать свою силу; этим самым признало бы оно за ними такое значение, какого они не имели и иметь не могут; неудивительно, что князь Бисмарк прибегает к подкупам, — при существовании конституции в Германии ему, вероятно, и нельзя действовать иначе; но у нас, где в распоряжении министра внутренних дел находится целый арсенал репрессивных мер, было бы лишь бессмысленным подражанием то, что в соседней с нами стране вызывается необходимостью.

Таким образом, предложение графа Толстого было мною отклонено, и с тех пор в течение нескольких месяцев ни единым словом не обнаруживал он намерения привлечь меня на службу в свое ведомство. При свиданиях со мной он отзывался с большими похвалами о князе Вяземском, и уже это показывало, как мало понимал он свою задачу. Князь Павел Петрович Вяземский на том месте, которое он занимал, был в полном смысле слова человек невменяемый. Отец его отличался умом блестящим и оригинальным. Я не думаю, чтобы можно было причислить его к замечательным поэтам; не оставил он по себе никакого труда (включая сюда и биографию Фонвизина), который обеспечивал бы ему продолжительную известность; самое ценное, что вышло из-под его пера, это, по моему мнению, дневник его, изданный под названием «Из старой записной книжки»: сколько тут меткой наблюдательности, остроумия и какое уменье взглянуть на дела и людей с своеобразной точки зрения, как привлекательны тут самые софизмы, которыми любил щеголять князь Вяземский[227].

Сын Петра Андреевича, пожалуй, тоже отличался оригинальностью, только не было в ней ровно ничего умного; на каждом шагу высказывал он такие вещи, что трудно было доискаться в них какого-нибудь

смысла, любил он заниматься преимущественно стариною, древностями и на этом поприще оказал услуги, но явления окружавшей его жизни мало останавливали на себе его внимание, у него не было к ним ни малейшего чутья, — и вот такому-то чудаку поручено было руководить нашею печатью. Произошло именно то, чего и следовало ожидать. Император Александр Николаевич завершил смертью свое исполненное тревог поприще... Беспрерывно надо было опасаться за жизнь его преемника, никто не знал, как и когда удастся отпраздновать его коронование, а периодическая наша печать, за исключением немногих ее органов, продолжала беспрепятственно сеять в обществе семена смуты и безначалия; в том, что совершилось, она видела не урок, а как бы поощрение к дальнейшим подвигам, и все это не смущало князя Вяземского, он, вероятно, находил это в порядке вещей.

Когда, заняв его должность, приехал я в Москву, то тамошние цензора, люди весьма почтенные, рассказывали мне, что князь Вяземский при первом же своем посещении московского цензурного комитета немало изумил их: он объяснял, что, конечно, надо бороться со злом, но не вдаваясь, однако, в крайности, ибо и зло имеет свое raison d'être*, и противодействием его добру условливается в природе гармония. И этого-то кривотолка граф Д. А. Толстой находил вполне пригодным для вверенного ему дела человеком.

К крайнему своему сожалению, он лишился, однако, его услуг, потому что князь Вяземский тяжко заболел. Так как, по общему мнению, поправиться ему было трудно, то, естественно, являлась мысль о замещении его другим лицом, но по-прежнему граф Толстой ничего не сообщал мне о своих намерениях, хотя в газетах уже выставляли меня одним из кандидатов. Лишь 21 декабря (1882 год) получил я от него записку следующего содержания: «Князь Вяземский по болезни оставляет службу в Министерстве внутренних дел, и я спешу предложить вам должность начальника Главного управления по делам печати, будучи

---

* Право на существование *(фр.)*.

убежден, что вы вполне соответствовали бы этому назначению, и полагая, что этот род занятий согласен с вашими вкусами и взглядами».

Таким образом, суждено было мне снова встретиться с графом Толстым на служебном поприще. С этой минуты, следя близко за его деятельностью, я мог составить себе верное понятие о том, в какой мере принесла она пользу.

При первом же слухе об его назначении некоторые были в восторге, другие же приходили в ярость, и все это на основании упрочившейся за ним репутации необычайно энергичного человека. По общему мнению, теперь должна была наступить диктатура не сердца, а совсем другого рода, которая укрепит власть и суровыми мерами положит конец всем неприглядным явлениям в нашей общественной жизни. Думали, между прочим, что Толстой приобретет сильное влияние на государя, будет для него не только советником, но и руководителем. Конечно, в руководстве государь нуждался; намерения его были самые чистые и благородные, прямота и искренность составляли отличительные свойства его характера, не лишен был он в значительной степени и здравого смысла, но умственное его развитие стояло очень низко. Воспитателем его был А. И. Чивилев, наш профессор в Московском университете. Когда скончался цесаревич Николай Александрович, он ужаснулся, что на основании закона наследником престола провозглашен был Александр Александрович. «Как жаль, — говорил он К. Н. Бестужеву-Рюмину, — что государь не убедил его отказаться от своих прав: я не могу примириться с мыслью, что он будет управлять Россией». Конечно, опасения эти были преувеличены, но нельзя отрицать, что в интеллектуальном отношении государь Александр Александрович представлял собой весьма незначительную величину — плоть уж чересчур преобладала в нем над духом. С течением времени, когда будет обнародовано все или многое, что выходило из-под его пера — разные резолюции и заметки, — когда люди, находившиеся в непосредственных к нему отношениях, поделятся своими воспоминаниями о нем, то общее впечатление будет, конечно, таково,

что нередко случалось ему высказывать очень здравые мысли, а наряду с ними такие, которые поражали чисто детской наивностью и простодушием.

— Главная задача графа Игнатьева, — говорил наперсник его Воейков, — состоит в том, чтобы воспитывать государя, развивать в нем политический смысл...

Должно быть, хорошо было это воспитание! Что касается графа Дмитрия Андреевича, то он и не помышлял о подобной задаче. На основании всего, что я видел и слышал, меня всегда удивляли отношения его к верховной власти: он благоговел перед нею, старался быть ей всегда угодным и приятным, но у него не всегда хватало мужества твердо и с достоинством высказывать то, что он считал истиной, если только замечал, что это могло бы не понравиться. Положительно, что при покойном государе разыгрывать подобную роль было бы ему трудно; Александр Николаевич не любил советов, и даже люди, стоявшие при дворе гораздо тверже, чем граф Толстой, не дерзали затрагивать вопросы, о которых не спрашивали прямо их мнения. «Покойного императора Николая Павловича все трепетали, — рассказывал мне князь Н. А. Орлов, — а между тем с ним можно было говорить подчас и откровенно; это я знаю по опыту; иногда, слыша что-нибудь несогласное с его мнениями, он сердился, даже прогонял меня, но не ставил мне этого в вину. Совсем другое теперешний государь (Александр Николаевич): ведь мы были почти воспитаны вместе, я находился к нему в весьма близких отношениях, но у меня положительно слова замирают на языке, когда он уставит на меня тусклый, безжизненный взгляд, как будто и не слышит, о чем я говорю».

Можно ли было требовать от Толстого, чтобы при своем малодушии он навлек на себя неудовольствие Александра Николаевича! Но при новом государе положение его изменилось. Он не старался попасть снова в министры, не старался потому, что не имел никакой надежды достигнуть этого; сам государь обратился к нему, положившись на уверения Победоносцева, что это будет the right man in the right

place*, единственно способный водворить порядок в России; пред ним открылась чрезвычайно широкая сфера деятельности: не только как министр внутренних дел, но и как шеф жандармов имел он полную возможность в беседах с государем касаться решительно всего, что считал нужным для своих целей; ему нечего было выжидать счастливого случая, чтобы его вызвали на тот или другой разговор; как удобно мог бы он пользоваться этим, чтобы просветить государя насчет настоящего положения дел и указывать ему на средства изменить к лучшему это положение. Но для этого требовалось, чтобы у человека, выступавшего в роли советника, была определенная ясная программа и чтобы в груди его теплился священный огонь, который побуждал бы его употреблять все усилия, чтобы осуществить эту программу на деле. И того и другого недоставало графу Толстому. Конечно, он отличался твердостью некоторых своих воззрений, ненавидел либеральные веяния, достигшие пышного процветания при Лорис-Меликове, относился с негодованием к недостаткам нашего судебного устройства, порицал самоуправление во всех его видах, причинявшее у нас так много зла, и т. д., но как изменить все это, оставался он в совершенном неведении. С ним случилось то же самое, что при назначении его министром народного просвещения: он вопил тогда против преобразований, совершенных Головниным, но не знал, как поправить дело; на выручку ему явились Катков, Леонтьев и Георгиевский; теперь же довольно долго не являлось никого, кто мог бы оказать ему такую же услугу. Что же стал бы он проповедовать государю, какие правила политической мудрости был бы он в состоянии преподать ему?

Вследствие сего он не был опасным соперником для Победоносцева, который один из всех пользовался влиянием на государя. Когда покойный император Александр Николаевич вознамерился назначить Победоносцева обер-прокурором Синода, то пожелал узнать мнение о нем Толстого, и граф Дмитрий Ан-

* Настоящий человек на настоящем месте *(англ.)*.

древич отвечал, что это человек умный и даровитый, но, к сожалению, «отчаянный фанатик». Я слышал это от него самого. Плохо же умел он распознавать людей! Если в иностранных газетах выставляли К. П. Победоносцева каким-то Торквемадой, то это неудивительно при грубом их невежестве во всем, что касается России, но всякому сближавшемуся с Константином Петровичем нетрудно было, кажется, понять, что натура его была не из таких, которые способны к фанатизму. Несомненно, что он обладал умом недюжинным, живым и отзывчивым, все его интересовало, ни к чему не относился он безучастно; образование его было многостороннее и основательное, не говоря уже об юридических и церковных вопросах, занимавших его издавна, и в литературе, и в науке, и даже в искусстве обнаруживал он солидные сведения. Он все мог понять и о многом судил верно. Если бы не случай, из него вышел бы замечательный деятель на ученом или литературном поприще, но судьба сблизила его с государем, когда еще тот был наследником престола, и это открыло ему такое поприще, которое едва ли было ему по силам. Возвращаясь к характеристике его, сделанной графом Толстым, следует заметить, что фанатизм не совместен с колебаниями и сомнениями, фанатизм, не смущаясь ничем, идет прямо к своей цели, а не было, кажется, человека, который так пугался бы всякого решительного действия, ум которого был бы в такой степени проникнут духом неугомонной критики. Подобные люди не способны увлекать других, они сами не идут вперед и мешают идти тем, кто отважнее их.

От К. П. Победоносцева можно было досыта наслышаться самых горьких перемиад по поводу прискорбного положения России, никто не умел так ярко изобразить все политические и общественные наши неудачи, но стоило лишь заикнуться, что нельзя же сидеть сложа руки, необходимо принимать меры, которые вывели бы нас из мрака к свету, и он тотчас же приходил в ужас, его невыразимо устрашала мысль о чем-либо подобном. По-видимому, он полагал, что, излив свои сетования, он сделал все, чего можно от него требовать, и что затем остается только уповать

на милосердие промысла. Конечно, трудно было согласиться с этим; Константину Петровичу возражали, что бездействие правительства должно привести Россию к страшным бедствиям, — в ответ на это он приводил странный аргумент, он указывал на то, что никакая страна в мире не в состоянии была избежать коренного переворота, что, вероятно, и нас ожидает подобная же участь и что революционный ураган очистит атмосферу. Хорошее утешение! Однажды кто-то весьма основательно заметил ему на это, что если все государства подвергались революционным потрясениям, то не было еще примера, чтобы правительство, так сказать, включало революцию в свою программу, считало ее таким неизбежным явлением, с которым бесполезно и бороться. Победоносцев действовал смело и решительно только в самые опасные минуты, когда пожар грозил охватить все здание: так, например, он убедил государя удалить Лорис-Меликова; можно было бы указать несколько подобных же заслуг, но по миновании непосредственной опасности он по-прежнему начинал бесплодно оплакивать бедственное состояние России. Не было, кажется, такой сколько-нибудь существенной законодательной или административной меры, против которой он не считал бы долгом ратовать; он тотчас же подмечал ее слабые стороны, и в этом заключалась его сила; впрочем, и не находя в ней важных недостатков, он все-таки не упускал случая возражать. Однажды в разговоре со мной он откровенно высказал, что, если бы это зависело от него, он сократил бы до minimum'а деятельность Государственного совета: к чему перемены, к чему новые узаконения, когда еще неизвестно, будет ли от них прок! Следует заметить, что в этом отношении он был одинаково беспристрастен и к своим единомышленникам, и к противникам, ко всем безразлично относился он с недоверием, так что и те лица, которые стояли в одном с ним лагере, подвергались его порицаниям. К сожалению, слабых своих сторон К. П. Победоносцев не замечал, напротив, имел о себе весьма высокое мнение; он очень любил, чтобы обращались к нему за советами; многие, подметив это и зная, каким влиянием

пользуется он в высших сферах, подвергали его рассмотрению даже такие вопросы, которые были ему совершенно чужды; он жаловался на это, говорил, что не дают ему покоя, заваливают его работой, а если, принимая эти жалобы за чистую монету, оставляли его в стороне, считал себя обиженным. Я не сомневаюсь, что, стоя близко к государю, он желал добросовестно исполнить свой долг, не пользовался своим положением для личных целей, что намерения его были самые благие, и это уж не его вина, если по складу своего ума и при нерешительном своем характере он не мог принести много пользы. Не такого руководителя было нужно императору Александру Александровичу, у которого никогда не проявлялось ни малейшей инициативы. Несчастие К. П. Победоносцева заключалось также в том, что он не умел не поддаться соблазнам предоставленной ему роли: всякий старался заискивать перед ним, ежедневно и утром и вечером кабинет его наполнялся разным людом; кого только нельзя было встретить тут и в какие только дела не вмешивался он, — уже и без того не способен был он овладеть сколько-нибудь широкими задачами, а это еще более заставляло его без всякой нужды тратиться на мелочи. Но я должен отдать справедливость Константину Петровичу, что никогда не задумывался он высказывать государю прямо то, что у него лежало на душе, не стесняясь никакими посторонними соображениями, — к каким благотворным последствиям могло бы повести это, если бы он был государственным человеком в настоящем смысле слова...

Впрочем, была сфера, в которой он обнаруживал необыкновенную энергию: говорю о нашей периодической печати. Я всегда изумлялся, как у него хватало времени читать не только наиболее распространенные, но и самые ничтожные газеты, следить в них не только за передовыми статьями или корреспонденциями, но даже (говорю без преувеличения) за объявлениями, подмечать такие мелочи, которые не заслуживали бы ни малейшего внимания. Беспрерывно я получал от него указания на распущенность нашей прессы, жалобы, что не принимается против нее дос-

таточно энергичных мер[228]. К. П. Победоносцев был вполне прав, утверждая, что ей принадлежала преобладающая роль в революционном брожении, охватившем одно время Россию; великим бедствием, говорил он, было для нашего общества, отличавшегося далеко не высоким развитием, чуждого в громадном большинстве своем всяких умственных интересов, что, как только занялась над Россией заря новой жизни, оно очутилось вместо книги с газетою в руках и оставалось беззащитным против самых безрассудных теорий; все это несомненная истина, но под влиянием непреодолимого страха, овладевшего им, он готов был в репрессивных мерах не останавливаться ни пред чем.

В первые годы царствования императора Александра Александровича говорили, что, в сущности, Россией управляет триумвират, а именно: Победоносцев, граф Толстой и Катков[229]. Как это было мало похоже на правду! Мнимый союз трех названных лиц напоминал басню о лебеде, щуке и раке. Относительно основных принципов они были более или менее согласны между собой, но из этого не следует, чтобы они могли действовать сообща. М. Н. Катков кипятился, выходил из себя, доказывал, что недостаточно отказаться от вредных экспериментов и обуздать партию, которой хотелось бы изменить весь политический строй России, что необходимо проявить энергию, не сидеть сложа руки; он был непримиримым врагом застоя, и ум его неустанно работал над вопросом, каким образом можно было бы вывести Россию на благотворный путь развития. Граф Толстой недоумевал, с чего же начать, как повести дело; он был бы и рад совершить что-нибудь в добром направлении, но это «что-нибудь» представлялось ему в весьма неясных очертаниях; что касается Победоносцева, то, оставаясь верным самому себе, он только вздыхал, сетовал и поднимал руки к небу (любимый его жест). Неудивительно, что колесница под управлением таких возниц подвигалась вперед очень туго. Катков и Толстой вовсе не видались, Победоносцев видался с Катковым, но после каждого почти свидания разражался жалобами — так солоно приходилось ему от беспощадных нападок Михаила Никифоровича. Вообще он вполне сочувствовал его образу мыслей, но никак не хотел идти за ним, когда тот предлагал осуществить свои идеи в той или другой форме. Для примера беру

вопрос о судебных учреждениях. Если Катков, справедливо или нет, запальчиво порицал их, то и Победоносцев нисколько не уступал ему в этом отношении; не раз приходилось мне слышать от него, что, с тех пор как возникли они у нас, никогда его нога не переступала порога судейского здания — так было ему противно все, что там происходит, — он зачитывался статьями «Московских ведомостей», направленными против наших судов, и аккуратно посылал их государю; не пощадил он и министра Набокова, своего товарища по училищу правоведения, с которым в прежнее время находился в близких отношениях. Благодаря главным образом ему, Набоков был сменен[230]. Возник вопрос о том, кого поставить на его место, — Катков доказывал (и, со своей точки зрения, вполне верно), что если хотят существенного преобразования судебных порядков, то надобно остановить выбор на лице, которое не принадлежало бы к судебному сословию, не было бы связано с ним такими узами, которые при всем добром желании было бы ему трудно порвать. Но Победоносцев устрашился сколько-нибудь коренной ломки; как всегда случалось с ним, он готов был идти очень далеко, пока дело ограничивалось лишь бесплодными рассуждениями, и вдруг изменил тон, когда явилась возможность действовать. Та же история повторилась и при обсуждении нового университетского устава. Катков был не такой человек, чтобы отнестись благодушно к подобному противодействию самым заветным своим планам, а потому отношения его к Победоносцеву становились все более натянутыми. В последние годы, или, вернее, месяцы своей жизни, приезжая в Петербург, он лишь изредка крайне неохотно посещал Константина Петровича, причем в беседах своих с ним даже избегал затрагивать наиболее жгучие вопросы, но с глазу на глаз в тесном кружке своих приятелей отзывался о нем с озлоблением. Что касается графа Толстого, то Победоносцев слишком чувствительно задел его самолюбие предпринятым им преобразованием духовных учебных заведений, преобразованием, отменявшим самое существование из того, что было совершено его предшественником. Он выполнил эту реформу, даже не спросив мнения о ней Толстого, ни разу не посоветовавшись с ним: «Он поступил со мной точно так же, как я некогда с Головниным», — говорил с яростью граф Дмитрий Андреевич. Словом, симпа-

тии между лицами, которым приписывалось преобладающее влияние на дела, не существовало. «Правительство идет», — воскликнул как-то Катков в добрую минуту, но затем он окончательно разочаровался в возможности этого победоносного шествия. Однажды обедали мы с ним у Делянова; было тут еще несколько человек одинакового образа мыслей; разговор шел о том, почему это либеральная партия умела всегда действовать смело и решительно, почему отличалась она единодушием и дисциплиной, тогда как партия, пришедшая ей на смену, обнаруживает все признаки бессилия. Добрейший Иван Давыдович утверждал, что не следует падать духом, что все пойдет хорошо. Катков, по обыкновению своему задумчиво ходивший по комнате, вдруг остановился пред Деляновым:

— Нет, господа, — сказал он, — напрасно вы обольщаете себя надеждами; никто не относится к вам серьезно, никто не думает, чтобы удалось вам сделать что-нибудь путное...

Заслуга графа Толстого по назначению его министром внутренних дел была все-таки немаловажная. Он достиг по крайней мере одного: в комнате нельзя было сидеть от сквозного ветра, граф Толстой запер двери, и сквозняк прекратился. Действительно, вместо прежнего лихорадочного брожения наступило при нем затишье; мы как будто успокоились, отрезвели, проявилось стремление перейти от бесплодной агитации к делу — и для всего этого не потребовалось даже особенных усилий с его стороны. Графу Толстому помогла приобретенная им репутация какой-то необычайной энергии: все притихло под влиянием мысли, что теперь явилась у нас наконец сильная власть; все были убеждены, что от него нечего было ожидать потворства попыткам волновать общество. Катков утверждал не без основания, что в прежнее время само правительство производило, не желая того, революцию; реформы следовали одна за другою с необычайною быстротой, изменили все наши гражданские учреждения, весь наш общественный быт, не было никакой возможности так скоро освоиться с ними, неудовольствие господствовало повсюду, проявлялось нередко в самых преступных формах, но и тут правительство обнаружило свою несостоятельность; оно не умело быть разумно и последовательно строгим — как кто-то выразился о нем, «ущипнет и убе-

жит», то набрасывалось на виновников смуты с истерическим раздражением, то смотрело сквозь пальцы на их подвиги. Всему этому был положен теперь конец. Со вступлением в должность графа Толстого наступило такое поразительное сравнительно с прежним спокойствие, о котором незадолго пред тем нельзя было и мечтать. Следовало пользоваться этим благоприятным моментом, но, к сожалению, для этого не хватило у графа Дмитрия Андреевича ни сил и ни уменья.

Начать с того, что окружен был он очень дурно. Из его товарищей один И.Н. Дурново исполнял вполне добросовестно свои обязанности; в продолжительные летние отъезды министра из Петербурга лежала на нем нелегкая задача, с обычным своим тактом не сделал он ни одного промаха, но никто и не ожидал, чтобы он мог проявить в чем-нибудь инициативу. Другому товарищу — генералу Оржевскому[231] — принадлежало заведование полицией; это был бесспорно человек умный, с твердым характером, но в высшей степени честолюбивый, желчный и завистливый. Как уже упомянуто выше, граф Толстой очень радовался своему назначению министром внутренних дел, смущало его только одно обстоятельство, а именно, что придется ему руководить тайной полицией, носить звание шефа жандармов, причем рисковал он направить на себя удары злоумышленников. Воспоминания о покушениях против Мезенцова, Дрентельна, Лорис-Меликова не давали ему покоя. Вследствие того первою его мыслью было оставить за собой только административную часть, а политическую возложить на другое лицо. Государь не согласился на это, да и ему самому растолковали, что это будет для него невыгодно. После неудачной попытки поставить во главе тайной полиции генерала Трепова[232] обратились к Оржевскому, человеку крайне неприятному для всех, кому приходилось иметь с ним дело, — неприятному и для графа Толстого, но Оржевский нашел верное средство держать его в зависимости от себя, а именно: он самым бесцеремонным образом прибегал к системе запугивания. Граф Дмитрий Андреевич вообще не отличался бесстрашием. По этому поводу припоминаю следующий случай: в шестидесятых годах, тотчас по усмирении польского восстания, некто доктор Орлов задумал учредить в Варшаве русскую гимназию; с замечательною энер-

гией и пользуясь поддержкой Н.А. Милютина, он преодолел все препятствия, и гимназия была открыта под его руководством[233]. Рассказывали, будто с тех пор Орлов охладел к своему предприятию, мало занимался делом, думал только об успехах в обществе и т. п. Когда варшавский учебный округ поступил в ведение Министерства народного просвещения (случилось это при графе Толстом), Орлову хотелось сохранить за своею гимназией особое самостоятельное положение — это обстоятельство в связи с неблаговидными о нем слухами повело к тому, что он был уволен от должности; его даже не предуведомили о грозившей ему участи, не сочли, кажется, нужным обеспечить его пенсией, — образ действий весьма прискорбный относительно человека, который при всех своих недостатках оказал, однако, пользу. В обычный приемный день у министра Орлов, приехавший из Варшавы, явился к нему для объяснения. Толстой не хотел его даже выслушать и, сказав несколько слов, отвернулся от него, но Орлов сделал несколько шагов вперед и воскликнул очень резко: «Нет, граф, я требую от вас ответа, так дело не может кончиться!» Дежурный чиновник и курьер заставили его удалиться, а чрез несколько дней после того он был выслан куда-то административным порядком. Происшествие это так напугало графа Дмитрия Андреевича, что впоследствии он не выходил иначе в залу, где ожидали его просители, как с револьвером в кармане; он сам сознался в этом А. И. Георгиевскому. Если такое потрясающее впечатление произвела на него сцена с Орловым, со стороны которого уж никак не мог он, кажется, ожидать покушения на свою жизнь, то по назначении своем министром внутренних дел он имел, конечно, достаточное основание опасаться всего худшего, и Оржевский пользовался этим как нельзя лучше. Граф Толстой проникся, по-видимому, мыслью, что если он с Оржевским поссорится, то этот ненавистный человек ослабит охрану, и тогда ожидает его неминуемая гибель. Оржевский не упражнялся даже в особой изобретательности, чтобы держать его постоянно в страхе. Однажды, приехав к Толстому тотчас после того, как Оржевский вышел из его кабинета, я нашел его в весьма возбужденном состоянии. «Опять, — начал он мне рассказывать, — обнаружен адский замысел против меня; из Киева получено известие, что оттуда едут в

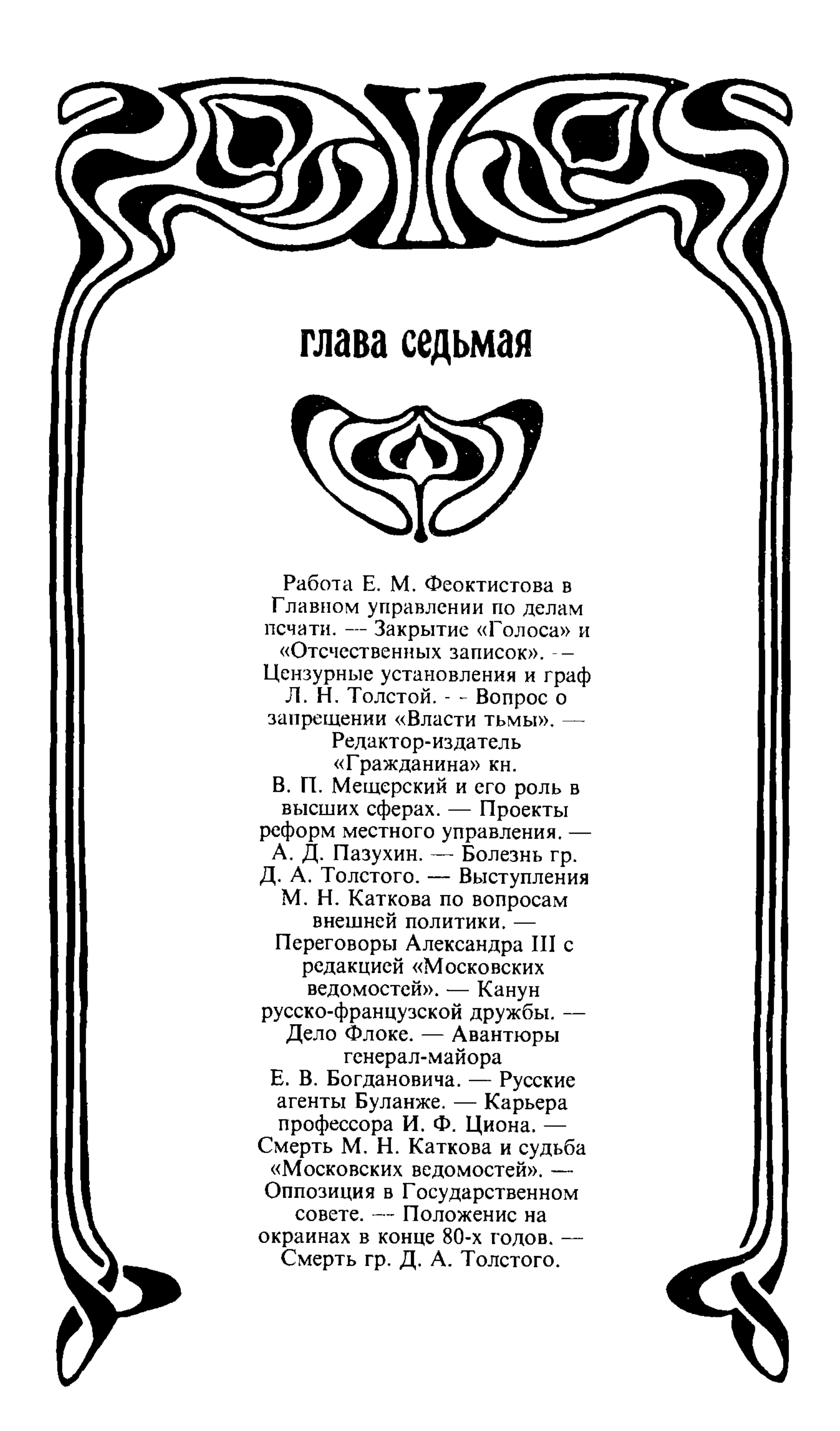
Петербург нигилисты, которые задумали меня погубить посредством отравленной папиросы; проследив, куда я приеду, они вступят в разговор с кучером, который будет меня ожидать у подъезда, и угостят его папиросой; когда я сяду в карету, тот мало-помалу потеряет сознание, и злодеи воспользуются этой минутой, чтобы нанести мне удар...» Оставалось только удивляться, как можно было верить такому вздору. Я просил графа Дмитрия Андреевича сообразить, почему же злоумышленники могут знать, долго или нет просидит он там, куда приехал, в какой же момент предложат они папиросу кучеру, почему кучер должен потерять сознание, именно когда это желательно для них, и т. д., но граф находил все эти соображения далеко не успокоительными. Страх подавлял в нем голос рассудка. В первое время своего управления министерством он еще отваживался делать прогулки по Морской и Невскому проспекту, хотя нередко отказывал себе и в этом удовольствии вследствие тревожных известий от Оржевского; этот добровольный арест длился иногда три или четыре дня сряду, но впоследствии никто уже не видал его ходящим по улице. Если он выезжал в экипаже, то агент полиции сидел на козлах, агенты охраняли его в Гатчине по дороге от станции ко дворцу и даже постоянно жили в его деревне во время его пребывания там. Понятно, как подобное существование должно было отразиться на нервах графа Толстого, особенно же когда к этому присоединилась болезнь. Так как тайная полиция принадлежала Оржевскому, а городская находилась в заведовании генерала Грессера[234] и обе они одинаково были обязаны следить за безопасностью графа Дмитрия Андреевича, то он старался поддерживать самые лучшие отношения с тем и другим из них; достигнуть этого было, однако, невозможно без явного вреда для дела, ибо Грессер и Оржевский находились в непримиримой вражде; это были своего рода Монтекки и Капулетти; вместо того чтобы положить конец их ожесточенным распрям, водворить единство в управлении полицией, граф Толстой только лавировал между этими озлобленными противниками; нерешительность и слабодушие его чуть было не отразились ужасными последствиями 1 марта 1887 года, в тот день, когда злоумышленники решились, но, к счастью, не успели совершить покушение на жизнь государя.

Чрез несколько времени у графа Толстого явился еще третий товарищ — В.К. Плеве, занимавший прежде должность директора Департамента полиции[235]. Он совмещал в себе немало достоинств — значительный ум, громадную память и способность работать без отдыха; не было такого трудного дела, которым он не в состоянии был бы овладеть в течение самого непродолжительного времени. Нечего, следовательно, удивляться, что он быстро сделал карьеру, на всяком занимаемом им месте он считался бы в высшей степени полезным деятелем, а для графа Толстого был настоящею находкой. Особенно когда болезнь постигла графа, я даже не понимаю, как могли бы идти дела, если бы Плеве не выручал его на каждом шагу. Но это хорошая сторона медали, была и обратная. Государь с своим здравым смыслом выразился однажды о Плеве очень верно. Граф Толстой, отправляясь на лето в деревню, просил, чтобы дозволено было Плеве являться в Гатчину с докладами, причем отозвался с похвалами об его отличных убеждениях. «Да, у него отличные убеждения, — возразил государь, — пока вы тут, а когда не будет вас, то и убеждения у него будут другие».

Оржевский, ставивший себе в заслугу свое твердое неизменно консервативное направление и готовность выдержать за него какую угодно борьбу, выразился однажды, говоря о Плеве: «Трудно идти против течения, а по течению и дохлая рыба плывет». Конечно, не следует придавать особое значение отзывам Оржевского, который ненавидел Плеве точно так же, как многих других, но тем не менее можно усомниться, чтобы Плеве относился с сердечным участием к чему-либо, кроме своих личных интересов. От этого человека, со всеми отменно вежливого, невозмутимо спокойного, не способного проронить в разговоре ни одного лишнего слова, никогда не возвышавшего интонацию голоса, как-то веяло холодом. Всякий инстинктивно сознавал, что было бы опасно довериться ему; со всеми старался он быть в одинаково хороших отношениях, чтобы не закрывать самых разнообразных путей для своей карьеры. Несмотря на свои недостатки — повторяю еще раз, — он приносил на службе значительную пользу и оказался бы еще несравненно полезнее, если бы направляла его более сильная рука.

Стоял он высоко, особенно по сравнению с други-

ми лицами, окружавшими Толстого, который вообще никогда не отличался уменьем подбирать себе дельных и способных сотрудников. Первые состоявшиеся при нем назначения изумили всех. Так, например, директором Департамента иностранных исповеданий назначил он князя /М. Р./ Кантакузина, в полном смысле слова хлыща, не обладавшего ни талантом, ни сведениями и попавшего на этот пост только потому, что успел (а это было не трудно) снискать расположение графини С. Д. Толстой. Еще гораздо хуже оказался /С. С./ Зыбин, призванный руководить земским отделом. Да и где мог граф Дмитрий Андреевич найти лучших людей при своем упорном желании не знать и не видать по возможности никого, окружить себя неприступною стеной? Ему известна была только Рязанская губерния, где находились его поместья, — тут издавна завязались у него знакомства, и многие из рязанцев приезжали летом в деревню к его жене играть с нею в карты, так что он поневоле вынужден был поддерживать с ними сношения; оттуда, из этой губернии, которую называли «лейб-губернией», он и вербовал лиц для замещения разных должностей. Но так как этот персонал оказывался недостаточным для всей России, то другие назначения происходили совершенно случайно, по чьим-либо рекомендациям, и очень нередко приходилось слышать от графа Толстого, когда заходила речь о каком-нибудь негодном, но им же посаженном губернаторе, что он вовсе его не знает, даже ни разу его не видал. И неудивительно, ибо губернаторы и предводители дворянства должны были считать за особое счастье, когда им удавалось проникнуть на несколько минут в кабинет министра — даже генерал-губернаторы достигали этого не без затруднений. «Нельзя себе и представить, как плохи у нас губернаторы», — восклицал граф Дмитрий Андреевич. Да кто же должен был нести за это ответственность?



глава седьмая

Работа Е. М. Феоктистова в Главном управлении по делам печати. — Закрытие «Голоса» и «Отечественных записок». — Цензурные установления и граф Л. Н. Толстой. — Вопрос о запрещении «Власти тьмы». — Редактор-издатель «Гражданина» кн. В. П. Мещерский и его роль в высших сферах. — Проекты реформ местного управления. — А. Д. Пазухин. — Болезнь гр. Д. А. Толстого. — Выступления М. Н. Каткова по вопросам внешней политики. — Переговоры Александра III с редакцией «Московских ведомостей». — Канун русско-французской дружбы. — Дело Флоке. — Авантюры генерал-майора Е. В. Богдановича. — Русские агенты Буланже. — Карьера профессора И. Ф. Циона. — Смерть М. Н. Каткова и судьба «Московских ведомостей». — Оппозиция в Государственном совете. — Положение на окраинах в конце 80-х годов. — Смерть гр. Д. А. Толстого.

Лично я не могу жаловаться на графа Толстого. Он предоставил мне полную свободу, одобрял все меры, которые я считал необходимыми, во всем соглашался со мной; он был, видимо, доволен, что нашелся человек, который поставил себе задачей действовать твердо и последовательно. Я не намерен говорить здесь подробно о своей деятельности: она развивалась в известном направлении, и беспристрастный приговор о том, разумно или нет было направление, которому я служил наравне с другими, может состояться лишь долго после того, как мы сойдем со сцены. Печать — великое благо, но она может служить и источником великого зла, особенно у нас. В других странах общество достигло уже более или менее высокого развития, прежде чем журналистика приобрела влияние на умы; у нас совсем наоборот: громадное большинство нашей публики вместо учебной книги взялось за газету, из нее черпало оно всякую мудрость, и это в крайне тревожный период нашего исторического существования, когда интересы и страсти находились в сильном брожении. К счастию, на журнальное поприще выступило несколько людей, которые сослужили великую службу, пролили немало света в господствовавший у нас хаос понятий, но Катковы и Аксаковы составляли исключение; к тому же и влияние их на массу читающего люда было незначительно: Аксаков без поддержки со стороны людей, ему сочувствовавших, не мог бы покрыть и расходы по своей газете, а «Московские ведомости» только во время польского восстания 1863 года име-

ли обширный круг читателей, впоследствии же число их подписчиков не превышало 6000 на всю Российскую империю! Громадный перевес оказался на стороне таких деятелей, которые, за немногими исключениями, или проповедовали самые сумбурные теории, или даже прямо играли на руку анархистам. Когда арестован был известный Лопатин, то один из первых допросов его происходил в присутствии графа Толстого; между прочим, потребовали от него объяснения, что побудило его приехать из-за границы в Петербург, где его хорошо знали и где он неминуемо должен был попасть в руки полиции. Лопатин отвечал, что надо было самыми энергичными мерами возбудить деятельность революционной партии, ряды коей значительно поредели с 1881 года, и что одною из главных причин ее упадка было ослабление нашей так называемой либеральной печати, которая хотя и стояла особняком от анархистов, но тем не менее подготовляла для них пригодную почву[236]. Если так, то я ставлю себе это в немаловажную заслугу. Другою моей заслугой следует считать, что в течение всего времени, когда я заведовал Главным управлением печати, ни разу не обнаруживалось попытки наложить руку на действительно серьезную книгу, если даже шла она вразрез с господствовавшим направлением. В этом отношении свобода печатного слова не только не подвергалась при мне стеснениям, но, смею думать, даже несколько выиграла сравнительно с тем, что было прежде. Не мог я только бороться иногда с требованиями духовной цензуры, которая вмешивалась в область литературы светской.

Уверяли, будто граф Толстой с самого начала взял с меня обязательство не щадить газету «Голос», которая издавна преследовала его злобными и возмутительными по своей дерзости нападками. Это сущий вздор. Если бы он хотел непременно задавить это издание, то, вероятно, и князь Вяземский не решился бы долго противоречить ему, но и тут, как во всем, выразились отличительные свойства его характера. О газете «Голос» не мог он говорить спокойно (еще не далее как при Лорис-Меликове открыла она у себя публичную подписку в пользу прежних его крепостных крестьян, будто бы притесняемых им), но ему все казалось, что «Голос» служит органом какой-то

чрезвычайно сильной партии и что если нанести ему удар, то чуть ли не произойдет бунт. И к тому же, говорил он мне, враги его будут утверждать, что он руководился чувством личной мести. Таким образом, нужно было прибегнуть к некоторому давлению на графа Толстого, чтобы вырвать у него согласие на решительную меру[237]. Такую же боязливость выказал он и по отношению к «Отечественным запискам». В течение долгого ряда лет этот журнал усердно занимался — насколько позволяли условия цензуры, необычайно, впрочем, к нему снисходительной, — проповедью социалистических учений и пользовался большим почетом среди самых отъявленных врагов существовавшего порядка вещей. Однажды в Комитете министров обсуждали возбужденный министром внутренних дел Маковым вопрос об уничтожении переведенной на русский язык «Истории Византийской империи» Финлея; граф Валуев дрожащим от негодования голосом воскликнул, что он не может согласиться на подобную меру относительно какой бы то ни было книги до тех пор, пока правительство не оградит умы от заразы, распространяемой «Отечественными записками». А между тем сам Валуев, долго управлявший Министерством внутренних дел, ничего не предпринял для этого, и при его преемнике почтенный труд такого серьезного ученого, как Финлей, был сожжен, а «Отечественные записки» продолжали процветать. В. К. Плеве, занимая должность директора Департамента полиции, рассказывал мне, что при обысках у анархистов и их пособников находили обыкновенно очень мало книг, но между ними непременно красовались «Отечественные записки». В революционных журналах, издаваемых на русском языке за границей, были перепечатываемы произведения Щедрина (Салтыкова) и даже появлялись там такие из них, которые он сам не решался или цензура не позволяла ему обнародовать в России. Всего этого было, кажется, достаточно, чтобы покончить с его изданием, но граф Толстой колебался отчасти потому, что Салтыков был некогда его товарищем — оба они воспитывались в Александровском лицее, — а главным образом опять-таки из опасения возбудить неудовольствие в обществе[238]. Тут оказал услугу Департамент полиции. Однажды граф Толстой пригласил

меня на совещание с Оржевским и Плеве, которые сообщили, что редакция «Отечественных записок» служит притоном отъявленных нигилистов, что против некоторых из сотрудников этого журнала существуют сильные улики, что один из них уже выслан административным порядком из Петербурга и что необходимо разорить это гнездо; состоялось совещание четырех министров (на основании одной из статей цензурного устава), которое и постановило прекратить издание «Отечественных записок». Граф Дмитрий Андреевич счел необходимым подробно объяснить мотивы, которыми руководилось правительство, прибегнув к этой мере, чего в подобных случаях никогда не делалось прежде и в чем не было ни малейшей необходимости: как будто отвратительное направление журнала недостаточно ясно говорило само за себя, как будто требовалось оправдываться, ссылаясь на закулисную преступную деятельность того или другого из сподвижников Салтыкова[239]...

Немало затруднений причинял граф Лев Толстой. Громадным своим талантом приобрел он высокое положение в литературе, а между тем никто не производил столь растлевающего влияния на молодые умы проповедью, направленною против церкви и государства, против всех основ общественного устройства. Он сделался идолом некоторых кружков. При крайней пустоте и легкомыслии нашего общества, при наклонности его увлекаться всякою новизной, нет ничего удивительного, что он пользовался успехом даже там, где не мог бы, казалось, рассчитывать на него. Особенно обнаружилось это при появлении его драмы «Власть тьмы». Было бы сумасшествием разрешить ее для сцены, а между тем нашлось немало сумасшедших, которые скорбели об ее запрещении; устраивались чтения этой пьесы в присутствии дам, с раболепным восторгом выслушивавших все, что было в ней возмутительного и грязного[240]. Одно из таких чтений происходило у министра двора Воронцова-Дашкова, который не задумался пригласить государя и императрицу: имелось при этом в виду выхлопотать высочайшее соизволение на постановку пьесы. Вероятно, государь очутился в затруднительном положении, он не мог не сознавать, что дело неладно, но его уверяли, что народился новый Шекспир, что во

всей европейской литературе нельзя найти такого перла, как «Власть тьмы», а потому он высказал свое согласие условно: пусть приступят к постановке, а он приедет на генеральную репетицию и, смотря по впечатлению, какое произведет она /на/ него, решит судьбу драмы. Директор императорских театров Всеволожский поспешил с видимым удовольствием известить меня об этом. Так как одно из главных достоинств пьесы Льва Толстого заключалось, по словам его поклонников, в строгом реализме, то реализмом до мельчайших подробностей должна была отличаться и постановка. С этою целью Дирекция посылала в Тульскую губернию (место действия пьесы) живописцев, чтобы рисовать декорации именно тульских, а не каких-нибудь других крестьянских изб; собирали тульских баб, чтобы шить сарафаны, и т.п. Я не верил газетам, сообщавшим эти известия, но помощник Воронцова-Дашкова Н.С. Петров подтвердил мне все это. Остряки уверяли даже, будто театральное ведомство обратилось к управлению Воспитательного дома с официальной бумагой, в которой, ссылаясь на то, что между малолетними питомцами этого учреждения господствует страшная смертность, что дети мрут там как мухи, осведомлялось, не признает ли оно возможным пожертвовать двумя или тремя младенцами для первых представлений: что могло бы быть реальнее, как задушение живого птенца на сцене пред взорами восторженной публики! К счастью, Победоносцев взял на себя труд просветить государя, и все приготовления были приостановлены. Несколько времени спустя некто Палимпсестов обратился к государю из Москвы с письмом о драме Льва Толстого и о псевдофилософских его трактатах, которое государь препроводил к министру внутренних дел с следующею заметкой: «Я переговорю с вами об этом при свидании. Надо было бы положить конец этому безобразию Л. Толстого; он чисто нигилист и безбожник. Недурно было бы запретить теперь же его драму «Власть тьмы»; довольно он уже успел продать этой мерзости и распространить ее в народе»[241]. Вследствие сего не появлялись дальнейшие издания этой пьесы; некоторые лица, и в том числе Победоносцев, сильно нападали на меня, зачем я допустил ее в печать, но я никак не могу согласиться с этим; сце-

на имеет свои условия, впечатление на публику произведет она гораздо более сильное, чем книга, поэтому «Власть тьмы» и не должна была появиться на театральных подмостках. Были ли, однако, основательные причины воспрепятствовать автору напечатать ее? По мнению К.П. Победоносцева, причины эти существовали, а именно: так как в пьесе выставлены лица, которые совершают самые ужасные преступления необыкновенно легко, без малейшего угрызения совести, то будто бы это не могло не подействовать растлевающим образом на темный люд, приучая его ко всем гнусностям и подрывая в нем нравственное чувство. Не думаю, чтобы подобный аргумент был убедителен.

Я мог бы посвятить несколько страниц более или менее интересным рассказам о сношениях моих с журналистами, но это завлекло бы меня слишком далеко. Упомяну, впрочем, об одном из них, редакторе «Гражданина» князе Мещерском, и то вследствие совершенно исключительного положения, в каком он находился[242]. Государь, еще будучи наследником престола, ухаживал за его родственницей*, а поэтому сошелся и с ним, нередко его посещал и проводил у него вечера в обществе нескольких лиц; он поручил ему, между прочим, устройство Ремесленного училища в Петербурге в память покойного цесаревича Николая Александровича; при этом Мещерский проворовался, и двери Аничкова дворца закрылись для него. Эта невзгода продолжалась довольно долго, до воцарения Александра Александровича, когда удалось ему благодаря содействию Победоносцева возвратить монаршее к себе расположение. А между тем репутация его становилась все позорнее; по общему мнению, не лишенному, кажется, достаточного основания, он принадлежал к числу самых отчаянных педерастов. Негодяй, наглец, человек без совести и убеждений, он прикидывался ревностным патриотом — хлесткие фразы о преданности церкви и престолу не сходили у него с языка, но всех порядочных людей тошнило от его разглагольствований, искренности коих никто не хотел и не мог верить. По-видимому, только государь, еще раз вдавшись в обман, принимал их за

* Первоначально было написано сестрой. — *Ред.*

чистую монету. Мещерский, заискивавший перед И.Н. Дурново, когда тот за отсутствием графа Толстого управлял Министерством внутренних дел, показал ему однажды собственноручные письма, полученные им от государя, и Дурново сообщил мне их содержание: это было нечто невероятное! Государь говорил с ним как равный с равным; в одном из его писем, относившихся к тому времени, когда произошло между ними примирение, находились такие выражения: «...забудем прошлое, кто старое помянет, тому глаз вон» и т.п. Однажды (это было в 1886 году) вызвал я князя Мещерского для объяснения по поводу какой-то его статьи, на которую жаловался военный министр; он приехал гораздо позже, чем было мною назначено, и оправдывался тем, что был задержан в Гатчине. При этом совершенно неожиданно для меня пустился он в откровенности. «На мою долю выпало сегодня редкое счастье, — говорил он, — я имел возможность изложить государю единодушное мнение почтенных и компетентных людей о тех бедствиях, которые ожидают Россию, если управление финансами будет оставаться в руках Бунге[243]; я ничего не утаил от его величества; он дозволил мне беспрепятственно излить все, что давно уже накопилось у меня на душе; мало этого, — я указал на единственного человека, который настолько обладает сведениями, способностями и опытностью, что в состоянии спасти нас от разгрома; вы понимаете, конечно, что дело идет о Вышнеградском[244]. Беседа моя с государем должна остаться в тайне, но я не буду в претензии, если совершенно конфиденциально вы доведете о ней до сведения графа Дмитрия Андреевича». Мещерский[245] говорил правду, ибо через несколько месяцев после того, к общему изумлению, И.А. Вышнеградский назначен был членом Государственного совета, а это послужило ему лишь первою ступенью, чтобы сделаться министром. Многие этому радовались, и я в том числе, ценя высоко его дарования, но нельзя было не пожалеть, что советником государя в настоящем случае явился такой презренный человек, как Мещерский. Разумеется, он не преминул извлечь из этого личную выгоду. В следующем же году, воспользовавшись отъездом графа Толстого на летнее время в деревню и втихомолку от всех, между прочим и от меня, сооб-

щил он государю о своем намерении преобразовать издаваемый им «Гражданин» в большую ежедневную газету и ходатайствовал о субсидии на первый год — 108 000 руб., на второй 90 000 и на третий 30 000 руб. Все было придумано им очень ловко; деньги он должен был получать из государственного казначейства, причем рассчитывал, что Вышнеградский, лично ему обязанный, не представит никаких возражений; для соблюдения тайны он просил, чтобы посредником между ним и Министерством финансов был И.Н. Дурново, который по своему добродушию уже и прежде оказывал /ему/ разные услуги. Впрочем, на этот раз и Иван Николаевич, которому государь поручил обсудить это дело, был смущен чересчур наглыми домогательствами Мещерского и доложил государю, что едва ли удобно выдавать ему столь значительные суммы. «Напротив, — возразил государь, — нельзя же основать хорошую консервативную газету на двугривенный; я не нахожу тут ничего необычайного; посмотрите, сколько тратит на немецкую печать Бисмарк...»

По возвращении своем из-за границы в августе 1887 года я убедился, что нет почти человека в Петербурге, которому не было бы известно о субсидии, полученной князем Мещерским. Правда, Вышнеградский божился, будто ничего не знает об этом, но И.Н. Дурново, когда обращались к нему с расспросами, отвечал уклончиво, и я полагаю, что он-то и был главным виновником оглашения тайны; впоследствии он уже и не стеснялся посвящать в нее многих из своих приятелей. Проделка Мещерского произвела на всех порядочных людей в высшей степени тягостное впечатление; газету его считали царскою; говорили, что она должна служить органом самого государя, и, как нарочно, именно в это время огласилась пакостная его история с каким-то флейтщиком или барабанщиком... Можно ли было не скорбеть, что государь, отличавшийся инстинктивным отвращением ко всему низкому и порочному, дал повод человеку, опозоренному в общественном мнении, злоупотреблять его именем?

Ответственность за это лежала на Победоносцеве, который, как сказано выше, сблизил его с государем, но он же и счел долгом исправить сделанное им

зло. Сильное впечатление произвело на него то обстоятельство, что, когда однажды приехал он в Москву, пожелали с ним видеться родной брат Мещерского, князь Николай Петрович, бывший попечитель московского учебного округа, человек в высшей степени почтенный, и сестра его, графиня Клейнмихель. С ужасом и негодованием отзывались они о своем родственнике. «Мы дорожим честью нашего рода, — говорили они, — а поведение нашего брата таково, что нам приходится за него краснеть; войдите же в наше положение, употребите все свое влияние, чтобы обуздать этого несчастного». Государь находился тогда в Копенгагене; на другой же день по его возвращении Победоносцев отправился к нему в Гатчину и постарался открыть ему глаза насчет Мещерского, рассказал, как отзываются о нем даже ближайшие его родственники, как не скрывает он, будто имел влияние на назначение Вышнеградского министром, как некоторые из министров (Делянов, Вышнеградский), зная об его отношениях к государю, являются к нему на обеды, к каким неблаговидным толкам подает все это повод и т.д. Победоносцев уверял меня, что с этой минуты порвана всякая связь между государем и Мещерским, но едва ли это было так; трудно было объяснить, почему граф Толстой, относившийся с большим вниманием ко всему, что я ему предлагал, соглашался неохотно подвергнуть газету «Гражданин» за ее безобразные выходки даже далеко не суровым административным карам вроде запрещения розничной продажи ее номеров; он как будто инстинктивно сознавал, что это должно возбудить неудовольствие в Гатчине. Так действительно и оказалось. В августе 1888 года объявлено было предостережение «Гражданину». По обыкновению граф Толстой послал государю доклад с подробным изложением мотивов, вызвавших эту меру, и государь возвратил его, испестрив заметками, доказывавшими, что он вполне принимает сторону Мещерского. «Решительно не вижу, — написал он, — за что давать предостережение».

О такой презренной личности, как князь Мещерский, не стоило бы и говорить много, если бы не замешано было тут имя государя.

Какова бы ни была моя деятельность, могу сказать, что она ознаменовалась такими результатами,

какие еще незадолго пред тем казались почти невозможными. Во всяком случае, она рельефно выдвигалась вперед по сравнению с застоем, господствовавшим в других сферах нашего министерства. Сам граф Дмитрий Андреевич сознавал, что нельзя предаваться бездействию, что в конце концов подобная политика не приведет к добру, к тому же на очереди стоял вопрос, который был возбужден еще в предшествовавшее царствование и настойчиво требовал разрешения. Говорю о реформе местного управления. При покойном государе, когда власть сосредоточилась в руках Лорис-Меликова, отправлены были в некоторые губернии сенаторы с целью исследовать причины нашей неурядицы и собрать материалы, на основании коих можно было бы выработать законоположения для устранения ее. Затем эта трудная задача возложена была на комиссию под председательством члена Государственного совета Каханова[246], одного из главных сподвижников Лориса. В таком положении находилось дело при назначении графа Толстого министром внутренних дел. Кахановской комиссии он не только не сочувствовал, но отзывался о ней с величайшим презрением, говорил во всеуслышание, что она не способна произвести ничего путного, а между тем и при нем эта комиссия продолжала свою деятельность. Многие обращались к нему с вопросом, зачем же он ее терпит и не возьмет ли задуманную реформу в свои руки? На это граф Дмитрий Андреевич отвечал довольно пустыми фразами: «Если бы, — говорил он, — я испросил высочайшее повеление закрыть комиссию, то мои противники стали бы утверждать, что не по своей вине она была лишена возможности облагодетельствовать Россию, — напротив, мне хочется, чтобы она договорилась до чертиков и сама обнаружила свою несостоятельность». Конечно, это была только отговорка. В сущности, граф Толстой недоумевал, какое направление дать делу в случае, если бы оно всецело перешло в его руки; тщетно осматривался он по сторонам, никого не находил он, кто мог бы понести это тяжкое бремя. При вступлении его в должность министра внутренних дел Катков носился с мыслью не о таком бессмысленном Соборе, о котором мечтал граф Н.П. Игнатьев, а о Соборе совершенно другого рода — он предлагал именно созвать в

Петербурге если не всех, то по крайней мере большинство губернаторов и при участии их, а также некоторых предводителей дворянства установить план необходимых преобразований. Но, во-первых, от большинства губернаторов едва ли можно было ожидать чего-либо дельного, а во-вторых, кто же стал бы руководить их совещаниями, кто обладал настолько ясными и определенными идеями, чтобы из хаоса мнений выбрать пригодное для цели? Все сводилось, таким образом, к выбору человека, а его-то и не было в виду. Случай, однако, помог графу Толстому. Между сведущими людьми, заседавшими в Кахановской комиссии, находился один из уездных предводителей дворянства А.Д. Пазухин[247], который обратил на себя, между прочим, внимание замечательной статьей, напечатанною в «Русском вестнике». Ему-то и решился граф Толстой вверить составление проектов, долженствовавших, в случае успеха, иметь столь важное значение для России; Пазухин был человек бесспорно умный, но в уме его теория чересчур преобладала, кажется, над практикой; он много размышлял о причинах удручавшего нас зла, у него выработались взгляды вообще вполне справедливые; примером своим он подтвердил, однако, ту несомненную истину, что можно очень верно судить о положении дел и оказаться не совсем искусным зодчим, когда самому приходится воздвигать здание на место признанного негодным. Граф Толстой заранее обольщал себя блестящим успехом. «Теперь, — говорил он мне, — наступает второй период моей деятельности; меня упрекают, быть может, за то, что я ничего не предпринимал до сих пор для водворения законности и порядка в России; нельзя же было одновременно разрешить две задачи — следовало сначала успокоить умы, прекратить брожение, что и исполнено мною, а теперь я постараюсь оставить по себе добрую память другого рода заслугами».

Но это не удалось ему. Болезнь, давно уже сидевшая в нем, вдруг приняла чрезвычайно опасный характер. Он отправился на некоторое время в Крым, но почувствовал там себя так дурно, что нужно было поскорее увезти его оттуда, и дорогой он едва не умер. В Москве обратился он к известному доктору Захарьину[248], оказавшему ему огромную пользу; на пол-

ное выздоровление рассчитывать было, однако, нельзя. Граф Толстой сделался более нелюдим, чем когда-нибудь; не только старался он не пускать к себе никого, но даже поездки в Гатчину были для него тяжким испытанием; когда ему удавалось ускользнуть под каким-нибудь предлогом от доклада государю, он радовался этому, как школьник, получивший позволение не являться в класс; в Государственном совете и в Комитете министров появлялся он лишь в чрезвычайных случаях, и редкие посещения эти приносили мало пользы, так как он почти вовсе не подготовлялся к делам, подлежавшим обсуждению. Каждое воскресенье начальники отдельных частей и директоры департаментов получали расписание докладов, назначенных у него в течение наступавшей недели, — оказывалось, что из шести дней никогда более трех не посвящалось докладам и только в виде чрезвычайно редкого исключения допускались два доклада в один день. И что это были за доклады! Громадное большинство бумаг шло к товарищам министра, а к графу Толстому преподносилось лишь то, что имело преобладающую важность или по каким-нибудь особенным причинам могло занимать его. При этом он слишком явно обнаруживал желание, чтобы не задерживали его долго, чтобы доклады шли как можно скорее, и действительно, редкий доклад длился более получаса. Можно сказать без преувеличения, что мало-помалу граф Толстой все выпустил из своих рук, и оставалось только удивляться, что государь не замечает этого. Быть может, впрочем, он и тяготился таким положением, но не знал, кем заменить Толстого, — это был действительно вопрос громадной важности; а самое главное — государь не терял надежды, что граф Дмитрий Андреевич успеет провести проект реформы местного управления. Это высказывал он не однажды и М.Н. Островскому, и К.П. Победоносцеву, и, вероятно, другим министрам.

На успех упомянутой реформы сильно рассчитывал и М.Н. Катков, безусловно одобрявший все, что было задумано Пазухиным. Конечно, содействие «Московских ведомостей» могло оказаться чрезвычайно важным, но, к сожалению, Михаил Никифорович не мог оказать его в таких размерах, как было бы желательно. До последних дней своей жизни всецело

поглощенный вопросами, с которыми были связаны существенные интересы России, оставался он неутомимым бойцом, готовым принести все в жертву тому, в чем он видел славу и благоденствие Отечества. Время, однако, брало свое. Близкие ему лица давно уже замечали в нем упадок сил. Если и прежде, по коренному свойству своей страстной натуры, он мог в известное время сосредоточиваться только на одном вопросе, отдаваясь ему вполне, то теперь это доходило у него до крайности. Мысль о реформе местного управления сильно занимала его, нередко по целым часам беседовал он о ней с Пазухиным, но не был в состоянии овладеть ею надлежащим образом, ибо тут все зависело не только от основных принципов, но и от подробной их разработки, а внимание Каткова было отвлечено в другую сторону. На первом плане стояла для него иностранная политика в связи с болгарским вопросом. Он выступил в такой роли, которая приобрела ему громадную популярность в русском обществе, сделала имя его ненавистным в Германии и Австрии, заставила Францию не скупиться на выражение ему своих симпатий и возбуждала неизмеримое против него озлобление нашей дипломатии. Надо сказать, что император Александр Александрович относился к Каткову вообще несравненно более сочувственно, чем его отец; в этом можно было убедиться, между прочим, из отметок его на так называемых «царских обозрениях», которые Главное управление по делам печати посылало ему ежедневно; статьи «Московских ведомостей» по разным вопросам вызывали постоянно одобрение государя, но кроме того Катков нередко представлял государю подробные записки о положении дел, и все они были принимаемы в высшей степени благосклонно. Замечательно, между прочим, что одна из них, поданная в декабре 1886 года чрез графа Толстого, была посвящена отношениям России к Германии и Франции, причем Катков очень убедительно настаивал на сближении нашем с последнею из этих держав. Вот что государь написал по этому поводу графу Толстому: «Прошу вас передать Каткову мою благодарность и скажите ему, что я не сомневаюсь в его преданности и в его желании служить интересам отечества, как он их понимает и как может». Но наряду с этим прогля-

дывало иногда и недовольство. Статьи Каткова по вопросам международной политики были проникнуты безграничным презрением к нашему Министерству иностранных дел, он не щадил самых мрачных красок для изображения той печальной роли, на которую была осуждена Россия; конечно, все это должно было производить сильное впечатление на публику — впечатление неблагоприятное не для одного только Гирса[249], ибо кто же не понимал, что жалкий Гирс был не более как исполнитель? И он, и ближайшие его сотрудники говорили во всеуслышание кому угодно, что руководителем нашей внешней политики является исключительно сам государь, и этому можно было верить. Есть немало доказательств этого. Неудивительно поэтому, что наиболее запальчивые статьи «Московских ведомостей» раздражали государя, иногда он высказывал по их поводу свое неудовольствие графу Дмитрию Андреевичу, и раза два или три мне приходилось частным образом сообщать Каткову, чтобы он был осторожнее, но предостережения эти нисколько не действовали на него.

Наконец разразилась буря.

Это было в марте 1887 года. Надо заметить, что за несколько дней пред тем (1 марта) открыт был замысел цареубийства, главными виновниками коего оказались некоторые из студентов С.-Петербургского университета: это событие, хотя государь вообще отличался невозмутимым спокойствием, не могло, конечно, не породить в нем сильное раздражение. Среди этих обстоятельств, когда только что начиналось следствие, графу Дмитрию Андреевичу нужно было бы оставаться в Петербурге, но так как здоровье было для него дороже всего, то он имел бестактность отпроситься в Москву для свидания с Захарьиным. В среду 11 марта получил я от Плеве, исправлявшего его должность, приглашение посетить его по особенно важному делу. Оказалось, что государь возвратил ему царское обозрение, в котором была резюмирована передовая статья № 66 «Московских ведомостей» со своими отметками. Вот что было написано им на первой странице: «В высшей степени неприличная статья. Вообще Катков забывается и играет роль какого-то диктатора, забывая, что внешняя политика зависит от меня и что я отвечаю за последствия, а не г-н

Катков; *приказываю* дать Каткову первое предостережение за эту статью и вообще за все последнее направление, чтобы угомонить его безумие и что всему есть мера». Против того места статьи, где говорилось о несчастном для нас Тройственном союзе (России, Германии и Австрии), государь написал: «Если он это узнал, то только от изменника; требую, чтобы Катков назвал личность, от кого получил все эти сведения». Далее, там, где в статье говорилось о предстоявшем прибытии в Петербург германских военных чинов с их новою амуницией, стояла пометка: «Личная любезность старика-императора ко мне; неприличная и грубая выходка».

Нетрудно было предугадать последствия карательной меры против «Московских ведомостей»: не говоря уже о том, что это было бы великою радостью для ненавистников господствовавшего режима, я не сомневался ни на минуту, что Катков прекратит вовсе свою деятельность. В его положении нельзя было бы и поступить иначе. Я не считал, однако, дело окончательно проигранным. Прежде всего я отправил графу Толстому шифрованную телеграмму, в которой спрашивал его, не найдет ли он возможным подействовать на государя в таком смысле, чтобы вместо публичного порицания Каткову ограничиться келейным ему внушением. Ночью был получен мною ответ такого содержания: «Высочайшее повеление должно быть исполнено немедленно; сегодняшняя статья против Гирса еще несравненно сильнее; следует ее поименовать в предостережении, чтобы не давать разом двух предостережений одного за другим». Ничего другого я и не ожидал; конечно, трудно было графу Толстому, сидя в Москве, обмениваться с государем телеграммами, когда дело требовало личного объяснения; к тому же и не в характере графа Дмитрия Андреевича было выступить в решительную минуту с инициативой, которая могла быть встречена неблагосклонно. Обратился я к нему, так сказать, par acquit conscience*, — обойти его было нельзя, а возлагал я все свои надежды только на Победоносцева. Настойчиво убеждал я его немедленно написать государю, и после некоторых колебаний он согласился; на

* Для очистки совести *(фр.)*.

другой день и сам он должен был ехать в Гатчину, чтобы давать урок цесаревичу, но не знал, удастся ли ему видеться с государем[250]. Между тем собрался совет Главного управления печати, предостережение было заготовлено — все это старался я затянуть до последней возможности в надежде, что дело примет другой оборот; и действительно, поздно вечером Плеве привез мне только что полученную им от государя следующую записку: «По разным соображениям я передумал дать Каткову предостережение, а скажите Феоктистову, чтобы он ехал в Москву, и передайте ему статью с моими замечаниями, чтобы лично прочесть их Каткову и передать ему, что я уверен, что на будущее время Катков воздержится от подобных статей о внешней политике. Если бы он обращался, как прежде, за сведениями в Министерство иностранных дел*, то знал бы, что и как писать(!), и мог бы действительно приносить пользу.Только из уважения к личности Каткова я не хочу карать его гласно, а предпочитаю сделать это таким путем. Можете дать Феоктистову и это мое письмо, чтобы он мог прочесть его Каткову». Таким образом, гроза миновала! Победоносцев, вернувшись из Гатчины, рассказал мне, что нашел государя, уже прочитавшего его письмо, в совершенно спокойном настроении. «Я поступил сгоряча, — выразился государь, — конечно, дать предостережение «Московским ведомостям» по многим причинам неудобно, но они должны изменить тон; слышал я, что Катков собирается в Петербург; как только он приедет, уведомьте меня; я позову его к себе и сам сделаю ему внушение»[251].

По приказанию государя я немедленно отправился в Москву. Странные творились у нас вещи! Конечно, я был чрезвычайно рад, что мне удалось отвести удар, направленный против Каткова, но не поразительное ли противоречие заключалось в том, что сегодня хотели показать его как самого дюжинного газетчика, а завтра не его вызвали в Петербург, а к нему посылали гонцом начальника Главного управле-

---

* Я знаю наверно, что никогда этого не было. Катков держался как можно дальше от Министерства иностранных дел. Очевидно, Гирс уверил государя в противном. — *Е.Ф.*

ния печати, чтобы вести с ним переговоры от высочайшего имени!

В Москве я нашел графа Дмитрия Андреевича в довольно жалком положении: он обнаружил настолько малодушия, что уклонился от свидания с Катковым, когда тот пожелал объясниться с ним; он опасался почему-то скомпрометировать себя, прогневить государя, а теперь был очень доволен благополучным исходом дела, совершившимся помимо его, и просил меня устроить так, чтобы Катков не сердился на него за отказ от свидания; он был крайне встревожен дошедшими до него слухами о неудовольствии в высших петербургских сферах по поводу его отъезда в Москву; вообще, проживая в гостинице «Дрезден» одиноким, не пуская к себе ни души и сам никуда не показываясь, он имел вид человека, который находится не у дел, тогда как стоило ему только пожелать, чтобы во всем принадлежала ему главная роль.

Относительно Каткова я исполнил в точности данное мне поручение. Неудовольствие государя объяснял он тем, что, по имевшимся у него откуда-то сведениям, наш посол при Венском дворе князь Лобанов-Ростовский приехал хлопотать о союзе России с Австрией помимо Германии, что, в сущности, мысль эта была подана венским политикам самим Бисмарком, который с умыслом оставался как бы в стороне, что Гирс очень сочувственно отнесся к этому проекту, что будто государя успели уже обойти, и тогда-то Катков счел долгом выступить с крайне резкою статьей против какого бы то ни было союза с той или другой из соседних держав, при этом не задумался он сообщить и о Тройственном союзе такие сведения, которые еще нигде не были оглашены. Не знаю, в какой мере были основательны предположения Каткова. С величайшею радостью услышал он, что государь намеревается лично переговорить с ним; он ожидал таких благоприятных последствий от этого свидания, что решился на другой же день, одновременно со мной, ехать в Петербург. Необходимо было для доклада государю получить от него письменное заявление о том, как отнесся он к высочайшей воле, и Михаил Никифорович сделал это в следующей форме: «Я готов перенести самый тяжкий удар, лишь бы дело, которому я служу, не пострадало. Для пра-

вительства я не могу быть помехой или затруднением. Чуждый тщеславия и всяких претензий, я исчезну по одному намеку, не подрывая направления, которое и друзья, и противники соединяют с моим именем. Оставаясь при деле, я повинуюсь инстинкту сторожевого пса, который не может быть спокоен, чуя недоброе для дома и для его хозяина. Если бы его величеству угодно было принять мои объяснения, то его царская справедливость — не смею сказать — оправдала бы, но скажу с убеждением, простила бы меня». Пораздумав, Катков нашел выражение «сторожевой пес» неудобным и заменил его другим.

Вернувшись в Петербург, я узнал от Плеве, что слух о предостережении, предназначавшемся Каткову, возбудил в известных кружках неописанный восторг, и тем сильнее было разочарование, когда ожидания не оправдались. При появлении Плеве в Государственном совете его окружили со всех сторон.

— Где же это, — спрашивал Абаза, — предостережение, о котором только и говорили в последнее время? Отчего не спешат огласить его?

— За отсутствием графа Толстого, — отвечал Плеве со своим невозмутимым хладнокровием, — все карательные меры по делам печати требуют моего утверждения, но ничего подобного ко мне не поступало.

— Следовательно, — продолжал Абаза, — предостережение отменено, но взамен этого не получит ли Катков к празднику Пасхи награду?

— И в списке предполагаемых высочайших наград имя Каткова не находится.

— Ну теперь, по крайней мере, ясно, — послышалось со всех сторон, — куда мы идем; у нас начинается полная анархия...

Через несколько минут потребовали Плеве к великому князю Михаилу Николаевичу. Замечательно глупый председатель Государственного совета поведал ему следующее:

— В Берлине, откуда я только что вернулся, господствует крайне тревожное настроение; там не могут понять побуждений, которыми руководится наше правительство, дозволяя какому-нибудь негодному журналисту клеветать на германскую нацию и выставлять в ненавистном свете ее политику. Я не говорил об этом с императором Вильгельмом, это взял

на себя великий князь Владимир Александрович, но у меня была продолжительная беседа с императрицей Августой и князем Бисмарком. Не сомневаюсь, что если так будет продолжаться, то последствия окажутся весьма печальными. В Берлине, конечно, уже знают о предостережении, которое ожидало Каткова; это должно было успокоить там умы — и вдруг ничего...

Плеве рассказал, что предостережение было отменено по приказанию самого государя, что я послан был в Москву с целью подействовать на Каткова и что, конечно, цель эта будет достигнута.

— Полноте, — воскликнул его собеседник, — ничего хорошего я от этого не жду, и будущее представляется мне в самом мрачном свете.

Но особенно удручен был Гирс. Положение его действительно представлялось незавидным*.

Чрез несколько дней после приезда своего в Петербург Катков был вызван в Гатчину. Вернулся он оттуда в совершенном восторге. Этого и следовало ожидать. Государь, как уже замечено выше, способен был выразиться крайне резко на бумаге (il a la plume ferôce, говорил о нем Гирс), но при личном объяснении он конфузился, как бы совестился сказать что-нибудь неприятное человеку, возбудившему его неудовольствие, у него не хватило духа распечь его в глаза. По словам Каткова, государь начал строгими замечаниями, но затем разговор перешел вообще к направлению нашей внешней политики, и Катков имел возможность изложить по ее поводу свои соображения. Все они встречали одобрение императора, который утверждал только, что и Гирс вполне разделяет их и что нет никакого основания раздражать против него общественное мнение постоянными намеками, будто он не сочувствует национальной политике. Катков позволил себе заметить, что Гирс не мо-

* Сведения, полученные от В.К. Плеве о настроениях в Государственном совете после отмены предостережения «Московским ведомостям», Е.М. Феоктистов 17 марта 1887 г. изложил в письме к К.П. Победоносцеву, который немедленно же передал полученный материал царю (К.П. Победоносцев и его корреспонденты. Письма и записки. М. — П., 1923. Т. I. С. 793 — 794). — *Ред.*

жет пользоваться доверием публики уже потому, что носит нерусское имя.

— Я знаю, — сказал государь, — что его считают иностранцем; это очень удручает его, и уже как усердно старается он выставить себя русским! При теперешних обстоятельствах он для меня как нельзя более пригоден. Если бы война когда-нибудь возгорелась, что я считаю великим бедствием, то это будет война продолжительная, беспощадная; было бы безумно отважиться на нее, не приготовившись как нужно; поневоле надо медлить, стараться выиграть время, не надо зарываться, а Гирс такой человек, что не зарвется; осторожность — драгоценное в нем качество.

Государь особенно настаивал на том, чтобы Катков сблизился с Гирсом.

— Вы будете, по крайней мере, — заметил он, — иметь все данные, чтобы судить безошибочно о положении дел; по моему приказанию Гирс ничего не будет утаивать от вас.

Между прочим, зашла речь и о том, кто сообщил Каткову нежелательные для оглашения сведения о Тройственном союзе, государь даже прямо спросил, не получил ли он их от нашего бывшего посла в Берлине Сабурова (родного брата того, который управлял Министерством народного просвещения)[252]. Катков старался уверить, что никто не разоблачал ему тайны, что это было с его стороны делом догадки, что многое объяснилось для него мало-помалу из случайных его разговоров с разными лицами, близкими к дипломатическому миру. Как увидим, ответ этот показался государю — иначе и не могло быть — далеко не удовлетворительным, но при свидании, о котором я рассказываю, он ничем не обнаружил своего неудовольствия.

Дня через два после этого Победоносцев писал мне: «Катков доволен. Не знаю, довольно ли он научен после свидания. Я говорил ему, но при случае и вы скажите: эй, завяжи на память узелок! Чтобы ему fortiter in re, suaviter in modo...* А я в другой раз едва ли решусь вмешиваться в дело».

Подобные увещания были бы совершенно бесполезны уже потому, что Катков вышел из кабинета го-

---

* Твердо в деле, мягко в способе /его осуществления/ *(фр.)*.

сударя еще более уверенным в себе, еще тверже проникнутым мыслью, что он должен идти неуклонно по избранному им пути[253]. Согласно выраженному государем желанию, он сделал визит Гирсу, но тот не мог забыть нанесенных ему оскорблений и визита не отдал. Так они никогда уже и не видались.

Прошло два месяца. Катков уехал в Москву и снова затем вернулся в Петербург, где очень нуждались в его присутствии при обсуждении вопросов, относившихся к новому университетскому уставу. В это время жаль было смотреть на него: он осунулся, страшно похудел, жаловался на невыносимые боли. Я убедил его обратиться к моему доктору Л.Б. Бертенсону, который после первого же с ним свидания сообщил мне, что положение больного очень серьезно, что по всему вероятию у него рак желудка, хотя нельзя, конечно, предсказать, сколько времени продлятся его страдания. Разумеется, мы все, друзья Михаила Никифоровича, ухаживали за ним как могли, старались устранять все, что могло бы его тревожить, хотя при нервном, возбужденном его настроении достигнуть этого было чрезвычайно трудно, а тут, как нарочно, случилось событие, которое в высшей степени потрясло его.

Однажды вечером — это было 17 мая — получил я от графа Толстого приглашение приехать к нему немедленно на дачу. Он показал мне довольно длинную записку государя, с которой, к сожалению, я не снял тогда копии, но содержание коей могу передать здесь вполне верно. Государь излагал вначале шифрованную телеграмму нашего посла в Париже, барона Моренгейма[254] (не надо забывать, что именно в то время происходил во Франции один из беспрерывных министерских кризисов): «Freycinet ecarté. — Floquet fait toute sorte de tentatives pour devenir ministre. — A produit à Grevy lettre de Katkow, dans laquelle Katkow dit que son ministre sera bien vu en Russie et què gouvernement russe ne manquera pas faire dans ce sens déclaration à Laboulay. — Le fait est sûr.— Intermédiaire entre Katkow et Floquet Cyon»*. По поводу этой депе-

* Фрейсинэ отставлен. Флоке прилагает все усилия, чтобы стать министром. Подействовал на Греви письмом Каткова, в котором Катков говорит, что его назначение министром будет хорошо при-

ши государь дал полную волю своему негодованию. В самых резких выражениях отзывался он о дерзости, с какою Катков вмешивается в вопросы о сформировании французского министерства, расточает даже какие-то обещания от имени нашего правительства; государь говорил, что внешнею политикой заведует он сам и «считает бунтовщиком всякого, кто с этой политикой не согласен», возлагал ответственность за подпольную интригу главным образом на Н.П. Игнатьева, которому хотелось бы во что бы то ни стало сесть на место Гирса, упоминал, называя их негодяями, о Богдановиче, Татищеве и Ционе как о клевретах Игнатьева, и в заключение всего приказывал графу Толстому принять «самые энергические меры», чтобы положить конец подобным безобразиям.

Граф Дмитрий Андреевич был очень смущен; он недоумевал, в чем могли бы состоять «энергические меры», которых требовал государь, а вместе с тем ему хотелось послать безотлагательно государю ответ. Я объяснил ему, что торопиться не следует, что прежде всего надо переговорить с Катковым о всей этой истории, которая с первого же взгляда казалась мне совершенно неправдоподобною: с какой стати Катков вздумал бы распинаться за Флоке[255], отъявленного радикала, составившего себе, между прочим, известность наглою выходкой против императора Александра Николаевича при посещении им в 1867 году Парижа? Можно ли было допустить мысль, что Катков решится вступить в сношения с тою или другою из партий, которые во Франции боролись за власть? Все это казалось мне чистейшею нелепостью, направленною против него интригой, в чем я и не ошибся. Когда я сообщил Михаилу Никифоровичу, в чем его обвиняют, он не знал меры своему изумлению. Нечего было ему, конечно, оправдываться в том, чего не имел он и в помыслах[256]. Особенно поразило его то обстоятельство, что клевете подвергся не только он сам, но и граф Игнатьев, так как в последнее время он задался мыслью, что Россию ожидает страшная катастрофа, если Гирс не будет устранен от

нято в России и что русское правительство не замедлит сделать соответствующее заявление Лабулэ. Дело верное. Посредник между Катковым и Флоке — Цион *(фр.)*.

дел, и что граф Николай Павлович — единственный человек, который способен с пользою заменить его. Катков забыл все прошлое, посетил графа, между ними возобновились прежние хорошие отношения, и вдруг надеждам его нанесен был тяжкий удар. По моей просьбе Катков письменно заявил, что никогда не сносился с Флоке, что не только сам не вступал с ним в корреспонденцию, но и никому другому не выражал своих симпатий к этому политическому деятелю. Граф Толстой послал это заявление государю, а при последующем своем докладе счел долгом высказать, что едва ли есть возможность заподозревать правдивость показаний Каткова, когда он подтверждает их своим честным словом. Государь согласился с этим, но прибавил: «А все-таки Катков виноват; зачем сближается он с такими негодными людьми, как Богданович. Неудивительно, если газета его в своих рассуждениях о внешней политике дошла до того, что теперь ей никто не верит» (!)

Но тут еще не конец печальной истории, которую я счел не лишним изложить довольно подробно. Почти одновременно с тем, как сообщил государь графу Толстому содержание телеграммы барона Моренгейма, последовало высочайшее повеление об исключении из службы генерал-майора Богдановича и приказание сенатору Сабурову подать прошение об отставке. Что касается сего последнего, вина его была обозначена самим государем в записке министру юстиции Манасеину: «за сообщение Каткову секретных документов». К счастью, Манасеин успел отстоять Сабурова.

Богданович напоминал собой несколько Политковского[257], процветавшего в царствование императора Николая Павловича: состояния он не имел почти никакого, жалованье получал незначительное, но это нисколько не мешало ему давать роскошные обеды и завтраки, на которых собиралось все, что было видного по служебному и общественному положению в Петербурге, — митрополиты, министры, члены Государственного совета, банкиры и т. д. Никому не было дела до того, на какие деньги устраивались эти лукулловские пиршества, или, вернее сказать, все знали, что эти деньги приобретает он весьма нечистыми средствами, но прикидывались несведущими. Ничего

путного он не делал, а между тем успел связать свое имя с различными предприятиями, — так, например, явился главным двигателем по вопросу о сооружении Сибирской железной дороги; в сущности, ему было решительно все равно, построят эту дорогу или нет, она служила ему только средством обирать сибирских купцов, которые были заинтересованы в ней и которым он сулил золотые горы. С замечательною ловкостью умел он устраивать для себя выгодные командировки, разъезжал по России, выставляя себя влиятельным лицом в Министерстве внутренних дел и в Министерстве путей сообщения, брал где только можно и большие куши, и по мелочам. Человек неглупый, наглый, пронырливый, он проник и в литературный мир, писал статьи и издавал книжки назидательного и патриотического содержания и, конечно, постарался сблизиться с Катковым, потому что Катков представлял собой силу, которою ему было выгодно воспользоваться для своих целей. Уже одно то, что он получил право называться приятелем Каткова, ставило его высоко в мнении тех, кто не знал его близко. Когда Лорис-Меликов сделался первым лицом при государе, Богданович, как и следовало ожидать, превратился в рабского его угодника и прискакал в Москву с целью расположить к нему и Михаила Никифоровича, доказывая, что трудно против рожна прати, что нельзя не преклониться пред неизбежным ходом вещей, что иначе можно навлечь на себя большие беды. Катков прогнал его и долго не видался с ним, но затем, после падения Лорис-Меликова, Богданович опять попал к нему в милость. Это было нетрудно, потому что Катков никогда не мог устоять, как скоро человек, навлекший на себя его гнев, являлся к нему раскаявшимся грешником и начинал вторить всякому его слову, подделываться под все его мнения. При первом же известии о невзгоде, постигшей Богдановича, у меня явилась мысль, не был ли этот проходимец главным виновником пресловутого инцидента с Флоке, так как незадолго пред тем он посетил Париж и, конечно, старался разыграть там видную роль. Самым лучшим средством для этого было выставить себя уполномоченным Каткова. Догадка моя отчасти подтвердилась. Впоследствии сделалось известно, что император германский писал на-

шему государю о происках генерала Богдановича, посещавшего многих влиятельных лиц во Франции и старавшегося будто бы внушить им мысль о необходимости тесного союза Франции и России против Германии. Вообще трудно было разобраться в этой истории; мне кажется даже, что и Катков очень хорошо знал, что Богданович ездил в Париж вовсе не в качестве только любознательного путешественника, но, во всяком случае, Богдановича давно уже следовало выгнать из службы за мошенничество, а отнюдь не за какую-то политическую пропаганду. Это значило оказывать ему слишком много чести.

Надо было видеть Каткова в это время, чтобы составить себе понятие о том, как сильно был он потрясен. Конечно, не правы те, которые считали испытанные им тревоги главною причиной его кончины; смертельный недуг давно уже развивался в нем, но не подлежит сомнению, что эти тревоги ускорили печальный исход. Каткова терзала мысль, что люди, с которыми он вел борьбу, одерживали верх, что дело, которому он отдал свою душу, было сильно скомпрометировано.

С невыразимо грустным чувством расставался я с ним, когда он уезжал в Москву. Для меня не существовало ни малейшего сомнения, что это было наше последнее свидание, и предчувствие мое оправдалось. В Зальцбурге, где я отдыхал после своего карлсбадского леченья, было получено мною известие о кончине Михаила Никифоровича*. Когда затем вернулся я в Петербург, К. П. Победоносцев сообщил мне, подкрепляя свой рассказ документами, чьим орудием служил барон Моренгейм, возбудив такой переполох по поводу мнимых сношений Каткова с Флоке.

Оказалось, что главным действующим лицом в этой печальной истории явился состоявший при нашем посольстве в Париже Катакази[258]. Это был отъявленный негодяй, еще почище Богдановича. В былое время я встречал его иногда у Гамбургера и Жомини, и оба они рассказывали мне невероятные вещи об его плутнях, но, как случается нередко, Катакази не только не пропал, но после разных мытарств свил себе тихое пристанище в Париже с весьма значительным со-

* М. Н. Катков скончался 20 июля 1887 г. — *Ред.*

держанием. И там он не оставался без дела. От Плеве, управлявшего несколько лет сряду Департаментом полиции, слышал я, что он состоял там нашим тайным агентом. Катакази не переставал, однако, жаловаться на судьбу; ему непременно хотелось занять место посланника при каком-либо из европейских дворов, и Гирс попытался устроить его в Бельгии; как и следовало ожидать, бельгийское правительство в вежливой форме отклонило от себя честь обладать таким сокровищем. Эта пощечина нисколько не обескуражила Катакази, который более чем когда-нибудь изыскивал средства прислужиться Гирсу, а какую же более ценную услугу мог он оказать ему, как не восстановить государя против Каткова, одно имя коего приводило Гирса в содрогание? Замечено было, что за несколько дней пред тем, как Моренгейм прислал упомянутую выше шифрованную телеграмму, появилось в парижской газете «Voltaire» известие совершенно одинакового с нею содержания. Обратились с вопросом к редакции этой газеты, которая не сочла нужным скрывать, что заметка о Каткове и Флоке была доставлена ей другом Катакази, греком Сивинисом, нисколько не уступавшим ему относительно позорной репутации. Сивинис сознался, что сам он не имел никакого понятия о том, сочувствует Катков Флоке или нет, что его направил в редакцию «Voltaire» Катакази, а в редакцию «Journal des Débats» с совершенно такою же заметкой являлся старший сын Гирса, секретарь при парижском посольстве, но там наотрез отказались ее напечатать. Таким образом, вся гнусная интрига была выведена наружу. Оказалось еще и нечто другое. Я упомянул выше, что государь в разговоре с графом Толстым поставил в вину Каткову его близкие сношения с Ционом. По-видимому, неудовольствие против сего последнего было вызвано тем, что Катакази же сообщил в Петербург, будто Цион принимал деятельное участие в составлении изданной г-жою Адан (Adam) книги: «La societé de St. Pétersbourg, par le comte Vassily», хотя это с первого же взгляда представлялось совсем неправдоподобным, ибо означенная книга была посвящена исключительно изображению нашей придворной сферы и высшего общества, недоступных для Циона. По этому поводу г-жа Адан письменно заявила, что

Цион вовсе не повинен в том, что ему приписывают, — напротив, Катакази доставлял ей для книги немало материалов[259].

К чести К. П. Победоносцева служит, что он довел о всем этом до сведения государя. По крайней мере, снята была с Каткова, хотя уже по смерти его, всякая тень подозрения, и государю пришлось пожалеть, что он омрачил последние дни его существования. Из письма к графине Толстой обер-гофмейстерины княгини Кочубей видно, что он выразился таким образом в ее присутствии.

Наше Министерство иностранных дел было вообще гнездом неблаговидных и даже совершенно неправдоподобных сплетен. Вот еще один из примеров этого. В марте 1888 года граф Толстой препроводил ко мне следующее письмо, полученное им от Гирса: «Государю императору благоугодно было приказать мне сообщить вам телеграмму, присланную нашим послом в Париже: Boulanger a adressé Tatischeff[260] et général Jgnatiew une lettre les invitant à faire propagande en sa faveur dans la presse russe et me denoncant comme Allemand, vendu à Bismark. Intermediaire avec Boulanger certain Korwin-Krioukowsky*. Прибавлю к тому, что в особенности при настоящих обстоятельствах подобная пропаганда была бы весьма вредна».

Как все это было похоже на правду! Можно иметь самое невыгодное мнение о графе Игнатьеве, но чтобы согласился он послужить орудием генерала Буланже[261], и еще по указанию какого-то проходимца Корвина-Круковского, — что за чепуха! Граф Толстой считал необходимым исполнить желание Гирса, принять меры, но я решительно воспротивился этому: не странно ли было бы увещать редакции наших газет, чтобы они не распинались за Буланже, когда не обнаруживалось ни малейшего признака подобной агитации?

В течение нескольких дней, после того как получено было мной в Зальцбурге известие о кончине Кат-

---

* Буланже обратился с письмом к Татищеву и генералу Игнатьеву, предлагая им вести пропаганду в его пользу в русской печати и объявляя меня немцем, продавшимся Бисмарку. Посредником у Буланже некто Корвин-Круковской *(фр.)*.

кова, я не мог оправиться от этого страшного удара. Надлежало, однако, подумать, в чьи руки перейдут «Московские ведомости». Такие публицисты, как Михаил Никифорович, родятся веками, было бы совершенно бесплодно мечтать о сколько-нибудь достойной замене его, но, по крайней мере, следовало озаботиться, чтобы газета сохранила усвоенное ею направление и чтобы новые руководители могли с твердостью и посильным уменьем служить государственным интересам. Но где же было найти их? Сколько я ни думал, вопрос этот представлялся мне неразрешимою загадкой, пока я не остановился на мысли, что если отошел от нас Катков, то сохранился полный состав его редакции; правда, эти люди никогда не были самостоятельными деятелями, они лишь в точности исполняли то, что требовал от них Михаил Никифорович, вполне усвоили себе его идеи, обладали недюжинными сведениями — зачем же было разорять это гнездо? Я видел немало примеров того, что значило побывать в школе Каткова и Леонтьева: на всех она оставляла неизгладимый отпечаток.

В этом смысле я написал И. Д. Делянову, и он отвечал мне, что вполне разделяет мое мнение. По возвращении моем в Петербург я узнал, что явилось несколько претендентов на арендование «Московских ведомостей», но ни один из них не отвечал непременному условию, которое неоднократно было выражаемо и самим государем в беседах его с министром народного просвещения, а именно, чтобы характер газеты по возможности не изменялся[262*].

Решено было представить вопрос о «Московских ведомостях» на обсуждение комиссии, состав коей был следующий: Д. М. Сольский, И. А. Вышнеградский, М. Н. Островский, граф И. Д. Делянов, К. П. Победоносцев; приглашен был и я как начальник ведомства, которому подчинена печать.

Кем заменить Каткова? Никто не дал на это

---

* История борьбы претендентов на аренду «Московских ведомостей» после смерти М. Н. Каткова изложена в воспоминаниях Е. М. Феоктистова дважды — в конце главы III и в главе VII. Поскольку второй вариант этого рассказа является сокращенным изложением первого, мы его не перепечатываем, а замещаем основным, перенесенным (от абзаца «Решено было...» до «Никому из правительственных лиц...») на с. 267—271 из главы III. — *Ред.*

определенного ответа; только И. А. Вышнеградский заявил, что он считает долгом указать на писателя весьма талантливого, безупречного относительно своего образа мыслей, а именно на Голенищева-Кутузова[263]; но ведь Голенищев пользовался известностью как весьма талантливый поэт, никогда не пускался он в область политики, не написал ни единой статейки, посвященной обсуждению общественных вопросов: на каком же основании можно было бы предположить, что он справится с возложенною на него задачей? Вышнеградский не настаивал.

Тогда я решился высказать, что если Катков скончался, то сохранилась в полном составе его редакция, подобранная им из людей образованных, способных, привыкших к журнальному делу, и которая, конечно, будет идти по следам своего бывшего руководителя; работать с Михаилом Никифоровичем было чрезвычайно трудно; каждая статья, заготовленная тем или другим из его сотрудников, подвергалась тщательному его просмотру; малейший неудачный оттенок в ней сильно раздражал его; словом, это были люди, как нельзя лучше вышколенные им. Почему же не остановить выбор на том или другом из них, но на ком же именно? Разумеется, на Петровском[264], ибо и при Михаиле Никифоровиче он носил звание редактора «Московских ведомостей»; превосходил он своих товарищей тем, что по окончании курса в Московском университете подвергся испытанию на степень магистра, защитил диссертацию «Сенат при Петре Великом», за которую получил премию от Академии наук; затем начал читать лекции на юридическом факультете Московского университета, но так как он был обременен семьей, нуждался в средствах для жизни, то предложил свои услуги Каткову. Петровский был человек весьма уживчивый, спокойный, обладавший большим тактом; следовало безошибочно ожидать, что он сумеет сохранить при себе весь прежний редакционный персонал.

Уже гораздо позднее я узнал, что был кандидат, который считал себя во всех отношениях не ниже Каткова и смотрел на «Московские ведомости» как на законное свое достояние. Говорю о Ционе, который позднее, в 1895 году, подвергся по высочайшему повелению исключению из русского подданства с ли-

шением всех прав и преимуществ, приобретенных им по службе[265].

Цион, еврей по происхождению, отличался и умом, и способностями, и сведениями; он приобрел даже известность в учебном мире своими исследованиями в области физиологии, но отличался мерзейшими качествами... Удалось ему как-то сблизиться с Катковым, который вообще не любил заглядывать в душу человека, если только /тот/ мог принести ему пользу при разрешении занимавших его задач. В половине восьмидесятых годов Михаил Никифорович, отлично понимавший, как дорого обходилась нам мнимая дружба с Германией, напрягал все усилия, чтобы убедить правительство в необходимости свергнуть это далеко не легкое для нас иго, сблизиться с Францией, и, как известно, старания его увенчались успехом. Вот в это время Цион и приобрел безграничное доверие Михаила Никифоровича. Надо заметить, что этот юркий /человек/ был как бы гражданином двух миров: принадлежал России, но столько же и Франции, где проводил значительную часть времени и имел много связей; в Париже принял он на себя роль alter ego Каткова, говорил от его имени, слова Katkow et moi, moi et Katkow не сходили с его уст, он сносился там с государственными людьми, журналистами, блистал в салоне m-me Adam, высказывал при сформировании того или другого министерства свое мнение, что такое-то лицо может войти в его состав, назначение же другого произведет неблагоприятное впечатление в России. Все это подробно описано им самим в его книге «Histoire de l'entente franco-russe». Играя некоторую роль во Франции, он пользовался выгодами и в России. Когда в 1887 году министр финансов Вышнеградский задумал произвести конверсию акций Общества взаимного поземельного кредита при содействии фирмы Ротшильдов, уклонившись от услуг немецких банкиров, рассчитывая для успеха своих операций преимущественно на французских капиталистов, Катков убедил Вышнеградского, что нет человека более способного для этого дела, чем Цион. Вышнеградский последовал этому совету и даже обещал Циону по окончании возложенного на него поручения предоставить ему видное место в своем министерстве; впоследствии он рассказывал кому угодно,

что не знал, как отделаться от этого еврейского джентльмена, бессовестные проделки которого обнаружились слишком явно.

В упомянутой выше своей книге Цион говорит, что Михаил Никифорович предназначал именно его своим преемником по изданию «Московских ведомостей», но почему же никогда не промолвил он ни единого слова об этом в беседе со своими сотрудниками? Цион и не дерзнул предъявить свою кандидатуру; вероятно, он инстинктивно сознавал, что едва ли кто-нибудь сочтет возможным поставить /его/ на место, которое с таким блеском занимал М. Н. Катков. Но в книге своей он разглагольствует о том, какое сильное впечатление было бы произведено в Германии, если бы счастье ему улыбнулось: «La crainte de voir la *Gazette de Moscou* passer des mains de Katkow dans les miennes obsédait depuis longtemps Bismark et, accoutumé de négliger rien en politique, il mettait en jeu, pour écarter cette eventualité toutes les influences dont il disposait à Pétersbourg tant à la cour que dans certains ministères»*. Так сильно опасался Бисмарк Циона, что пытался даже расположить его к себе весьма важными уступками. «Ces efforts, — спрашивает Цион, — seraient ils couronnès de succès? Il n'en savait rien; c'est pourquoi, en prèvision de ma succession possible à la direction de la *Gazette de Moscou* Bismark avait haté de m'assurer (?!) qu'il était resté l'hônnéte courtiér dans la quéstion d'Orient et que, s'il plaisait à la Russie de s'embourber en Bulgarie, il n'y mettrait aucun obstacle...»**

Но этого мало. Цион, не выставлявший своей кандидатуры и знавший очень хорошо, что никто ее не выставит, обозначает, однако, в своей книге условия, на основании которых он, пожалуй, согласился бы приступить к изданию «Московских ведомостей». «Je

---

* Боязнь перехода «Московских ведомостей» из рук Каткова в мои давно беспокоила Бисмарка, и, привыкнув ничем не брезгать в политике, он пустил в ход, чтобы избежать этой возможности, все влияние, которым располагал в Петербурге как при дворе, так и в некоторых министерствах *(фр.)*.

** Увенчаются ли успехом эти усилия? Он об этом ничего не знал; вот почему, учитывая возможный переход руководства «Московскими ведомостями» ко мне, Бисмарк поспешил меня уверить, что он остается честным маклером в восточном вопросе и, если России угодно впутаться в болгарские дела, он не будет ей в этом препятствовать *(фр.)*.

ne pouvais, — говорит он, — continuer avec succès l'oeuvre de Katkow qu'à une seule condition, à savoir que le souverain lui même exprimat hautement (?) le désir de me voir à la tête de la Gazette de Moscou; seul le souverain, en manifestant nettement (?) sa volonté de me voir prendre la succession de Katkow, pouvait me donner, avec l'autorité nécessaire pour assumer une si grande responsabilité morale, l'espoir de pouvoir consacrer à la Russie ce qui me restait de force et d'intelligence»*.

Вероятно, Цион имел в виду втереться во дворец, приблизиться к государю, он уже мечтал о влиянии и почестях, которые его ожидают, как вдруг поразило его известие о том, что «Московские ведомости» отданы в аренду Петровскому**.

Никому из правительственных лиц не пришлось раскаяться в выборе такого рода. К сожалению, я подвергся неистовому гневу семейства Михаила Никифоровича. Тотчас по кончине своего мужа С. П. Каткова возымела мысль, что газета должна оставаться в ее руках, а ответственным редактором будет кто-либо из ее сыновей или зятьев, но притязания такого рода возбуждали только неописанное удивление в людях, которые знали близко всю эту среду, представлявшую собой самое жалкое ничтожество в умственном отношении. Положительно никогда не случалось мне слышать, чтобы Михаил Никифорович вступал в серьезный разговор с кем-либо из своих сыновей и зятьев, — он очень их любил, но нис-

---

* Я мог бы продолжать с успехом дело Каткова только при одном условии — уверенный в том, что государь сам высочайше изъявил желание видеть меня во главе «Московских ведомостей»; только государь, объявив открыто свою волю видеть меня преемником Каткова, мог дать мне вместе с авторитетом, необходимым для того, чтобы взять на себя такую большую нравственную ответственность, надежду на возможность посвятить России остаток моих сил и ума *(фр.)*.

** С тех пор одна неудача за другой преследовали его: Вышнеградский не хотел о нем и слышать; предлагал он свои услуги преемнику Вышнеградского С. Ю. Витте, но получил отказ; тогда этот якобы виновник франко-русского союза начал писать сквернейшие пасквили, в которых предостерегал французов от сношений с теперешним министром финансов, позорил его как только умел, и кончилось это тем, что по высочайшему повелению был он исключен из русского подданства с лишением приобретенных по службе чинов и орденов. Теперь влачит он свое жалкое существование где-то за границей. — *Е. Ф.*

колько не обольщался на их счет, и вдруг они-то намеревались выступить его преемниками*. И жалко и смешно. Хотя, повторяю, несчастная эта затея принадлежала не им, а Софье Петровне, но и они вслед за нею прервали со мною всякие сношения за то, что я не обнаружил ни малейшего желания хлопотать о передаче им «Московских ведомостей»[266].

Несмотря на свои натянутые отношения к Каткову, граф Дмитрий Андреевич был сильно огорчен известием об его кончине. Он не мог не сознавать, как много потерял в нем. Катков сошел в могилу именно в то время, когда проекты местной реформы, выработанные Пазухиным, поступили на рассмотрение Государственного совета, где огромное большинство членов относилось к ним в высшей степени враждебно. Если бы Катков был жив, то поддерживал бы их со всею силой своею таланта и энергии, и аргументация его, как и во многих других случаях, производила бы, конечно, сильное впечатление. Тяжело было лишиться такого союзника, тем более что в описываемое время граф Толстой представлял лишь жалкое подобие того, чем был прежде; самая наружность его страшно изменилась; он поражал всех своею худобой и печатью крайнего изнеможения, лежавшего на его лице; помимо лекарств поддерживал он свое существование только тем, что ежегодно уезжал на пять или шесть месяцев в деревню, где предавался полному отдохновению, а вверенное ему министерство оставалось почти без всякого руководства; правда, ему посылали наиболее важные бумаги, но и это не всегда можно было сделать вследствие приходивших о нем известий; так, например, летом 1888 года случился у него такой припадок, что в течение нескольких дней путался он в речи, неясно произносил слова; разумеется, в такое время нельзя было утруж-

* Если бы тот или другой из них принял звание редактора и издателя в надежде, что постоянные сотрудники, окружавшие Каткова, будут вести дело, то нельзя было рассчитывать на это, ибо они могли неутомимо работать для Михаила Никифоровича, но никак не для его семьи, с которою вовсе не находились в близких отношениях; Софья Петровна Каткова, обольщавшая себя мыслью, что ей принадлежит место в рядах московской аристократии, смотрела на них свысока, считала их не более как рабочею силой — *Е. Ф.*

дать его ничем, что требовало бы умственного напряжения и могло бы сколько-нибудь его потревожить. Немного лучше было и когда граф Дмитрий Андреевич находился в городе. В интересе предпринятого им дела следовало ему вступить в соглашение с теми немногими лицами, на поддержку коих мог он более или менее рассчитывать, сговориться с ними относительно различных подробностей своего проекта; он понимал это, но для исполнения у него не хватало сил. Если не ошибаюсь, только два раза происходили у него совещания, причем обнаружилось, что он не изучил внимательно проект, составленный Пазухиным, знал его лишь в общих чертах, да и то не совсем твердо. Дальнейшие совещания, имевшие главною целью устранить несогласие его с министром юстиции, продолжались у Победоносцева, но граф Дмитрий Андреевич по состоянию своего здоровья не принимал лично участия в них. Представителями его служили Плеве, князь Гагарин и Пазухин. Последний из них не пользовался, конечно, достаточным авторитетом, ибо, хотя всем было известно, что проект исходит главным образом от него, он по своему положению не мог состязаться с министрами как равный с равными. Князь /К. Д./ Гагарин, человек в высшей степени честный и благонамеренный, не отличался, к сожалению, ни способностями, ни умом; все бремя падало, таким образом, на Плеве. Надо заметить, что в разработке проектов не принимал он никакого участия; его держали совершенно в стороне от этого дела, потому что граф Толстой хотя и не сомневался в нем, но задался мыслью, что для Плеве местная администрация, сельский быт, отношения крестьян к помещикам — terra incognita. Все понимали, однако, что графу при усиливавшемся расстройстве его здоровья не вынести прений в Государственном совете; необходим был ему помощник, который в большинстве случаев заменял бы его, и таким помощником мог быть при несомненных его дарованиях только Плеве. Вследствие разговоров с Островским, а также и с Катковым незадолго до его кончины высказал я эту мысль графу Дмитрию Андреевичу, который сначала отнесся к ней не совсем сочувственно. Необходимость заставила, однако, прибегнуть к В. К. Плеве, который, как и следовало ожидать, очень скоро и, по

всем отзывам, с большим успехом овладел вопросом. Из этого, однако, не следует, чтобы он вполне сочувствовал проекту. Благодаря его стараниям многое в этом проекте подверглось изменениям, и не без значительной пользы для дела, ибо даже люди, искренно желавшие оказать поддержку графу Дмитрию Андреевичу, как, например, Островский, приходили в отчаяние от многих измышлений Пазухина.

В течение всего этого времени была у графа могущественная опора, а именно сам государь. Не мог государь не видеть, в каком изнеможении находился граф Толстой, насколько непосильным для него оказывался принятый им на себя труд, как слабо отражалось его влияние на общем управлении министерством, но он упорно держал его на месте в чаянии, что ему удастся водворить порядок в местном управлении. К противникам графа относился он с видимым недоверием. По мнению государя, *они* — государь постоянно употреблял это слово в разговоре с Толстым, подразумевая тут бывших союзников Лорис-Меликова, а также тех членов Государственного совета, которые вышли из среды судебного ведомства, — будут всячески противиться проекту, и ничего другого от *них* ожидать нельзя. Толстой тоже не сомневался в преднамеренной и непримиримой оппозиции. Он задался мыслью, что недоброжелатели его постараются прежде всего затормозить рассмотрение проекта. Однажды он напомнил государю известный анекдот о персиянине, обещавшем шаху выучить слона говорить; когда удивлялись, зачем он связал себя таким нелепым обещанием, персиянин отвечал: «Я не рискую ничем, ибо до намеченного мною продолжительного срока или шах умрет, или я умру, или слон околеет». «Точно такими же соображениями, — заметил Толстой, — руководятся мои враги; для них самое главное выиграть время в надежде, что или я сойду в могилу, или с вашим величеством случится несчастие; ведь вот недавно (разговор происходил вскоре после катастрофы 17 октября 1888 года на Харьковской железной дороге) вы были на волос от погибели».

Что недоброжелательство к графу Толстому было чрезвычайно сильно в Государственном совете, в этом не может быть сомнения. Все ухищрения были

направлены на то, чтобы оторвать от графа немногих его союзников. Особенно казались опасными Островский и Победоносцев. Великий князь Михаил Николаевич, призвав к себе на помощь нескольких лиц, задумал подействовать на них. Он говорил, что, конечно, они не могут не видеть недостатков проекта земских начальников, что если даже этот проект будет утвержден, то граф Толстой, одержимый тяжким недугом, не успеет привести его в исполнение, что, во всяком случае, проект при всех вопиющих своих несовершенствах только усилит неурядицу и что Победоносцев и Островский окажут великую услугу, приняв на себя труд объяснить все это государю. «Сам я ничего не могу сделать, — наивно признался великий князь, — сколько раз убеждал я государя устроить у себя совещание, выслушать обе стороны, но он не хочет и слышать об этом; по его мнению, на совещании стали бы возражать, старались бы не столько разъяснить вопрос, сколько запутать его, и в результате не вышло бы ничего путного». Попытка великого князя не удалась; ни Островский, ни Победоносцев не захотели принять на себя навязываемую им роль — первый из них потому, что хотя и не считал проект безупречным, но был убежден, что с некоторыми более или менее существенными изменениями он принесет пользу; Победоносцев же, хорошо изучивший государя, не сомневался, что никакими доводами нельзя поколебать сложившееся у него мнение; идти наперекор ему значило бы только бесповоротно себя компрометировать[267]. Но Константин Петрович и тут отличился. Он советовал по возможности медлить, затягивать дело, так как граф Толстой не в состоянии выдержать продолжительную борьбу, — кто-то сообщил об этом графу, который, очень понятно, был в высшей степени раздражен подобным образом действий своего мнимого союзника. Не излишне здесь заметить, что за неделю пред этим Победоносцев в разговоре со мной вполне искренно содрогался при мысли о смерти графа Дмитрия Андреевича и утверждал, что решительно нет человека, который был бы в состоянии заменить его.

Как уже сказано выше, в последние два года жизни графа только вопрос о задуманном им преобразовании и занимал его. Ко всему остальному отно-

сился он крайне равнодушно. Даже в тех случаях, когда государь обращался к нему за советом, он, вероятно, лишь по той причине, что ему было не по силам внимательно обсудить дело, не мог направить его в хорошую сторону. Для доказательства приведу пример. По смерти его в сочувственных о нем отзывах некоторых газет поставлена была ему, между прочим, в важную заслугу деятельность правительства по отношению к Прибалтийскому краю. Это было совершенно ошибочно. В сущности, граф Дмитрий Андреевич далеко не сочувствовал всем преобразованиям в этом крае, но приводил их в исполнение единственно из уважения к воле государя. «Что вы хотите, — говорил он мне, — государь наш русопет». Я держусь того мнения, что граф Толстой был отчасти прав. Из окраин, которые все более или менее составляют наше больное место, остановились главным образом на Прибалтийской; поводом к тому послужила ревизия сенатора (впоследствии министра юстиции) Манасеина, который чрезвычайно тщательно и до малейших подробностей выставил на вид все, что было безобразного и ненормального в гражданском строе этого уголка России. Реформы были необходимы, и государь схватился за них с такою горячностью, как будто тут и заключался главный корень зла. Но не в Прибалтийских губерниях надо было искать его. Если бы, на свое несчастие, Россия была вовлечена когда-нибудь в войну со своими западными соседями, — а как утверждать, что этого не случится, — то едва ли Германия поставит себе задачей овладеть этими областями; они не принесут ей никаких выгод в материальном отношении, огромное большинство их враждебно немцам, и вполне онемечить его невозможно; по всему вероятно, целью войны будет оторвать у нас Польшу, с тем чтобы включить ее в состав Австрии, которая превратится, таким образом, в федерацию славянских народностей, а в ожидании этого их и теперь стараются воспитывать в озлобленно враждебных к нам чувствах. Но если бы даже, с Божией помощью, и не сбылись эти мрачные опасения, возможно ли отрицать, что следовало бы прежде всего сосредоточить наши заботы на многострадальном Западном крае; вот где нужно было бы укрепить русские государственные начала так твердо, чтобы не во-

зникало и сомнения относительно грядущих судеб упомянутого края при каких бы то ни было невзгодах, а что было сделано для этого? В шестидесятых годах, после польского мятежа, закипела было работа, а затем и остановилась. При графе Толстом киевским генерал-губернатором был Дрентельн[268], с которым он избегал даже, по возможности, личных сношений, так как никогда не мог забыть, что тот, управляя III отделением Собственной е. и. в. канцелярии, послужил одним из орудий направленной против него интриги по вопросу о классическом образовании. Дрентельн, человек не лишенный ума и способностей, проникнутый добрыми намерениями, до такой степени отяжелел и от лет, и от тучности, что мало занимался делами и очутился под влиянием негодных людей, между которыми приобрел особенно позорную репутацию правитель его канцелярии Меркулов[269]. Судить о том, что происходило в Юго-Западном крае, я мог лишь отчасти, на основании тех дел, которые сосредоточивались в Главном управлении печати. В бумагах, сохранившихся у меня, находятся письма киевского цензора В. Л. Рафальского[270], одного из самых умных и благородных деятелей, — письма, проливающие довольно яркий свет на зловредную деятельность поляков, жидов, украйнофилов — всей саранчи, для борьбы с которою требовались энергические усилия, а правительство довольствовалось лишь кое-какими полумерами. Неудивительно, что положение дел в Юго-Западном крае представлялось столь же малоутешительным, как и в Северо-Западном, где процветал генерал Каханов, тип самой заурядной посредственности[271]. Неизвестно, почему даже печать мало-помалу почти совсем замолкла об этих областях, корреспонденции оттуда становились редкостью, — молчат, стало быть, благоденствуют, стало быть, все обстоит отлично: по-видимому, и граф Дмитрий Андреевич не прочь был утешать себя этою мыслью. Летом 1888 года скоропостижно умер Дрентельн. В то время граф Толстой находился в деревне и получил там письмо от государя, который желал узнать его мнение, не полезнее ли было бы совсем упразднить должность киевского генерал-губернатора. Нимало не задумавшись, граф отвечал, что со своей стороны не встречает никаких к этому препят-

ствий. Трудно понять, что руководило им в этом случае. С одной стороны, он, быть может, убедился из письма, что государю очень хочется не назначать преемника генералу Дрентельну, — лишь в редких случаях решался он выступить резко против ясно выраженной царской воли, — а с другой — вероятно, он сам не отдавал себе отчета в своем образе действий. Ему казалось, что гораздо легче иметь дело с губернаторами, чем с лицами, облеченными широкими полномочиями; но в последнее время своей жизни способен ли он был направлять деятельность начальников губерний? Не только они, но даже генерал-губернаторы вроде Гурко, приезжая изредка в Петербург, едва могли добиться свидания с ним, причем граф Толстой только и думал о том, чтобы выпроводить их поскорее из своего кабинета. Неоднократно приходилось слышать его сетования, что они одолевают его своими посещениями.

Летом 1888 года граф Дмитрий Андреевич писал мне, между прочим, из деревни: «Зная давнишнее доброе ваше ко мне расположение, скажу вам, что Захарьин (лечивший его знаменитый московский доктор) остался мною очень доволен; чувствую только некоторую слабость — последствие зимних занятий, но уверен, что она пройдет к тому времени, когда начнется мой бой в Государственном совете, и думаю, что мои политические противники убедятся, что на этот раз сказка о белом слоне не осуществилась». По возвращении своем в Петербург граф производил, однако, на всех прискорбное впечатление своею усилившейся худобой, мертвенною бледностью лица, но зато он находился в каком-то нервном возбуждении, вследствие чего казался гораздо бодрее, чем прежде; он мог говорить по целым часам без умолку; почерк его, неразборчивый от дрожания руки, вдруг изменился к лучшему. И обстоятельства как нельзя более благоприятствовали ему. Совершенно неожиданно государь выразил непременное желание, чтобы мировые судьи, за исключением городских, были вовсе устранены, а обязанности их распределены между окружными судами, волостными судами и земскими начальниками. Ни граф Толстой, ни Пазухин не решались вначале идти так далеко. Воля, выраженная государем, послужила для всех ясным доказательством,

что, какова бы ни была оппозиция Государственного совета, победа окажется на стороне министра внутренних дел.

В течение всего этого времени граф Дмитрий Андреевич, несмотря на увещания близких к нему лиц, непременно хотел участвовать в обсуждении представленного им проекта. Даже государь советовал ему посылать в Государственный совет вместо себя одного из своих товарищей, но безуспешно. Он всякий раз привозил с собой и Плеве, и князя Гагарина — первому из них приходилось принимать участие в прениях крайне редко, а второй не участвовал в них вовсе. Нельзя сказать, чтобы роль графа в Государственном совете была блестяща, — он нередко путался, противоречил самому себе, не умел отражать возражения противников и все-таки упорствовал в намерении вынести дело на своих плечах. Сколько раз приходилось мне слышать от него: «Надо исполнить долг до конца, чего бы мне это ни стоило». Впрочем, как скоро противники его убедились, что вопрос бесповоротно решен в мнении государя, они тотчас же изменили свой образ действий. О прежней ожесточенной оппозиции не было и помина, и самым надежным союзником графа Толстого явился А. А. Абаза, который всегда находился во враждебных к нему отношениях; в благодарность за это граф выхлопотал ему орден Андрея Первозванного.

Когда пронеслась весть о том, что граф слег в постель от воспаления в легких, никто не сомневался в неизбежности роковой развязки. Менее чем через неделю его не стало...

Я старался изобразить этого государственного человека со всеми его слабостями и замечательными достоинствами. В числе последних не упомянул я еще об одном: граф Дмитрий Андреевич обладал непреодолимой страстью к научным занятиям; это был большой любитель книг, и библиотека его, для которой он построил особое здание в своей деревне Маково, может быть поставлена наряду с лучшими и обширнейшими библиотеками частных лиц; нельзя было доставить ему большего удовольствия, как указать на какое-либо редкое сочинение, — он тотчас же спешил его приобрести. Даже в последние годы своей жизни он пользовался редкими досугами от службы

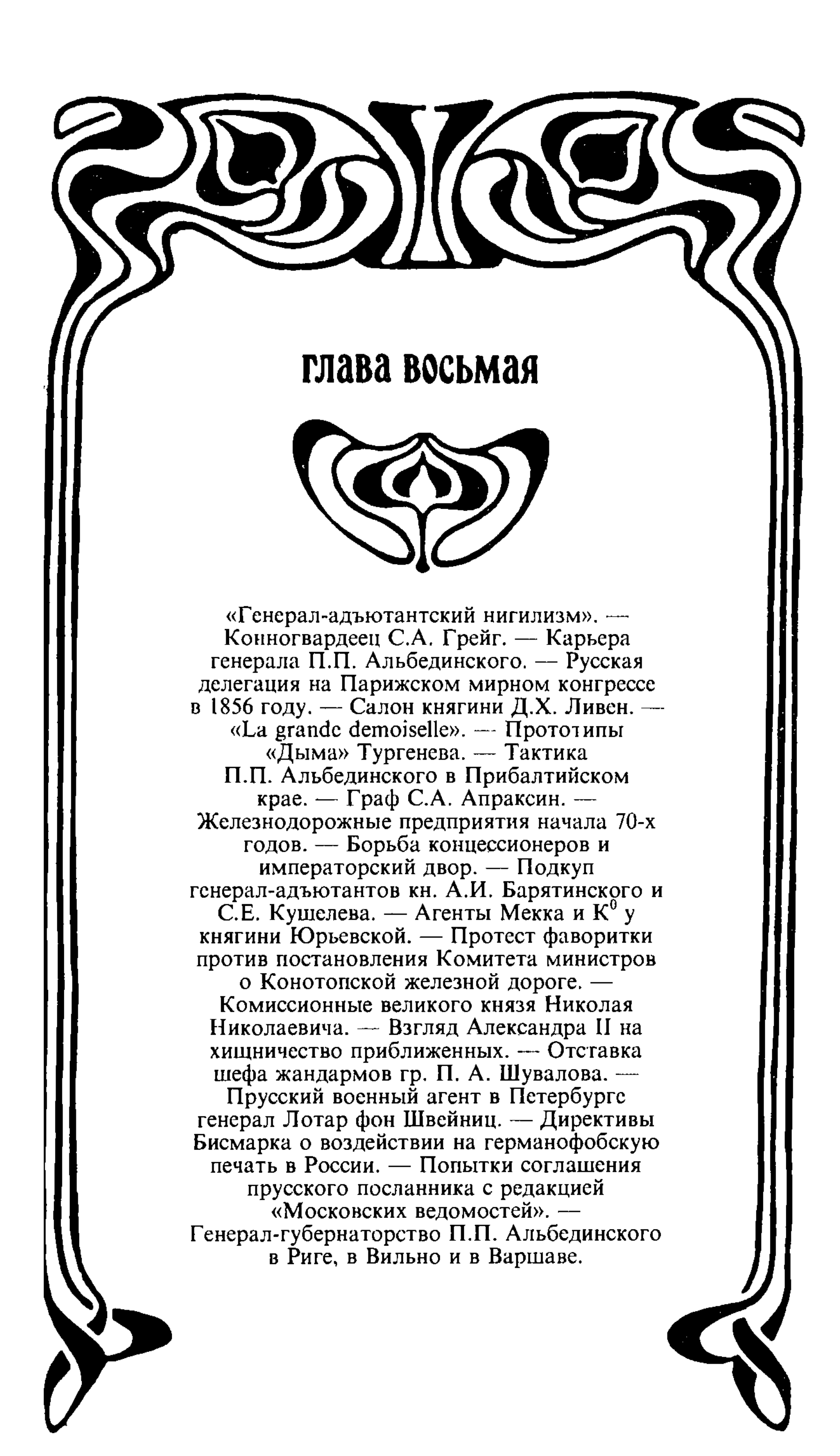
для исследований, относившихся исключительно к царствованию Екатерины II, работая всегда по источникам — и очень добросовестно. Он имел, конечно, полное право занять место во главе Академии наук*, хотя, к сожалению, сделал для нее очень мало. Ему казалось вполне достаточным, что раз в месяц он неуклонно посещал заседания этой Академии, заниматься же серьезно ее делами, устранить так или иначе происходившие в среде ее раздоры, оказывать самостоятельное влияние на выбор ее членов он не мог: единственным посредником между ним и Академией служил К. С. Веселовский[272], оставивший по себе далеко не лестную память в звании непременного секретаря. Вообще тут повторилась та же история, что и со многими другими лицами, которые, пользуясь доступом к графу, злоупотребляли его доверием.

О графе Дмитрии Андреевиче порицатели его говорили, что ум его был недостаточно глубок и способности его необширны. Нельзя, однако, отрицать того очевидного факта, что повсюду, куда направлялась его деятельность — и в области народного просвещения, и в области внутреннего управления Россией, — он оставил по себе глубокий след, а этим могут похвалиться лишь весьма немногие. Во всяком случае, он является видной фигурой в истории нашего времени, которое вообще отличается поразительным безлюдием. Сила обстоятельств двинула Россию на путь всесторонних и громадных преобразований, успех коих зависел именно от того, чтобы нашлись люди, которые сумели бы осуществить их для блага страны, но таких деятелей, которые стояли бы на высоте своей задачи — и в этом следует видеть тяжкое для нас наказание Промысла, — не оказалось почти вовсе. Было бы поэтому в высшей степени несправедливо применять к государственным деятелям царствований Александра II и его преемника идеальные требования. За весьма немногими исключениями (имею здесь в виду преимущественно Н. А. Милютина) граф Дмитрий Андреевич превышал огромное

---

* Президентом Академии наук граф Д. А. Толстой был назначен 25 апреля 1882 г. и впоследствии совмещал эту должность с обязанностями министра внутренних дел и шефа жандармов. — *Ред.*

большинство их. Если скажут, что успехами своими обязан был он не столько самому себе, сколько лицам, которые являлись, скорее, его руководителями, чем помощниками, если с реформами по народному просвещению неразрывно связаны имена Каткова и Леонтьева, а с реформою местного управления (в первой ее стадии) имя Пазухина, то не сами же эти лица навязали свои услуги графу Толстому, а он пришел к ним. Не следует ли признать за графом Дмитрием Андреевичем то достоинство, что, ожидая от них великой пользы для дела, он подчинялся им, даже подавляя свое личное самолюбие?



глава восьмая

«Генерал-адъютантский нигилизм». — Конногвардеец С.А. Грейг. — Карьера генерала П.П. Альбединского. — Русская делегация на Парижском мирном конгрессе в 1856 году. — Салон княгини Д.Х. Ливен. — «La grande demoiselle». — Прототипы «Дыма» Тургенева. — Тактика П.П. Альбединского в Прибалтийском крае. — Граф С.А. Апраксин. — Железнодорожные предприятия начала 70-х годов. — Борьба концессионеров и императорский двор. — Подкуп генерал-адъютантов кн. А.И. Барятинского и С.Е. Кушелева. — Агенты Мекка и К^0 у княгини Юрьевской. — Протест фаворитки против постановления Комитета министров о Конотопской железной дороге. — Комиссионные великого князя Николая Николаевича. — Взгляд Александра II на хищничество приближенных. — Отставка шефа жандармов гр. П. А. Шувалова. — Прусский военный агент в Петербурге генерал Лотар фон Швейниц. — Директивы Бисмарка о воздействии на германофобскую печать в России. — Попытки соглашения прусского посланника с редакцией «Московских ведомостей». — Генерал-губернаторство П.П. Альбединского в Риге, в Вильно и в Варшаве.

Талантливый писатель изобразит, быть может, когда-нибудь тип генерал-адъютанта. Складывается этот тип мало-помалу при императоре Александре Павловиче, получает весьма определенную физиономию при Николае, но окончательного своего развития достигает при его преемнике.

Возьмите обыкновенного смертного: как бы ни было велико его честолюбие, он все-таки сознает, что есть сферы, в которые не подобает ему проникать, которые должны быть для него навсегда закрыты. Другое дело генерал-адъютант. Это — универсальный специалист. Нет такой деятельности, которую он считал бы не по плечу для себя; без малейших колебаний он готов испробовать свои силы на чем угодно — на управлении финансами, иностранною политикой, церковными делами и т.п. Замечательно, что не только он сам убежден в совершенной основательности своих притязаний, но и другие смотрят на них его глазами. Весьма остроумно было это выражено Ф.И. Тютчевым по поводу назначения генерал-адъютанта Грейга товарищем министра финансов. Грейг начал службу, если не ошибаюсь, в конной гвардии, затем перескочил в Морское министерство и стал там распоряжаться, как будто всю жизнь провел на корабле, а затем столь же неожиданно очутился во главе финансового ведомства[273].

«Странное дело, — заметил Тютчев, — конногвардейскому офицеру поручают финансы; публика, конечно, удивлена, но в меру, не особенно сильно; попробуйте же Рейтерна /министра финансов/ сделать

командиром конногвардейского полка, все с ума сойдут, поднимется такой вопль, как будто Россия потрясена в своих основаниях: я полагаю, однако, что управлять финансами Российской империи несколько труднее, чем командовать конногвардейским полком...»[274]

С назначением Грейга примирились очень скоро, потому что он был генерал-адъютант, а сам он был чуть ли не обижен, что дали ему очень мало. Когда впоследствии сделали его генерал-контролером, один из близких к нему людей, бывший директор канцелярии Морского министерства /К. А./ Манн, пришел поздравить его. «С чем же тут поздравлять, любезный друг, — отвечал Грейг с кислою физиономией. — Неужели вы думаете, что мне особенно лестно занять такое место, где нет никакого простора для творчества?..»

Нельзя отрицать, что как Грейг, так и многие другие, находившиеся в том же звании, обладали далеко не дюжинными способностями; обычною для них похвалой в устах людей, находившихся в близких к ним отношениях, было то, что они быстро «схватывают», быстро овладевают всяким вопросом, но, к сожалению, быстро схваченное столь же быстро не оставляло и следа. Недаром Юрий Самарин говорил о «генерал-адъютантском нигилизме». В царствование Александра Николаевича едва ли кто из генерал-адъютантов пользовался таким влиянием, как граф Шувалов; его называли «вице-императором Петром IV»; я его не знал лично, но от людей, на суждение коих можно положиться, приходилось мне постоянно слышать, что это была богато одаренная натура. А между тем что же произвел он в достаточно продолжительный период своего могущества при государе, который слепо доверял ему? Он разыгрывал роль представителя консервативной политики, но, присматриваясь ко всему, что совершалось при нем, трудно понять, в чем состоял его консерватизм. Я знал только одно резкое, поразительное исключение из всех генерал-адъютантов: говорю об И.В. Гурко, но о нем особо, в другом месте*.

Теперь же соберу свои воспоминания об Альбединском, занимавшем последовательно должности генерал-губернатора в Прибалтийском крае, в Северо-

---

* Глава десятая настоящего издания воспоминаний.— *Ред.*

западных губерниях и в Царстве Польском[275]. Случайно сошелся я с ним в 1867 году, и с тех пор близкие наши отношения не прерывались до самой его смерти. Прошлое его известно мне очень мало, да и едва ли представляло оно что-нибудь замечательное; Альбединский, как громадное большинство гвардейских офицеров николаевского времени, провел молодость в кутежах и светских развлечениях; он был очень умен и даже образован, если под образованием понимать умение превосходно говорить по-французски и по-немецки, но ни тогда, ни позднее не читал он ни одной серьезной книги на этих языках; редко приходилось мне встречать мужчину более красивого, с такими изящными манерами — понятно, что он пользовался громадным успехом у женщин. Между прочим, находился он в связи с известною писательницей графиней Ростопчиной[276] и имел от нее сына. Во время Крымской кампании он обратил на себя некоторое внимание под Севастополем, имя его иногда встречалось в бюллетенях, он был даже ранен, но, как кто-то зло выразился о нем, ранен прилично, насколько было ему нужно, как выпадает на долю лишь подобных счастливцев. Одновременно с ним получил рану и его приятель Грейг, и оба они лежали где-то вместе. Скука была страшная; Грейг, со слов которого и передается этот рассказ, достал какие-то старые журналы, разрозненные книжки «Отечественных записок» и от нечего делать перелистывал их; Альбединский же упорно отказывался от такого развлечения. Большею частью валялся он на постели, погруженный в какие-то думы. «Как тебе не надоест подобная праздность?» — спрашивал его Грейг. «Ты ошибаешься, мой милейший, — отвечал он, — если полагаешь, что я ничем не занят». — «Чем же это?» — «А вот видишь ли, лежу и соображаю, какая предстоит мне карьера, в каких могу я очутиться положениях, и заранее придумываю, как мне поступить в том или другом случае; в уме моем возникает целый ряд самых занимательных комбинаций; это полезно и даже необходимо для того, чтобы впоследствии не быть застигнутым врасплох».

По окончании войны Альбединский вместе с графом П.А.Шуваловым и графом Левашовым[277] прикомандирован был к графу Алексею Федоровичу Орлову[278], когда тот отправился на Парижский конгресс. Это

было первое его путешествие за границу, и он помышлял, кажется, только о том, чтобы насладиться всем, что представляла заманчивого парижская жизнь. По крайней мере, из рассказов его об этом времени не видно было, чтобы мысль его останавливалась на чем-нибудь серьезном, чтобы занимал его последний акт завершавшейся кровавой драмы.

Орлов не посвящал, конечно, окружавшую его jeunesse dorée* в тайны дипломатических переговоров. По словам Альбединского, это был человек непомерно ленивый и крайне индифферент во всем; всю обузу дел взвалил он на Бруннова[279], который подготовлял его к каждому заседанию конференций, а сам, если оставался дома, мог по целым часам просиживать на диване с табакеркой в одной руке и с футляром в другой, насвистывая какой-либо марш или болтая с приближенными о городских сплетнях. Однажды к трем упомянутым спутникам Орлова с испугом прибежал француз, его метрдотель. «Mon Dieu, messieurs, quel malheur, le comte est devenu fou...» — «Mais vous êtes fou vous-même, de quoi s'agit-il?»** Француз начал рассказывать, что, вошедши в комнату графа, он увидел его в какой-то странной позе, с канделябрами в руках и выделывающего необыкновенные движения. Альбединский тотчас же бросился посмотреть, что такое происходит: отворяет тихо дверь и действительно видит с одной стороны графа, а с другой — его камердинера, которые, вооружившись канделябрами, наступают друг на друга, как будто для смертного боя. Он не мог воздержаться от восклицания. «А, это ты, — спокойно сказал Орлов. — Ты нас застаешь за нашею обыкновенною игрой». — «Какая же это игра?» — «Посмотри, пожалуй, можно начать снова». При этом Орлов садится на диван, камердинер вертится вокруг него, тыкает его пальцем в бок, в спину; вдруг Орлов вскакивает, оба хватают канделябры и целую четверть часа фехтуют ими с исступлением, затем камердинер бросается на колени и жалобным голосом просит пощады. «Мы вот так с ним часто забавляемся, — говорит Орлов, — для моциона хорошо,

---

* Золотую молодежь *(фр.)*.

** Боже мой, господа, какое несчастье, граф сошел с ума... — Сами вы сошли с ума, что случилось? *(фр.)*.

хорошо, к тому же и развлечение». После этого опять насвистывание любимого марша.

В Париже проживала в то время известная княгиня Ливен, вдова нашего посла в Лондоне[280]. От императрицы Александры Федоровны Альбединский получил для передачи ей письмо. Орлов не терпел эту женщину и к тому же считал нужным оказать ей холодность по политическим соображениям, чтобы не возбудить неудовольствие императора Наполеона, так как в салоне ее собирались влиятельнейшие люди оппозиции, начиная с Гизо, связанного с нею узами самой тесной дружбы. Он объявил, что сам не поедет к ней и что не дозволит посещать ее никому из посольства, а что письмо императрицы Альбединский может отвезти княгине, узнав, когда ее не бывает дома. Все это было крайне неприятно для княгини Ливен: она привыкла служить центром весьма влиятельного кружка, у нее обсуждались важные вопросы, и вдруг теперь, когда шли переговоры о мире, никто из русского посольства и сам Орлов, сделавшийся парижским львом, не хотели и знать ее. Она, привыкшая получать известия из первых рук, поддерживавшая влияние свое преимущественно тем, что, по общему убеждению, находилась в близких сношениях с русским двором, оставлена была в каком-то пренебрежении! Это значило разом утратить роль, так льстившую ее самолюбию и к которой она давно привыкла. Княгиня Ливен старалась по возможности поправить дело. На другой же день после своего визита Альбединский получил от нее записку, в которой она говорила, что если он имел к ней поручение от императрицы, то мог бы исполнить его лично, а не через лакея, что она немало оскорблена таким нарушением приличий. Видя, что дело принимает неприятный оборот, что княгиня Ливен вздумает, пожалуй, жаловаться в Петербург, Альбединский показал ее записку Орлову, который тотчас же поспешил выгородить себя: «Устраивайся с этою сумасбродной бабой как хочешь, — сказал он, — только оставь меня в покое». Альбединский поспешил к княгине Ливен с извинениями, выслушал сначала суровый выговор, но затем гнев был сменен на милость; она, видимо, хотела заманить его к себе, сделать его одним из habi-

tués* своего салона с целью показать, что не все же русское посольство чуждается ее, и таким образом поддержать свой кредит. Достигла она этого как нельзя лучше. Ум, любезность и образованность княгини привлекали к ней много замечательных людей; соотечественники наши, сознавая, как высоко стоит она над ними в умственном отношении, робели пред ней, и — за немногими исключениями — принимала она их с видом высокомерного покровительства. То была женщина крайне избалованная и капризная, и ничего русского незаметно было в ней и следа; она думала по-французски, говорила по-французски и смотрела на Россию с иностранной точки зрения. Ф.И. Тютчев заметил как-то о покойном графе Нессельроде, что Россия со своим народным характером, преданиями, потребностями, интересами представлялась ему какою-то отвлеченною величиной, что он имел о ней понятие лишь как о «пятой великой державе». К этому же разряду людей принадлежала и княгиня Ливен. Альбединский рассказывал мне, что он тщательно улавливал кое-какие крохи от происходивших при нем случайных бесед Орлова с бароном Брунновым, чтобы не являться к ней с совершенно пустыми руками, и она оставалась довольною даже и этим.

Он так умел понравиться в Париже, что по окончании конгресса сам император Наполеон выразил, нельзя ли оставить его там в звании нашего военного агента. В течение немногих лет, проведенных им там, вращался он исключительно в водовороте светской жизни, содержал какую-то известную «камелию», которая стоила ему огромных денег, наделал долгов, а заплатить их было нечем. Поневоле пришлось вернуться в Россию, тем более что разгул никогда не подавлял в нем непомерного честолюбия. Нельзя было составить карьеру, упиваясь веселою, но праздною жизнью при французском дворе, — Альбединский понял это и задумал во что бы то ни стало быстро наверстать потерянное время.

Руководился ли он исключительно расчетом, когда вступил в брак с княжною Долгорукой? Трудно проникнуть в чужую душу, но многое заставляет отвечать на вопрос этот утвердительно. В жене его не бы-

* Завсегдатаев *(фр.)*.

ло ничего, что могло бы прельстить именно такого человека, как он, — не было ни красоты, ни грации, ни блестящего светского ума; она могла остановить на себе его внимание только своим положением при дворе[281]. Общий голос утверждал, что она находилась в связи с императором Александром Николаевичем, и называли ее не иначе, как «la grande demoiselle». Люди, близкие к ней, на добросовестность коих нельзя не положиться, утверждали, что это чистейшая ложь, и я охотно готов им верить. Говорю так потому, что я сам хорошо знал m-me Альбединскую. Это была пуританка в полном смысле слова, женщина чрезвычайно строгая и к другим, и — главное — к самой себе, с каким-то восторженным настроением, способная до крайности увлекаться идеалами, иногда чрезвычайно странными и дикими, но в которые она слепо верила. Дело представляется мне в таком виде, что Александр Николаевич при вступлении своем на престол был проникнут возвышенными, или, вернее, сентиментальными стремлениями, которые так тщательно развивал в нем Жуковский, и находил в княжне Долгорукой самый искренний отзыв своим задушевным помыслам. Это и установило между ними связь, вовсе не имевшую того предосудительного характера, какой приписывали ей придворные сплетни. Доказательством этого служит, между прочим, то, что императрица Мария Александровна, относившаяся далеко не доброжелательно к другой княжне Долгорукой, вступившей потом в брак с государем и получившей титул светлейшей княгини Юрьевской, оставалась до кончины своей в самой тесной дружбе с m-me Альбединской. Я думаю, что переписка их, которую обнародуют когда-нибудь, докажет это как нельзя лучше. Повторяю еще раз, все убеждает меня, что роль царской фаворитки, которую после охлаждения к ней спешат выдать замуж и в память прошлого наделяют всякими мирскими благами ее супруга, была не в характере m-me Альбединской. Да и сам Альбединский был слишком тонкий человек, чтобы жениться на девушке только потому, что в течение непродолжительного времени она пользовалась высочайшим расположением; он должен был знать, что связи такого рода не оставляют прочного следа; на том, что было и прошло, слишком неосторожно сози-

дать обширные планы для будущего; вероятно, Альбединский изощренным чутьем своим угадал, что узы, соединявшие княжну Долгорукую с императором, были другого рода, что она, хоть и не так, как прежде, останется близка ему: только этим и можно объяснить его женитьбу.

Когда появился роман «Дым», то все говорили, что в лице Ирины изображена в нем m-me Альбединская[282]. Тургенев отрицал это, хотя и не совсем; по словам его, он хотел только выставить женщину в положении, каким пользовалась m-me Альбединская при дворе, но никогда не приходило ему в голову писать портрет с живого лица. Действительно, по характеру m-me Альбединская не имела ничего общего с героиней упомянутого романа. Это была странная особа: в молодости она выстрадала очень много от отца и матери, которые, каждый в своем роде, были настоящими извергами[283]; старик Долгорукий отличался набожностью, был очень начитан в Священном Писании, считал себя истинным сыном церкви, что не мешало ему, однако, проявлять на каждом шагу жестокосердие и необычайную алчность к деньгам; никогда не упускал он случая разорять людей, которые имели неосторожность вступить с ним в дела; ничуть не лучше была и жена его, настоящая мегера; поистине изумительные рассказы о подвигах этой достойной четы приходилось мне слышать от родного брата княгини Долгорукой С.А. Апраксина. Одна из дочерей, сделавшаяся впоследствии женой Альбединского, Александра Сергеевна, была особенно нелюбима родителями, и, чтобы избавить ее от домашнего гнета, императрица Мария Александровна взяла ее фрейлиной ко двору. Придворная жизнь, очерченная заколдованным кругом, чуждая всему, что занимает и волнует обыкновенных смертных, резко отразилась на ней; конечно, нужно принять при этом в расчет и ее характер, сложившийся при неблагоприятных обстоятельствах и в котором преобладали крайняя сосредоточенность и наклонность довольствоваться своим внутренним миром. Ум ее был довольно ограниченный, образование поверхностное, и к этому присоединилось еще полнейшее незнание жизни. Она вложила всю душу в своих детей, хотела дать им самое образцовое воспитание и немилосердно мудрила над ними.

Приглашаемы были лучшие учителя, но никто из них не угождал ей; она вознамерилась быть руководительницею не только детей, но и учителей; просыпалась в шесть часов утра и усердно читала педагогические книжки и журналы, старалась изучить каждый из предметов, которые были преподаваемы ее дочерям и сыну, и все это для того, чтобы преподавание согласовалось с собственною ее системой, трудною для уразумения посторонних лиц. Нередко случалось выслушивать от нее изумительные вещи. Помню, что однажды посетил я ее в Царском Селе в то время, когда приходили мрачные известия из Франции, когда после злополучной войны с немцами коммунары жгли Париж и во всей стране распространялась анархия. Разумеется, речь зашла об этом. «Что же, ведь это хорошо?» — заметила m-me Альбединская. «Как хорошо?» — воскликнул я с изумлением. «Конечно, хорошо, потому что ведь коммунары действуют против правительства». Сохрани Бог подумать, чтобы А.С. Альбединская усвоила себе какие-либо революционные понятия, — напротив, прежде всего она была глубоко религиозная женщина, отличалась слепою, не допускавшею и тени каких-либо сомнений верой, даже — если угодно — порядочным изуверством, но очень нравилась ей всякая оппозиция как признак независимости, самостоятельности, и с этой точки зрения даже Парижская коммуна представляла для нее что-то заманчивое. Бедный Петр Павлович невыразимо страдал при подобных странных ее выходках. И если бы это происходило только в тесном кругу приятелей и знакомых — нет, к ужасу его, точно так же отличалась она и во дворце. Он сам мне рассказывал, что как-то государь за завтраком у себя выразился довольно зло о Наполеоне III. «Я тоже не терплю этого человека, — воскликнула m-me Альбединская, — но не за его отношение к нам, а за то, что он низвергнул республиканскую форму правления во Франции...» Все присутствовавшие потупили глаза. Можно было бы привести несколько других анекдотов, из которых видно, что m-me Альбединская, не будучи положительно глупою женщиной, поражала каким-то детским недомыслием и непростительною для ее лет наивностью. Нетрудно было уразуметь отношения ее к мужу: он

боялся ее, ибо она подавляла его своим нравственным превосходством, твердостью своих, хотя зачастую странных, но тем не менее достойных уважения принципов; мне кажется, что если бы она хотя на минуту усомнилась в благородстве своего мужа, то не задумалась бы отвернуться от него. Но великое искусство Петра Павловича заключалось в том, что он устранял всякую возможность подобных сомнений с ее стороны. Он играл на ней, как играет Рубинштейн на фортепиано, и достиг того, что казался в ее глазах образцом добродетели.

В 1866 году открылось для него наконец широкое поприще — он был назначен прибалтийским генерал-губернатором. Тут-то началось наше знакомство; он очень хотел сойтись со мной, и мне нетрудно было разгадать причину этого, так как Альбединский знал о моих близких отношениях к Каткову. Известно, как сильно было возбуждено в значительном большинстве нашего общества национальное чувство, каким громадным влиянием пользовались «Московские ведомости»: именно в это время наряду с польским вопросом возбудили они вопрос о немецких наших окраинах, и аргументы их отличались такою убедительностью, что смущали даже самых закоренелых наших космополитов. Правительство по обыкновению играло двусмысленную роль: государь как будто одобрял программу, выставленную национальною партией, на деле не предпринимал ничего в ее духе и относился с полным доверием к таким людям, как Шувалов, Валуев и Тимашев, которые не хотели об этой программе и слышать. Что касается Альбединского, он был далеко не чужд поползновений к популярности; его не прельщала мысль сделаться послушным орудием Шувалова; тесная дружба соединяла их, в прежние годы они жили даже на одной квартире, но Альбединский при всем своем расположении к нему отнюдь не считал себя ниже его по способностям, да и честолюбия было у него не меньше. Шувалов с самого начала показал, что намеревается руководить им, требовал от него, чтобы он вполне подчинялся его видам, Альбединский же считал оскорбительным для себя стать в подчиненные к нему отношения, идти в его хвосте и надеялся достигнуть всяких почестей, не нуждаясь в оскорбительном покровительстве

своего приятеля. Бедный Петр Павлович, у него не хватало для этого ни характера, ни убеждений! Он тоже умел очень ловко «схватывать», уяснить себе общее положение дел, но действовать в известном направлении с целью сколько-нибудь изменить это положение было нелегко; предстояла продолжительная, упорная борьба, надо было стремиться к цели последовательно, шаг за шагом, не смущаясь препятствиями, но возложить на себя такое бремя мог бы лишь человек с твердыми убеждениями, а не дилетант, главная забота коего состояла в том, чтобы не испортить себе карьеру. Прежде всего, он был придворный, случайно попавший на высокий пост и мечтавший лишь о том, чтобы сменить его еще на более почетный и выгодный. С присущею ему изворотливостью старался он угодить «и нашим и вашим»; составлял докладные записки для государя, в которых настаивал на необходимости разных мер, но, когда эти меры были государем одобряемы, не решался применять их, опасаясь окончательно восстановить против себя своего друга Шувалова; убеждал самих немецких дворян, что им следует сделать уступки, стращал их, что с каждым годом усиливается против них негодование русского общества, что если упустят они благоприятную минуту, то силой у них будет отнято то, от чего они не хотят отказаться добровольно, но увещания такого рода оставались, разумеется, совершенно бесплодными.

Впоследствии, заняв должность начальника Главного управления печати, я мог составить себе понятие об остзейских баронах. От каждого из предводителей дворянства, приезжавших ко мне с жалобами на мнимую распущенность латышской и эстонской печати, приходилось мне слышать одно и то же: «Напрасно правительство полагает, что мы пожертвуем своими правами; можно сломить, уничтожить нас, но нельзя нас заставить измениться», — и говорилось это с такою злобною энергией, что устраняло всякое сомнение в искренности подобных заявлений. Познакомившись чрез меня с М.Н. Катковым, Альбединский рассыпался пред ним мелким бесом, проводил с ним целые часы в беседе, ездил к нему даже для этого в деревню — все это с целью подействовать на него в таком смысле, что вопрос о Прибалтийском крае находится в надежных руках и нет причин разжигать его

в печати. Катков спокойно выслушивал эти соображения, и затем вдруг в «Московских ведомостях» появлялась громовая статья, приводившая в отчаяние Петра Павловича. В сущности, Катков никогда ни на грош не доверял ему.

Много грустного и вместе с тем забавного происходило в это время. Одним из самых ожесточенных поборников онемечения Остзейских губерний был граф Кейзерлинг, попечитель дерптского учебного округа[284]. Граф Д.А. Толстой говорил о нем не иначе как со скрежетом зубов, но не дерзал предпринять ничего для обуздания его ревности. Вдруг в октябре 1869 года сам Кейзерлинг подал в отставку, мотивировав свою просьбу тем, что генерал-губернатор (Альбединский) приглашает всех высших административных лиц являться в табельные дни к молебствию в соборную церковь, а ему, Кейзерлингу, религиозная совесть не дозволяет посещать православные храмы. Можно было опасаться, что Кейзерлинг прибегнул к этой выходке в надежде, что его не отпустят из службы, что влияние его в Дерпте сделается еще сильнее. Но граф Толстой прибегнул к уловке. На ближайшем же докладе он спросил государя: «Ваше величество изволили присутствовать на днях на погребении барона Корфа?» — «Да, я был». — «И в лютеранской церкви?» — «Конечно, ну так что же?» — «А вот граф Кейзерлинг заявляет, что он не в состоянии, не оскорбив своих верований, переступить порог православной церкви даже только для того, чтобы присутствовать на молебне о вашим здоровье», — и прочел просьбу попечителя, а вместе с тем поднес заготовленный приказ об увольнении его от должности. Государь подписал, и граф Толстой считал это великою победой, так как до последней минуты сомневался в успехе. Надлежало приискать нового попечителя; Альбединский доказывал Толстому, что лучше всего иметь на этом месте человека русского происхождения, по возможности с громкою фамилией, и остановил свой выбор на близком своем родственнике (дяде m-me Альбединской) Сергее Александровиче Апраксине[285]. Я знал Апраксина очень близко. Он вполне олицетворял собой тип Тентетникова, выведенный Гоголем во второй части «Мертвых душ». Никогда и ничем не был он занят, бессмысленно тратил деньги,

ежедневно совершал прогулки ко всем петербургским книгопродавцам и покупал у них массу книг, которых не читал: перевернет несколько страниц в одной, другой и поставит их на полку; от изумительной праздности — праздности, которой я не видал ничего подобного, — сделался он в высшей степени капризен; пустяки радовали его, и так же скоро пустяки приводили его в отчаяние. Вот этого-то человека, не имевшего даже отдаленного понятия о том, что такое значит заниматься серьезным делом, вознамерились поставить во главе целого учебного округа. И никто не находил это странным. Граф Толстой выразил полное согласие, а государь сказал: «Excellent choix, charmant garçon que j'aime beaucoup»* — чего же более. Толстой преподавал Апраксину разные наставления, сущность коих заключалась в том, что трудно против рожна прати, опасно раздражать немцев, а Апраксин прервал на несколько дней свое хождение по книжным лавкам и с комическою важностью погружен был в думу о предстоявшей ему карьере. Так как его очень хорошо знали в петербургском обществе, то немецкие бароны тотчас же сообразили, с кем будут иметь дело, и являлись к нему на поклон, немилосердно льстя ему; конечно, лучшего орудия в своих руках они не могли бы и желать. Но Апраксин не был генерал-адъютантом, он состоял лишь в звании флигель-адъютанта, а потому — надо сказать, к его чести — у него проявлялись смутные опасения, что дело пойдет, пожалуй, не совсем ладно. Вследствие того он объявил мне, что поедет в Дерпт только с тем непременным условием, если я приму должность помощника попечителя. Это повергло в совершенное отчаяние Альбединского, который только для того и выбрал Апраксина, чтобы всевластно распоряжаться им по своему усмотрению; отчаиваться ему, впрочем, было нечего, ибо мне и в голову не приходило разыгрывать шутовскую роль, соединившись с Апраксиным, который по приезде в Прибалтийский край сделался бы, конечно, притчей во языцех; надо было совсем лишиться рассудка, чтобы для такого забавного предприятия покинуть все, что привязывало меня к

* Превосходный выбор, очаровательный молодой человек, которого я очень люблю *(фр.)*.

Петербургу. Видя, что на содействие мое рассчитывать нечего, Апраксин примирился с своею участью и уступил настояниям Альбединского, как вдруг замыслы Петра Павловича были ниспровергнуты одним ударом. Шувалов был глубоко оскорблен тем, что дело устроилось помимо его, он не мог простить Альбединскому таких поползновений к самостоятельности и в разговоре с ним откровенно высказал, что не в состоянии, конечно, помешать назначению его родственника, но употребит все усилия, чтобы обнаружить потом пред государем его совершенное ничтожество; я сидел у Апраксина в ту минуту, когда вошел к нему сильно взволнованный Альбединский и заставил его известить графа Толстого о своем отказе.

Просматривая свои заметки, относящиеся к описываемому времени, я нахожу в них кое-что, о чем не излишне упомянуть здесь. Альбединский часто делился со мной сведениями о людях, занимавших видное место или в администрации, или в высшем обществе. Со многими из них связывала его давнишняя приязнь; надо заметить, что он был очень правдив во всем, что не касалось его лично; вот, между прочим, один из его рассказов, по которому можно судить, какая поразительная деморализация господствовала в том кругу, в котором он вращался.

Однажды посетил он меня под свежим впечатлением своей беседы с князем Анатолием Барятинским, братом фельдмаршала[286]. Барятинский жаловался, что не имеет покоя от кредиторов, что долги его простираются до 600 000 руб., что находится он в безвыходном положении. Буду говорить далее словами самого Барятинского, как они тогда же были записаны мной*: «Осталось мне только одно — броситься в какое-нибудь предприятие, и лучше всего по железнодорожному делу. Теперь имеются в виду концессии на две дороги — Севастопольскую и Конотопскую[287]. Конкурентом на одну из них явился Мекк; я соединился с ним[288]. Удалось мне кое-как сколотить около 20 000 руб., и этот капитал вручил я ему — капитал, конечно, не-

* Разговор Альбединского с Барятинским происходил в августе 1871 года. — *Е.Ф.* Ввиду того что разговор этот передан в воспоминаниях Е.М. Феоктистова в сокращенной форме, мы по дневнику мемуариста восстановили (в прямых скобках) наиболее существенное из опущенных мест. — *Ред.*

важный, но он сам говорит, что несравненно дороже для него мое нравственное (!) содействие. Наиболее опасный для нас соперник Ефимович. Ни деловою репутацией, ни деньгами он не может тягаться с Мекком, и трудно было бы понять, почему предпочтение должно быть оказано именно ему. Очевидно, его поддерживают, но кто же? По словам одних, на стороне Ефимовича принц Гессенский[289], а другие называют княжну Долгорукую (впоследствии княгиню Юрьевскую). Нужно было поскорее разъяснить загадку, а для этого представлялось только одно средство — вступить в сношения с самими лицами, о которых я упомянул. С принцем Гессенским очень близок Кушелев (генерал-адъютант)[290], который по уши в долгах, следовательно, церемониться с ним нечего. «Хочешь, — говорю я ему, — заработать деньги? Поезжай к твоему принцу и выведай от него, действительно ли есть у него соглашение с Ефимовичем и сколько ему обещано?» «Менее чем за 10 000 не поеду», — отвечает он. «Бери пять». Поторговались, и за 5 000 отправился. «Ну а уж вы сами, князь, — говорит мне Мекк, — поезжайте в Эмс и постарайтесь разузнать правду относительно Долгорукой; она там; в городе распространены нарочно слухи, будто она уехала в деревню, но это вздор; мне удалось положительно узнать, что государь вытребовал ее к себе за границу».

Пустился я в путь с двумя доверенными лицами Мекка. То были люди, которые, в случае если бы начались переговоры, могли вполне заменить его. Приезжаю в Эмс, начинаю собирать сведения и несколько дней сряду не могу узнать ничего верного. Одни говорят, что Долгорукая действительно здесь, хотя неизвестно, где скрывается; другие же уверяют, что ее в Эмсе нет и не было. Вскоре случилось мне побывать в Бадене. На возвратном оттуда пути встречаю я в вагоне графиню Гендрикову[291] с весьма растрепанными чувствами: шляпа как-то на сторону, глаза горят, словом, тотчас же видно, что проигралась в пух на рулетке. Счастливая мысль блеснула у меня в голове: я вспомнил, что ее belle-soeur, m-me Шебеко (рожденная Гончарова)[292] — неразлучная спутница Долгорукой и что Гендрикова может, следовательно, оказать мне услугу. Подсаживаюсь к ней, начинаю разговор об игре и с первых же слов убеждаюсь, что догадки мои

справедливы — у злополучной бабы очищены все карманы. «Хотите ли, — говорю ей, — на этих же днях зашибить порядочный куш?»[293] Разумеется, у нее глаза налились кровью. «Да как же это?» — «А вот как: я положительно знаю, что княжна Долгорукая в Эмсе и, по всему вероятию, в Эмсе же и ваша belle-soeur; устройте мне через ее посредство свидание с Долгорукой; говорю вам прямо, что мне нужно побеседовать с нею об одном предприятии, в котором я принимаю живейшее участие». — «Ну так позвольте же вам сказать, что вы делаете порядочную глупость, — отвечала моя собеседница. — Долгорукая ничего не смыслит, всеми делами такого рода — к чему таиться — орудует моя belle-soeur; совершенно верно, что обе они теперь хотя не в Эмсе, но в окрестностях Эмса и по некоторым причинам сохраняют incognito; у Долгорукой даже паспорт на имя какой-то рижской гражданки. Если вы не шутите своим предложением, я обещаю завтра же устроить вам свидание с моей belle-soeur».

На другой день действительно получаю записку, в которой Гендрикова уведомляет меня, что rendez-vous с «известною мне особой» назначено в 11 часов вечера. По страшному дождю отправляюсь я к ней; m-me Шебеко еще не было, но она не замедлила явиться. /Много я видал на своем веку отчаянных баб, но такой еще не случалось мне встречать. Она влетела как-то ухарски, сбросила шляпу, едва кивнула головой и прямо обратилась ко мне с вопросом:/ «Что вам угодно от меня?» Я отвечал, что желаю иметь с нею деловой разговор. «В таком случае оставь нас наедине», — сказала она Гендриковой.

Объяснив ей дело и выведав от нее, что близкие к Долгорукой лица действительно поддерживают Ефимовича, я приступил к переговорам.

«Можете ходатайствовать о дороге Севастопольской, — сказала m-me Шебеко, — но Конотопскую мы вам не уступим». /«Вы, верно, шутите, ибо должно же быть вам известно, что Севастопольская линия окончательно обещана Губонину и что тут все наши старания окажутся тщетными». — «Ну уж это ваше дело, только Ефимовичем мы не пожертвуем». — «Мы и не просим жертв, а предлагаем вам вознаграждение». — «Давно бы так сказали», — воскликнула m-me Шебеко. Она быстро вскочила с места, посмотрела, хоро-

шо ли заперта дверь, и затем шепотом спросила меня: «Сколько?» — «Нет, лучше сами назначьте цену»./ — «Полтора миллиона». — «Вы, конечно, шутите, если переговоры начнутся с такой цифры, то не приведут ни к чему. Так как я служу лишь посредником между вами и Мекком, то позвольте мне предварительно посоветоваться с его агентами; завтра я дам вам окончательный ответ».

Более 700 000 мы никак не могли предложить, а m-me Шебеко не хотела об этом и слышать. «Ну так будем бороться», — сказал я. «Пожалуй, только едва ли борьба будет вам по силам». — «Отчего же не попробовать счастья? На нашей стороне много шансов; Бобринский (тогдашний министр путей сообщения) очень настаивает, чтобы Конотопская дорога отдана была Мекку». «Вероятно, — отвечала она, — вы намекаете на письмо, с которым Бобринский обратился недавно к *нему*? Напрасно. *Он* читал нам это письмо; поверьте, что ничего из этого не выйдет»[294].

Через два или три дня после этого сама m-me Шебеко пожелала иметь со мной разговор и, к неописанному моему изумлению, заявила, что друзья ее согласны взять 700 000 руб., но с тем условием, чтобы Мекк немедленно, прежде чем состоится решение о Конотопской дороге, выдал им вексель на всю эту сумму /на имя брата княжны Долгорукой./ Разумеется, агенты Мекка не согласились, тем более что, по их мнению, партия княжны Долгорукой только хотела усыпить нас, а в сущности не думала нарушить свою сделку с Ефимовичем.

Я вернулся в Петербург очень огорченный моею неудачей. Как только вопрос о Конотопской дороге поступил на очередь, тотчас же обнаружилось, что Ефимович опирается на сильную протекцию. Надо было принять меры. При расставании m-me Шебеко сказала мне, что если мы надумаем и сочтем возможным предложить более подходящие условия, то для дальнейших переговоров должны обратиться в Петербурге к ее брату /служащему в кавалергардах/[295]. Так мы и поступили. Совещания происходили у меня на квартире, и всех нас было пятеро: я, Мекк, двое его агентов и Шебеко. Среди какого-то горячего спора — надо заметить, что все мы сидели вокруг стола, — Шебеко передает мне телеграмму и просит прочесть

ее. Вот слово в слово содержание этой телеграммы: «X. nous dit Meck n'est pas un homme sûr; garanties sont nécessaires»*. Прочитав телеграмму, я пожал плечами и хотел возвратить ее Шебеко. «Зачем же, — сказал он. — Почему вы не передаете ее вашему соседу?» — «Потому что считаю это неприличным». — «Напрасно, прошу вас показать ее г. Мекку». Мекк, ознакомившись с нею, вспылил. «Позвольте спросить, — воскликнул он, — кто этот господин, осмеливающийся делать обо мне подобные отзывы?» «Государь», — отвечал Шебеко весьма спокойно.

Ну уж это было слишком! Я заметил Шебеко, что как генерал-адъютант его величества не позволю кому бы то ни было вмешивать его имя в наши дрязги и глубоко возмущен его выходкой. Совещание наше было прервано. Не стану рассказывать дальнейшую историю Конотопской дороги; известно, что, хотя Комитет министров высказался в пользу Мекка, он должен был, по высочайшему повелению, еще раз пересмотреть это дело, приняв при этом в соображение просьбу Ефимовича, и что только вследствие твердости, обнаруженной Комитетом, не удалась интрига долгоруковской партии»[296]. /Казалось бы, дело кончено? Но нет. Мекк получил концессию, и тотчас же явился к нему Шебеко — за деньгами! «Вы с ума сошли, — весьма откровенно сказал ему Мекк. — Ваша партия до последней минуты действовала против меня, и вы еще имеете наглость рассчитывать на вознаграждение. Я не дам ни гроша». — «Но мы погубим вас, мы употребим все меры, чтобы вам повредить». — «Посмотрим еще, как вам это удастся, а теперь беседа наша кончена»./

В рассказе Барятинского нет ничего несбыточного. Он дышит правдивостью, нельзя было бы без всякой нужды придумать столько мельчайших подробностей, да разве наряду с изложенною историей не происходило столько же других в том же роде? Вот, например, что рассказывал П. А. Шувалов (после того как совершилось его падение) многим лицам и, между прочим, Т. И. Филиппову, от которого я это слышал.

Однажды (он еще был тогда шефом жандармов)

---

* X. нам сказал, что Мекк человек ненадежный; гарантии необходимы *(фр.)*.

приезжает к нему великий князь Николай Николаевич старший[297] и говорит: «На днях, любезнейший, будет слушаться в Комитете министров дело о концессии на (уж не помню какую) железную дорогу; нельзя ли тебе направить его так, чтобы концессия досталась такому-то?» «В железнодорожные концессии я не вмешиваюсь, — отвечал граф Шувалов. — Да и что за охота вашему высочеству касаться подобных дел?» — «До сих пор я никогда не занимался ими, но, видишь ли, если Комитет выскажется в пользу моих protégés, то я получу 200 000 руб.; можно ли пренебрегать такою суммой, когда мне хоть в петлю лезть от долгов...» — «Ваше высочество, даете ли себе ясный отчет в том, что вы говорите; ведь безупречная ваша репутация может пострадать». — «Вот вздор какой, если бы еще я сам принимал участие в решении дела, а то ведь мне нужно только походатайствовать, попросить...»

Тем и кончился разговор. Случилось так, что Комитет министров постановил выдать концессию именно тем лицам, за которых ходатайствовал великий князь. Чрез несколько дней после того Шувалов встретил его на какой-то торжественной церемонии во дворце. Николай Николаевич жмет ему руку и с самодовольною улыбкой указывает на свой карман.

Конечно, Николай Николаевич старший непроходимо глуп, но, казалось бы, не надо особенно глубокого ума, чтобы усвоить себе хоть самые элементарные понятия о чести. По глупости он только говорил откровенно о том, что тысячи других делали втихомолку. Какая, однако, безнравственность господствовала в высших сферах, воскликнет читатель. Действительно, безнравственность была поразительная, она сделалась таким обычным явлением, что многие, даже весьма порядочные люди перестали возмущаться ею, относились к ней как к чему-то такому, с чем нужно поневоле мириться. Не раз случалось мне слышать, что сам император Александр Николаевич находил вполне естественным, что люди к нему близкие на его глазах обогащались с помощью разных концессий и т. п. — если не одни, так другие, почему же не те, к кому он благоволил? Шувалов утратил свое положение именно потому, что восстановил против себя друзей княжны Долгорукой, обуздывая, насколько было ему возможно, корыстные их поползновения,

и многие, сожалевшие об его падении, потому что власть перешла после него в руки несравненно худшие, порицали его щепетильность. «Вот каковы наши государственные люди, — слышал я от них. — Человек, приносивший при всех своих громадных недостатках некоторую пользу, восстановляет против себя государя только из-за того, что два или три миллиона перепадут в руки княжны Долгорукой...» И мнение это высказывалось людьми, которые сами пришли бы в ужас от одной мысли поживиться чужим достоянием.

Но несправедливо поступил бы историк, если бы обрушился всею силой своего негодования лишь против того, что происходило в высших слоях общества. Нет, вся Россия представляла одинаковое зрелище. Я записываю только свои воспоминания о лицах и событиях, не берусь изображать состояние общественных нравов, да и к чему? Всякий, кто захочет составить себе понятие о них, найдет достаточно обильный материал. После Крымской войны наступил для России тяжкий кризис, вызванный всею ее прошлою историей. Не знаю, в шутку или серьезно некоторые говорили, что если приступить теперь к очистке каналов в Петербурге, которых никто не очищал со времен императрицы Анны Иоанновны, то всякая мерзость, поднятая со дна, распространила бы миазмы, которые оказались бы гибельнее всякого холерного яда. Часто приходит мне это на ум, когда рассуждаю о нашем современном положении. Реформы Александра Николаевича взбаламутили то, что лежало под спудом, и дали простор гнусным инстинктам, издавна развившимся в обществе.

Возвращаюсь к Альбединскому. С именем его связан один эпизод, не лишенный интереса.

В январе 1869 года он сообщил мне, что есть человек, очень желающий встретиться и побеседовать со мной, а именно прусский военный агент в Петербурге Швейниц[298]. Уклониться от свидания не было причины, хотя я предугадывал, что́ именно влекло его ко мне. Предположения мои оправдались. Швейниц, которого я видел впервые, оказался очень умным и любезным человеком; разговор с ним, не представлявший вначале ничего важного, не замедлил склониться к вопросу о взаимных отношениях России и Пруссии, и собеседник мой начал доказывать, как было бы печально,

если бы была нарушена тесная связь, соединявшая эти государства в течение столь долгого времени. Если бы это случилось когда-нибудь, то, по словам Швейница, вина пала бы исключительно на нашу печать, которая будто бы избрала себе задачей восстановлять общественное мнение в России против немцев. Я отвечал, что подобные нарекания несправедливы, ибо образ действий нашей печати условливался самим ходом событий; Пруссия, разгромив Австрию и образовав Северогерманский союз, не довершила еще своего дела; очевидно, она будет стремиться привлечь к союзу и южногерманские государства; на пути этом она неминуемо встретится с Францией — дело не обойдется без новой борьбы; удивительно ли, что ввиду предстоящих громадных усложнений все сильнее созревает в русском обществе убеждение, что правительство должно позаботиться об ограждении законных интересов России и, не увлекаясь безотчетными симпатиями или антипатиями, принять в руководство для своей политики только эти интересы. Возражая мне, Швейниц развивал тему, которую в то время усердно разрабатывали все официозные органы Бисмарка; он старался уверить, будто Пруссия и не помышляет о включении в союз южногерманских государств, так как католическое народонаселение их было бы элементом не силы, а разложения для воздвигнутого Бисмарком здания, будто бы все помыслы его обращены единственно на то, чтобы упрочить сделанные уже приобретения, а не гоняться за новыми. Затем беседа коснулась другого больного места — нашей Прибалтийской окраины. «Неужели вы опасаетесь, — спрашивал он, — что у нас может зародиться мысль о захвате Лифляндии, Эстляндии и Курляндии? Ведь это было бы сумасшествием. Еще не далее как на днях получил я от графа Бисмарка письмо, в котором он говорит: Que se serait une impossibilité non seulement géographique, mais ethnographique*. К чему же при обсуждении существующих ныне порядков в ваших Остзейских губерниях русская печать обнаруживает озлобление вообще против немцев и приписывает Германии самые коварные замы-

* Это было бы невозможно не только географически, но и этнографически *(фр.)*.

слы?» Нетрудно было отвечать на этот вопрос: происходило это оттого, что всякие, даже самые незначительные меры нашего правительства, направленные против искусственной германизации Прибалтийского края, вызывали вопли негодования в Германии, как будто это был какой-то оскорбительный для нее вызов. «Позвольте, — заметил я, — обратиться к вам с вопросом: скажите по совести, одобряете ли вы то, что предпринимается у нас для утверждения русского господства в Остзейском крае?» Швейниц задумался на минуту: «Нет, по совести, не одобряю». — «Ну так как же хотите вы, чтобы при таком различии во взглядах сгладился антагонизм между вашим и нашим обществом?»

Академические словопрения эти служили лишь введением к делу. У Швейница была определенная цель, и он не замедлил ее высказать. По словам его, можно было бы ожидать великой пользы, если бы Катков согласился помещать в «Московских ведомостях» корреспонденции из Берлина — корреспонденции, которые имели бы целью рассеивать опасения русского общества относительно Германии и разъяснять, до какой степени было бы выгодно для России по всем важнейшим вопросам действовать с Германией в тесном согласии. Швейниц намекал довольно ясно, почти прямо, что мысль эта принадлежит самому Бисмарку, и просил меня переговорить с Катковым, зная о моих близких к нему отношениях. Я тотчас же заметил ему, что никаким образом не следует рассчитывать на успех. С точки зрения самого германского правительства, каким авторитетом могли бы пользоваться эти анонимные корреспонденции, кто поверил бы, что в них выражаются истинные намерения Берлинского кабинета? Вместо того чтобы ослабить полемику, они только усилили бы ее. И к тому же, разве граф Бисмарк не имеет в своем распоряжении множество официозных органов, которые по его внушениям будут говорить все, что угодно; если эти органы прониклись надлежащим беспристрастием относительно России, если бы обсуждали они наши дела в духе вполне доброжелательном, то и русская печать изменила бы, конечно, свой тон. «У нас сделать это неловко, — отвечал Швейниц. — Il faut ménager les susceptibilités du public allemand». — «Mais pourquoi croyez-vous donc que le public russe est moins sus-

ceptible?»* Я обещал, впрочем, сообщить М. Н. Каткову содержание вышеизложенного разговора.

Через два или три дня после того, еще прежде чем удалось мне исполнить это обещание, получил я от Швейница записку с приглашением приехать к нему вечером. Я застал его вдвоем с каким-то вовсе не известным мне господином: то был принц Рейс, германский посол при нашем дворе. Не прошло и четверти часа, как разговор обратился к тому же предмету, о котором так бесплодно толковали мы со Швейницом. Рейс с необычайным жаром доказывал, какую огромную пользу могли бы принести корреспонденции, весьма почтительно отзывался о патриотизме Каткова и говорил, что во имя этого патриотизма Катков обязан не увлекаться страстями и не сеять раздора между двумя нациями, интересы коих будто бы совершенно тождественны. Мне оставалось только повторить, что Катков не изменит, конечно, свои взгляды на основании голословных уверений, как бы ни были они заманчивы. Если бы даже и согласился он печатать корреспонденции из Берлина, то одновременно печатал бы передовые статьи, идущие в совершенный разрез с ними; какая же выгода для графа Бисмарка от того, что раз или два в месяц появились бы в «Московских ведомостях» корреспонденции, не имеющие ничего общего с направлением газеты? «Ну хоть раз или два в месяц, — повторял принц Рейс. — Мы и этим будем довольны».

Немало удивило меня, когда вскоре после этого свидания Рейс, с которым я как будто случайно встретился у Швейница, сделал мне визит. Если этот господин, принадлежавший чуть ли не к принцам крови, решился снизойти до меня, простого смертного, то уж одно это показывает, как горячо принимал он к сердцу дело, порученное ему Бисмарком. Ничто, однако, не помогло. Катков не только отвергнул сделанные ему предложения, но упомянул о них в «Московских ведомостях» в таком смысле, что прусское правительство пыталось весьма неблаговидным образом склонить его на свою сторону[299]. Рейс и Швейниц были сильно раздражены этим и утверждали, что и не помышляли о подкупе. Пожалуй, это было и справед-

---

* Нужно считаться с чувствительностью немецкого общества. — Но почему же думаете вы, что русское общество менее чувствительно? *(фр.)*

ливо; никогда не хватало у них духа высказать что-либо подобное, но Альбединский же говорил мне: «Поверьте, из беседы с этим господином я мог убедиться, что нет такой жертвы, пред которою они остановились бы для достижения своей цели». Впрочем, Альбединский порицал поступок Каткова: по словам его, было в высшей степени «неделикатно» оглашать то, что служило предметом совершенно интимных бесед.

Несколько лет сряду продолжал Альбединский свою генерал-губернаторскую деятельность, извиваясь, как змей, между противоположными направлениями и требованиями. Это были бесконечные жалобы на государя, который плохо поддерживает его, на Шувалова, который подставляет ему ногу на каждом шагу, на немцев, относившихся с презрительным равнодушием к его советам, и на нашу печать, будто бы закусившую удила. Он понял наконец, что эта двусмысленная роль только компрометирует его, и сам добровольно покинул свой пост[300]. Но уже тогда многие говорили, «qu'il n'a reculé que pour mieux sauter»*, и это вполне верно. С замечательным искусством разыгрывал он роль обиженного человека, чуть ли не пострадавшего за свои убеждения, поселился в Царском Селе на улице, примыкающей к станции железной дороги, так что государь по пути в Петербург или возвращаясь оттуда непременно должен был проезжать мимо его дома; разумеется, государь не мог не заезжать — и даже довольно часто — к m-me Альбединской, причем обращал, быть может, внимание на более чем скромную обстановку ее жилища. Сам Петр Павлович как-то похудел, осунулся, и на лице его изображалось страдание. Но он не терял надежды. «Государю совестно, — говорил он мне. — При той близости, которая существовала между нами, ему неловко оставлять меня в загоне». Но, быть может, при всем добром желании государь не был в состоянии удовлетворить Альбединского, потому что не открывалось подходящего для него места. Наконец летом 1874 года назначен он был виленским генерал-губернатором.

Чрез несколько времени после того вернулся я из деревни в Петербург и на другой же день посетил его. Он рассказал мне, при каких обстоятельствах совершилось его назначение. Шувалов давно уже заметил, что под влиянием интриг кружка княжны Долгорукой

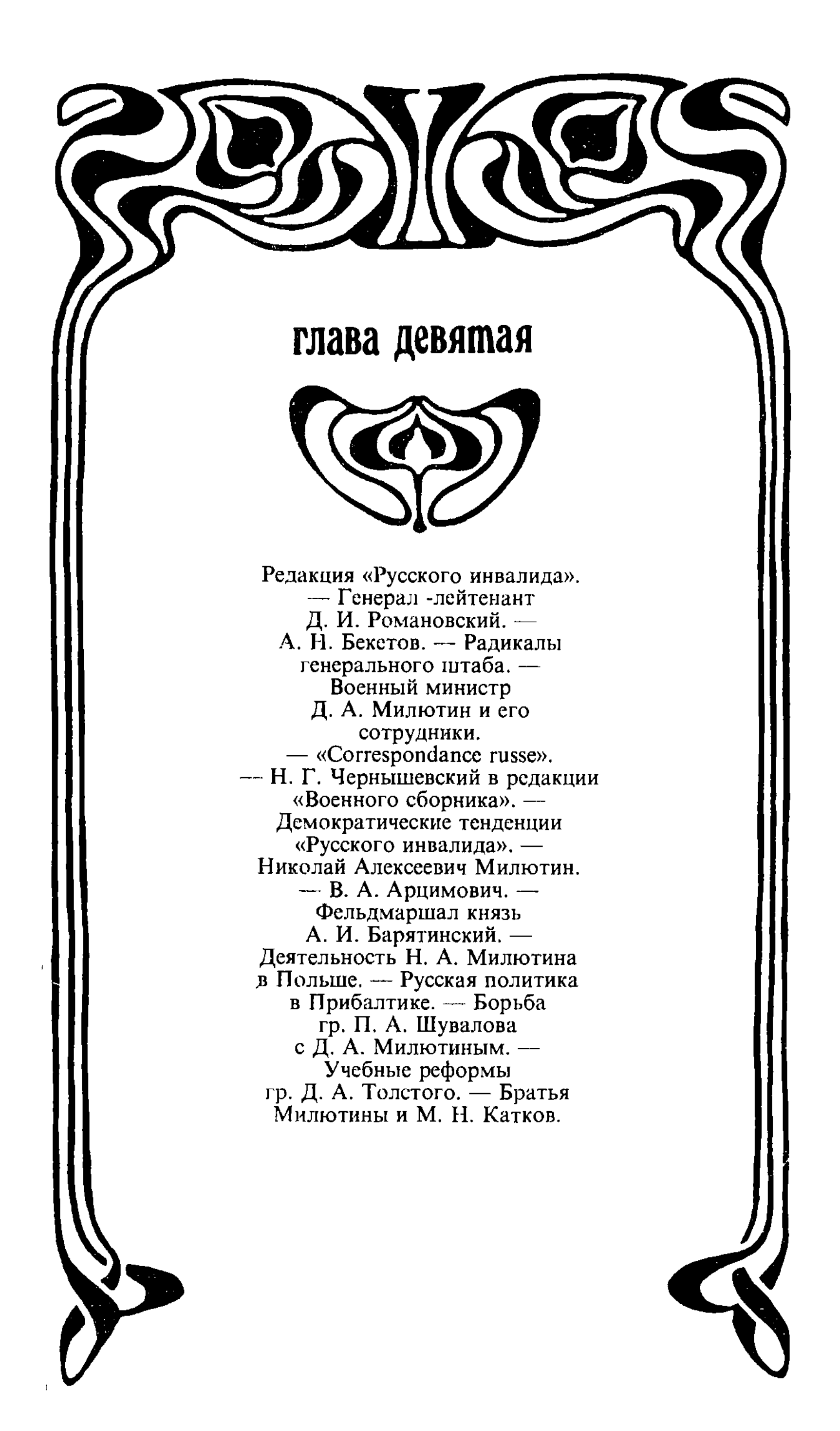
---

* Что он отступил, чтобы лучше прыгнуть *(фр.)*.

положение его поколебалось, и государь с каждым днем становится к нему холоднее. «Ты понимаешь, любезный друг, — говорил он Альбединскому, — что меня вовсе не обольщала мысль остаться ни при чем, а потому я сам, ссылаясь на крайнюю усталость, выразил желание занять какой-нибудь видный дипломатический пост». Государь промолчал, но чрез месяц или два он вдруг сказал Шувалову: «Желание твое можно осуществить, открывается вакансия в Лондоне». Когда зашла речь о назначении ему преемника, Шувалов указал на Альбединского, и это вовсе не представляется странным с его стороны: борьба, происходившая между ними, условливалась не принципами, не какими-либо существенными интересами; по-видимому, враждуя, они все-таки оставались друзьями, и теперь, расставшись с деятельностью, которая привязывала его ко двору, Шувалов ничего не имел против того, чтобы давнишний его приятель занял его место. «Нет, — сказал государь. — Я имею для него в виду другое, хочу дать ему большой военный округ». Выбор его уже остановился на Потапове, но так как негодяй Потапов превосходно устроил дела Северо-Западного края, исказив все мероприятия Муравьева, и выгнал оттуда всех его сотрудников, то государь считал возможным вовсе отменить генерал-губернаторскую власть в упомянутом крае. Таким образом, Альбединский отправился бы туда только для командования войсками, но это отнюдь не пленяло его. «Это значило бы, — говорил он, — что меня из попов разжаловали в диаконы, — ведь я уже в Остзейских губерниях был и генерал-губернатором, и начальником войск». Дело уладилось по его желанию. Крайне тягостное впечатление произвела на меня беседа с ним. «Я человек надорванный, — говорил он. — У меня были стремления принести пользу, я верил в возможность этого, когда управлял Прибалтийским краем, и достиг лишь того, что был вынужден удалиться от дел. Уроки такого рода не проходят бесследно. Сознаюсь, что принимаю с радостью мое назначение в Вильну главным образом потому, *что с этим местом связано большое содержание:* при моих ограниченных средствах я не могу, ради своего семейства, пренебрегать этим. Но теперь я уж не буду бороться с течениями, господствующими в Петербурге, сочту долгом исполнять лишь то, что от меня потребуют, а требования эти, кажется, до-

статочно ясны. Государь сказал мне: «Старайся более обращать внимания на войско: что касается управления краем, то тут задача твоя значительно упрощена; слава Богу, Потапов привел дела в такой образцовый порядок, что нужно только поддерживать сделанное им». Чего же более? Путь мой предначертан».

Действительно, программа была весьма нетрудная, и Петр Павлович вовсе не намеревался усложнять ее. По приезде его в Северо-Западный край все как будто замерло там, только изредка появлялись корреспонденции, свидетельствовавшие, что не все идет ладно в этом многострадальном крае, что администрацию нашу охватила какая-то спячка. С этого времени близкие отношения мои с Альбединским если не порвались совсем, то значительно охладели. В каждый свой приезд в Петербург он виделся со мной, но уже не так часто, как прежде, и, видимо, избегал разговоров о своей деятельности. Впрочем, помимо его воли во всех речах его проглядывали симпатии к полякам, правда, он с напускным жаром толковал о необходимости вести с ними борьбу, отстаивать русские интересы, но вместе с тем внешний их лоск, изящество манер, все то, что считал он цивилизацией, производило на него неотразимое влияние; особенно пленяло его католическое духовенство, с которым впервые сошелся он лицом к лицу. Конечно, Альбединский не был полонофилом в настоящем смысле слова, но относительно поляков оказался он столь же беспомощным, как и относительно прибалтийских баронов. Они, кажется, очень ловко подметили слабую его сторону — непомерное тщеславие — и как нельзя лучше пользовались ею для своих целей. Из Вильно перемещен он был в Варшаву, но там дело пошло еще хуже. О деятельности его на этом новом месте я не считаю возможным говорить, потому что она известна мне лишь по отрывочным сведениям.



глава девятая

Редакция «Русского инвалида».
— Генерал -лейтенант
Д. И. Романовский. —
А. Н. Бекетов. — Радикалы
генерального штаба. —
Военный министр
Д. А. Милютин и его
сотрудники.
— «Correspondance russe».
— Н. Г. Чернышевский в редакции
«Военного сборника». —
Демократические тенденции
«Русского инвалида». —
Николай Алексеевич Милютин.
— В. А. Арцимович. —
Фельдмаршал князь
А. И. Барятинский. —
Деятельность Н. А. Милютина
в Польше. — Русская политика
в Прибалтике. — Борьба
гр. П. А. Шувалова
с Д. А. Милютиным. —
Учебные реформы
гр. Д. А. Толстого. — Братья
Милютины и М. Н. Катков.

Кто не знавал в Петербурге Д. И. Романовского? Это был человек добрый, но крайне ограниченного ума и способностей, что не мешало ему, однако, устраивать свои делишки так, как не всегда удается и умнику[301]. На Кавказе играл он некоторую роль при князе Барятинском, затем сблизился с Милютиным, дослужился до чина генерал-лейтенанта, разбил даже каких-то туркменов, украсился орденом Георгия 3-й степени, приискал себе жену с значительным состоянием — вообще благодушествовал до того времени, когда паралич положил конец его дальнейшим успехам.

Я переселился на службу в Петербург в мае 1862 года и терпел там вначале большую нужду: жена была больна, на руках был двухлетний ребенок, а жалованья получал я всего 2 400 руб.

В одно прекрасное утро совершенно неожиданно явился ко мне на очень жалкую мою дачу в Павловске Романовский; своим бабьим, мягким голосом начал он объяснять, что полковник Писаревский[302], у которого находился в аренде «Русский инвалид», устранен от этой газеты, что редактором ее назначен он, Романовский, что он намерен совершенно преобразовать ее и предлагает мне взять в свое заведование иностранный отдел. Условия были в тогдашнем моем положении очень для меня выгодны — 200 руб. ежемесячного жалованья и отдельная плата за статьи, которые не будут иметь отношения к внешней поли-

тике. Романовский уверял меня, будто военный министр предоставляет ему полную свободу.

«Я не намерен, — говорил он, стараясь придать хитрое выражение своему глупому лицу, — держаться никакой определенной программы, а постараюсь привлечь к газете приверженцев всех партий без различия; быть может, удастся даже завести в редакции нигилиста...»

Впоследствии сделалось для меня вполне ясным, что толковать о чем бы то ни было с этой тупицей — сущее мучение, но с первого раза Романовский меня ошеломил. Я недоумевал, что́ отвечать ему. К счастию, он сам вывел меня из затруднения, сказав, что военный министр Д. А. Милютин желает переговорить со мной.

Отсюда мое знакомство с Д. А. Милютиным. Прежде того я встретил его однажды в Москве на вечере у А. Д. Галахова, но, конечно, очень хорошо знал его по репутации. Дмитрий Алексеевич обратил на себя внимание образованной публики превосходным своим сочинением о походе Суворова в Италию; Грановский и Кудрявцев были в восторге от этой книги; они, конечно, судили о ней только по политическому ее содержанию, но главнейшее ее достоинство заключалось не в этом, а в военном отношении, и знатоки дела превозносили ее до небес. Между прочим, когда я находился в 1852 году в Крыму, П. П. Ковалевский (брат весьма почтенного писателя Егора Петровича и министра народного просвещения Евграфа Петровича)[303], человек очень умный, командовавший там — не помню чем — бригадой или полком, говорил мне: «С Милютиным я вовсе не знаком и даже никогда его не видал; я гораздо старше его по службе, но уверяю вас, что счел бы за счастие очутиться под его начальством; так высоко я его ценю по его книге; быть может, мы доживем до того, что он будет военным министром; вот его настоящее место». П. П. Ковалевский не дожил до этого; он погиб при штурме Карса.

На другой же день после разговора с Романовским произошло мое свидание с Милютиным. С первого же раза он произвел на меня весьма приятное впечатление. Я нашел в нем человека весьма любезного, приветливого, в котором трудно было бы под-

метить хотя малейший признак спеси; беседовал он со мной откровенно о разных вопросах, занимавших тогда наше общество. Он как нельзя лучше уяснил мне мое положение в «Русском инвалиде».

«Я убедился из нашей беседы, — говорил он, — что на многое мы смотрим одинаково; следовательно, приняв участие в газете, вы не будете насиловать свой образ мыслей. Конечно, встретятся вопросы, по которым мы можем не сойтись, но в таком случае мы будем по возможности обходить их. Даю вам слово, что в «Инвалиде» не появится ни одного слова, против которого протестовала бы ваша совесть; взамен того прошу и вас не касаться предметов, которые нельзя обсуждать в официальном издании. И помимо этого найдется, конечно, очень многое, о чем и можно и должно говорить».

Помню, что при этом первом нашем свидании зашла речь о конституционных стремлениях, которые очень робко были тогда заявляемы в нашей печати. «Я, конечно, не разделяю этих стремлений, — сказал Милютин, — не потому, что вообще был противником конституции — кто же из просвещенных людей станет порицать эту форму правления, — а потому, что если будет у нас когда-нибудь конституция, то это должна быть конституция настоящая, т. е. вполне демократическая. По моему убеждению давать политические права одному сословию и не давать их другим было бы и несправедливо, и вредно».

Таким образом, сделался я сотрудником «Русского инвалида». Все, что касалось внешней политики, поручено было мне, а внутреннею политикой заведовал А.Н. Бекетов, впоследствии профессор и ректор С.-Петербургского университета[304].

Это был старый мой знакомый. Мы встречались с ним в Москве преимущественно на субботних вечерах у М. Н. Каткова. На этих вечерах где-нибудь в углу гостиной или залы сидели обыкновенно молодой человек и молодая женщина, которые были заняты исключительно собой, для которых не существовало остальное общество, как будто они рады были тому, что случайно встретились, и спешили наговориться. «Однако этот господин, — заметил кто-то, — видимо, ухаживает за своей дамой». «Помилуйте, — отвечали ему, — да ведь это Бекетов и его жена». Вероятно,

m-me Бекетова находила большое удовольствие в беседе со своим супругом, но другие не разделяли ее мнения. Все жаловались, что он уж чересчур скучен. Профессор Вызинский придумал даже особое слово «бекетизм» для обозначения непроглядной тоски. Несчастный Бекетов верил всему, что болтал ему Романовский, и так как супруга его отличалась весьма либеральным образом мыслей, а сам он вполне подчинялся ей, то и писал статьи, которые никак не могли быть помещены в официальном издании. Вследствие того оба они предавались неописанному изумлению, как же это Романовский уверял их, что им будет предоставлена полная свобода! Романовский со своей стороны делал все, что мог: уразумев кое-как, что статья слишком резка, он принимался смягчать ее и переделывать, но тут уж выходило нечто ужасное.

«Не понимаю, решительно не понимаю ровно ничего», — говорил Милютин, когда ему читали такое произведение в корректурных гранках...

Бекетов не долго оставался в редакции «Инвалида».

Занятия по газете скоро сблизили меня с Милютиным. С самого начала оказывал он мне видимое расположение, и все его семейство относилось ко мне как нельзя более радушно. Жена его была добрая, но ограниченная женщина, вечно погруженная в домашние заботы, без всяких претензий, сын не походил вовсе на отца; как ни бились с ним, как ни старались приохотить его к занятиям, возбудить в нем интерес к сколько-нибудь серьезному чтению, ничто не помогало, и он продолжал интересоваться только лошадьми, хотя не имел средств покупать их; по этому поводу друг дома Милютиных И. П. Арапетов[305] говорил ему: «Помилуй, любезнейший, платоническая любовь к женщинам смешна, но платоническая любовь к лошадям еще смешнее». Дочери Дмитрия Алексеевича, тогда еще очень юные, привлекали своим добродушием, но, к сожалению, уродились в мать, за исключением старшей, Елисаветы, которая вышла потом замуж за князя Шаховского. Это была девушка из ряда вон умная, как отец, но такая же сухая, сосредоточенная, как он, с очень пылкою головой, но едва ли с нежным сердцем. В доме царила необычная простота, приводившая в изумление особенно тех, которые еще

не забыли, каким величием старался окружать себя А. И. Чернышев[306].

По положению при Милютине состояло несколько адъютантов, но на дежурство являлись они лишь по одному, да и то по утрам на самое короткое время. Обедали у Милютиных близкие люди лишь по воскресеньям; иногда, раз в месяц, устраивались в воскресные же дни танцы под фортепьяно. Дмитрий Алексеевич, видимо, прилагал все старания, чтобы ничто у него не напоминало об его высоком положении; самый зоркий глаз не подметил бы ни малейшего различия в том, как он принимал видного в административной иерархии человека или какого-нибудь скромного писателя; не раз случалось мне видеть, что, когда входил в гостиную молоденький офицер, один из многочисленных товарищей и приятелей его сына, он спешил к нему навстречу и даже пододвигал ему стул; заметив, что какие-нибудь юнцы, заняв место поодаль от других, не принимают участия в разговоре, он подсаживался к ним и старался их занять. Словом, внимание и любезность его были доведены до крайности, а между тем никто не чувствовал себя непринужденно. Происходило это оттого, что в натуре Милютина не было ничего задушевного, от приветливости его веяло холодом; приветливость эта в совершенно одинаковой степени обращалась ко всем, то есть в сущности ни к кому; близкие к нему лица утверждали, что он был очень добрый человек, но в высшей степени замкнутый в самом себе, не способный делиться ни с кем своими ощущениями. Таким являлся он не только в обществе, но даже в своей семье.

Много приходилось мне потом слышать о нем от его брата Николая Алексеевича, составлявшего резкую с ним противоположность, а также от Ивана Павловича Арапетова. Из рассказов этих видно, что еще в ранней молодости поражали в нем непомерное трудолюбие, твердость характера и верность своему долгу.

Он не знал никаких развлечений; братья, с которыми жил он на одной квартире, собирали у себя часто добрых приятелей, и время проходило иногда в шумном веселье; это было тяжело Дмитрию Алексеевичу, потому что отвлекало его от занятий, но ни одним словом не обнаруживал он своего неудоволь-

ствия, а каждый раз уверял, будто ему нужно отлучиться по делам, и отправлялся с бумагами или книгами к какому-то из своих родственников, где и продолжал работу. Николай Алексеевич, неизмеримо превосходивший его и умом и способностями, говорил мне, что в этом отношении был много обязан брату, что брат не переставал повторять ему о необходимости трудиться и своим примером благотворно действовал на него.

Натуры их были совершенно различные. Николай Милютин был весь огонь, страсть, увлечение; с неудержимым пылом высказывал он все, что накопилось у него в душе, это нередко коробило Дмитрия Алексеевича, который, напротив, отличался какою-то пуританскою угловатостью, сдержанностью и холодностью. Брат его — по французскому выражению une nature envahissante — горячо сцеплялся с противником своих мнений, волновался, доказывал, спорил; что касается Дмитрия Алексеевича, то при сколько-нибудь упорном противоречии ему он становился все более мрачен и уходил в себя, как улитка.

Однажды в молодости заспорили они о чем-то. Николай Милютин дошел в своей запальчивости до того, что схватил стул и швырнул его в сторону. Брат очень спокойно сказал ему: «С этой минуты я даю себе слово никогда и ни о чем с тобой не спорить».

По словам Арапетова, присутствовавшего при этой сцене, он неуклонно исполнил свое обещание. Даже позднее, когда я познакомился с ним, никогда не случалось мне видеть, чтобы вступал он в сколько-нибудь оживленные прения с Николаем Алексеевичем, хотя иногда смотрели они на вещи различно.

Генерал-адъютант Карцев[307], близко знавший обоих Милютиных, говорил, что один из них «шумящий деспотизм», а другой — «деспотизм молчаливый». Оба одинаково были проникнуты крайнею нетерпимостью, но у каждого проявлялась она своеобразно. Дмитрий Алексеевич не выносил возражений; если возражения эти касались чего-нибудь, что он принимал особенно близко к сердцу, то проникался даже, можно сказать, ненавистью к человеку, который до тех пор пользовался его расположением.

Впрочем, он не обнаруживал явно происшедшей в

нем перемены; только постепенно, мало-помалу, по усиливавшейся холодности с его стороны можно было заметить, что отношения его к тому или другому лицу изменились.

Скрытность его отзывалась тяжело даже в семье. По словам Арапетова, надо было угадывать его желания, но, если случалось что-нибудь, не нравившееся ему, он никогда не говорил об этом даже жене; можно было заметить по его виду, что он недоволен, но обращаться к нему с расспросами было бесполезно, да никто и не отваживался на это. Вследствие того сожительство с ним было нелегко. Когда старшая его дочь, назначенная фрейлиной, поселилась на казенной квартире во дворце, то многие удивлялись, что она решилась подчиниться всем стеснениям придворной жизни, но близкие к ней люди говорили, что в новой обстановке она все-таки находила более свободы, чем в домашнем своем быту.

Стоическая твердость, как уже сказано выше, всегда составляла отличительную черту Дмитрия Алексеевича.

В первые годы своей женитьбы он терпел большую нужду, но никогда никто не слышал от него ни малейшей жалобы; ни в ком не заискивая и никому не угождая, он пролагал себе дорогу лишь своими заслугами. Много слышал я анекдотов об умении его владеть собой. Карцев рассказывал, что однажды князь Барятинский, при котором на Кавказе Милютин состоял начальником штаба, позволил себе подтрунить над его верховою ездой; Милютин, считавший себя, напротив, искусным наездником, оскорбился, но промолчал. Чрез несколько времени после того сопровождал он Барятинского в какой-то экспедиции; пришлось в одном месте спускаться со страшной крутизны, так что решительно все, даже казаки, спешились; один Милютин остался на коне. Напрасно говорили ему, что это безумие, что лошадь его может на каждом шагу сорваться и что тогда не миновать ему смерти, — он был глух ко всяким увещаниям. Он благополучно спустился с горы, и ни малейшее движение мускулов на его лице не обнаруживало тревожного чувства. И делалось это вовсе не из желания порисоваться. Напротив, всякие поползновения к эффекту,

блеску были не только чужды, но противны его характеру.

Трудолюбие Дмитрия Алексеевича было поразительно. Принимаясь за какое-нибудь дело, он совершенно отдавался ему, забывая о всем остальном. От него самого я слышал, что как-то, еще задолго до назначения его на Кавказ, была ему поручена серьезная и сложная работа; он просидел за нею целый месяц и во все это время никуда не выходил из дома, т. е. понимать это надо буквально — не только не посещал он друзей и знакомых, но не вышел даже ни разу на крыльцо своей квартиры, чтобы подышать свежим воздухом.

Он решительно не мог сидеть без работы, и впоследствии, когда был военным министром, подчиненные острили над ним, что, оставаясь без дела, он усердно запечатывал сам конверты со служебными бумагами. Сколько раз приходилось мне слышать, что на входящих бумагах он набрасывал резолюции так подробно, что исполнение по ним не требовало от канцелярии почти никакой работы — стоило лишь переписать то, что было заготовлено самим министром. Дмитрий Алексеевич поступал таким образом, быть может, потому, что во всем привык полагаться на самого себя и ни на кого другого.

Он был очень недоверчив, относился к людям весьма строго, но при этом, как нарочно, приближал к себе людей, не только не отличавшихся дарованиями, но положительно бездарных. Кому неизвестно, что́ такое был при нем начальник главного штаба граф Гейден[308] или помощник его Мещеринов[309]? Сам Милютин в тесном кружке жестоко издевался над ними и называл их не иначе как «архимандритами». Он сознавал всю их неспособность, но это нисколько не мешало им твердо сидеть на своих местах.

Между прочим, вот любопытная черта: Черняев, начальствовавший в Туркестане, причинил столько беспокойств правительству, что решено было его оттуда удалить; вопрос о назначении ему преемника казался весьма серьезным; хотя сам он был человек небольшого полета*, и только И. С. Аксаков да московские купцы создали из него впоследствии и героя, и го-

* Зачеркнуто: глупый и ничтожный. — *Ред.*

сударственного мужа, но все-таки он придал важное значение занимаемому им посту уже потому, что при нем наступательное наше движение в Средней Азии приняло особенно резкий характер[310].

Все интересовались вопросом, кто заменит его, и Дмитрий Алексеевич не нашел никого более пригодным для этой роли, как Романовского!

В последний день Масляницы был у Милютиных танцевальный вечер; Романовский, долженствовавший, кажется, дня через два после этого отправиться на свой новый пост, подсел к моей жене и немилосердно терзал ее своею унылою беседой. Наконец успела она отделаться от него.

— Вероятно, он порядочно вам надоел? — спросил ее Милютин.

— О, нет, — отвечала моя жена смеясь, — я никогда не жалуюсь на него; ведь он такой добрый...

— Разве вот доброта, — заметил Дмитрий Алексеевич, — а то, кроме доброты, уж ничего в нем нет, да и доброта при глупости не многого стоит.

Так выражался он о человеке, которому счел возможным вверить судьбы целого края!

Безупречная честность Милютина не подлежала ни малейшему сомнению, но это не мешало ему приближать к себе людей, имевших не совсем завидную репутацию. Назову, между прочим, генерала Аничкова[311].

За несколько времени до окончательного переезда моего в Петербург прибыл я туда, чтобы условиться относительно издания «Энциклопедического словаря», который должен был выходить под редакцией Краевского и в котором предложили мне принять участие. Все сотрудники собрались у Краевского, и каждый из них излагал, как думает вести дело. Тут впервые встретился я с Аничковым. В длинной речи он объяснил, что, принимая на себя военный отдел, будет упорно преследовать одну цель, а именно: постарается внушать публике, что армия — вредное учреждение, непроизводительно поглощающее громадные суммы денег в ущерб народному благосостоянию. Вспоминаю об этом как о любопытном примере того, какие тенденции господствовали у нас с конца пятидесятых годов; «Энциклопедический словарь» возник благодаря щедрой субсидии правительства,

которую успел выхлопотать для этого издания полковник Гершельман (впоследствии генерал-адъютант)[312] чрез великого князя Николая Николаевича старшего; несмотря на то, Аничков считал вполне удобным и приличным проповедовать на его страницах идеи, клонившиеся к упразднению армии.

В этом отношении он поступал точно так же, как и многие другие: разве Обручев[313] для вящего успеха «Военного сборника» не сделал Чернышевского одним из редакторов[314] этого официального издания?

Аничкову ставили в вину его сомнительный образ действий при заключении контракта Военного министерства с Фейгиным (который был женат на дочери Краевского); по этому поводу рассказывали невероятные вещи; генерал Хрулев[315] высказал прямо Милютину, что удивляется, каким образом держит он при себе такого человека; Дмитрий Алексеевич отвечал, что до него никогда не доходило ничего дурного об Аничкове. «Это только подтверждает, ваше высокопревосходительство, старую истину, — заметил Хрулев, — что муж всегда последний узнает о неверности своей жены». Впрочем, спешу оговориться, что я передаю здесь лишь слухи, распространенные тогда в некоторых кружках, но сам не имел, конечно, ни малейшей возможности их проверить.

Чем же объяснить, что Милютин был так несчастлив в выборе людей, которых приближал к себе? Объяснением служит лишь непомерное его властолюбие. Ему нужны были такие сотрудники, которые вполне подчинялись ему, которых он мог поработить. Он не в состоянии был оценить талант, да и зачем таланты, когда требовалось только точное исполнение его воли? Вот почему долго пользовался он услугами Обручева, поручал ему важные работы, но настоящей близости между ними не было, она установилась лишь позднее, незадолго до выхода в отставку Милютина. Самостоятельность Обручева коробила его.

В начале этого очерка я упомянул об издании «Русского инвалида». Необходимо вернуться к этому предмету, так как он представляет немало интересного.

Милютин придавал большую важность своей газете; доказательством служит, между прочим, то, что редактор должен был неуклонно каждый день к 9 ча-

сам вечера приезжать к нему и представлять на его усмотрение все сколько-нибудь выдающиеся статьи; как бы ни был занят Милютин, у него всегда хватало времени весьма внимательно заняться ими; он дорожил «Русским инвалидом» как самым удобным средством распространять известного рода идеи не только в военном сословии, но и вообще в публике. Тем удивительнее, что редактором газеты он назначил Романовского, а потом, когда Романовский уехал в Ташкент, поручил ее Зыкову[316]. Этот последний, хотя и не такой глупый, как его предшественник, был самою заурядной посредственностью; из всякого дела, к которому приставляли его, он ухитрялся устроить лавочку; он умел вести его так, что, не прибегая к сомнительным средствам — не имею никакого основания подозревать его в этом, — получал с него значительные барыши.

Особенно легко это было с «Русским инвалидом». Отпускалась на него очень крупная сумма, и Зыков расходовал ее по своему усмотрению; на эту область и обращал он главным образом свое внимание. Но Милютину было мало одной газеты, хотя наряду с нею и в непосредственном ему подчинении находился также «Военный сборник».

Когда вслед за мятежом 1863 года брат его приступил к реформам в Царстве Польском[317], которые не только возбуждали ожесточение поляков, но подвергались неистовым нападкам и в заграничной печати, он задумал основать орган на французском языке под названием «Correspondance Russe», долженствовавший разъяснять европейской публике настоящее значение мер, принимаемых правительством в Привислянском крае, а также некоторые вопросы нашей внутренней политики. Издание это было необыкновенным явлением в своем роде. Оно беспрерывно затрагивало вопросы, касавшиеся дипломатии, не могло, следовательно, не интересовать наше Министерство иностранных дел, но это министерство было ему совершенно чуждо. Милютин не допускал ни малейшего его вмешательства, к великому огорчению князя Горчакова, он хотел, чтобы новое издание получало внушения исключительно от него. Если так, то следовало бы по крайней мере поставить во главе этого дела человека способного и надежного, а между тем ре-

дактором «Correspondance Russe» был назначен один из друзей Романовского — Я. Н. Богданов.

Это был побочный сын Штиглица, родного брата известного банкира. Так как отец его при своей жизни не позаботился обеспечить формальным порядком его судьбу, то он остался на попечении своего дяди, который, впрочем, не отверг его: он дал Богданову воспитание, а затем определил его на Кавказ, подарив ему при этом 100 000 руб. Но Богданов, не лишенный ума и даже остроумия, принадлежал именно к разряду тех беспутных людей, которые непригодны ни для какого серьезного дела; на Кавказе он вовсе не занимался службой, заведовал там каким-то театром, вел пустую и разгульную жизнь, и понятно, что в весьма непродолжительном времени от штиглицевских денег не осталось у него ни гроша. Переселился он в Петербург, и здесь благодаря друзьям, которых он забавлял своими шутками, удалось ему выхлопотать себе место управляющего акцизною частью в Ярославле. Произошел, однако, скандал.

В то время только что отменены были откупа, и Грот[318] был озабочен введением акцизной системы; с нового года должна была она вступить в силу; повсюду усиленно делались необходимые приготовления, как вдруг до Грота дошло известие, что ярославский управляющий, приехав на назначенный ему пост, преспокойно играет в карты и не предпринимает ровно ничего. Богданов как будто и забыл, для чего послали его в Ярославль. Разумеется, он тотчас же был удален и снова явился в Петербург искать счастья или, вернее, с целью поживиться на счет Штиглица. Но старик был неумолим. «Если, — говорил он, — Богданов при самом вступлении в жизнь занял хорошее место с крупным капиталом и по своей вине потерял и то и другое, то, значит, он пустой человек и не заслуживает никакой поддержки». Нельзя сказать, чтобы аргумент этот лишен был основания, но у Богданова судорожно подергивалось лицо, когда он начинал говорить о своем дяде, который решительно не пускал его к себе на глаза. Он уверил себя, что тот обокрал его. Вот на этом-то добрейшем, но пустейшем человеке и остановился выбор Дмитрия Алексеевича по рекомендации Романовского.

На моих глазах происходили уморительные сцены.

Романовский возвращался от военного министра с инструкциями относительно такой или другой статьи, которую следовало изготовить для «Correspondance Russe»; он излагал эти инструкции Богданову, конечно, немилосердно перевирая их, а в голове Богданова, менее всего пригодного для роли публициста, они порождали уж совершенный хаос. Так как сам он не был в состоянии написать двух строк, то не давал покоя сотрудникам «Инвалида», умоляя кого-нибудь из них набросать статью; получив ее, он спешил с нею к своему приятелю, гувернеру или учителю французского языка Жирарде, который должен был изложить эту статью по-французски. В результате получалось нечто весьма нелепое, и Милютин бесился, сам принимался за переделку. Но это нисколько не отражалось на положении Богданова, который продолжал блаженствовать, просвещая Европу насчет России, и когда наконец «Correspondance Russe» прекратилась, он все-таки числился или, как говорится, состоял при Военном министерстве с порядочным содержанием. Это нисколько не расположило его, однако, к Милютину. Богданов относился к нему с презрением. «Помилуйте, что это за министр, — говорил он, — превозносят его до небес за преобразования в армии, не берусь судить о них, но сомневаюсь, чтобы они были хороши, потому что если бы Милютин был способный человек, то устраивал бы хорошо и свои дела. Вот уж сколько лет он министром и до сих пор еще не сумел ни для одной из своих дочерей приискать богатых женихов...»

Если я остановился на этом эпизоде, то лишь с целью показать, как у нас даже люди вроде Д.А. Милютина относятся легкомысленно к делу, которому придают серьезное значение. Милютин рассчитывал, что «Correspondance Russe» может принести значительную пользу: не стыдно ли было отдавать ее в заведование Богданова?

В «Русском инвалиде» занимался я, как сказано выше, иностранною политикой; нередко помещал также статьи по польскому вопросу, но не касался никаких других. Вообще направление газеты было мне далеко не сочувственно. Она усвоила себе — и в этом была ее заслуга — национальную точку зрения, но с

примесью демократических тенденций, которые выражала и глупо, и бестактно.

Особенно отличался в этом отношении один из ее сотрудников, Артур Брушен[319]. Специальностью своею избрал он положение дел в Прибалтийском крае, причем старался стереть с лица земли тамошнее дворянство вовсе не потому, что оно тянуло к Германии и противилось тесной связи Остзейских провинций с Россией, а единственно из ненависти к нему как к сословию. И против русских дворян прибегал он к таким же возмутительным выходкам, как против немецких. На столбцах «Инвалида» появлялись статьи, в которых даже бунт Пугачева выставлялся чуть ли не утешительным явлением, ибо чернь поддалась-де обману, что во главе ее стоял настоящий царь, следовательно, грабя и вырезывая помещиков, она оставалась проникнута верноподданническими чувствами.

Все это было так странно, что М. Н. Катков не в шутку, а очень серьезно утверждал, будто Брушен был подставлен самими прибалтийскими немцами с целью внушить омерзение к их противникам.

Не раз являлась у меня мысль прервать всякие отношения к «Инвалиду», и если я оставался, то лишь потому, что главнейшим вопросом, занимавшим тогда и правительство и общество, был вопрос польский; с решением его были связаны интересы громадной важности, а в этом вопросе «Русский инвалид» держал себя безупречно. Я указывал Д. А. Милютину на статьи газеты, возбуждавшие мое негодование; он не решался, конечно, безусловно оправдывать их, но все-таки истолковывал эти статьи в благоприятном смысле для их авторов.

До сих пор я говорил все о Дмитрии Алексеевиче. Обращаюсь теперь к его брату, с которым я познакомился в январе 1864 года. Случилось это на обеде у В. П. Боткина.

Николай Алексеевич с первого же раза произвел на меня обаятельное впечатление, которое постепенно возрастало по мере того, как я ближе узнавал его.

Редко случалось мне встретить человека с таким блестящим умом — беседа с ним была истинным наслаждением. Он отличался, как сказано выше, не меньшею нетерпимостью, чем его брат, но не предавался молчаливому раздражению, встречая отпор

своим мнениям, а отстаивал их с запальчивостью и страстью. Присутствуя при этих спорах, нельзя было не восхищаться изворотливостью его ума, тонким юмором, уменьем подметить слабые стороны противника.

Легкость, с какой овладевал он любым предметом, была поистине изумительна. Брат его, за исключением вечеров воскресных дней, когда собирались у него приятели и знакомые, покидал свой рабочий стол только для того, чтобы ехать куда-нибудь по службе, он вечно корпел над бумагами, все время его было рассчитано по часам. По сравнению с ним можно было бы предположить, что Николай Алексеевич предавался полнейшему бездействию. К нему приходили в какое угодно время, и он тотчас же отрывался от работы без малейшего признака неудовольствия; особенно же вечером двери его были открыты для всякого, кто желал его видеть; каждый раз собирался у него довольно многочисленный кружок близких к нему лиц. Такая же простота господствовала у него в доме, как и у его брата, только было там несравненно приятнее благодаря привлекательному характеру хозяина.

Не такое впечатление производила его жена Марья Аггеевна, родная сестра составившего себе потом некоторую известность Александра Аггеевича Абазы[320]. Это была женщина умная, образованная и — как говорят — в молодости отличавшаяся даже красотой, но злобная и недоброжелательная[321]. Я вовсе не сближался с ней, но слышал о ней очень много от И.П. Арапетова, который питал безграничную привязанность к Милютиным и, конечно, без достаточного основания не проронил бы дурного слова ни об одном из членов этого семейства.

Марью Аггеевну заедало ненасытное честолюбие; она все желала играть видную роль, ее не удовлетворяло быть женой замечательного человека, она стремилась, помимо его, сосредоточить на себе общее внимание, но это никак ей не удавалось; завидовала она кому угодно, завидовала даже самым искренним друзьям своего мужа и всячески старалась ссорить его с ними; привычка лгать была развита в ней в высшей степени.

Я тем охотнее верю этим отзывам о ней, что мне

самому случалось присутствовать при невероятных сценах. Так, однажды в Баден-Бадене я увидел, что около того места, где по вечерам играла музыка, сидят в коляске Марья Аггеевна и жена А. А. Абазы; подхожу к ним — Марья Аггеевна своим тихим нежным голосом, с выражением полнейшей невинности на лице, как будто ничего не произошло, заговорила со мной, но я едва мог ее слушать, ибо все мое внимание было обращено на ее спутницу, которая в буквальном смысле слова истерически рыдала.

Я поспешил ретироваться. На другой день Арапетов рассказал мне, что m-me Абаза, глядя на резвившихся детей, выразила сожаление, что остается бездетною, а Марья Аггеевна поспешила ей ответить: «Что же делать, мой друг, может быть, Господь наказывает тебя за твою прежнюю жизнь...»[322] У нее всегда и для кого угодно было на языке ядовитое слово.

Я упомянул выше, что поистине надо было удивляться, когда находил Н. А. Милютин время для занятий, а между тем, приступая к какому-нибудь делу, он тотчас же становился полным его господином. С необычайною быстротой он улавливал в нем все существенное и важное.

Государственный человек может рассчитывать на значительный успех в том лишь случае, если обладает даром приискивать сотрудников, которые вполне усваивают себе его идеи и служат толковыми и способными орудиями в его руках.

Дмитрий Алексеевич никогда не был в состоянии достигнуть этого; по большей части окружал он себя бездарностями и даже чувствовал к ним какое-то особое влечение. Совсем другое его брат: на какое бы поприще ни выступал он, ему тотчас же удавалось сформировать около себя целый штаб энергических исполнителей, посвящавших все свои силы тому делу, которое было им поручаемо. С редкою проницательностью разгадывал он способности своих сотрудников и пристраивал каждого из них туда, где тот мог принести наиболее пользы. Предварительно он собирал их у себя, беседовал с ними по целым вечерам, выслушивал их возражения, излагал им свои мысли, и все это с таким увлечением и откровенностью, которая обаятельно действовала на них. Они выходили от него рьяными его приверженцами.

Конечно, Николаю Алексеевичу случалось ошибаться, но некоторые и даже самые важные ошибки не могли быть поставлены ему в вину. Так, например, ошибся он относительно Кошелева[323], но кто же мог предполагать, что этот человек — олицетворение надутого самолюбия и самодурства — изменит людям, с которыми до назначения своего в Польшу действовал заодно, и передастся на сторону графа Берга?

Другая ошибка касалась выбора Арцимовича[324].

Милютин имел, конечно, основание предполагать, что этот господин, так энергически действовавший против дворянских интересов, когда занимал должность калужского губернатора, окажется как нельзя более на своем месте в Привислянском крае, где дело шло именно о том, чтобы нанести удар польскому дворянству и шляхте и улучшить положение крестьянского сословия.

Милютин, не спрашивая Арцимовича, убедил государя в необходимости привлечь его к задуманным реформам; на этот раз обычная его проницательность изменила ему; он забыл, что на поляка никогда и ни в каком случае рассчитывать нельзя.

Не лишен интереса разговор, который гораздо позднее имел я с министром юстиции Набоковым по поводу жестоких и вполне справедливых нападок Каткова на первый департамент Правительствующего Сената, в котором Арцимович был первоприсутствующим. Набоков утверждал, что личный состав этого департамента безупречен, и особенно старался выгородить Арцимовича.

«Вы не можете себе представить, — говорил он мне, — что это за благородный и прямодушный человек; когда Милютин вознамерился сделать его своим сотрудником, он приехал ко мне в совершенном отчаянии; с первых же слов полились у него слезы. «Мне не остается ничего более, — воскликнул он, — как принять мое новое назначение или отказаться вовсе от службы; но пойми же, любезный друг, что я не могу действовать в Польше так, как того потребуют от меня; ведь я поляк, ведь все люди, с которыми связан я неразрывными узами, назовут меня изменником». Положим, что это было действительно очень откровенно со стороны Арцимовича, но что

сказать о Набокове, который утверждал, что к Арцимовичу следует относиться с полным доверием?

Николай Алексеевич был фанатиком всякого дела, за которое принимался, влагал в него всю свою душу, заботы об этом деле всецело поглощали его. Как упомянуто выше, я сблизился с ним в то время, когда внимание правительства и общества сосредоточено было на преобразованиях в областях, в которых только что удалось подавить мятеж. Он только и говорил что о Польше; польский вопрос не сходил у него с языка; некоторые из его приятелей даже жаловались, что беседа с ним постоянно вертится на одном и том же предмете, что нет никакой возможности направить ее в другую сторону. В этом отношении много напоминал он М. Н. Каткова.

Однажды вечером в небольшом обществе сидели мы вместе с ним на гулянье в Павловске; был восхитительный вечер; всем нам хотелось только слушать музыку, но Николай Алексеевич то и дело заводил речь о польских делах; вдруг оркестр Штрауса заиграл мазурку из «Жизни за царя», исполнена была эта пьеса с таким совершенством, что публика два раза сряду требовала ее повторения. Милютин вскочил с места вне себя. «Хорошо общество, — воскликнул он, — которое восторгается польским танцем, ведь это не случайность, а умышленная демонстрация...»

Напрасно успокаивали его, что о демонстрации не может быть и речи, что публика просто увлекалась блестяще исполненным мотивом, — он тотчас же уехал к себе на дачу в Царское Село. Таков был он всегда.

Не без основания упрекали обоих братьев Милютиных в /крайних/ демократических тенденциях. Откуда явилось у них направление? Полагаю, что оно было навеяно им книгой, теориями, которые в сороковых годах для многих у нас казались последним словом политической мудрости; трудно себе представить, какое в этом отношении гибельное влияние обнаруживала на наше общество Франция с нарождавшимися на ее почве доктринами, которые ее самое довели до погибели. К тому же образование Милютиных было довольно поверхностное, оно основывалось преимущественно на французских книжках. А затем

демократические стремления Николая Алексеевича развились особенно сильно, когда был он привлечен к разрешению вопроса об отмене крепостного права.

Так как большинство дворянства не сочувствовало этой реформе и многие видные представители дворянского сословия старались затормозить ее, то Николай Милютин, страстный боец по своей натуре, шел напролом со всею запальчивостью, составлявшею отличительную черту его характера; в дворянах видел он суть не личных своих врагов; дворянские интересы сделались для него каким-то кошмаром; под влиянием этого он совершил многое, в чем не пришлось ему раскаиваться только потому, что он сошел в могилу, прежде чем успели обнаружиться его ошибки, но в чем искренно раскаивались впоследствии многие из его приверженцев. Еще недавно один из них, М. Н. Любощинский[325], говорил мне: «Пора наконец сознаться, что все мы с Николаем Алексеевичем во главе слишком увлекались и не предвидели того, что суждено нам теперь расхлебывать».

Н. Милютин был, как известно, очень огорчен тем, что тотчас после крестьянской реформы его удалили от дел; слова его, когда приходилось ему вспоминать об этом событии в его жизни, всегда отзывались желчью.

«Еще хорошо, — говаривал он, — что удалили меня с почетом и выпроводили за границу; все-таки прогресс; при императрице Анне Иоанновне вырезали бы мне язык и сослали бы в Сибирь».

Полагаю, однако, что удаление в то время Н. А. Милютина было счастливым событием, хотя очень жаль, что во главе Министерства внутренних дел очутился такой пустой и ничтожный фразер, как Валуев; Милютин, закусив удила в борьбе, продолжал бы действовать в усвоенном им направлении, и, Бог знает, какими отразилось бы это последствиями.

Чрез несколько времени вызвали его в Петербург и сделали главным руководителем нашей политики по польскому вопросу. Тут не служила помехой и демократическая его закваска. Он тотчас же понял, что удары должны быть направлены на исконного нашего врага — польское дворянство, действовавшее в союзе с католическим духовенством, и что необходимо привлечь симпатии к России крестьянского сословия, для

которого не сделано было ничего с тех пор, как утвердилось в крае русское владычество.

К чести Дмитрия Алексеевича надо сказать, что и он никогда не колебался в польском вопросе.

Считаю не лишним привести здесь рассказ его, тогда же в точности записанный мною:

«Барятинский, — говорил мне Дмитрий Алексеевич, — всегда пленялся славой государственного человека и считал себя призванным решать самые важные вопросы»[326].

Ум его, хотя и неглубокий, необычайно плодовит, и ему ничего не стоит в фантазии пересоздавать судьбы всей Европы. Соображения свои он основывает преимущественно на оценке характера разных высокопоставленных особ, их взаимных отношениях, их симпатиях и антипатиях, на придворных интересах — все это он знает до мельчайших подробностей. Еще вскоре по восшествии на престол Александра Николаевича, когда я занимал должность начальника штаба на Кавказе, он часто говорил мне, что страшится за судьбы России, что безурядица у нас ужасная, что авторитет в правительстве, обществе, в науке совершенно поколеблен и что все идет к анархии.

Неизвестно, откуда он почерпал эти сведения, но многое из них впоследствии оправдалось, а мне казалось тогда преувеличенным или даже вовсе лишенным основания.

Признаюсь, я считал мрачные его предсказания не более как плодом необузданной его фантазии. Между прочим, уже тогда сильно тревожил его польский вопрос, хотя поляки сидели смирно и воздерживались от всяких демонстраций. Мне казалось, что это народ окончательно подавленный, от которого нельзя нам ожидать никаких невзгод, — напротив, Барятинский был другого мнения и утверждал, что со дня на день может вспыхнуть в Польше страшный бунт.

Странное дело, для предотвращения этой опасности он видел только одно надежное средство — совсем отказаться от Польши, предоставить ей полную автономию. Когда я был назначен товарищем военного министра и уезжал с Кавказа, то Барятинский поручил мне подробно изложить государю все его опасения относительно положения дел как в России, так и в Царстве Польском; я выразил было согласие, но по-

том у меня не хватило для этого духа, ибо мне показалось крайне неловким тотчас по приезде в Петербург заговорить с государем, которого я знал очень мало, о столь щекотливом деле, тем более что, сообщая ему соображения Барятинского, я вынужден был бы оговориться, что не считаю их основательными. Но, пожив в Петербурге, я все более убеждался, что в словах Барятинского было много правды; всеобщая разладица и брожение умов принимали невероятные размеры, а когда начались польские смуты, то все чаще припоминались мне беседы с моим бывшим начальником, и не скрываю, что в первое время я находился под их обаянием; и мне казалось, что никакие меры, принимаемые нами, не приведут к цели, что благоразумнее всего было бы для нас совсем бросить Польшу.

Но среди этих колебаний один человек оставался непреклонным от начала до конца — то был государь. Сколько раз, когда заходила речь о Польше, приходилось мне слышать от него слова: «C'est un triste héritage qui m'a été légué par mon oncle, mais je ne m'en désisterai jamais»*.

Не стану касаться в этих беглых заметках вопроса о том, что сделано было Николаем Алексеевичем для Привислянского края. Будущий историк оценит по достоинству его громадные заслуги. Замечу здесь только, что эта деятельность отразилась благотворно на нем самом, расширила его кругозор и заставила его отказаться от многих из его прежних увлечений.

Я убежден, что если бы не тяжкий недуг, поразивший Николая Алексеевича, то мы имели бы в нем настоящего государственного человека, который отвратил бы многие бедствия, омрачавшие вторую половину царствования императора Александра II.

Некоторые из неисправимых его друзей с неудовольствием замечали происходившую в нем перемену; так, например, от Арапетова, преклонявшегося пред ним, как пред божеством, нередко случалось мне слышать: «Увы, польский вопрос развратил, испортил Николая Алексеевича». Мнимая порча заключалась в том, что Н. Милютин, видимо, разочаровался

---

* Печальное наследство оставлено мне моим дядей, но я не откажусь от него никогда *(фр.)*.

в своем либерализме и сознавал необходимость наибольшего укрепления правительственной власти. Только на нее возлагал он надежды для противодействия революционному брожению в России.

Однажды, незадолго до его болезни, я имел с ним разговор по поводу обнаружившихся в некоторых кружках нашего общества стремлений облагодетельствовать Россию конституционными учреждениями. Он энергически порицал все попытки такого рода.

Заблоцкий-Десятовский[327], присутствовавший при нашем разговоре, возражал ему, что это, быть может, наилучшее средство водворить у нас единство в управлении, что государь при поразительной слабости своего характера не способен руководить ничем, что сегодня окружен он одними людьми, а завтра очутится под влиянием других, совершенно противного образа мыслей, вследствие чего все идет вразброд, а в будущем пойдет еще хуже. «Конечно, — воскликнул Николай Алексеевич, — положение наше некрасиво, но поправлять его конституцией значило бы осудить Россию на анархию и распадение. Если государь беспрерывно колеблется в ту и другую сторону, то не следует забывать, что годы берут свое; с течением времени колебания прекратятся, он осядет на чем-нибудь определенном, и все заставляет меня надеяться, что направление, окончательно усвоенное им, будет хорошо».

Как ошибался в этом отношении Милютин!

Мы видели, до какого позора дошло правительство в последние годы царствования Александра II. Но если бы продлилась жизнь Николая Алексеевича, то нет ничего невероятного, что обстоятельства заставили бы государя обратиться к нему как к единственному человеку, обладавшему громадными способностями и энергией.

В таком случае — по крайней мере, для меня это не подлежит сомнению — он сумел бы положить конец расшатанности, которая господствовала у нас и в правительстве и в обществе, сумел бы справиться с язвой нигилизма; никогда не покусился бы он идти по тому злосчастному пути, на который вступил впоследствии Лорис-Меликов в тесном союзе с братом Николая Алексеевича.

В подтверждение сказанного выше могу сослаться

еще на то, что в последние годы своей деятельности Н. Милютин, видимо, становился сдержаннее, осторожнее и нередко старался обуздывать Дмитрия Алексеевича. В моем присутствии указывал он ему на неуместность печатать в «Русском инвалиде» статьи, настоящее место коих было бы на страницах наших демократических газет; между прочим, советовал он ему даже в вопросе о Прибалтийском крае настаивать на полном слиянии этого края с Россией, но не касаться поземельных в нем отношений.

Если бы мы не потеряли его, он оказал бы, конечно, благотворное влияние на своего брата. К несчастию, вышло иначе.

Тяжкий недуг внезапно прервал блестящую его деятельность. Его увезли за границу; летом 1867 года я почти ежедневно посещал его в Бадене. Жаль было смотреть на этого человека, еще недавно исполненного могучих сил, который теперь превратился в полуребенка и по целым вечерам раскладывал пасьянсы. Иногда, впрочем, вдруг пробуждался у него интерес к общественным делам, и он начинал говорить о них, но говорил так, что понять его не было никакой возможности, тем более что вследствие паралича он утратил способность называть вещи их настоящими именами.

Преемником его сделался Набоков. Любопытно заметить по этому поводу, как умел покойный государь Александр Николаевич различать людей. Однажды в разговоре с Д. А. Милютиным выражал он сожаление об участи, постигшей его брата. «Это была жестокая потеря, — заметил он, — брат твой приносил огромную пользу, но я утешаюсь тем, что, к счастию, и Набоков ведет дело как нельзя лучше...» Следовательно, существенной разницы между Николаем Милютиным и такою тупицей, как Набоков, не было!

Почему знать, может быть, в глубине души государь был даже доволен переменой. Он не любил слишком умных людей, ему было с ними как-то неловко.

«Quand l'empereur cause avec un homme d'esprit,— говаривал Ф. И. Тютчев, — il a l'air d'un homme

atteint de rhumatisme qui est exposé à un vent coulis»*.

Впрочем, Набоков был осужден на совершенно второстепенную роль при изменившихся обстоятельствах, когда началось господство графа П. А. Шувалова. Он разыгрывал роль представителя консервативной политики, но, присматриваясь ко всему, что совершалось при нем, трудно понять, в чем состоял его консерватизм.

Д. А. Милютин рассказывал мне, что Шувалов, будучи назначен генерал-губернатором Прибалтийских губерний, приезжал к нему и сильно ратовал против немцев; между прочим, сообщил он ему о замечательной беседе своей с государем.

«Как скоро крестьяне освобождены с земельным наделом в России и то же самое происходит теперь в Польше, — говорил он государю, — то следует предвидеть, что и в крестьянском сословии Остзейского края пробудятся надежды на изменение его участи в таком же смысле». «Не хочу об этом слышать, — отвечал император, — между поляками и прибалтийскими немцами нет ничего общего; тех я наказываю, а эти были всегда моими верными слугами».

Шувалов передавал эти слова с неподдельным, по-видимому, негодованием.

«Возможно ли было предположить, — восклицал он, — что государь реформу, которая считается самым славным событием его царствования, приравнивает к наказаниям...»

Прожил, однако, Шувалов некоторое время во вверенных ему губерниях и не только забыл об улучшении быта крестьян, но сделался яростным защитником даже таких притязаний немецких баронов, которым уж никак нельзя было сочувствовать с точки зрения русских интересов. Сошелся затем он (после назначения его шефом жандармов) и с поляками и оказывал ревностную поддержку такой гадине, как Потапов, который поставил себе задачей уничтожить или изменить все, что было сделано в Северо- Западном крае Муравьевым.

Шувалова неотступно преследовала мысль о

---

* Когда император разговаривает с умным человеком, у него вид ревматика, стоящего на сквозном ветру *(фр.)*.

какой-то аристократической конституции для России; в минуты откровенности он говорил Альбединскому (от которого я это слышал), ублажавшему себя мыслью, что остзейские немцы пленятся его красноречием и в угоду ему будут сближаться с Россией: «Все это, любезнейший, праздные мечты; никогда немецкое дворянство не наложит само на себя руку; оно согласится на жертву в том лишь случае, если дворянскому сословию — конечно, не всему, а высшим его слоям — предоставлены будут политические права; присоединись ко мне, чтобы достигнуть этой цели, и поверь, что это гораздо надежнее, чем искать популярность в среде наших газетчиков».

Образ мыслей Д. А. Милютина по польскому и прибалтийскому вопросам, особенно же демократические его тенденции, должны были внушить Шувалову непримиримую к нему вражду; началась борьба между ними, в которой Шувалов пользовался каждым удобным случаем, чтобы наносить удары своему противнику. Один из этих ударов был особенно чувствителен.

Однажды все министры получили повестки о совещании, долженствовавшем происходить под председательством государя; до последней минуты предмет этого совещания оставался для большинства их совершенно не известным, так что Милютин, приехав во дворец и встретив на лестнице Тимашева, спросил его, не знает ли он, зачем их собрали, но получил уклончивый ответ.

Когда заняли места, государь предложил этому самому Тимашеву прочесть заготовленную им записку: в ней доказывалась необходимость иметь только один правительственный орган, который отличался бы строго официальным характером; в других органах, издаваемых при разных министерствах, нет надобности, т. е. они могут, пожалуй, существовать, но должны ограничиваться лишь специальными вопросами, не высказываясь по вопросам внутренней и внешней политики; по словам записки, это было единственное средство избегнуть того разногласия и антагонизма, которые нередко обнаруживаются в официальных изданиях и подрывают авторитет правительства. Какое уважение может питать общество к власти, если оно замечает, что представи-

тели ее, люди, облеченные доверием государя, расходятся между собой по самым существенным вопросам?

Для всякого было ясно, что Шувалов и Тимашев имели в виду исключительно «Русский инвалид».

Начались оживленные и даже резкие прения.

Милютин, застигнутый врасплох интригой, горячился, заявил, что произвести перемены в «Инвалиде» не может, — и все-таки дело было решено государем против него. Затем при ближайшем своем докладе он объяснил государю, что ему не остается ничего более как выйти в отставку, ибо в «Русском инвалиде» всегда выражались мнения, которые он вполне разделяет, и если эти мнения признаются вредными, то ему нельзя оставаться министром.

Государь тщетно старался успокоить его. От Альбединского я слышал, будто он сказал Шувалову: «Не понимаю, из-за чего так горячится Милютин; неужели газета имеет такую важность в его глазах, что из-за нее он серьезно думает покинуть дело, над которым так долго трудился; я обнадеживал его, что он пользуется полным моим доверием; но если, несмотря на то, он будет упорствовать, то поневоле придется подумать об Альбединском».

Шувалов торжествовал, не мог скрыть своей радости и Альбединский, но, к горькому их разочарованию, Дмитрий Алексеевич не зашел так далеко, как бы им хотелось. Убедившись в непреклонной решимости государя, он начал заботиться лишь о приличном отступлении и задумал передать газету на арендном основании в частные руки. Выбор его остановился на мне и П. К. Щебальском; уже велись с нами переговоры, и мы хлопотали о приискании сотрудников. Но и эта комбинация, как только Милютин представил ее на усмотрение государя, была безусловно отвергнута.

Уже то обстоятельство, что Дмитрий Алексеевич намеревался передать «Русский инвалид» в мои руки, свидетельствует об его расположении ко мне. Действительно, отношения наши были таковы, что ничего лучшего не оставалось и желать. Не про-

шло, однако, много времени, как они резко изменились.

Поводом к тому послужил пресловутый вопрос о классическом и реальном образовании.

Известно, какую страшную путаницу породил этот вопрос в умах нашего общества, громадное большинство коего не имело о нем ни малейшего понятия и вовсе не было готово обсуждать его; просто становится стыдно, когда вспоминаешь о том, чтó приходилось тогда выслушивать и чтó проповедовалось в газетах; началась какая-то Виттова пляска; каждый считал себя вправе нести невероятную чепуху; даже дамы, воспитанные исключительно на французских романах, доходили в спорах до истерики; почему-то вдруг наше Панургово стадо уверовало, что если утвердится в России классическое образование, то последствием сего будет деспотизм, рабство и материальное оскудение, а если восторжествует образование реальное, то мы быстро сравнимся с Европой прогрессом, свободой и богатством [328].

Страницы тогдашних газет и журналов представят историку обильный материал для изображения нашего умственного убожества, особенно если иметь в виду, как скоро и без всякого следа прекратилось это напускное исступление.

Нельзя, конечно, винить Милютина за то, что он не понимал дела, о котором идет речь, — не понимал он его уже потому, что образование его было весьма дюжинное, — но совершенно непростительно, что это нисколько ему не помешало выступить в роли одного из главных руководителей агитации, самой недобросовестной и нелепой.

Еще прискорбнее, что во всем этом на первом плане стояло непомерное его самолюбие. Он был создателем военных гимназий, преобразованных им из кадетских корпусов; как всякое дело его рук, и эти гимназии казались ему образцом совершенства, и вдруг ему говорят, что, быть может, они и очень хороши (хотя это подлежало сильному сомнению) как специальные заведения, предназначенные готовить для армии офицеров, но что было бы вопиющим абсурдом считать их идеалом общеобразовательной

школы. Он решительно не хотел примириться с такой ересью.

Тщетны были всякие попытки образумить его. Люди, к которым относился он с особым уважением и доверием, не имели в этом случае никакого на него влияния.

Однажды случилось мне у него обедать с Юрием Федоровичем Самариным, который, затронув жгучий вопрос, доказывал долго и обстоятельно, что не может быть и речи о какой-то системе реального образования, что это не более как мираж, что основой общеобразовательной школы во всей Европе служит и всегда будет служить система классическая. Редко когда Самарин говорил так убедительно, с таким увлечением, но слова его, видимо, не производили на Дмитрия Алексеевича ни малейшего влияния: сперва он пытался возражать, а затем отделывался угрюмым молчанием.

Когда начались нападки на него в печати, то в раздражении своем он уж решительно не был в состоянии владеть собой. Особенно чувствительна для него была полемика «Московских ведомостей». Необходимо сказать здесь несколько слов вообще об отношениях обоих братьев Милютиных к М. Н. Каткову.

Впервые познакомились они с ним в начале 1865 года, когда Катков приехал в Петербург, осененный блеском великих заслуг, оказанных им во время польского восстания, составивший себе такое положение, каким не пользовался еще в России ни один человек вне государственной службы.

Слова «Катков в Петербурге» переносились из одной гостиной в другую; все желали его видеть, повсюду только и было разговоров о том, что привлекло его в столицу; появление его там было событием, пред которым стушевывались другие интересы. Очень понятно, что оба Милютины желали с ним познакомиться; он оказывал им могущественную поддержку в польском вопросе; они возлагали на него большие надежды для будущего; особенно Николай Алексеевич спешил закрепить связь, установившуюся между ним и Михаилом Никифоровичем, личными сношениями. Условлено было чрез В. П. Боткина, у которого остановился знаменитый гость, что он придет к

Дмитрию Алексеевичу в такое-то воскресенье вечером.

Живо помню, с каким лихорадочным нетерпением ожидали его собравшиеся у Милютина гости, из которых многим еще никогда не случалось встречаться с ним; но время проходило, а Катков не появлялся; по своему обыкновению он где-то засиделся, не обращая внимания на то, что становится поздно; казалось, уже нечего было рассчитывать на его приезд, как вдруг в одиннадцатом часу вошел он в гостиную, где все сидели за чайным столом.

Произошла конфузная сцена: Катков, видя, что все взоры обращены на него и что наступило общее молчание, смутился, сел на кресло, вертя шляпу в руках, а все остальные, не исключая и хозяина, тоже не находили как начать беседу. Наконец Дмитрий Алексеевич увел его к себе в кабинет, где просидел с ним наедине до поздней ночи.

С этого времени начались постоянные их сношения, но настоящей близости между ними быть не могло: за исключением политики, которой следовало нашему правительству держаться относительно поляков и прибалтийских немцев. Катков не разделял образа мыслей Д. Милютина, а Д. Милютин, сознавая это, сторонился от него также и потому, что вообще люди с самостоятельным, сильным характером никогда не привлекали его к себе.

Иначе относился к знаменитому писателю Николай Алексеевич. Замечу вскользь, что первое впечатление, произведенное на него Катковым, было совершенно ошибочно. Катков приехал к нему вместе с П. М. Леонтьевым, долго беседовали они, и вечером того же дня Николай Алексеевич сказал мне: «Эти люди как бы нарочно созданы друг для друга; мне кажется, что в умственном отношении Леонтьев гораздо выше своего приятеля, идеи зарождаются, вероятно, в его голове, но Катков неизмеримо талантливее и, овладев этими идеями, умеет так развивать и излагать их, что производит сильное впечатление». Таким образом, по мнению Н. Милютина, на первом плане у Леонтьева был ум, у Каткова же талант. Судить о них таким образом значило вовсе не знать их.

Павел Михайлович Леонтьев обладал огромными

и разнообразными достоинствами, но он во всем значительно уступал своему другу — одному из тех людей, которые рождаются веками, у которых способность глубокого и разностороннего мышления развита в высшей степени.

Впрочем, с течением времени сам Николай Алексеевич должен был, конечно, убедиться в несостоятельности своего предположения. В натуре его были некоторые черты, родственные с Катковым, и, знакомясь с ним ближе, он приходил в восхищение от него.

В высшей степени дорожил он отзывами «Московских ведомостей» о каждом из своих мероприятий. Не припомню в точности, о какой именно из законодательных мер, изготовленных им для Царства Польского, он говорил мне следующее: «Мы старались редактировать этот закон таким образом, чтобы скрыть настоящую цель, для которой он необходим; теперь было бы неудобно прямо указывать на нее; впоследствии же ничто не помешало бы нам воспользоваться законом, о котором я говорю, для осуществления дальнейших намерений. И что же? Только что обнародован был высочайший указ, как в «Московских ведомостях» появляется передовая статья, в которой говорится, что с первого взгляда принятая нами мера представляется не особенно важною, но что она получит огромное значение, если посредством ее будут разрешены со временем вот такие-то задачи. Жаль, что я не предупредил Каткова, но удивляюсь его проницательности и политическому смыслу».

Мне вовсе не приходит в голову утверждать, будто Николай Алексеевич Милютин становился во всем солидарен с Катковым, но он понимал как нельзя лучше, что это громадная и полезная сила, с которой надо считаться и к которой нельзя относиться иначе, как с почтением. Никогда не последовал бы он примеру своего брата, вступившего в непримиримую ожесточенную вражду с Катковым по вопросу, в котором не понимал ровно ничего; я должен заметить здесь, что и Катков, после того как Н. Милютин сошел со сцены, постоянно скорбел об этой тяжкой утрате: он не сомневался, что все непривлекательное в образе мыслей этого государственного человека

сгладилось бы и что мы имели бы в нем в высшей степени полезного деятеля.

В разгар борьбы по учебной реформе отношения мои к Дмитрию Алексеевичу становились с каждым днем все более натянутыми. О Каткове отзывался он не иначе как с яростью; ему известны были мои мысли о классическом образовании, потому что я неоднократно высказывал их ему; в «Журнале министерства народного просвещения», выходившем под моею редакцией, появлялись статьи, весьма для него неприятные.

Всего этого было слишком достаточно, чтобы смотрел он на меня, как на зачумленного. Но так как не было произнесено между нами ни единого резкого слова и так как по-прежнему относился он ко мне с любезностью, хотя и, видимо, притворной, то я продолжал иногда посещать его. Неприятно было, однако, что как скоро входил я в гостиную, то оживленная беседа немедленно прекращалась; очевидно, речь шла о вопросе, занимавшем тогда Милютина более, чем все дела вверенного ему министерства. Все это ставило меня в неловкое положение. Самые простые вещи возбуждали его подозрительность и усиливали его холодность ко мне.

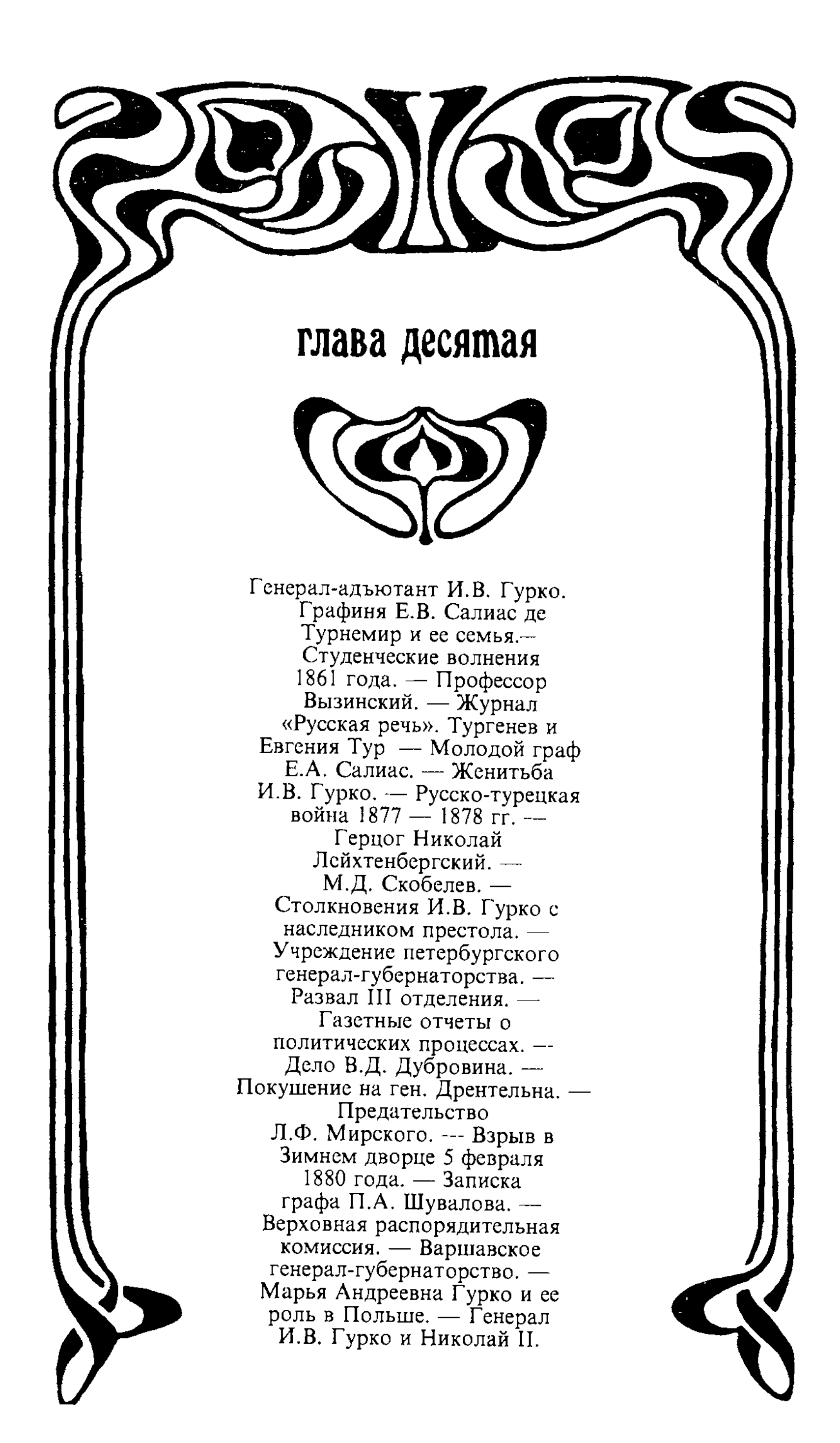
Вот, например, следующий случай: Альбединский, живший в Царском Селе, пригласил меня и Каткова к себе обедать; мы отправились вместе; при выходе на Царскосельскую платформу Катков как-то отстал от меня, а я встретился в густой толпе приехавших с Д. А. Милютиным. На приглашение его довезти меня куда нужно в своем экипаже я отвечал, что не могу воспользоваться этим, ибо приехал не один, а с приятелем, но не назвал Каткова, зная, что одно имя его приводит Дмитрия Алексеевича в содрогание. Под вечер у Альбединских, только что мы вышли из-за стола, входит лакей и докладывает: «Военный министр»...

Нет, никогда не забуду я выражения лица Дмитрия Алексеевича в эту минуту: увидав Каткова, он побледнел, его как-то передернуло, он не только не подал ему руки, но едва кивнул ему головой. Как ни старался Альбединский быть любезным, как m-me Альбединская ни помогла мужу в этом отношении,

разговор не клеился, и чрез несколько минут Милютин уехал.

Не надо забывать, что Альбединского постоянно прочили ему в преемники, и, вероятно, застав у него Каткова, он вообразил, что устраивается против него какой-то заговор...

Начиная с 1872 года прервались вовсе личные мои с ним сношения. Глубоко сожалею о той роли, которую играл он во время диктатуры графа Лорис-Меликова. Когда-нибудь разъяснится, насколько справедливо предположение многих сведущих лиц, будто самая эта диктатура была обязана ему своим происхождением.



глава десятая

Генерал-адъютант И.В. Гурко.
Графиня Е.В. Салиас де Турнемир и ее семья.— Студенческие волнения 1861 года. — Профессор Вызинский. — Журнал «Русская речь». Тургенев и Евгения Тур — Молодой граф Е.А. Салиас. — Женитьба И.В. Гурко. — Русско-турецкая война 1877 — 1878 гг. — Герцог Николай Лейхтенбергский. — М.Д. Скобелев. — Столкновения И.В. Гурко с наследником престола. — Учреждение петербургского генерал-губернаторства. — Развал III отделения. — Газетные отчеты о политических процессах. — Дело В.Д. Дубровина. — Покушение на ген. Дрентельна. — Предательство Л.Ф. Мирского. — Взрыв в Зимнем дворце 5 февраля 1880 года. — Записка графа П.А. Шувалова. — Верховная распорядительная комиссия. — Варшавское генерал-губернаторство. — Марья Андреевна Гурко и ее роль в Польше. — Генерал И.В. Гурко и Николай II.

Я очень горжусь тем, что между самыми дорогими и искренними моими друзьями находился Иосиф Владимирович Гурко, прославившийся на военном поприще[329]. Считаю долгом посвятить ему несколько страниц, между прочим, потому, что приходилось иногда слышать самые превратные о нем суждения, и это неудивительно, так как верное понятие о нем могли составить лишь весьма немногие лица, знавшие его весьма близко.

В 1861 году женился он на дочери графини Салиас, известной в нашей литературе под псевдонимом Евгении Тур[330]. Со всем семейством ее я уже задолго до того находился в дружеских отношениях; началось это с 1849 года, когда я стал давать уроки ее детям. Сама она была, бесспорно, женщина умная, образованная, талантливая, но исполненная больших странностей. Девушкой влюбилась она в известного ученого и литератора Н.И. Надеждина и ничего не желала более, как выйти за него замуж, но это встретило отчаянный отпор со стороны ее матери Марьи Ивановны Сухово-Кобылиной, о которой я уже говорил в другом месте своих записок[331]. Беспрерывно происходили по этому поводу страшные домашние сцены. Елисавета Васильевна (имя графини Салиас) готова была даже обвенчаться с Надеждиным тайно, и все было приготовлено для этого, но в назначенное время она не явилась на условленное свидание. Почему произошло это — не знаю. Кетчер, близкий в то время человек к Надеждину и энергически старавшийся устроить

благополучие своего друга, винил во всем ее; она, со своей стороны, объясняла мне свой поступок тем, что уже за несколько времени до решительной минуты начала разочаровываться в избраннике своего сердца и у нее не хватило духа перейти Рубикон. Через несколько лет после того выдали ее замуж за француза графа Салиаса; конечно, ни с той, ни с другой стороны не участвовало тут сердце; граф Салиас представлял собой самое жалкое ничтожество; пустейший хлыщ, очень кичившийся своим титулом, хотя захудалая его фамилия не пользовалась почетом во Франции, он вступил в брак с Елисаветой Васильевной единственно потому, что имел в виду порядочное приданое; он получил около 80 000 руб. и задумал тотчас же увеличить этот капитал чуть не до миллиона посредством производства в России шампанского. Он удивлялся, что русские варвары, имея у себя виноград, не умеют извлекать из него пользу, выписал из Франции виноделов, работа у него закипела; но шампанское выходило такое, что без отвращения нельзя было и прикоснуться к нему. Неизбежным результатом этого неумелого предприятия оказалась потеря всего капитала, полученного в приданое за женой. А тут еще случилась у него дуэль с каким-то московским негодяем, хромоногим Фроловым; Салиаса, как иностранца, выслали за эту дуэль из России, и он с пустым карманом отправился восвояси, где очень скоро почти забыл о существовании своей семьи.

Графиня Салиас, нисколько не обижавшаяся этим, потому что из сожительства со своим мужем не вынесла ничего, кроме презрения к нему, осталась в Москве со своими малолетними детьми. В это время состояние ее родителей было уже расстроено до такой степени, что старик Сухово-Кобылин согласился принять опеку над родственниками своей жены Шепелевыми и заняться управлением Выксунских чугунноплавительных заводов. Львиную часть из того, что еще уцелело, забрал в свои руки его сын (автор «Свадьбы Кречинского»), который находился в дурных отношениях с Елисаветой Васильевной и не давал ей ни копейки под тем предлогом, что она уже была выделена при вступлении своем в брак. Графиня Салиас очутилась в весьма затруднительном положении и, поселившись в небольшом домике на 1-й Ме-

щанской улице, жила на средства, которые уделяла ей сестра Евдокия Васильевна, находившаяся в замужестве с весьма богатым человеком — Петрово-Соловово. Главным образом с целью выйти из стесненных обстоятельств обратилась она к литературному труду, и первая ее повесть «Ошибка», напечатанная в «Современнике», имела значительный успех. Вот в это-то время я и познакомился с ней чрез посредство Т.Н. Грановского.

Не будучи в состоянии вследствие недостатка средств поддерживать связи со светским обществом, она почти совсем устранилась от него и постаралась сблизиться с литераторами. Это легко удалось ей, потому что ее уже знали в литературных кружках благодаря ее прежним отношениям к Н.И. Надеждину и тесной ее дружбе с Н.П. Огаревым. В маленькой ее квартире можно было постоянно встретить Грановского, Кудрявцева, И.С. Тургенева, В.П. Боткина, А. Д. Галахова и многих других. По первому опыту графини Салиас серьезные надежды возлагаемы были на то, что она займет видное место в литературе; к сожалению, надежды эти не оправдались и не могли оправдаться. В таланте ее не было и признака художественной жилки; она могла с горячностью изображать свои личные впечатления и чувства. влагая их в уста своих героев, но ей не удавалось создать ни одного живого лица, и, прочитав один раз какое-либо из ее произведений, никто уже не возвращался к нему.

Грановский как-то говорил мне о ней: «elle est sèche et ardente»*, и замечание это отчасти справедливо. Она вся была пыл, экстаз, восторженность, но условливалось это не сердцем, а невероятною какою-то болезненною ее нервозностью. Грановский ошибался, упрекая ее в сухости; нет, она имела полное право считать себя женщиной положительно доброю; только доброта эта как бы стушевывалась, оставалась незамеченною по сравнению с ее беспрерывными нервными порывами. Никогда, даже в очень старческие годы, не удавалось ей достигнуть неоцененного блага — душевного спокойствия; она все волновалась, выходила из себя; одно до последней крайности доведенное увлечение сменялось у нее другим, столь же

* Она суха и пламенна *(фр.)*.

крайним; беседа с ней представляла нередко очень много интересного, но гораздо чаще действовала утомительно. И, Боже мой, как любила она говорить! Это была для нее жизненная потребность, необходимое условие ее существования; она была в состоянии просиживать по целым часам даже с вовсе неумным человеком, лишь бы он с покорностью прислушивался к потоку ее речи. Под влиянием обычного своего возбуждения она постоянно создавала себе миражи, видела людей не такими, какими они были в действительности, а какими создавало их ее воображение; эта женщина, по натуре своей в высшей степени искренняя, извращала факты, выдавала за достоверное то, чего никогда не было и не могло быть, и все это отнюдь не с умыслом, а с твердою уверенностью в своей правдивости. Одно время задумала она писать свои мемуары; можно себе представить, в какой окраске явились бы там многие лица и события, особенно если принять во внимание, что к составлению своих записок приступила она в начале шестидесятых годов. От дочери ее, М.А. Гурко, я слышал, будто впоследствии все написанное ею она сама уничтожила.

Сумбурное движение, проявившееся в различных слоях нашего общества в эпоху отмены крепостного права, отразилось и на графине Салиас. Может быть, она и сохранила бы еще отчасти равновесие, если бы не гибельное влияние на нее профессора Московского университета Вызинского, который был тогда самым близким из ее друзей[332]. Это был человек умный, талантливый, весьма порядочный, но яростный поляк, только и мечтавший о полной независимости Польши, а в случае невозможности сразу достигнуть этого — о широкой административной для нее автономии. И это точно так же, как многое другое, казалось в начале шестидесятых годов возможным. Сам Вызинский был достаточно умен и образован, чтобы не симпатизировать либеральным бредням наших любителей прогресса, которых народилось великое множество, но он следовал политике своих соплеменников вроде Огрызки, Спасовича и других[333] и успел пробудить в графине Салиас безграничные симпатии к революционной партии. Дом ее сделался мало-помалу сборищем Бог знает какого люда — все это оратор-

ствовало о свободе, равенстве, о необходимости борьбы с правительством и т. п.; в 1861 году произошли в Москве студенческие беспорядки; сын графини, тоже студент (впоследствии он сделался романистом), промахнулся, не попал вовремя на площадь пред генерал-губернаторским домом, где собралась толпа его товарищей, которых разогнали или захватили жандармы; надо было видеть отчаяние графини, слышать горькие ее упреки сыну за эту невольную вину[334]. Она отвела себе душу тем, что послала в лондонский «Колокол» подробное описание тех якобы ужасных истязаний, которым подверглись несчастные виновники студенческого бунта; распаленному ее воображению казалось, что по улицам текли ручьи крови, что воздух первопрестольной Москвы оглашался стонами раненых; все это она изобразила, как будто нечто подобное происходило на самом деле, но даже Герцен, при всей своей неразборчивости относительно памфлетов, напечатал письмо графини Салиас с оговоркой, что возлагает на автора ответственность за достоверность сообщаемых им сведений. Вообще жаль было смотреть тогда на эту женщину, хорошую и умную, которую успели совсем сбить с толку. Она говорила, что ей даже не совсем безопасно показываться на улицах, ибо популярность ее между студентами так велика, что они, пожалуй, отпрягут лошадей и повезут ее на себе[335].

Еще в то время, когда только начинал обнаруживаться переворот в графине Салиас, она порвала свои дружеские связи с Катковым и П. М. Леонтьевым. Вина эта лежала на Вызинском. Леонтьев обратил на него внимание, когда еще он был студентом; руководил его своими советами, дал ему средства отправиться за границу, а вскоре затем доставил ему кафедру в университете. Вообще возлагал он на Вызинского большие надежды, но Вызинский, ежедневно посещавший редакцию «Русского вестника», тесно связанный с нею, не мог не убедиться, что не в состоянии идти по одной дороге с людьми, которым был обязан так много. Польский вопрос еще не становился на очередь; приходили известия о глухом брожении в Польше, но это не казалось особенно странным, ибо брожение охватило тогда всю Россию; едва ли кто предполагал, что нам угрожает кровавая

борьба с поляками. Тем не менее для Вызинского не могло быть сомнительным, что польские притязания должны встретить суровый отпор со стороны Каткова и Леонтьева. Отсюда постепенно усиливавшееся охлаждение его к ним, перешедшее даже в явное недоброжелательство. Очень искусно умел он восстановить и графиню Салиас против ее друзей. Поводом к разрыву послужила статья ее в «Русском вестнике» о г-же Свечиной, — статья, к которой Катков счел необходимым присоединить небольшую оговорку, не содержавшую ровно ничего оскорбительного, но графиня Салиас пришла в негодование[336]. Началась полемика. Вызинский выступил по этому поводу со статьей в «Московских ведомостях». Несколько времени спустя графиня Елисавета Васильевна решилась употребить небольшой капитал, подаренный ей сестрою, на литературное предприятие — это казалось ей хотя и весьма рискованным, но единственным средством выйти из стесненных обстоятельств. Она основала журнал «Русская речь». Мне трудно было отвечать отказом на неотступные ее просьбы принять деятельное участие в этом издании, в успех которого я нисколько, впрочем, не верил; я вполне сознавал, что вовсе не обладаю способностями публициста, но при давнишней моей дружбе с нею как было отвернуться от нее, когда, можно сказать, она все ставила на карту. Разумеется, Каткову было неприятно принятое мною решение, и мы расстались с ним. Впоследствии, когда недоброжелатели Михаила Никифоровича упрекали его, что он не уживался с самыми близкими своими сотрудниками, то в доказательство этого ссылались, между прочим, и на меня; по словам их, даже я, несмотря на горячие к нему симпатии, не в состоянии был подчиниться его деспотической натуре. Все это чистейший вздор. Никогда не происходило у меня ни малейших столкновений с Катковым; временный разлад мой с ним произошел именно так, как объяснено мною. Вообще же эпизод с злополучною «Русскою речью» оставил во мне самые неприятные воспоминания[337].

В 1862 году графиня Салиас уехала за границу, ибо пребывание в России казалось ей невозможным вследствие какого-то правительственного гнета. Вызинский был уже в Париже, где поселилась и она.

Тогда произошла в ней другая метаморфоза. Вспыхнул польский мятеж, и графиня Елисавета Васильевна сделалась исступленною поборницей поляков. Надо заметить, что она была женщина образованная, много читала, но чтение ее отличалось узкою односторонностью; ее занимали преимущественно беллетристика, мемуары или сочинения психологические, посвященные анализу душевных свойств или житейских отношений; все же, выходившее из этого круга, оставляло ее более или менее равнодушною; ум ее не интересовался, например, историей в сколько-нибудь серьезных произведениях. (Судьбы Польши и вековая распря этой страны с Россией были известны ей так же мало, как история Китая; она видела в поляках только несчастных, ни в чем не повинных жертв и, безусловно преклонялась пред ними. Очень сожалею, что у меня не сохранились письма, которые я получал от нее в это время, письма, наполненные проклятиями Каткову и Аксакову: они представили бы любопытный образец, до какого абсурда могла она доходить в своем увлечении.)

(Вызинский, относившийся — пока находился в России — весьма дружелюбно к нашим демократам, игравшим на руку полякам, в сущности, глубоко презирал их; в Париже занял он место секретаря при князе Владиславе Чарторыйском и всего хорошего ожидал для своей «ойчизны» главным образом от польской аристократии.) Он проник в салоны этой аристократии, и благодаря ему, а также Клачко и графиня Салиас познакомилась со многими знатными польскими дамами; вообще все польки были в глазах ее героинями, Жаннами д'Арк, образцами всяких добродетелей. Они были яростными католичками, и у нее, относившейся до тех пор к религии довольно индифферентно, вдруг обнаружилось поползновение к католицизму. Впрочем, она не приняла католическую веру, а усвоила себе какие-то мистические верования, какую-то особенную религию, сущность коей не поддавалась пониманию, потому что она сама неохотно говорила о ней; по возвращении графини Салиас в Россию можно было видеть у нее на стенах множество образов и православных и католических наряду с амулетами, ладанками и т. п. (От прежнего увлечения ее демократическими идеями не осталось и следа; она

вспомнила, что в течение долгого времени принадлежала к высшему московскому обществу и снова сблизилась с ним; вместо того чтобы проклинать деспотизм, она только и говорила теперь о необходимости непоколебимо твердой правительственной власти; на столе ее не было места ни для одной газеты или журнала с либеральным направлением. Все это совершилось во время пребывания ее в Париже. (И. С. Тургенев, которого она не любила и который мстил ей за это ядовитыми остротами, приехав оттуда, говорил мне: «Вы не узнали бы графиню — давно ли она, надев на голову красный чулок, пела "Марсельезу", а теперь только и мечтает, что о восстановлении во Франции Бурбонов, и пишет по-старинному «vive le Roi» с «y» на конце»[338].)

После неудачи польского мятежа Вызинский совершенно упал духом, но особенно доконала его Восточная война. Успехи нашего оружия в Турции он истолковал таким образом, что с этого момента упрочится долговечный и тесный союз России и Германии и что надо проститься навсегда с помыслами о восстановлении Польши. Это ли разочарование или какие-нибудь частные обстоятельства (до меня доходили лишь смутные о нем известия), но он покончил жизнь самоубийством, бросившись в Сену. «Если бы я была в Париже, этого не случилось бы», — сказала как-то однажды при мне графиня Салиас. Вообще же она хранила глубокое молчание, когда упоминали в ее присутствии о Вызинском.

По характеру своему графиня Елисавета Васильевна никогда не могла заняться хозяйством, и в доме ее царил порядочный хаос; воспитание детей было также нелегкою для нее обузой; она горячо их любила и, конечно, принесла бы для них всякие жертвы, только нельзя было требовать от нее постоянного внимания и руководства. Учились они кое-как, но никто не отказывал им в известной степени умственного развития, которое приобретали они, находясь постоянно в гостиной своей матери, где до поздней ночи не прекращалась беседа de rebus omnibus et de quibusdam aliis. Сыну удалось даже поступить в университет, и в то странное время, когда не студенты у профессоров, а профессора находились в подчинении у студентов, он, по всему вероятию, благополучно кончил бы курс,

если бы графиня Салиас, уехавшая в начале шестидесятых годов в Париж, не вызвала его туда. Она опасалась, что если и приобретет он кое-какие знания, то вместе с тем усвоит гибельное, то есть консервативное, направление, а мальчик был очень рад оторваться от скучных занятий. Мне приходилось говорить в моих записках о Шепелевых: молодой Салиас был, конечно, одним из выдающихся представителей шепелевской породы, талантливой, но взбалмошной и отличавшейся удивительными причудами; с течением лет литература сделалась для него не чем иным, как ремеслом, и он плодил свои произведения целыми томами, занимаясь одновременно писанием трех или четырех романов для разных периодических изданий.

Старшая дочь графини Салиас Мария Андреевна рано должна была думать о том, как устроится ее жизнь; при полном отсутствии средств будущее представлялось далеко не в заманчивом свете; единственным выходом для нее служило бы удачное замужество, но за кого выйти замуж? В начале шестидесятых годов дом ее матери сделался в Москве одною из главных квартир весьма невзрачных поборников всякой либеральной чепухи. К счастью своему, Мария Андреевна поехала в 1861 году на некоторое время в Царское Село к своему родственнику князю Яшвилю, командиру лейб-гусарского полка. Вскоре получено было известие, что там сделал ей предложение служивший до того времени в этом полку флигель-адъютант И. В. Гурко. Я увидел его в первый раз, когда он приехал в Москву женихом.

Имя его было мне, впрочем, знакомо, ибо еще в ранней моей молодости отец его командовал — не помню, полком или бригадой — на моей родине в Калуге, где он оставил по себе отличную память[339]. От отца и матери я часто слышал похвалы ему. И впоследствии отзывы о нем в печати доказывали, что это был человек высоких нравственных качеств и строгого сознания своего долга. Иосиф Владимирович считался в гусарском полку одним из лучших офицеров; когда тотчас вслед за манифестом об освобождении крестьян флигель-адъютанты посланы были в разные губернии, чтобы следить на месте за введением реформы, и он отправился в Самару. Поручение, возложенное на него, было исполнено им как нельзя лучше.

Нелишним будет заметить здесь, что Иосиф Владимирович оказался одним из тех помещиков, которые в упомянутое время отнеслись к крестьянам весьма гуманно. Он не принадлежал к числу богатых людей, у него было лишь небольшое поместье — сельцо Сахарово в Тверской губернии, но при своем крайне скромном образе жизни никогда не нуждался в средствах, тем более что — как впоследствии я слышал от него — задался он мыслью, что ему суждено прожить свой век холостяком. С бывшими своими крепостными расстался он на весьма льготных для них условиях и даже подарил им лес. Впрочем, щедрость эта не пошла впрок: года чрез три или четыре после женитьбы Иосифа Владимировича от леса не осталось и следа.

По заведенному порядку Гурко должен был явиться к государю, чтобы испросить позволение вступить в брак. Надо сказать, что Александр Николаевич относился к нему до этого времени с большою благосклонностью. Это выразилось и теперь, когда Гурко объяснил ему, в чем состоит его просьба.

— Очень, очень рад, — сказал государь, держа его за руку, — давно пора тебе обзавестись семьей; искренно желаю тебе счастья; кто же твоя невеста?

— Дочь проживающей в Москве графини Салиас.

Невозможно себе представить, какая резкая перемена произошла в государе. Лицо его омрачилось, он быстро отдернул руку.

— Надеюсь, — произнес он, — что дочь не разделяет образа мыслей своей матушки?

— Могу уверить ваше величество, — отвечал Гурко, — что об убеждениях графини Салиас я могу судить только по слухам; никогда не высказывала она их в моем присутствии, ибо не может не понимать, что это было бы в высшей степени неуместно с ее стороны, если они действительно таковы, как приписывают ей.

Государь только махнул рукой и ушел в свой кабинет.

Иосиф Владимирович говорил правду. Действительно, не только в то время, когда он был женихом, но и вообще графиня Салиас не решалась высказывать что-нибудь идущее вразрез с его образом мыслей. Это не потому, чтобы когда-нибудь произошло

между ними столкновение; напротив, Иосиф Владимирович был чрезвычайно к ней почтителен и внимателен, ни разу не позволил себе ни единого слова, которое могло бы раздражить или оскорбить ее, но он импонировал ей своею сдержанностью, сосредоточенностью и заставлял ее невольно преклоняться пред силой своего характера. Трудно было бы представить себе две столь противоположные натуры, и натура болезненно впечатлительная, нервная, но слабая инстинктивно уступала натуре энергической.

Последствия доказали, что государь долго не хотел простить Иосифу Владимировичу его женитьбы. Молодые поселились в Царском Селе, где Гурко довольствовался лишь весьма ограниченным кругом знакомых; он как бы сделался опальным, никакого назначения не получал, к немалому удивлению своих сослуживцев, которые не имели и понятия о том, что произошло между ним и государем. В то время, то есть при императоре Александре Николаевиче, флигель-адъютантство значило очень много; счастливые смертные, удостоивавшиеся этого назначения, имели основание рассчитывать, что пред ними открывается широкий путь к почестям; если кто-нибудь из них не умел воспользоваться выпавшим на его долю счастьем, то, по общему мнению, должен был винить уж самого себя, свою неспособность. Нередко слышал я неодобрительные отзывы в этом смысле и о Гурко. Он сам отлично сознавал, что, к величайшему своему счастью, не обладает свойствами, которые казались необходимыми для составления карьеры.

— Что делать, — говорил он с усмешкой, — ведь я из плохеньких флигель-адъютантов, куда мне гоняться за другими.

Действительно, подражать другим он был решительно не в состоянии. Впоследствии имел он немало недоброжелателей; вероятно, в мемуарах или письмах кого-нибудь из этих лиц окажутся резкие о нем отзывы, но я заранее уверен, что, как бы эти отзывы ни были ему враждебны, ни в одном из них не встретится ему упрека в искательстве или в малейшей наклонности к интригам. Он отличался — и даже нередко до излишества — совершенно противоположными свойствами. Заметив неблагосклонное к себе отношение высших мира, он замыкался в самом себе, считал

долгом сторониться от них, не подать повода думать, что дорожит их вниманием. Гордость, происходившая от глубокого сознания собственного достоинства, развита была в нем до щепетильности. Последующий мой рассказ представит доказательство этого.

Прошло не помню сколько времени, и гнев государя смягчился. Гурко был послан командовать одним из кавалерийских полков на юге России, а затем был назначен командиром конногренадерского полка, расположенного в Петергофе. И в этом городе, как прежде в Царском Селе, жил он весьма уединенно, принимая только немногих близких своих друзей и тщательно уклоняясь от сношений с высшим обществом единственно потому, что не хотел занимать в нем второстепенное положение.

Семейная жизнь вполне его удовлетворяла, она была для него таким счастием, выше которого он ничего не желал для себя. С женой он жил душа в душу, обожал ее, малейшая ее прихоть была для него законом. Марья Андреевна со своей стороны платила ему такою же любовью; следует заметить, однако, что характеры их были совершенно различны; она была бы не прочь окунуться в омут светской жизни, играть видную роль, найти пищу своему тщеславию — словом, отличалась наклонностями, находившимися в резком противоречии с чисто спартанскими свойствами характера ее мужа.

Кому не был известен домашний мир Иосифа Владимировича, тот не мог верно судить о нем; обыкновенно выставляли его человеком суровым, надменным, неуживчивым, человеком с сухим сердцем; я мог бы назвать несколько лиц, которые по служебным обязанностям, не знавши его до тех пор вовсе, должны были стать в близкие к нему отношения, — как они боялись этого, с каким предубеждением подступали к нему! Но когда мало-помалу проникали они в интимный его кружок и могли приглядеться к своему начальнику, то от тех же людей неизменно слышал я одно и то же: «Так это-то грозный Гурко, которого изображают чуть ли не зверем!»

Очень давно, еще во время моего студенчества, Т. Н. Грановский рассказывал однажды при мне со слов какого-то старика, который состоял адъютантом

при Барклае де Толли, о характере и частной жизни этого знаменитого полководца; рассказ отличался свойственным Грановскому мастерством; пред нами выступал совершенно живой образ героя 1812 года: как я сожалел, что не записал тогда же, что удалось мне слышать! Общим впечатлением была поразительная двойственность в фигуре Барклая — непреклонная его твердость во всем, что касалось служебного дела и гражданских обязанностей, и совершенно детская мягкость в домашней жизни, особенно в отношениях к жене.

Сколько раз припоминал я рассказ Грановского, думая о Гурко. В сохранившихся у меня его письмах находится одно, адресованное им к моей жене вскоре после его женитьбы, когда он был командирован, кажется, для рекрутского набора в Вятку. Вот несколько строк из этого письма:

«Я гораздо спокойнее, зная, что если — чего Боже сохрани и избави — жена моя заболеет или что-нибудь с ней случится, то есть около нее близкие люди, которые ее не покинут и окажут ей сердечное участие. Но, несмотря на это, сердце мое далеко не спокойно; от души не желаю вам испытать такую долгую и дальнюю разлуку с вашим мужем. А что меня особенно тревожит, это то, что Мари, лишенная, как вы знаете, всякой силы воли и характера, не сумеет найти в самой себе достаточно твердости, чтобы покориться судьбе и терпеливо перенести эту разлуку. Ради Бога, поддержите ее морально. Ее письма так мало говорят мне об ее моральном настроении, что я решаюсь прибегнуть к вам с покорнейшей просьбой написать мне, если у вас найдется свободная минута, по чистой совести, как Мари себя чувствует, как переносит свое горе, здорова ли она, спокойна ли она; что меня особенно тревожит, это чересчур плодовитое ее воображение... За каждый раз, что вы посетите мою жену, я, вернувшись, поклонюсь вам в ножки».

Как сказано выше, письмо это относится к первым годам супружеской жизни Иосифа Владимировича, но с течением времени его страстная привязанность к жене все возрастала, так что в отсутствие ее он казался совершенно растерянным человеком. Трудно было бы указать на более чадолюбивого отца. Судьба его не пощадила: двое младших его сыновей в разное время умерли в раннем, почти младенческом возрасте, и надо было видеть его страдание — он рыдал по целым дням как ребенок; даже долго спустя лицо его

мучительно искажалось, если кто-нибудь неосторожно упоминал о понесенной им утрате.

Образование Гурко получил весьма посредственное. Он сам сознавался, что к нему и к его товарищам по Пажескому корпусу вполне применялись слова, что учились они чему-нибудь и как-нибудь. Французским языком владел он отлично, а по-русски писал плохо и даже с орфографическими ошибками. Недостаток своих сведений старался он пополнить чтением весьма разнообразным, причем, конечно, первое место принадлежало книгам военного содержания. Выше военного дела для него ничего не существовало — все его помыслы были главным образом обращены в эту сторону.

События на Балканском полуострове вовлекли Россию в войну с Турцией. Правительство наше имело бы, конечно, возможность избежать войны, если бы хоть сколько-нибудь ясно сознавало, чего оно хочет и какие должно преследовать задачи; к сожалению, именно этого-то сознания ему и недоставало. Подобно тому как в реформах своих шло оно наугад, само удивляясь потом, какое значение и характер получали эти реформы в практическом своем применении, так и во внешней своей политике руководилось оно не зрело обдуманною программой, а случайными впечатлениями. Как бы то ни было, война разразилась. В первое время отчаяние овладело Иосифом Владимировичем, когда сделалось известным, что гвардия не примет участия в военных действиях; он не мог примириться с этою мыслью, проклинал свою судьбу и даже — чего никогда не случалось с ним — обращался с суровыми упреками к жене, имевшей, по весьма понятному с ее стороны чувству, бестактность обнаруживать радость по поводу того, что он остается в Петербурге.

Расположению, которое ему оказывал великий князь Николай Николаевич, обязан был Гурко тем, что его вызвали на театр войны. Получив известие об этом, он употребил на сборы не более суток и полетел к действующей армии. Замечательно, что для людей, близко знавших его, не представлялось ни малейшего сомнения, что его ожидает там блестящая будущность. Вера в его звезду основывалась на том, что по характеру своему Иосиф Владимирович пред-

ставлял редкое исключение в нашем обществе: если был он в чем-нибудь убежден, то ни на минуту не колебался принять на себя полную ответственность за свои распоряжения и действия; если задавался какою-нибудь целью, то шел к ней с непреклонною настойчивостью; если считал что-нибудь справедливым и необходимым, то высказывал свое мнение и настаивал на нем, не обращая никакого внимания на то, понравится ли оно в высших сферах или нет. Железная его воля и энергия не смущались никакими препятствиями. Подобные характеры вообще у нас редки, а в то время и при тогдашнем режиме представлялись чем-то совершенно необычайным.

Конечно, не мне, совершенно не компетентному лицу, подлежит произносить суждение о подвигах Иосифа Владимировича. Сколько раз убеждал я его впоследствии, чтобы он занялся составлением записок об этом славном периоде в своей жизни; он сам считал это необходимым и иногда имел даже для этого достаточно свободного времени, но, кажется, успел набросать лишь весьма немного. По окончании войны приходилось слышать о Гурко противоположные суждения; если одни, безусловно, его восхваляли, то другие относились к нему с явным недоброжелательством; последнее весьма понятно: человек, державшийся до тех пор в стороне от всех и вдруг поднявшийся на такую высоту, должен был неминуемо возбуждать завистливое чувство[340]. Кто только ни порицал его — даже люди, игравшие при нем самую жалкую роль, как, например, герцог Николай Лейхтенбергский[341]: этот князек, очутившись на театре военных действий, совершенно растерялся, когда ему пришлось командовать одним из отдельных отрядов во время первого похода за Балканы, — растерялся до того, что прислал Иосифу Владимировичу письмо, в котором, сознаваясь в своей неспособности, умолял, чтобы поскорее прислали ему преемника. Гурко был даже тронут этою чистосердечною откровенностью человека, который очутился в совершенно не свойственной ему роли, и расстались они в хороших отношениях. По заключении мира, когда все документы были переведены в Петербург, письмо оказалось выкраденным. Герцог Лейхтенбергский, оправившись от неприятных впечатлений, не захотел, конечно, чтобы со-

хранился в архиве выданный им самому себе аттестат; оградив себя с этой стороны, он разносил Гурко в пух и прах, критикуя беспощадно все его действия... Таких примеров можно было бы привести немало.

В мнении большинства публики Скобелев[342] был окружен гораздо более блестящим ореолом, чем Гурко. Это и понятно. Скобелев находился в числе моих слушателей, когда я был профессором Академии генерального штаба; я знал его лично, и наши добрые отношения никогда не изменялись. Это была демоническая натура, одинаково способная на добро и зло; в обществе человек, по-видимому, скромный, но изумлявший своих приятелей самым безобразным развратом; готовый жертвовать жизнью на поле сражения, но, как ловкий актер, всегда с расчетом на эффект; выше всего ценил он популярность, и никто не умел так искусно приобретать ее; не без основания Д. А. Милютин называл его необычайно одаренным кондотьером. Самую резкую противоположность Скобелеву представлял собой Гурко, который выше всего ставил долг и, исполняя его, вовсе не заботился о том, какое составится о нем мнение. Такие чисто пуританские натуры, лишенные внешнего блеска, не производят впечатления на толпу. Таким был Барклай[343]. Но я убежден, что потомство оценит Гурко по достоинству. Не прискорбно ли было слышать, что его упрекали в сухости, даже черствости сердца, не понимая, что если он был неумолимо строг в своих требованиях, нередко заставлял своих подчиненных жаловаться на непосильные труды, то единственно по той причине, что был безжалостен к самому себе; говорили, будто он не щадил солдат, — со временем будут, конечно, обнародованы письма его с театра войны к жене: тогда увидят, как относился он к солдату.

По окончании войны Гурко был оставлен в стороне. Император Александр Николаевич был к нему весьма милостив, но не дал ему никакого назначения, вероятно, потому, что не хотел раздражать его недоброжелателей, во главе коих находился сам наследник престола. Нетрудно было уразуметь причину этой вражды. Когда гвардию потребовали на театр военных действий, то цесаревич рассчитывал, что будет поставлен в ее главе и поведет ее к победам. И вдруг начальство над гвардией вверено было Гурко.

Если государь решился на такую меру, то, конечно, потому, что положение дел представлялось до крайности критическим; невозможно представить себе, какое удручающее уныние господствовало в обществе вследствие наших неудач под Плевной; печальные известия, приходившие изо дня в день, внушали даже мысль, что все пропало, что после стольких тяжких жертв нам суждено заключить далеко не блестящий мир[344]. Среди таких обстоятельств нельзя было шутить, вручая командование войсками великим князьям, и государь остановил свой выбор на Гурко, который внушал ему невольное уважение своею опытностью и энергией[345]. Друзья наследника пришли в негодование, а главный из них, граф Воронцов-Дашков, не захотел даже принять должность начальника штаба гвардейского корпуса: конечно, это была небольшая потеря, ибо если судить о человеке следует по его делам, то Воронцов всегда — и прежде и после — являлся жалкою посредственностью[346]. Что касается наследника, то он находился совершенно под влиянием своего интимного кружка и смотрел на все его глазами; ненавидеть Гурко он не имел причины, так как во время войны никогда не сталкивался с ним; он составил себе понятие об Иосифе Владимировиче по доходившим до него сплетням и пересудам; тем не менее по возвращении в Петербург он имел бестактность обнаруживать свое недоброжелательство к нему даже в весьма неприличной форме. Гурко явился представиться ему и, не застав его, расписался; на другой же день, встретившись с ним на разводе в Михайловском манеже, счел он долгом спросить, когда его высочеству будет угодно принять его, и получил ответ: «Меня никогда не бывает дома». Странное отношение к человеку, оказавшему, однако, кое-какие услуги! Затем в Зимнем дворце, в годовщину не помню какого сражения за Балканами, государь предложил тост за отличившиеся в этом бою войска под начальством Гурко и чокнулся с ним, сказав: «Пью в этот славный день за твое здоровье». Цесаревич слишком явно сделал знак своей супруге, сидевшей рядом с Иосифом Владимировичем, чтобы она его не поздравляла, а сам и не прикоснулся к своему бокалу. Можно было бы упомянуть еще о нескольких выходках в том же роде. Достаточно ясно свидетельствовали они, что

наследник престола возненавидел Гурко чуть ли не сильнее, чем ненавидел во время войны турок...

Иосиф Владимирович поселился в деревне со своею больною женой, которая по заключении перемирия ездила к нему в С.-Стефано и схватила там изнурительную лихорадку. Это было не совсем удобно, ибо по близости не находилось хороших докторов, которые могли бы следить за болезнью, но Иосиф Владимирович с обычною своею щепетильностью во всем, что касалось его личного положения, не захотел остаться в Петербурге, где непременно стали бы распускать слухи, будто он старается получить какое-нибудь назначение. «Только и возможно жить, как я живу, — писал он мне, — то есть в деревне, никого не видя и стараясь никого не видать. Было бы у меня состояние, был бы я свободный человек». Последние слова объясняются тем, что он серьезно помышлял о совершенном удалении от службы; только недостаток средств заставлял его не выходить в отставку. Раза два приезжал я к нему в Сахарово, где он посвящал свои досуги чтению преимущественно таких русских и иностранных книг, которые относились к последней войне. Печальное зрелище представляло это одиночество после недавних страшных тревог боевой жизни.

Результаты войны разочаровали всех, возлагавших на нее самые радужные надежды. Одно время, после окончательного разгрома турецких войск, возникла даже уверенность, что мы займем Константинополь, но и это оказалось лишь праздною мечтой. Могу здесь упомянуть о следующем обстоятельстве: когда наступило перемирие, Гурко испросил позволение приехать в Петербург повидаться с семейством; при первом свидании с ним государь, очень озабоченный тем, что дела принимали далеко не благоприятный оборот, пожелал знать мнение Иосифа Владимировича, можно ли еще овладеть Константинополем, если необходимость заставит прибегнуть к энергическим мерам. Гурко отвечал отрицательно.

— Теперь дело уже испорчено, — сказал он, — но была минута, когда подобная попытка представляла значительные шансы успеха; к сожалению, мы ее пропустили...

— Знаю, — воскликнул государь, — что в этом об-

винят меня, но обвинения будут несправедливы; вот, — при этом он вскочил с места и, быстро подошедши к шкафу, указал на картонку с бумагами, — вот документы, которые докажут, что я был введен в заблуждение Шуваловым, положившимся на фальшивые уверения английского правительства. Впоследствии граф П. А. Шувалов составил записку о переговорах своих с английскими министрами в упомянутое время; я имел возможность ознакомиться с этим документом, изложенным, разумеется, по-французски, получив его от зятя Шувалова, генерала Д. С. Нагловского (начальника штаба Гурко); не думаю, чтобы аргументация графа Петра Андреевича показалась кому-нибудь убедительною. Любопытно, однако, что гораздо позднее император Александр Александрович, не любивший его, изменил о нем свое мнение именно по вопросу, в котором он своим образом действий никому не внушал симпатий. На другой день по смерти графа П. А. Шувалова в газете «Новое время» появилась статья о нем, бестактная в том отношении, что неприлично произносить суровый приговор о деятельности человека, которого еще не успели похоронить, но, в сущности, не содержавшая ничего такого, что не было еще прежде высказываемо в нашей печати; статья эта вызвала сильное неудовольствие в высших сферах; государь был очень раздражен ею. «Шувалова порицали, — сказал он графу Д. А. Толстому, — за его уступчивость англичанам, но это несправедливо; мы все ошибались на его счет». Графу Дмитрию Андреевичу /Толстому/ поручено было сообщить Гирсу, чтобы немедленно была составлена для «Правительственного вестника» похвальная статья о дипломатической деятельности покойного; граф, вернувшись из Гатчины, чувствовал себя не совсем хорошо и попросил меня съездить к министру иностранных дел. Тут я убедился, что даже Гирс не принадлежал к числу поклонников Шувалова; он был в отчаянии от возложенного на него поручения и решительно недоумевал, удастся ли ему выставить в привлекательном свете то, что, в сущности, вовсе не было привлекательно[347]. Но я уклонился в сторону. Мне хотелось только заметить, что если война не удовлетворила патриотическое чувство, то не сбылись также надежды некоторых лиц, между прочим, Каткова, что она освежит

атмосферу, даст более здоровое направление умам и положит конец революционной агитации. Напротив, нигилизм усилился более чем когда-нибудь; в среде его образовалась нигилистическая партия, решившаяся действовать ножом и динамитом; покушение Веры Засулич на жизнь генерала Трепова послужило началом[348]... Правительство окончательно растерялось.

Среди таких обстоятельств неожиданно вызван был Иосиф Владимирович на новое поприще.

Кто-то подал государю Александру Николаевичу мысль прибегнуть к решительным мерам для борьбы со злом, а именно: в некоторых важнейших городах создать власть с чрезвычайно широкими полномочиями, нечто вроде диктатуры. Намечены были и люди для выполнения такой роли — Гурко в Петербурге, Лорис-Меликов в Харькове, Тотлебен в Одессе. Можно ли было придумать что-нибудь неудачнее этого! Упомянутые лица пользовались громкою и заслуженною известностью; имена их произносились с уважением всеми, кому дорога отечественная слава; казалось, следовало бы их щадить, не ставить их в фальшивое положение, не возлагать на них совершенно не свойственных им обязанностей, но Александр Николаевич задался мыслью, что для борьбы со злоумышленниками нужна энергия, а кто же лучше отвечал этому условию, как не Гурко, Тотлебен и Лорис-Меликов? Разве недостаточно энергии обнаружили они на войне? Упускалось только из виду, что борьба с неприятелем в открытом поле и борьба с шайками, скрывавшимися в трущобах, не одно и то же, что если для одной из них требуется полководец, то для другой полководца вовсе не нужно.

Гурко был поражен как громом, получив приказание явиться из деревни в Петербург, ибо ему уже успели сообщить, что ожидает его там. Тотчас по приезде он посетил меня, и из разговора с ним я мог убедиться, что он обсуждает положение дел как нельзя более верно. Он решился употребить все усилия, чтобы отклонить предстоявшее ему назначение, но, к сожалению, не успел в этом, ибо воля государя была непреклонна. Иосиф Владимирович обстоятельно доказывал ему, что именно в Петербурге генерал-губернатор с такими почти неограниченными правами, какие хотели ему предоставить, очутился бы в фаль-

шивом положении: Петербург — постоянная резиденция самого монарха; все восходит к нему, и одно его слово может парализировать распоряжения его уполномоченного; генерал-губернатор не мог бы избежать столкновений с министрами, которые, весьма естественно, должны были относиться не совсем дружелюбно к человеку, которому пришлось бы вмешиваться в сферу их деятельности и тем самым оскорблять их самолюбие; неминуемо возникло бы соперничество и антагонизм. Затем, новую должность создавали с целью противодействовать распространению революционного движения, но для этого существовало особое ведомство — III отделение Собственной е. в. канцелярии; начальник его пользовался правами министра; при чем же был бы тут Гурко? Он служил бы не более как пятой спицей в колеснице. Иосиф Владимирович допускал, что можно создать чрезвычайную власть в провинции; Лорис-Меликов в Харькове или Тотлебен в Одессе явились бы полными хозяевами дела, все местные власти беспрекословно повиновались бы им, они могли бы действовать вполне самостоятельно, на свою ответственность, но на рыхлой почве нашей Северной Пальмиры нельзя и помышлять ни о чем подобном.

Государь не убеждался, однако, никакими доводами.

— Тебе нечего опасаться столкновений с Александром Романовичем (Дрентельном, начальником III отделения), — говорил он, — я убежден, что вы будете действовать всегда в тесном согласии.

—В добром расположении ко мне Александра Романовича я нисколько не сомневаюсь, — отвечал Иосиф Владимирович, — но столкновения могут происходить даже помимо нашей воли.

— Я буду судьей между вами.

Все возражения государя были в том же роде и нисколько не успокаивали Гурко. Он умолял оставить его в стороне. Разговор был продолжительный, и наконец государь, видимо, недовольный упорством Иосифа Владимировича, заметил:

— Понимаю, что назначение тебе не нравится; оно сопряжено с опасностями, которые ничего лестного не представляют; что за удовольствие иметь дело с убийцами из-за угла...

— Я доказал, кажется, что опасностей не боюсь, но как скоро ваше величество изволите указывать на них, — возразил Гурко, — то все мои сомнения устраняются: я готов исполнить вашу волю.

Государь расцеловал его. Таким образом, состоялось назначение Иосифа Владимировича. Он принял его с сокрушенным сердцем, потому что дорожил репутацией, приобретенною им на военном поприще, и не без основания опасался, что репутация эта пострадает, как скоро заставили его принять на себя обязанности, к которым он вовсе не был подготовлен.

В либеральных кружках тотчас же затрубили, что наступил правительственный террор, что личная безопасность и чуть ли не жизнь каждого гражданина ничем не ограждена; распускали слухи, будто целые семейства, никогда не занимавшиеся политикой, покидали Петербург и под влиянием овладевшей ими паники спешили укрыться где-нибудь в деревенской глуши. Какая злая насмешка! С первого взгляда действительно казалось, что водворился давно уже не бывалый порядок вещей, но все это было не более как мираж, грубо намалеванная декорация.

Указ о назначении Гурко появился очень скоро после приезда его в Петербург; ему следовало тотчас же вступить в должность, а при нем не находилось ни единого чиновника для ведения дел; надо было приискать правителя канцелярии, что представлялось для Иосифа Владимировича весьма трудною задачей, так как гражданский чиновный мир был ему совершенно не известен. Министр внутренних дел вызвался помочь ему и рекомендовал для упомянутой должности человека, за которого ручался во всех отношениях: то был Д. П. Еремеев[340], незадолго пред тем губернатор в /Симбирске/, где он приобрел репутацию отчаянного ловеласа, — порядочный хлыщ и пустой малый. К счастью, Иосиф Владимирович уже по собственному выбору приблизил к себе Баранова, героя «Весты»[350]; некоторые — главным образом приверженцы великого князя Константина Николаевича — сомневались в его геройском подвиге, хотя не могу судить, насколько основательно; не подлежит, однако, ни малейшему сомнению, что обладал он замечательными способностями и энергией и мог бы на всяком поприще ока-

зать значительные услуги, если бы не одолевала его непомерная наклонность к интригам и фокусам, чтобы выдвинуться вперед. Вообще в нравственном отношении это была незавидная личность. Вся его фигура, манеры, разговор отзывались чем-то неискренним; он способен был работать неутомимо с утра до ночи, но можно, кажется, безошибочно предположить, что одушевлял его не столько интерес к делу, сколько непомерное честолюбие.

Для Иосифа Владимировича наступил самый печальный период в его жизни; он постоянно находился в мрачном настроении духа и жаловался на судьбу. И действительно, разве не был он прав, когда утверждал, что разыгрывает роль исполнителя чужих распоряжений? Третье отделение арестовывало людей, заподозренных в анархических замыслах, держало их в заточении, вело о них следствие, которое и препровождало потом на усмотрение Гурко: от него зависело предать или нет виновных суду, а также утвердить или смягчить состоявшийся приговор. Но разве обязанности эти не могли быть возложены на министра юстиции? Иосиф Владимирович не был в состоянии следить за деятельностью тайной полиции, не мог беспрерывно обращаться к Дрентельну с расспросами и подавать ему советы. Конечно, он имел на это право, но в сущности это было бы не более как праздное любопытство с его стороны. Из нескольких случаев приведу для примера один: III отделение получило сведения, что какой-то злоумышленник (не помню его фамилию), бежавший в Швейцарию, возвращается оттуда — разумеется, с фальшивым паспортом — в Россию; оно арестовало его на нашей границе; никаких бумаг и писем при нем не оказалось; очевидно, он намеревался вступить в личные сношения со своими сообщниками в Петербурге и весьма благоразумно со своей стороны не имел при себе ничего, что могло бы его компрометировать. Иосиф Владимирович выразил сожаление в беседе с А. Р. Дрентельном, что жандармерия поспешила с его арестованием, ибо если бы в Петербурге следили за ним шаг за шагом, то выяснилось бы, к кому он был командирован своими швейцарскими сообщниками и с какими целями отважился на столь рискованное дело. Дрентельн отвечал, что вверенное ему ведомство действует по мере своих

сил и уменья, что le mieux est l'ennemi du bien*, и хорошо уже то, что вредный человек очутился в руках правительства. Точно так же и во всем: положим, Гурко счел бы необходимым принять суровую меру относительно какой-либо газеты; это значило бы оскорбить министра внутренних дел, которому подобное распоряжение служило бы упреком, что он не умеет справиться с печатью. Правда, Иосиф Владимирович был не из таких людей, чтобы церемониться с Маковым или с кем бы то ни было, но дело в том, что необходимы были меры общие, касавшиеся не одного Петербурга. Так, например, печать: политические процессы служили одною из доходных статей для журналистов; газеты буквально переполнялись — и за дешевую цену — отчетами о политических процессах, воспроизводившими до мельчайших подробностей все, что происходило на суде; необыкновенно тщательно сообщаемы были сведения о замыслах против царя, об изготовлении взрывчатых веществ, выдержки из преступных прокламаций, из тайной переписки анархистов... Один из знакомых мне помещиков старик Краснопольский говорил мне: «Читаю я, батюшка, газеты по утрам, за чашкой кофе; кажется, чего бы бояться, а все-таки невольно вздрагиваешь, не застанет ли меня кто-нибудь за таким чтением...» Ничего подобного не происходит в Европе; там за подробными отчетами о политических процессах следует обращаться к специальным юридическим газетам, но ни «Journal des Débats», ни «Kölnische Zeitung» и никакое другое издание не сочтет возможным уделять им в каждом нумере по несколько страниц. Иосиф Владимирович советовался с Маковым, нельзя ли положить конец такому безобразию, но Маков отвечал, что временные генерал-губернаторы вовсе не зависят от него, что он не хочет вмешиваться в их распоряжения.

— В таком случае, — возразил Гурко, — я приму меры здесь, в Петербурге.

— К чему же это вас приведет, если в Киеве, Харькове, Одессе сохранится прежний порядок вещей.

Так и осталось все по-прежнему.

Первый политический процесс во время генерал-

---

* Лучшее — враг хорошего *(фр.)*.

губернаторства Гурко, закончившийся смертным приговором, был процесс офицера Дубровина[351]. Я присутствовал при разбирательстве этого дела, и никогда не изгладится из моей памяти вынесенное мною отвратительное впечатление. Собрался военный суд; приказано было ввести подсудимого; появляются жандармы, а посреди них в шинели, наброшенной на плечи, и с фуражкой на голове молодой человек, худощавый, белокурый, красивой наружности; он опирается руками на барьер, которым отделялось отведенное для него место от остальной залы, и безжизненным, тупым взором начинает рассматривать присутствующих; только на судей не обращает он ни малейшего внимания. Председатель говорит ему: «Снимите фуражку»; Дубровин как будто и не слышит этих слов; приказание повторено, и опять без результата. «Жандарм, сними с него фуражку». Вдруг раздается крик — нет, не крик, а вопль, рев разъяренного зверя, вопль, я полагаю, заставивший содрогнуться самого спокойного, наименее нервного человека, и Дубровин мгновенно, одним прыжком перескочил чрез баллюстраду. Жандармы бросились на него; началась борьба, причем подсудимый оглушал чуть ли не весь дом своими неистовыми криками; с большим трудом успели не вывести, а вынести его из залы. Разбирательство дела происходило в его отсутствии. Вот наиболее интересные подробности: когда в Петербурге узнали о революционных замыслах Дубровина, то в полк, где он находился на службе, послан был офицер с приказанием арестовать его. Командир полка пришел в неописуемое изумление; он решительно не верил, чтобы неблаговидное подозрение могло пасть — на кого же — на Дубровина, этого самого скромного (тихого), благонравного из всех находившихся под его начальством, отличного служаку, беспрекословно подчинявшегося всем требованиям дисциплины. «Не полагаете ли, — спросил присланный офицер, — что при аресте Дубровин обнаружит сопротивление?» — «Ну уж я могу ручаться, что не произойдет ничего подобного». Действительно, Дубровин весьма спокойно подчинился своей участи, был отменно вежлив, но когда попросили его отпереть для осмотра какой-то сундук, он вдруг выхватил оттуда револьвер и выстрелил в офицера.

По окончании судебного разбирательства председатель поручил старшему из судей отправиться в комнату, где находился Дубровин, и прочитать состоявшийся приговор. Многие из высших чинов последовали из любопытства за ним. Вот что по возвращении рассказывали они: Дубровин почтительно встал, спокойно выслушал приговор и обратился к судье со следующими словами: «Так как я намереваюсь подать апелляцию в назначенный мне срок, а при составлении ее потребуются, быть может, некоторые юридические формальности, то надеюсь, что суд разрешит мне посоветоваться с моим защитником». Пред присутствовавшими был совсем другой человек, не обнаруживавший ни малейшего признака возбуждения. Очевидно, он задумал попробовать на суде последнее средство — притвориться сумасшедшим и разыграл эту сцену в совершенстве; попытка не удалась, и тогда, как будто ни в чем не бывало, как будто за два часа пред тем не видали его беснующимся, он принял обыкновенный свой облик... От одного из адъютантов Гурко, присутствовавших при его казни, я слышал, что он умер с невозмутимым спокойствием.

Много шума породил процесс Мирского, стрелявшего в генерала Дрентельна[352]. Этот процесс памятен мне потому, что я не мог относиться к нему безучастно. За несколько лет пред тем сестра моей жены Варенька вышла замуж за петербургского адвоката Ольхина[353], сына начальницы Мариинского женского института; теперь, когда я пишу эти строки, прошло уже много времени после ее смерти, но самое теплое, сердечное воспоминание сохраняю я об этой прекрасной женщине; замужество оказалось для нее гибельным; супруг ее был человек добрый, честный, но очень ограниченного ума и пустейший болтун; не знаю, каким образом судьба столкнула его с нигилистами, только они совсем овладели им, хотя не думаю, чтобы кто-нибудь относился к нему серьезно. Ольхин по своему ничтожеству не мог иметь ни малейшего влияния на жену, но благодаря ему она сблизилась с разными лицами из нигилистического лагеря и совершенно усвоила себе их теории; это была натура страстная, до болезненности нервная, исполненная самых идеальных стремлений, содрогавшаяся до глу-

бины души при всяком рассказе о какой-нибудь несправедливости, злоупотреблении и притеснении; имея лишь скудные средства, ибо супруг ее далеко не блистал между адвокатами, она готова была пожертвовать последнею копейкой для облегчения нищеты: можно ли удивляться, что проповедь социализма принялась как нельзя лучше на такой почве? Быть может, Ольхин и не знал Мирского, но... охотно согласился по просьбам своих друзей укрыть его; он нашел ему пристанище у своего beau-frère'а, брата моей жены и Вареньки[354]; все это потом обнаружилось, Мирский был арестован, а по закону Ольхин, как укрыватель, подвергался такой же уголовной каре, как и сам преступник. Много тревог я испытал тогда ввиду отчаяния моей жены, которая чрезвычайно любила свою сестру, не сходясь с нею вовсе в образе мыслей. При разбирательстве дела все подсудимые были удручены, один только Ольхин имел такой вид, как будто праздновал свои именины; глупцу было приятно, что он служит предметом общего внимания. Военный суд, как известно, произнес смертный приговор Мирскому и оправдал всех других подсудимых. Последнее обстоятельство в высшей степени раздражило Иосифа Владимировича; он, конечно, не подвергнул бы смертной казни соучастников главного виновного, но считал наказание для них необходимым. Ольхин был тотчас же выслан административным порядком в один из отдаленных уездных городов; распоряжение это состоялось так быстро, что он не имел даже возможности проститься со своей женой.

Смягчен был Иосифом Владимировичем приговор и для Мирского, что вызвало, разумеется, разнообразные толки в обществе. По мнению его недоброжелателей, он обнаружил будто бы милосердие из жажды популярности: как это было похоже на него!.. Я видел Гурко поздно вечером того дня, когда состоялось его решение, и знаю в точности, какие мотивы руководили им. Он не мог не обратить внимания на то, что Мирский едва достиг совершеннолетия и был не столько закоренелый злодей, сколько сбитый с толку революционною пропагандой мальчишка; прежде всего руководило им, кажется, тщеславие; быть может, он хотел щегольнуть пред своими сообщниками, а главным образом пред своею любовницей,

очень красивою девушкой; он рисовался на суде, даже выпросил позволение на последние деньжонки сшить себе новый фрак, чтобы в приличном виде явиться на скамью подсудимых; одно обстоятельство, о котором упомяну сейчас, доказало впоследствии, что Мирский вовсе не принадлежал к людям такого закала, как Дубровин. Во всяком случае, пока происходил процесс, участь его считали предрешенною; почти все были убеждены, что Гурко остается лишь утвердить приговор, но вот именно то обстоятельство, что он как бы являлся пассивным орудием, и возмущало его. Он заменил для Мирского смертную казнь пожизненною каторгой, сознавая вполне, что навлечет на себя неудовольствие. Так и случилось. Государь возвращался тогда из Крыма в сопровождении Дрентельна; Гурко выехал ему навстречу; тотчас же начался разговор о Мирском. «Мы с Александром Романовичем не ожидали ничего подобного, — сказал государь, — мы не сомневались, что Мирский будет повешен; по моему мнению, ты совершенно неуместно оказал ему милосердие». Иосиф Владимирович не произнес ни единого слова, из которого можно было бы заключить, что он сожалеет о принятом им решении.

Мирского не отправили в Сибирь, а заключили в Петропавловскую крепость. Несколько лет спустя комендант этой крепости генерал Ганецкий[355] рассказал Иосифу Владимировичу под большим секретом следующее: однажды, осматривая камеры заключенных, зашел он и к Мирскому, который улучил минуту, чтобы сунуть ему в руку бумажку; это была записка, извещавшая его, что политические арестанты составили план бежать, что им удалось склонить на свою сторону многих солдат крепостной стражи, что все уже готово к побегу, что они предлагали и Мирскому присоединиться к ним, но он предпочел довести обо всем этом до сведения коменданта. Испуганный Ганецкий приступил к расследованию, которое вполне подтвердило показание Мирского. План был задуман чрезвычайно искусно и, без всякого сомнения, увенчался бы успехом. Ганецкий ходатайствовал (все рассказанное произошло уже при государе Александре Александровиче) о полном прощении Мирского, но ходатайство было отклонено[356].

Как известно, положение Гурко было поколеблено

вследствие взрыва, произведенного злоумышленниками в Зимнем дворце[357]. Было бы несправедливо поставить ему в вину это трагическое происшествие. Понимая очень хорошо, что государь не огражден от опасности не только на улице, но даже в собственном жилище, Гурко неоднократно пытался подчинить дворец своему надзору, иметь точные сведения, кто проживает там и чем занимается, но всякий раз встречал отпор со стороны графа Адлерберга[358], который не хотел и слышать о чьем-либо вмешательстве в дела дворцового ведомства. Некоторые предполагали, что и соображения особого свойства руководили им в этом случае: то было время, когда все помыслы государя сосредоточивались на княжне Долгорукой (впоследствии княгине Юрьевской); беспрерывно посещать ее в сопровождении конвоя было для него неудобно, а потому она заняла помещение в самом дворце, имела там свою прислугу, но все это старались хранить в тайне, хотя секрет был в сущности le secret de la comédie. Как бы то ни было, осмотр дворца по распоряжению Гурко признавался совершенно неудобным.

Таким образом, мера, на которую государь возлагал столько надежд — говорю о сосредоточении почти диктаторской власти в руках нескольких избранных им лиц, — не привела ни к чему. Что же оставалось предпринять? Мнения на этот счет были различны. Между прочим, одно из них было высказано графом П. А. Шуваловым, которого многие привыкли считать замечательным государственным человеком. Оно так оригинально, что нельзя не упомянуть о нем[359].

В начале февраля 1880 года граф Петр Андреевич подал государю записку об общем положении дел (по смерти его эта записка была препровождена для хранения в Главное управление по делам печати); он говорил в ней, что если нигилисты упорствуют в своих адских замыслах, то, конечно, лишь потому, что рассчитывают на сочувствие общества; они задались мыслью, что борьбу с ними ведет только правительство и высший, преимущественно чиновничий класс, масса же образованного общества и народ за них. Необходимо отрезвить их в этом отношении, убедить, что они не имеют под собой никакой почвы, что вся

Россия проклинает преступную их деятельность. Но как достигнуть этого? «У нас, — говорил граф Шувалов, — нет правильных органов для выражения общественного мнения; выражать его может только печать, а она или не исполняет в данном случае своей обязанности, или исполняет ее весьма неудовлетворительно, как бы нехотя; лишь изредка появляются в той или другой газете статьи о вреде нигилизма, тогда как требуется настойчивое и единодушное преследование его. Скоро наступает юбилей двадцатипятилетнего царствования государя. Вот прекрасный случай для правительства обратиться с воззванием к нашей прессе: пусть будут созваны представители ее и пусть будет разъяснено им от имени его величества, что они могут оказать чрезвычайно важную услугу; пусть все они ополчатся против нигилизма, объявят ему беспощадную войну, пусть каждое из периодических изданий уделит на это не менее одной статьи в неделю, и результаты окажутся блестящими; нигилистами неминуемо овладеет упадок духа. Граф Шувалов сомневался лишь в том, согласится ли печать принять на себя столь благотворную роль; во всяком случае, попытка казалась ему необходимой. «Если же эта попытка не удается, — говорил он, — то сделается, по крайней мере, ясным, что зло, от которого мы страдаем, пустило слишком глубокие корни, коль скоро печать не хочет или не может дать ему единодушный отпор».

Следовательно, спасение зависело единственно от того, сжалятся ли над бедственным положением самодержавия г-да Краевские, Стасюлевичи, Спасовичи, Салтыковы... Если бы ответили они презрительным отказом на призыв правительства, то не оставалось бы ему ничего более как закрыть лавочку, ибо не бессмысленно ли затягивать борьбу со «злом, которое пустило слишком глубокие корни?» Вся записка графа Шувалова есть не что иное, как детский лепет.

Однажды вечером сидел я у Марии Андреевны Гурко, когда вернулся Иосиф Владимирович с обеда от государя. «Je dois m'attendre bientôt à une grande cochonnerie»*, — сказал он, смеясь, жене. Он заметил, что государь, вообще весьма к нему расположенный и

* Я должен ожидать скоро большого свинства *(фр.)*.

не изменивший этого расположения и после события в Зимнем дворце, старался на этот раз быть особенно любезным. После обеда он посадил Иосифа Владимировича рядом с собой на диване, тогда как остальные заняли места в креслах, разговаривал почти исключительно с ним и самым дружеским образом, при прощаньи взял его за руку и, держа ее близко к своей груди, продолжал еще несколько минут беседовать с ним. Для всякого, кто знал Александра Николаевича, это был очень дурной признак.

Догадка Иосифа Владимировича оправдалась. Вскоре — даже чрез несколько дней после того — происходило у государя совещание, на котором присутствовали Лорис-Меликов, Милютин, Абаза, Маков, Валуев и Гурко. Тут только Иосиф Владимирович узнал о назначении графа Лориса начальником Верховной распорядительной комиссии, деятельность коей распространялась на всю империю. Государь, видимо, желая не оскорбить самолюбия Гурко, высказал, что он не видит причины, почему бы при новом порядке вещей не могла бы быть сохранена должность генерал-губернатора в Петербурге. Гурко начал доказывать, что это не имело бы никакого смысла. «Во всяком случае, — заключил он, — если вашему величеству угодно будет сохранить эту должность, я не буду занимать ее; с самого начала докладывал я вам, что считаю ее излишнею и бесполезной, а теперь, после опыта, убедился в этом более чем когда-нибудь». После заседания Валуев и Маков обратились к Иосифу Владимировичу с выспренными похвалами; им казалось необычайным геройством, что человек отказывается от почетного места, когда имел возможность сохранить его за собой.

Это был самый прискорбный эпизод в общественной деятельности Иосифа Владимировича; таким и сам он всегда считал его; в последующее время он не любил говорить о своем генерал-губернаторстве в Петербурге — ему тяжело было вспоминать об этом.

По-прежнему вернулся он в деревню и жил там совершенно уединенно, тем более что поблизости от Сахарова не находилось буквально ни одного знакомого ему семейства. А между тем... Лорис-Меликов, на которого наши либералы возлагали столько надежд, не оградил императора Александра Николаеви-

ча от смерти. Сильно поразило это известие Иосифа Владимировича, ибо, зная все слабые его стороны, он искренно любил его.

Тотчас по окончании печальной церемонии погребения вернулся он в деревню. Не только ему, но и близким к нему лицам казалось, что карьера его кончена; разумеется, он оставался бы генерал-адъютантом, в случае войны ему дали бы видный пост в армии, но в мирное время едва ли мог он рассчитывать, при отношениях своих к новому государю, на какую-либо деятельность. Случилось, однако, иначе. По удалении Лорис-Меликова министром внутренних дел назначен был граф Н. П. Игнатьев; отец его оказывал всегда особое расположение к Иосифу Владимировичу, который под начальством его воспитывался в Пажеском корпусе, и граф Николай Павлович, не будучи с ним в близких отношениях, все-таки очень его уважал и ценил. Он понимал, что было возмутительно осудить на бездействие человека, имя коего произносилось с уважением и признательностью во всей России, а потому, как только открылась генерал-губернаторская вакансия в Одессе, решился ходатайствовать о назначении на это место Гурко[360]. Все это было сделано совершенно без ведома Иосифа Владимировича — до такой степени, что граф Игнатьев высказывал опасения, не вздумал ли бы он отвечать отказом. И сам государь, которому натолковали, будто Гурко одержим непомерным самомнением, заметил в разговоре с Игнатьевым: «Я согласен, но вы увидите, что он откажется, сочтет предлагаемый ему пост слишком маловажным для себя...» Странные предположения эти благодаря, вероятно, болтливости графа Николая Павловича начали быстро распространяться, и даже петербургские друзья Гурко были смущены ими; так, например, генерал Нагловский сам поскакал в Сахарово, чтобы уговаривать своего бывшего начальника.

Совершенно напрасные тревоги! Я уже говорил выше, что в характере Иосифа Владимировича так сильно было развито чувство собственного достоинства, благородная гордость, что более всего остерегался он сделать шаг, который мог быть истолкован в смысле заискивания, желания проложить себе путь к почестям. Это доходило у него до болезненности,

но, конечно, он сгорал желанием приносить пользу; удалившись в деревню по окончании войны и поселившись там же после насильно навязанной ему роли умиротворителя петербургской смуты, он ни единым словом не выражал жалобы, неудовольствия даже в кругу близких ему лиц; всякому из нас было, однако, понятно, что должен был он испытывать, осудив себя на бездействие. Скуку деревенской жизни, особенно томительную в зимние месяцы, старался он рассеять чтением разных книг; сведения о том, что происходило в мире, почерпал он лишь из газет и из писем своих друзей; но это однообразное существование было неизмеримо отраднее ему, чем если бы сидел он в Петербурге, где никого нельзя было бы уверить, что он не ищет попасть в милость.

В Одессе Гурко оставался недолго, и мне приходилось отовсюду слышать, что там сохранились о нем отличные воспоминания[361]. Во время коронации императора Александра Александровича получено было известие о кончине варшавского генерал-губернатора Альбединского. Кем было заменить его? На этот раз относительно выбора не могло быть сомнения. Польша — наш передовой пост в случае войны; конечно, в ее пределах произойдет первое столкновение с неприятелем, необходимо было, следовательно, вверить такой пост человеку, энергия и опытность коего были бы вне всякого сомнения[362]. Я слышал от графа Толстого, тогдашнего министра внутренних дел, что государь не задумывался ни на минуту относительно назначения Гурко.

Могу ли я говорить о том, как выполнял он в Польше свою задачу? Конечно, нет; для этого я не имею достаточно данных; ежегодно Иосиф Владимирович бывал в Петербурге лишь наездами, недели на две или на три; да и задача моя не в том, чтобы проследить его служебную деятельность; мне хотелось бы главным образом представить правдивую его характеристику как человека. В беседах наших касался он преимущественно военного дела, которое, по отзывам специалистов, довел до редкого совершенства. Когда состоялось его назначение, государь высказал ему, что был только один человек, который умел держать в руках поляков, — М. Н. Муравьев, и Гурко вполне разделял этот взгляд. Он сознавал как нельзя

лучше, что от поляков ничего, кроме вражды, нам ожидать нельзя, но обстоятельства изменились; польская крамола притихла, между прочим, потому, что в новое царствование вообще исчезли колебания в политике нашей относительно окраин. Иосифу Владимировичу не было нужды прибегать к суровым мерам; поляки боялись его, но вместе с тем и уважали; очень скоро убедились они, что у него слово неразлучно с делом, что всякая попытка политической пропаганды отразится на них тяжелыми последствиями.

Считаю нелишним упомянуть здесь, какого рода отношения установились у него к государю со времени назначения его в Варшаву. Не думаю, чтобы наш монарх резко изменил свои чувства к нему; Гурко как прежде, так и потом не был его фаворитом, но, вступив на престол, государь понял — и это хорошая в нем черта, — что было бы неуместно и вредно для дела увлекаться своими симпатиями или антипатиями. Вероятно также, при более частых сношениях с Иосифом Владимировичем он убедился, до какой степени это правдивый, искренний человек, неспособный ни малейшим образом покривить душой. Но императрица, под влиянием, конечно, окружавшей ее камарильи всегда была холодна к нему. Что же касается государя, то Иосиф Владимирович при всей своей щепетильности никогда не имел повода жаловаться на него.

В заключение несколько слов о m-me Гурко. Зная ее с детства, мог ли я предположить, что у кого-нибудь явится мысль выставить ее в роли политической женщины, а между тем случилось нечто подобное.

В краковской газете «Czas» напечатан был ряд статей, озаглавленных «Marya Andreewna», в которых она изображена чуть ли не главною руководительницей своего мужа в делах внутреннего управления Польшей.

По-видимому, полякам следовало бы относиться к ней с некоторым сочувствием: разве она не дочь своей матери? Разве графиня Салиас не приобрела себе одно время печальную известность своими симпатиями к польским повстанцам и не компрометировала себя из-за поляков и в обществе, и пред правитель-

ством? Конечно, с тех пор многое изменилось; по странной иронии судьбы, графиню Салиас можно было нередко видеть в Варшаве, в бывшем дворце польских королей, она гостила там по месяцам, была отчасти хозяйкой; впрочем, держала она себя очень осторожно и не промолвилась ни единым неуместным словом. Можно даже предположить, что полонизм ее исчез без следа как нечто напускное, искусственно привитое ей Вызинским, но все-таки поляки имели право думать, что она осталась верна своим убеждениям и не высказывает их только потому, что не хочет поссориться со своим зятем. Отчего же они так возненавидели ее дочь?

О Марии Андреевне «Czas» говорил, будто она рабская поклонница Каткова. Не забавно ли это? Мать ее разошлась с Катковым задолго до того, как обострился польский вопрос, и с тех пор Мария Андреевна ни разу с Катковым не встречалась. Но если бы даже и приходилось ей видеться с ним беспрерывно, разве она способна усвоить себе какие-либо политические мнения и упорно отстаивать их? Предположить что-либо подобное — значит вовсе не знать ее.

Это женщина весьма неглупая, хотя, конечно, никто не найдет в ее уме что-либо выдающееся, женщина добрая, с хорошими побуждениями, но, к сожалению, почти вовсе не обладающая тактом, этим драгоценным свойством, которое кто-то назвал особым даром неба. Вредит она себе немало своими резкими, угловатыми манерами, а также своим тщеславием. Еще в то время, когда Иосиф Владимирович был с.-петербургским губернатором, она нередко ставила его в неловкое положение. Вообще он мало любил общество и проводил приятно время только в кругу близких ему людей; как ни старалась Мария Андреевна завязать обширное знакомство, это в начале ее замужества не удавалось ей главным образом вследствие некоторой нелюдимости ее мужа, но когда прославился он на войне, особенно же когда был поставлен во главе Петербурга почти с диктаторскою властью, то положение его изменилось; начался буквально напор на него со всех сторон.

Вся петербургская знать заискивала перед ним, он был засыпан приглашениями, от которых почти всегда отказывался, но Марии Андреевне это льстило в

высшей степени. Муж ее отлично понимал, что на него возложены такие тяжкие и неприятные обязанности, что он вовсе не призван, как другие генерал-губернаторы и при обыкновенных обстоятельствах, развлекать и увеселять петербургское общество. Тем не менее он не мог сдерживать жену: Мария Андреевна дала даже бал неизвестно зачем.

И в Варшаве проявлялась, конечно, ее бестактность, где следили за каждым ее словом, а она пускалась в рассуждения о политике, которая вовсе не была ее призванием. Слабость Марии Андреевны заключалась еще в том, что некоторые лица угодничеством ей умели снискивать ее расположение и составляли себе карьеру; правда, таких было очень немного; при всей своей безграничной любви к жене Иосиф Владимирович не поддавался ее влиянию, но все-таки благодаря ей приблизились к нему два-три лица, без которых он мог бы обойтись как нельзя лучше[363].

Указав на недостатки Марии Андреевны, я должен сказать, что она искупала их и нежною любовью к своему мужу и детям, и сердечною своею добротой, и готовностью помочь всякому нуждающемуся и несчастному; небольшая заслуга облегчить чужую беду, когда для этого достаточно средств, но Мария Андреевна облегчала ее своим личным, самым теплым участием; все это остается известным только близким лицам; общество же подмечает в человеке главным образом кое-какие мелкие его слабости и готово произнести над ним строгий, но совершенно незаслуженный приговор.

Жесточайшим нареканиям подверглась она незадолго до того, как Иосиф Владимирович отказался от должности варшавского генерал-губернатора. Вот в чем дело.

Ни одного из сыновей не любила она так сильно, как старшего; это был ее идол; Владимир Гурко отчасти заслуживал этого, ибо нельзя было отказать ему ни в уме, ни в способностях, но много вредил он себе заносчивостью, резкостью, с которою судил о людях и вещах, не стесняясь ничем, что, разумеется, вызывало сильное к нему нерасположение[364]. Но Мария Андреевна была убеждена, что нет человека, который по своим достоинствам имел бы право на более блестящую карьеру; понятно, что она очень встревожи-

лась, когда муж ее сильно заболел; если бы он покинул службу, то, конечно, это отразилось бы невыгодно и на дальнейшей судьбе молодого Владимира, а потому она сочла необходимым не терять времени.

Впрочем, сама она никогда не сознавалась в этом; сколько раз говорила она и мне, и другим своим друзьям, будто не сделала ни единого шага с этой целью, но никого не успела она в этом убедить.

Вероятно, сам сын ее внушал своей матушке, что приличнее всего было ему занять должность правителя канцелярии варшавского генерал-губернатора, то есть своего собственного отца, ибо управлявший этою канцелярией г. Божовский, человек старый, неспособный, вялый, утомлял своими бесконечными докладами больного Иосифа Владимировича.

Мария Андреевна тем охотнее схватилась за эту мысль, что совершенно не понимала всю невозможность подобной комбинации; чрез канцелярию проходили решительно все служебные дела; к начальнику ее беспрерывно являлись даже губернаторы, и вот теперь пришлось бы им иметь дело с молодым человеком, коллежским асессором, который вдруг занял бы место, состоявшее в IV классе. Понятно, что они и льстили бы ему, старались бы ему угодить, и он приобрел бы огромное влияние. Не следует также забывать, что по собственной инициативе государя Александра Александровича еще незадолго пред тем учрежден был так называемый Инспекторский департамент, на обязанности коего лежало зорко следить за всякими назначениями на различные должности, производством в чины, наградами и т. п. Все представления министров по такого рода делам подлежали тщательному просмотру упомянутого департамента и были утверждаемы в том лишь случае, если соблюдены были установленные правила.

Иосиф Владимирович, весьма мало сведущий во всем, что касалось гражданской службы, надеялся, что если и встречаются формальные препятствия относительно задуманного назначения его сына, то, быть может, ради него государь согласится устранить их. Как нарочно, ему предстояло видеться с ним в непродолжительном времени при проезде его величества на юг России. Он встретил его на станции Спала и был принят как нельзя более милостиво. Удивите-

льно, что сам государь, лишь только Гурко заговорил с ним о своем сыне, выразил полное согласие на удовлетворение его просьбы.

— Я ведь не придаю большой важности чинам, — сказал он, — сообщите министру внутренних дел, чтобы он представил мне доклад.

Зачем же было учреждать Инспекторский департамент? Зачем устанавливать такие правила, которые порождали только путаницу и бессмысленную формалистику?* Не объяснить ли податливость государя тем, что, проезжая чрез Спалу, он уже находился в болезненном состоянии?

Министр внутренних дел Дурново находился в заграничном отпуску, надо было снестись с ним, что и сделал Иосиф Владимирович, но дни шли за днями, а между тем известия из Крыма были крайне тревожны. Болезненное состояние государя, видимо, ухудшалось. Не прошло много времени, как получено было страшное известие об его кончине.

Иосиф Владимирович счел, конечно, долгом приехать в Петербург, чтобы представиться молодому монарху, который принял его весьма приветливо. В разговоре с ним Гурко упомянул и о своем сыне, причем тотчас же обнаружил, что недоброжелатели его уже успели насплетничать государю.

— Сколько я слышал, — сказал государь, — вы желали бы предоставить вашему сыну место, занимаемое теперь генералом Медемом?

Надо заметить, что Медем был помощником варшавского генерал-губернатора[365]. Иосиф Владимирович так и ахнул.

— Помилуйте, ваше величество, мог ли я и подумать о чем-либо подобном, — сказал он, — мне кажется только, что мой сын принес бы значительную пользу, если бы ему была предоставлена должность правителя моей канцелярии.

— Я об этом подумаю, — отвечал государь.

Через два или три дня Дурново, вернувшийся из-за границы, сообщил Иосифу Владимировичу, что государь признал такое назначение неудобным.

Вот и все. А между тем историю старались раз-

---

* В то время, как я пишу эти строки, уже возбужден вопрос о закрытии Инспекторского департамента или о переустройстве его.

дуть бог знает как; толковали, будто из-за нее Гурко пришлось покинуть свой пост в Царстве Польском[366]. Что за нелепость!

Гурко приехал в Петербург с твердым намерением подать просьбу об отставке, он вполне сознавал, что при крайне болезненном своем состоянии непригоден для службы; это была постоянная его тема в разговоре с нами. Разумеется, поляки, у которых немало друзей в Петербурге и даже в высших сферах, упивались до опьянения надеждами, что с уходом этого ненавистного им человека все изменится для них к лучшему, наступит резкий поворот в управлении Царством Польским.

Не могу судить, оправдались ли, и в какой мере, эти опасения. Одно только несомненно: продолжительный опыт убеждал, что поляков надо держать в железных руках, и Гурко умел делать это, хотя он никогда не оскорблял их, личное его обращение с ними было безупречно, но они знали, что его слово — закон, что он не отступит ни на шаг от своей программы.

Примечания

1 Салон графини Елизаветы Васильевны Салиас де Турнемир (1815—1892, урожденная Сухово-Кобылина, литературный псевдоним Евгения Тур) объединял в конце сороковых — начале пятидесятых годов наиболее ярких представителей московской либеральной интеллигенции, сохранившей традиции кружков Белинского, Герцена и Грановского. Этому салону посвящены интересные страницы воспоминаний К.Н. Бестужева-Рюмина и Е.А. Салиаса, а обстоятельную личную характеристику его хозяйки см. в последней главе «Воспоминаний» самого Е.М. Феоктистова.

2 Впечатления революции 1848 г. в творчестве Тургенева нашли отражение в таких произведениях, как «Человек в серых очках. Из парижских воспоминаний 1848 г.» и «Наши послали! Эпизод из истории июньских дней 1848 г. в Париже».

3 Грановский Тимофей Николаевич (1813—1855), знаменитый профессор Московского университета по кафедре всеобщей истории, вместе с Белинским и Герценом — основоположник, вождь и один из идеологов либерального «западничества».

4 Анненков Павел Васильевич (1813—1887), литературный критик, член кружка Белинского, редактор первого критического издания Пушкина и автор ценных, неоднократно переиздававшихся мемуаров о людях сороковых годов.

5 Близкие отношения, установившиеся у Тургенева с семьею С.Т. Аксакова в начале пятидесятых годов, отражены в их переписке, впервые опубликованной в журналах «Вестник Европы» (1894. Кн. I и II) и «Русское обозрение» (1894. Кн. VIII—XII). В свои «Литературные и житейские воспоминания» Тургенев предполагал включить особую главу «Семейство Аксаковых и славянофилы», над которой много работал, но закончить уже не успел.

6 Враждебно-скептическое отношение Тургенева к К.С. Аксакову (1817—1860), одному из наиболее ярких и последовательных пропагандистов славянофильской доктрины, отражено в «Записках охотника» памфлетною характеристикою помещика Любозвонова («Однодворец Овсянников»), а в поэме «Помещик» ироническою строфою об «умнице московском». О том, что страницы эти не всеми членами семейства Аксаковых были забыты в пору сближения с

ними Тургенева, свидетельствуют необычайно резкие отзывы о последнем в «Дневнике В.С. Аксаковой» (Спб, 1913. С. 40—44).

7 Тютчева Анна Федоровна (1829—1889), дочь известного поэта, с 12 января 1865 г. жена И.С. Аксакова, автор замечательных воспоминаний «При дворе двух императоров», впервые опубликованных в Москве в 1928 году и переизданных в 1991 году издательством „Новости".

8 Первые гастроли на петербургской сцене Полины Виардо-Гарсиа (1821—1910), знаменитой певицы, впоследствии подруги Тургенева, относятся к сезону 1843/44 года. Точная дата ее знакомства с Тургеневым — 1 ноября 1843 г.

9 Кетчер Николай Христофорович (1807—1886), известный московский врач, приятель Белинского, Герцена и других «людей 40-х годов», переводчик Шекспира. Блестящая характеристика его дана в «Былом и думах» Герцена.

10 «Никто из друзей не догадывался о скудости его средств в это время, — писал о Тургеневе этой поры П.В. Анненков. — Он умел мастерски скрывать свое положение, и никому в голову не могла прийти мысль, что по временам он нуждался в куске хлеба. Развязность его речей, видная роль, которую он всегда предоставлял себе в рассказах, и какая-то кажущаяся фальшивая расточительность, побуждавшая его не отставать от затейливых похождений и удовольствий и уклоняться незаметно от расплаты и ответственности, — отводили глаза» (см. П.В. Анненков «Литературные воспоминания», глава «Молодость И.С. Тургенева»).

11 Среди многочисленных эпиграмм Тургенева этой поры — на Боткина, Кетчера, Кудрявцева, Дружинина, из более ранних — на Достоевского и Никитенко.

12 Восторженная характеристика Т.Н. Грановского дана Тургеневым в статье «Два слова о Грановском», написанной под впечатлением неожиданной смерти последнего и опубликованной в «Современнике» за 1855 г.

13 Грановская Елизавета Богдановна, урожденная Мюльгаузен (1824—1857), была, как свидетельствует Герцен, «очень молода и еще не совсем сложилась; в ней сохранился тот особенный элемент отроческой нестройности, даже апатии, которая нередко встречается у молодых девушек с белокурыми волосами, и особенно германского происхождения. Эти натуры, часто даровитые и сильные, поздно просыпаются и долго не могут прийти в себя» (« Былое и думы», Ч. IV, гл. XXIX).

14 Фролов Николай Григорьевич (1812—1855), воспитанник Пажеского корпуса, откуда в 1830 г. выпущен в лейб-гвардии Семеновский полк; в 1834 г. вышел в отставку с чином поручика и посвятил себя научным занятиям; переводил Гумбольдта и издавал «Магазин землеведения и путешествий». Резко-ироническая характеристика его дана в «Литературных воспоминаниях» И.И. Панаева.

15 Корш Евгений Федорович (1810—1897), известный переводчик, редактор «Московских ведомостей» с 1843 по 1848 г. и журнала «Атеней» с 1858 по 1859 г., впоследствии библиотекарь Румянцевского музея. Характеристику его см. ниже, в третьей главе «Воспоминаний» Е.М. Феоктистова.

16 Станкевич Александр Владимирович (1821—1909), младший брат организатора московского литературного-философского кружка 30-х гг. Н.В. Станкевича, беллетрист, впоследствии биограф некоторых из «людей 40-х гг.». С изданной им в 1887 г. брошюрой «Н.Х. Кетчер. Воспоминания А.В. Станкевича» полемизирует далее Е.М. Феоктистов.

17 Все члены кружка Грановского, столь презрительно охарактеризованные Е.М. Феоктистовым, в действительности были людьми далеко не заурядными: Николай Михайлович Сатин (1814—1873), приятель Герцена и Огарева, известен как поэт и переводчик, автор занимательных воспоминаний о Белинском, Лермонтове и др., Пикулин Павел Лукич (1822—1885), известный московский врач-терапевт, редактор-издатель «Вестника садоводства»; Щепкин Николай Михайлович (1820—1886), московский общественный деятель либерального лагеря, популярный меценат-издатель 50-х годов.

18 Лохвицкий Александр Владимирович (1830—1884), известный юрист, доктор государственного права, профессор Ришельевского лицея (1856—1861), Александровского лицея и Военно-юридической академии (1861—1867), редактор «Судебного вестника», впоследствии адвокат.

19 Страницы, посвященные Е.М. Феоктистовым разложению кружка «Современника» в глухую пору цензурно-политического террора последних лет николаевской реакции, могли бы быть богато иллюстрированы неизданными еще материалами об эротических похождениях и порнографических виршах участников специальных вечеров «чернокнижия», как называлось (по имени героя одного из фельетонов А.В. Дружинина) времяпрепровождение всех перечисленных литераторов. Ср. заметки о «Сентиментальном путешествии Ивана Чернокнижникова по Петербургским дачам» в работе С.А. Венгерова «А.В. Дружинин» (Собрание сочинений. Спб, 1911. Т. V. С. 6—12).

20 Боткин Василий Петрович (1811—1869), член кружка Белинского, Бакунина и Грановского, литературный и музыкальный критик, автор известных «Писем об Испании», один из компаньонов торгового дома «Петр Боткин и сыновья».

21 Отец В.П. Боткина — Петр Кононович (1781—1853), купец 1-й гильдии, крупнейший московский чаеторговец; мать — Александра Антоновна, урожденная Баранова (1789—1824).

22 В.П. Боткин женился 1 сентября 1843 г.; история его романа с Armance, женитьбы и неожиданного разрыва существует в разных версиях. Одна представлена в его собственных письмах к Белинскому («Литературная мысль». П., 1923. Кн. 2. С. 183—187). Другая версия наиболее полно изложена в «Былом и думах» Герцена.

23 В.П. Боткин был одним из первых переводчиков и популяризаторов в России историко-философских и критических работ Томаса Карлейля. В письмах Джен Уэлш Карлейль (1801—1866) к мужу сохранились любопытные данные о той ее встрече с Боткиным, подробности которой, со слов Тургенева, вошли в воспоминания Е.М. Феоктистова. (См. журнал «Русская старина». 1884. Т. I. С. 171.)

24 Супруги Тургеневы — Николай Сергеевич (1816—1879) и Анна Яковлевна (ум. в 1872 г.), урожденная Шварц, бывшая камерист-

ка матери своего мужа, пользовались настолько незавидною репутацией, что А.И. Герцен должен был предупредить своего сына в письме от 3 октября 1858 г.: «Николай Сергеевич Тургенев — человек пустой, а жена его — мерзавка, ее люди хотели убить за жестокое обращение. Потому их знакомство отклони и всякий раз брани при ней злодеев-помещиков».

25 «Провинциалка», над которой Тургенев работал зимою 1850 г., впервые была поставлена на московской сцене в бенефис М.С. Щепкина 18 января 1851 г. Об этом спектакле и об успехе в нем С.В. Шумского (1820—1878) Тургенев писал в ночь премьеры Полине Виардо: «Все действующие в моей пьесе лица играли довольно хорошо, за исключением jeune premiere, которая была отвратительна. Зато актер, игравший главную роль, был великолепен. Это молодой человек, по имени Шумский. Он много выиграл в этот вечер в мнении публики, и я в восторге, что дал ему случай для этого».

26 Тургенева Елизавета Алексеевна, кузина писателя (1830—около 1853), до публикации воспоминаний Феоктистова была известна биографам последнего только по одному романическому эпизоду, рассказанному в «Воспоминаниях о Тургеневе» Н.В. Берга: «Е.А. Тургенева, сирота, сама управляла своей деревушкой (небольшой, тоже находившейся в Орловской губернии), которая и была ее единственным средством к жизни. В числе прислуги Е.А. находилась дворовая девушка Феоктиста, которую все, по тогдашним обычаям, называли Фетисткой. В один из своих приездов в Москву И.С. Тургенев заглянул как-то к кузине от нечего делать. Фетистка произвела на него сразу очень сильное впечатление. Он сделал в скором времени еще визит Е.А... Фетистка еще больше ему понравилась. Он стал бывать у кузины часто — и влюбился в ее горничную по уши... Довольно скоро И.С. повел с кузиной «прозаический» разговор, которого она с часу на час ожидала и потому достаточно к нему приготовилась. Кузен услышал от нее такой куш, что, несмотря на свою влюбленность, был несколько озадачен. Кузина заметила при этом, что, собственно, ей не следовало бы расставаться с Фетисткой, что это такая горничная, какой она уже не найдет... но бывают в жизни обстоятельства, когда делаешь многое против сердца. При этом она полагает, даже уверена вполне, что Фетистке на новом месте хуже не будет — и это успокаивает ее совесть... Потолковали еще немного, и дело кончилось на 700 рублях: цена большая, так как дворовые девки продавались тогда рублей по 25, 30 и не шли далее 50». (См. журнал «Исторический вестник». 1883. Кн. XI. С. 372—374.) Ср. данные об эпилоге этого романа в письмах Тургенева к И. И. Маслову.

27 Тургенев Петр Николаевич (1804—1865), отставной поручик, брат отца писателя.

28 «Нельзя ли попробовать напечатать то, что я написал о Гоголе (разумеется, без подписи), в «Московских ведомостях» как отрывок из письма отсюда... — спрашивал Тургенев 3 марта 1852 г. В.П. Боткина. — Показывал ли Феоктистов мою статейку... Мусин-Пушкин ее запретил и даже удивился дерзости так говорить о Гоголе — лакейском писателе».

29 «Тяжело, Феоктистов, тяжело, мрачно и душно, — писал Тургенев в этом письме, датированном 26 февраля 1852 г. и приобщенном впоследствии к делу о его высылке. — Мне, право, каже-

тся, что какие-то темные волны без плеска сомкнулись над моей головой, — и иду я на дно, застывая и холодея... Я послал Боткину стихи, внушенные Некрасову вестью о смерти Гоголя. Под впечатлением их я написал несколько слов о ней для «Петербургских ведомостей», которые посылаю вам при сем письме в неизвестности — пропустит ли их и не исказит ли цензура. Я не знаю, как они вышли, но я плакал навзрыд, когда писал их».

30 Предварительно полученные об Е.М. Феоктистове полицейские сведения вылились в следующую официальную справку: «Евгений Михайлович Феоктистов выпущен в 1851 г. из здешнего университета кандидитом юридического факультета, состояния не имеет, на службе нигде не находится, а живет гувернером в доме гр. Салиас и поддерживает знакомство с профессорами и литераторами. С Тургеневым находится в хороших отношениях и потому вместе с Боткиным хлопотал о напечатании статьи о Гоголе».

31 В.П. Боткин имел достаточные основания для тревоги, ибо полицейское донесение о нем весною 1852 г. определялось следующими данными: «Василий Петров Боткин имеет звание почетного гражданина и хотя принадлежит к купеческому сословию, но торговли не производит, занимается литературою и знакомство ведет с иностранцами, учеными людьми и профессорами. Во время жительства в Москве известного Бакунина Боткин был с ним в дружеских отношениях и, как говорят, даже помогал ему деньгами. Ведет он себя довольно скромно, но образа мыслей свободного и потому находится под секретным наблюдением. Женат с 1842 года на модистке-француженке, с которой теперь не живет вследствие происшедшей между ними ссоры. С Тургеневым состоит в тесной дружбе».

32 Е.М. Феоктистов освобожден был от полицейского надзора 2 июня 1856 г., а В.П. Боткин 1 ноября 1856 г.

33 «По щучьему веленью, по моему прошенью я вдруг перенесся в Крым, — писал Е.М. Феоктистов в сентябре 1852 г. Тургеневу. — Все это было сделано так вдруг и так неожиданно, что я не могу теперь опомниться хорошенько» («Журнал Министерства народного просвещения». 1898. Кн. VIII. С. 34).

34 Ржевский Владимир Константинович (1811—1885), чиновник канцелярии попечителя московского учебного округа, реакционный политический публицист эпохи «великих реформ», впоследствии член совета министра внутренних дел, сенатор.

35 Ковалевский Егор Петрович (1811—1868), известный путешественник, знаток Ближнего Востока, директор Азиатского департамента Министерства иностранных дел, автор различных исторических и географических трудов, один из организаторов «литературного фонда».

36 «Некрасов и Ковалевский, — как подшучивал над ними Тургенев, — два светила картежной игры, два украшения Английского клуба, словом, два Жоржа Жермена, или 30 лет жизни игрока».

37 «Видите ли, я играю в карты, веду большую игру, — говорил Некрасов Н.Г. Чернышевскому в 1853 г. — В коммерческие игры я играю очень хорошо, так что вообще остаюсь в выигрыше. И пока играю только в коммерческие игры, у меня увеличиваются деньги. В это время я и употребляю много на надобности журнала. Но не могу долго выдержать рассудительности в игре... Как набе-

рется у меня столько, чтобы можно было начать играть в банк — бросаю коммерческие игры. Это несколько раз в год. Каждый раз проигрываю все, с чем начал игру». С годами, однако, «рассудительности в игре» стало больше, и года за три до смерти Некрасов мог уже «подробно рассказать» А.Ф. Кони, «как образовались его значительные средства, возбуждавшие в столь многих ожесточенную зависть. В своем повествовании, довольно беспощадном к самому себе, он раскрыл болезненную психологию человека, одержимого страстью к игре, непреодолимо влекущею его на эту рискованную борьбу между счастьем и опытом, увлечением и выдержкой, запальчивостью и хладнокровием, где главную роль играет не выигрыш, не приобретение, а своеобразное сознание своего превосходства и упоение победы» (см. А.Ф. Кони. «Некрасов и Достоевский»).

38 Сабуров Андрей Иванович (1797—1866), обер-гофмейстер, бывший лейб-гусар, знакомец Пушкина, известный богач, директор императорских театров с 1857 по 1863 г.

39 «Раз мне довелось неожиданно зайти к нему, — пишет о Некрасове П.М. Ковалевский, — в самый разгар игры, продолжавшейся несколько суток. Остатки не то ужина, не то завтрака на тарелках, на блюдах, на подносах, стоявших в беспорядке, где ни попало: по стульям, диванам, на корректурных листах — бутылки, стаканы и несколько человек играющих, в таком же беспорядке, заставили меня попятиться назад. Но Некрасов меня увидел и предупредил:

— А, это вы, отец! Куда же вы! Дайте я к вам вылезу.

И точно, вылез и повел в другую комнату.

— Это мы «освежаем» новичка, — объяснил он мне. — Третью ночь не ложимся. Кто послабее, вздремнет на диване... И ничего. Нервы только это отлично размотает: как покончим, стихи писать стану.

Он уверял, что никогда так хорошо не пишет, как после «освежений».

— А что значит «освежать»? — полюбопытствовал я.

— Это, отец, хорошее слово. Я ему выучился у нашего повара. Когда он потрошит птицу, так говорит, что ее «освежает». Вот и мы тоже, когда потрошим горячего игрока, то говорим, что «освежаем его» («Воспоминания Д.В. Григоровича и П.М. Ковалевского». Л., 1928. С. 441—442).

40 Грубые предпринимательские тенденции и личные материальные расчеты, которые усматривает Е.М. Феоктистов в радикальном уклоне журнальной деятельности Некрасова, ни в какой мере не подтверждаются данными о положении «Современника» в 50—60-х гг. «Сам я, — говорил Н.А. Некрасов о финансовых ресурсах издания Н.Г. Чернышевскому, — не в тягость кассе журнала. Не скажу вам, что вовсе не беру никакой доли из его доходов в вознаграждение себе за редакционный труд. Но думаю, что это меньше, чем те деньги, которые расходую на журнальные надобности из моих собственных денег».

41 Беседа с Н.А. Некрасовым, записанная Е.М. Феоктистовым, относится к началу кризиса, из которого «Современнику» не удалось уже выйти. Журнал получил два предостережения. «После

третьего предостережсния, — писал Некрасов 19 декабря 1865 г. П.А. Плетневу, — журнал, по закону, закрывается временно — от двух до шести месяцев, а потом предостережения снимаются впредь до новых. Я, однако же, надеюсь избежать в следующем году третьего предостережсния, для чего принял свои меры и имел объяснения с начальством... Я ставил вопрос прямо, предлагая, что сам лучше закрою журнал, если имеется подобное намерение. Самое худшее тут то, что два предостережения публика наша, по новости закона, приняла за близкие предвестники смерти журнала, и подписка на 1866 год остановилась». Между тем при половинном числе подписчиков приходилось содержать прежний редакционный аппарат, уплачивать прежнюю ренту Плетневу и материально поддерживать семьи прежних сотрудников издания — жену и детей ссыльного Чернышевского, братьев Добролюбова, старуху-мать Панаева. «Я ничем лично тут не пользуюсь, а, напротив, теряю мое время и труд, — писал Некрасов в том же письме, — моя цель — избавить «Современник» от долга и поддержать, покуда возможно, бедных сирот, завещанных «Современнику» людьми, бывшими ему полезными».

42 Решетников Федор Михайлович (1841—1871) перебрался в Петербург из Перми в начале 1863 г.; в литературных кругах стал известен лишь после года отчаянной нищеты и мелкой газетной работы. Шумный успех имели «Подлиповцы», которыми он дебютировал в «Современнике» (1864 г. Кн. 3 и 4). «Простой, искренний, детски наивный, как ребенок, или дикарь, попавший в столичный омут прямо из дремучих лесов своей далекой родины, он привлекал людей, — вспоминал близко знавший его А.М. Скабичевский, — непосредственностью и цельностью своей натуры и в то же время вызывая невольную улыбку при виде анекдотически-комичных проявлений наивного незнания ни людей, ни жизни» («Литературные воспоминания». М., 1928. С. 296).

43 «Способности нельзя отрицать во всех этих Слепцовых, Решетниковых, Успенских и т. д., — писал Тургенев 2 января 1868 г. Я.П. Полонскому. — Но где же вымысел, сила, воображение, *выдумка* где? Они ничего выдумать не могут и, пожалуй, даже радуются тому: этак мы, полагают они, ближе к правде». В этом же году, впрочем, упоминая о Белинском, Тургенев отмечал: «Как бы порадовался он поэтическому дару Л.Н. Толстого, силе Островского, юмору Писемского, сатире Салтыкова, трезвой правде Решетникова» («Литературные и житейские воспоминания»).

44 Появление Тургенева в Петербурге после событий 1 марта 1881 г. вызвало некоторую тревогу в реакционных правительственных кругах. «Вижу по газетам, что Тургенев здесь, — писал К.П. Победоносцев 2 мая 1881 г. Я.П. Полонскому. — Некстати он появился. Вы дружны с ним: чтобы вот по дружбе посоветовать ему не оставаться долго ни здесь, ни в Москве, а ехать скорее в деревню. Здесь он попадет в компанию «Порядка», ему закружат голову — и бог знает, до чего он доведет себя» («Сборник Пушкинского дома на 1923 г.». С. 286—287). Большой шум вызвало в печати в дни похорон Тургенева опубликование П.Л. Лавровым в газ. «Justice» материалов о материальной поддержке, оказываемой автором «Нови» изданию журнала «Вперед».

45 Лопатин Герман Александрович (1845—1918), видный деятель революционного движения 60—80-х гг., организатор побега

П.Л. Лаврова, с января 1884 г. член Распорядительной комиссии «Народной Воли»; арестован в Петербурге в октябре 1884 г., судим в 1887 г. и приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой; освобожден из Шлиссельбургской крепости в 1905 г. Воспоминания Лопатина о встречах с Тургеневым записаны С.П. Петрашкевич и впервые были опубликованы в «Красной нови» (1927. Кн. VIII).

46 Стасов Владимир Васильевич (1824—1906), художественный критик, знаток русской старины. Против него направлены Тургеневым строки о «критике Скоропухине» в «Нови» и юмористическая концовка известного стихотворения в прозе «С кем спорить?»: « Спорь с человеком умнее тебя!.. Спорь с человеком ума равного... Спорь даже с глупцом... Не спорь только с Владимиром Стасовым».

47 Лавров Петр Лаврович (1823—1900), знаменитый эмигрант, бывший профессор Артиллерийской академии; социолог, историк и публицист, редактор журнала «Вперед», один из крупнейших идеологов революционного народничества.

48 «Эта смерть потому особенно нелогична, что не было человека, который бы лучше умел наслаждаться жизнью, — писал И.С. Тургенев под впечатлением кончины В.П. Боткина А.М. Жемчужникову, — с другой стороны, так как все члены уже отказались ему служить — окончательное разрушение, пожалуй, логично и, во всяком случае, для него было освобождением. Человек очень замечательный: несмотря на многие недостатки — русский тип».

49 Основные материалы об отношениях Тургенева к Полине Виардо и об условиях жизни писателя в семействе последней собраны в работе И.М. Гревса «История одной любви», изд. 2-е. М., 1928.

50 Причины разрыва Тургенева с Феоктистовым, как, впрочем, и со всеми литераторами консервативно-националистической ориентации, отчасти уясняет одно из писем И.С. от 13 сентября 1873 г. к Фету. «Вы не любите принципов 92 года, интерналку, /республиканскую/ Испанию, поповичей, вам все это претит. А мне претит Катков, баденские генералы, военщина и т. д. Об этом, как о запахах и вкусах, спорить нельзя». Одно из последних упоминаний об Е.М. Феоктистове находится в письме Тургенева от 10 января 1882 г. к М.М. Стасюлевичу: «Новый, 1883 год начинается невесело: смерть Гамбетты, жизнь Феоктистова...»

51 Воспоминания об этих «незабвенных часах» дружбы с Тургеневым не помешали Е.М. Феоктистову сорвать траурное заседание «Памяти Тургенева», организованное Обществом любителей российской словестности в 1883 г. Осведомившись из газет, что на собрании этом выступит с речью Л.Н. Толстой, Феоктистов обратился к министру внутренних дел с докладной запиской, в которой указал, что «Толстой — человек сумасшедший; от него следует всего ожидать; он может наговорить невероятные вещи — и скандал будет значительный», а потому московскому генерал-губернатору надлежит «потребовать к себе на просмотр статьи и речи, предназначенные для прочтения». Переговоры администрации на эту тему с руководителями Общества не привели, однако, к положительным результатам, и заседание «Памяти Тургенева» было отменено («Былое». 1917. Кн. IV. С. 152).

52 Лабуле Эдуард-Сене-Лефебр (1811—1883), профессор сравнительного правоведения в Collège de France, либеральный публицист и политический деятель.

«Я был усердным слушателем Лабуле — отмечал Е.М. Феоктистов в одной из своих мемуарных тетрадей. — Читал он превосходно, без всяких вычур, позволяя себе лишь иногда колкие и остроумные намеки на наполеоновский режим, приводившие в восторг его аудиторию; впрочем, делал он это как бы мимолетом, нисколько не жертвуя для этого серьезностью содержания своих лекций. С Лабуле познакомился я лично благодаря М.Н. Капустину, который находился с ним в хороших отношениях. Вообще французы охотно сближались тогда /в 1857—1858 гг./ с русскими вследствие торжественно заявленного императором Александром Николаевичем намерения приступить к освобождению крестьян: их интересовало, на каких основаниях совершится эта грандиозная реформа и каковы должны быть последствия».

53 Гизо, Франсуа-Пьер-Гильом (1787—1874), известный историк и политический деятель, идеолог буржуазной монархии и один из ближайших сотрудников Луи-Филиппа, многолетний министр иностранных дел, глава кабинета, свергнутого революцией 1848 г.

О встречах Е.М. Феоктистова с французскими политическими деятелями в 1857—1858 гг. см. примеч. 52.

54 Павлов Николай Филиппович (1805—1864), талантливый беллетрист 30-х гг., впоследствии публицист и критик, редактор-издатель «Нашего времени», основатель «Русских ведомостей».

55 Орлов Николай Алексеевич (1827—1885), князь, сын шефа жандармов и главного начальника III отделения, генерал-адъютант, один из ближайших друзей вел. кн. Константина Николаевича; с 1859 по 1869 г. посланник в Бельгии, с 1869 по 1870 г. — в Вене, с 1870 по 1871 г. — в Лондоне, в 1871 — 1884 гг. — в Париже, под конец жизни в Берлине. Автор известных либеральных записок «Об отмене телесных наказаний в России», «О евреях», «Мысли о расколе».

56 Глава семьи Трубецких — князь Николай Иванович Трубецкой (1807—1874); жена его — Анна Андреевна, урожденная графиня Гудович (1819—1882); дочь — Екатерина Николаевна, по мужу Орлова (1840—1875). Князь Н.И. Трубецкой, сатирически выведенный в пьесе К.С. Аксакова «Князь Луповицкий, или Приезд в деревню» (1851), запечатлен, как мы полагаем, и в известной строфе «Недавнего Времени» Некрасова (1874): «В Петербурге шампанское с квасом попивали из древних ковшей, А в Москве восхваляли с экстазом допетровский порядок вещей. Но, живя за границей, владели Очень плохо родным языком, И понятья они не имели О славянском призванье своем. Я однажды смеялся до колик, Слыша, как князь NN говорил: «Я, душа моя, славянофил», — А религия ваша? — «Католик!». Он же упоминается в «Дыме» Тургенева (1867) как «князь Коко, один из известных предводителей дворянской оппозиции».

57 Мориц Гартман (1821—1872), поэт и публицист, участник революции 1848 г. в Австрии, в это время эмигрант, парижский корреспондент «Koelnische Zeitung».

58 «Если б не обещание мое быть шафером у кн. Орлова на его свадьбе, которая будет 15 мая, — писал И.С. Тургенев 8 апреля

1858 г. Некрасову из Парижа, — я бы отсюда прямо проехал в Россию, где мои хозяйственные дела требуют моего присутствия».

59 Дантес Жорж-Шарль барон де Геккерен (1812—1895), убийца Пушкина; разжалованный за дуэль из поручиков кавалергардского полка в солдаты и высланный в 1837 г. из России, поселился во Франции, примкнул после революции 1848 г. к сторонникам принца Луи-Наполеона, участвовал в перевороте 2 декабря, получил в 1852 г. звание сенатора и превратился в одного из видных деятелей второй империи. Появление Дантеса на свадьбе князя Н.А. Орлова (характерно молчание об этом эпизоде И.С. Тургенева) вызвало гневную отметку А.И. Герцена в «Колоколе» от 15 сентября 1858 г.: «Несколько месяцев тому назад la fine fleur нашей знати праздновала в Париже свадьбу. Рюриковские князья и князья вчерашнего дня, графы и сенаторы, литераторы, увенчанные любовью народной, и чины, почтенные его ненавистью, — все русское население, гуляющее в Париже, собралось на домашний русский пир к послу, один иностранец и был приглашен как почетное исключение, — Геккерен, убийца Пушкина! Ну, найдите мне пошехонцев, ирокезов, лилипутов, немцев, которые бы имели меньше такта».

60 Паскевич Иван Федорович (1782—1856), светлейший князь Варшавский, граф Эриванский, генерал-фельдмаршал. Назначенный главнокомандующим, престарелый И.Ф. Паскевич 5 апреля 1854 г. прибыл к Дунайской армии, взял на себя руководство осадными работами под Силистрией, но после первых же неудач, под предлогом контузии (при падении с лошади), неожиданно сдал командование и 27 мая 1854 г. покинул фронт.

61 В ночь с 16 на 17 мая 1854 г. начальник 8-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Д.Д. Сельван при попытке взять штурмом «на ура» крепость Араб-Табиа потерпел тяжкое поражение, в котором, потеряв большую часть своего отряда, погиб и сам. «Причиною такого необдуманного дела, — как характеризовал операцию под Араб-Табиа официальный историк войны 1853—1856 гг., — было увлечение самого Сельвана и состоявших при нем офицеров главной квартиры, столь же храбрых, сколько неопытных в военном деле» (М.И. Богданович. «Восточная война 1853—1856 гг.». Т. II. С. 73). Князь Н.А. Орлов, к которому этот намек ближайшим образом относился, получил при штурме 9 ран и лишился глаза.

62 Корф Модест Андреевич (1800—1876), барон, лицейский товарищ Пушкина, впоследствии статс-секретарь, директор Публичной библиотеки, член Государственного совета, автор официозной «Истории восшествия на престол императора Николая I».

63 Милютин Дмитрий Алексеевич (1816—1912), граф (с 1878 г.), профессор Академии генерального штаба, авторитетный военный историк и боевой генерал, с 1861 по 1881 г. военный министр, реорганизатор русской армии, один из вождей либеральной группы сановников Александра II. О нем см. далее, в гл. IX.

64 Головнин Александр Васильевич (1821—1886), чиновник Морского министерства, личный секретарь вел. кн. Константина Николаевича, с 1861 по 1866 г. министр народного просвещения, впоследствии член Государственного совета.

65 В тексте, очевидно, описка. Князя Львова Владимира Владимировича (1804—1856), известного московского цензора, уволен-

ного от службы за разрешение отдельного издания «Записок охотника», в это время не было уже в живых. В Париже в 1857—1858 гг. проживал его брат Георгий Владимирович Львов (1821—1873) с племянницей Александрой Владимировной (1835—1915). Последней был увлечен во время своего заграничного путешествия гр. Л.Н. Толстой, ревновавший ее к Н.А. Орлову.

66 Покушение на жизнь Наполеона III, организованное известным итальянским революционером-националистом Феличе Орсини, произошло в Париже 14 января 1858 г.; император и члены его семьи не пострадали, но убито и ранено было около 150 человек из свиты, охраны и случайных прохожих.

67 Рейтерн Михаил Христофорович (1820—1890), статс-секретарь, министр финансов с 1862 по 1878 г., впоследствии председатель Комитета министров.

68 «Ты никогда не угадаешь, — писал Тургенев 16 января 1857 г. Герцену, — от кого я не далее как вчера слышал великие похвалы тебе, — от князя Орлова (раненного под Силистрией), сына известного Орлова. Он все прочел, что ты написал. Он мне чрезвычайно понравился; несчастье его отрезвило, да и вообше натура в нем высказывается хорошая». Через три года состоялось и личное знакомство Герцена с Н.А. Орловым. «Вчера у меня был один из наших посланников, — сообщал он 12 июля 1860 г. М.К. Рейхель. — Это первый визит в этом роде... И очень любезный человек».

69 Высочайшим приказом от 5 июня 1862 г. были уволены от службы за сношения с Герценом флигель-адъютант граф М.Я. Ростовцев и полковник генерального штаба граф Н.Я. Ростовцев.

70 Вызинский Генрих Викентьевич (1834—1879), ученый и публицист, видный деятель польской эмиграции. Окончив Московский университет в 1854 г., получил через три года степень магистра всеобщей истории и приступил к преподаванию в университете, сперва как адъюнкт, а затем как исполняющий должность экстраординарного профессора по кафедре всеобщей истории. Одновременно принимал участие в «Русском вестнике» и других московских журналах. В декабре 1862 г. переведен профессором в Варшавскую главную школу, принял участие в восстании, эмигрировал, работал в «Journal des Debats» и других польских и французских изданиях.

71 Чарторыйский Владислав Адамович (1828—1894), князь, сын знаменитого государственного деятеля эпохи наполеоновских войн, глава польской аристократической эмиграции, в пору восстания 1863—1864 гг. «главный заграничный агент народового жонда».

72 Пароход «Ward Jackson», снаряженный польским революционным правительством для доставки морем, через Курляндию, в район восстания интернационального отряда добровольцев, а также запасов оружия и амуниции, вышел из Соутгемптона 21 марта 1863 г. М.А. Бакунин, вопреки словам Феоктистова, не принимал никакого участия в самой организации экспедиции, а присоединился к ней только через пять дней в Гельсингборге. Пароход, как известно, был задержан сперва в датских, а затем в шведских водах, запасы оружия секвестрованы, а попытка части отряда высадиться у Полангена окончилась гибелью нескольких десятков повстанцев и бесславным возвращением остальных в Англию.

73 Калинка Валериан (1826—1886), польский историк и публицист, впоследствии клерикальный философ; Клячко Юлиан (1828—1906), польский эмигрант, талантливый журналист и исследователь, сотрудник «Revue des deux Mondes», автор известного памфлета «Les deux chancelieurs», посвященного характеристике Бисмарка и кн. Горчакова.

74 «Заговор варшавских офицеров», неправильно датированный в записках Е.М. Феоктистова 1861 г., был ликвидирован 24 апреля 1862 г. Приговором военного суда, конфирмированным 14 июня 1862 г., уличенные в революционной пропаганде поручик Иван Арнгольдт, подпоручик Петр Сливицкий и унтер-офицер Франц Ростковский были расстреляны, поручик Василий Каплинский и рядовой Лев Щур сосланы в каторжные работы сроком на 6 и 12 лет, а поручик Станислав Абрамович отрешен от службы, посажен на три месяца в крепость и подчинен на три года надзору полиции. Так как никто из участников варшавского заговора «бегством не спасся», то эпизод, рассказанный в записках со слов кн. Н.А. Орлова, может быть связан только с именем нелегально выехавшего за границу Станислава Абрамовича.

75 Корсини Наталия Иеронимовна (литературный псевдоним «Н.А. Таль»), видная деятельница петербургских радикальных кружков 60-х гг., впоследствии жена Н.И. Утина, члена центрального комитета «Земли и Воли» и секретаря русской секции I Интернационала.

76 Гартман Лев Николаевич (1850—1913), один из виднейших деятелей революционного движения 70-х гг., участник подготовки взрыва императорского поезда на Московско-Курской железной дороге в 1879 г., заграничный представитель «Народной Воли». Арестованный 23 января (3 февраля) 1880 г. в Париже, Гартман не был выдан русскому правительству только вследствие шума, поднятого в связи с этим арестом в европейской радикальной печати и во влиятельных парламентских кругах. (Воззвание по этому поводу исполнительного комитета «Народной Воли» «К французскому народу», поддержанное Виктором Гюго, перепечатано было в крупнейших органах печати Европы и Америки.) Ноты русского посольства, энергически требовавшие выдачи Л. Гартмана как якобы уголовного, а не политического преступника, были окончательно отклонены Комитетом министров 6 марта 1880 г., а на следующий день Гартман был выслан в Англию.

77 «Франция не выдает Гартмана, — записал в своем дневнике П. А. Валуев 24 февраля 1880 г. — Следовало этого ожидать; но последствия вредны в смысле обеспечения другим Гартманам droit d'asyle* на французской территории. Нет, однако же, худа без добра. Мираж сближения с Францией против Германии à la Милютин — Обручев и друг. потускнеет» (Граф П. А. Валуев. «Дневник 1877—1884»).

78 Гамбургер Андрей Федорович (1821—1899), управляющий делами личного состава и хозяйственно-административной частью Министерства иностранных дел, русский посол в Швейцарии с 1879 по 1896 г.

---

* Право политического убежища *(фр.)*.

79 Акинфиева Надежда Сергеевна (1839—1891), впоследствии жена герцога Н. М. Лейхтенбергского, получившая в силу особого царского указа от 30 января 1879 г. титул графини Богарнэ. «Все удивлялись, — записал Е. М. Феоктистов в одном из своих дневников, — что герцог Николай Лейхтенбергский женился на Акинфиевой: к чему женитьба, когда и без нее можно было бы устроиться как нельзя лучше!»

80 Горчаков Александр Михайлович (1798—1883), светлейший князь, русский посол в Вене в годы Крымской кампании, министр иностранных дел с 15 апреля 1856 по 22 марта 1882 г. Блестящую личную характеристику его, резюмирующую отзывы многочисленных современников князя, дает Ю. С. Карцев в мемуарах «За кулисами дипломатии»: «Несомненно, князь А. М. Горчаков был человек высокоталантливый, огромного политического опыта. Но годы его были преклонные. Физические его силы, а с ними и духовные, с каждым днем ему изменяли. Голова оставалась свежею, но бороться со старческими наклонностями ослабевшая воля была не в состоянии. Эгоизм, мания величия, страсть к рекламе, скаредность, похотливость — эти черты были всегда присущи натуре князя. Теперь, более не сдерживаемые нравственною уздою, они им завладели и затемнили прирожденную ему ясность взгляда» («Русская старина». 1908. Кн. I. С. 90—92).

81 «Горчаков доставит тебе это письмо, — писал Пушкин около 12 сентября 1825 г. князю П. А. Вяземскому. — Мы встретились и расстались довольно холодно, по крайней мере, с моей стороны. Он ужасно высох, впрочем, так и должно: зрелости нет у нас на севере, мы или сохнем или гнием; первое все-таки лучше; от нечего делать я прочел ему несколько сцен из моей комедии».

82 Под «известной статьей» Петра Яковлевича Чаадаева (1794—1856) разумеется «Философическое письмо», опубликование которого в «Телескопе» за 1836 г. вызвало закрытие журнала, ссылку редактора, отрешение от должности цензора и официальное объявление автора душевнобольным. Анекдоты о Чаадаеве, пользовавшемся в Москве исключительной популярностью и авторитетом, перенесены были Е. М. Феоктистовым в воспоминания из его же памятной книжки, где под 21 сентября 1871 г. (л. 46 об. — 47 об.) мы находим следующую запись: «Дорогою из деревни читал в «Вестн. Евр.» статью Жихарева о Чаадаеве. Любопытный материал для истории московских кружков. Я не знал Чаадаева лично, ибо был еще очень молод, когда он пользовался своею славою, но мне приходилось встречать его раза два или три у И. С. Тургенева. Он производил на меня впечатление очень скучного и незанимательного господина, который говорил исключительно только о себе. От Ф.И. Тютчева слышал я уморительные анекдоты о его непомерном самолюбии».

83 Барон Будберг Андрей Федорович (1817—1881), русский посол с 1851 по 1856 г. и с 1858 по 1862 г. в Берлине, с 1856 по 1858 г. в Вене, с 1862 по 1868 г. в Париже. «Человек, — по характеристике Б.Н. Чичерина, — умный, сметливый, живой, но интриган и неразборчивый на средства».

84 Барон Жомини Александр Генрихович (1814—1888), известный дипломат, старший советник Министерства иностранных дел, автор исследования «Россия и Европа в эпоху Крымской войны».

85 Граф Каподистрия Иоанн Антонович (1776—1831), уроженец острова Корфу, на русской службе с 1809 г., статс-секретарь по иностранным делам императора Александра I, с 1822 г. в отставке; в 1827 г. избран президентом Греции. Записка Каподистрии о его службе в России использована в статье Е.М. Феоктистова в «Журнале Министерства народного просвещения» (1868. Кн. II) и почти полностью опубликована в «Сборнике Рус. истор. общества» (Т. III. С. 163—303).

86 Кудрявцев Петр Николаевич (1816—1858), критик и беллетрист, сотрудник «Отечественных записок» и «Современника» эпохи Белинского; с 15 августа 1847 г. преподаватель, а впоследствии профессор Московского университета по кафедре всеобщей истории. Воспоминания о П.Н. Кудрявцеве гр. Е.А. Салиас, на которые ссылается Е.М. Феоктистов, опубликованы в «Полярной звезде» (1881. Кн. III).

87 Соловьев Сергей Михайлович (1820—1879), профессор Московского университета по кафедре русской истории, автор знаменитой «Истории России с древнейших времен».

88 Вернадский Иван Васильевич (1821—1884), профессор Московского университета по кафедре политической экономии и статистики; умеренный либерал. По характеристике С.М. Соловьева, «человек живой, не без дарования, но без крепких убеждений и невыносимо дерзкий». Родом украинец, а не поляк, как ошибочно указывает Е.М. Феоктистов.

89 Варвара Арсеньевна Кудрявцева (урожденная Нелидова) скончалась 5 марта 1857 г. «Я здесь часто видаюсь с Салиас и Кудрявцевым. Последний понес тяжелую потерю, — писал Н.А. Некрасов 22 апреля 1857 г. из Рима Тургеневу, — у него во Флоренции уморили в несколько дней здоровую, веселую и любимую жену. Жаль его бедного очень — хороший он человек, да горе совсем его сломило. Больно видеть его».

90 Катков Михаил Никифорович (1818—1887), в юности член кружка Белинского, талантливый литературный критик и поэт-переводчик; с 1845 по 1851 г. адъюнкт-профессор Московского университета по кафедре философии; впоследствии редактор «Русского вестника» и «Московских ведомостей», влиятельнейший публицист национально-консервативного лагеря, вдохновитель реакционной политики восьмидесятых годов.

91 Леонтьев Павел Михайлович (1822—1875), профессор Московского университета по кафедре римской словесности и древностей, политический публицист, ближайший сотрудник Каткова по редакционной работе в «Московских ведомостях» и в «Русском вестнике». «Маленькая двугорбая фигура с четвероугольным матово-бледным лицом, — восстанавливает внешний облик его С.М. Соловьев, — густыми русыми волосами, карими холодными, не проницательными, но внимательными, старающимися проникнуть, и потому очень неприятными, глазами. Первое, что поражало в Леонтьеве внимательного человека, — это напряженное внимание, с каким он обращался ко всему, желание проникнуть, изучить человека, дело, отношение. Цепкость была отличительным качеством Леонтьева; вцепится во что-нибудь — не отстанет; «собака» (репейник) есть лучшее для него подобие. Эта цепкость в каждом деле была драгоценным его качеством для Каткова, когда они

вместе издавали журнал, газету, завели лицей; нетерпеливый, впечатлительный Катков приходил в отчаяние от каждой неудачи, от каждой ошибки, от каждого препятствия; но Леонтьев вцепился крепко в дело, и ничем нельзя было его отцепить; всякую беду он надеется переждать, всякое препятствие преодолеть, всякую ошибку поправить; но везде ровен, выдержлив; бешеный Катков опрокинется на него с упреками — Леонтьев выдержит спокойно и успокоит. Та же цепкость — в привязанности и во вражде» («Записки С.М. Соловьева»).

92 Огарев Николай Платонович (1813—1877), поэт и публицист, с детских лет друг и единомышленник Герцена, впоследствии известный эмигрант; находясь в ссылке, женился 26 апреля 1836 г. на М.Л. Рославлевой, племяннице пензенского губернатора А.А. Панчулидзева. Истории его женитьбы и уяснению всех обстоятельств разрыва М.Л. с его кругом, а впоследствии и с ним самим посвящена работа М.О. Гершензона «Любовь Н.П. Огарева» («Образы прошлого». М., 1912. С. 326—425). Следует отметить, что благодаря запискам Т.А. Астраковой, включенным в воспоминания Т.П. Пассек «Из дальних лет» (первое отдельное издание — 1879 г.), столкновения М.Л. Огаревой с друзьями ее мужа, и в частности характерные стычки с Н.Х. Кетчером, очень рано стали достоянием мемуарной литературы.

93 «У m-me Салиас бываю я довольно часто, — писал Н.П. Огарев 12 февраля 1842 г. жене. — Мне там хорошо, свободно, можно говорить вздор и видеть прекрасное лицо, — две вещи, которые доставляют великую отраду». В декабре 1848 г. Огарев свои отношения к графине Е.В. Салиас сам определял как «даже более, нежели дружеские», над чем впоследствии очень иронизировал Герцен.

94 Столкновение Каткова с Бакуниным произошло в квартире Белинского, о чем свидетельствует подробный рассказ последнего в письме от 12 августа 1840 г. к В.П. Боткину: «Бакунин прошел в мой кабинет и встретился с Катковым лицом к лицу. Катков начал благодарить его за участие в его истории. Бакунин, как внезапно опаленный огнем небесным, попятился назад, задом вошел в спальню и сел на диван, говоря с изменившимся лицом и голосом и с притворным равнодушием: «Фактецов, фактецов, я желал бы фактецов, милостивый государь!» — «Какие тут факты, вы продавали меня по мелочи, вы подлец, сударь!» Бакунин вскочил: «Сам ты подлец! Скопец!» Это подействовало на него сильнее подлеца: он вздрогнул, как от электрического удара. Катков толкнул его с явным намерением затеять драку. Бакунин бросился к палке, завязалась борьба...» Дело кончилось вызовом Каткова Бакуниным на дуэль; Белинский и Панаев согласились быть секундантами, но на следующий день Бакунин предложил перенести поединок за границу, куда оба дуэлянта должны были в ближайшее же время выехать. В Германии они действительно встретились, но объяснение привело противников к примирению.

95 «Ты, Мишель, составил себе громкую известность попрошайки и человека, живущего на чужой счет, — писал Белинский 12 октября 1838 г. Бакунину. — В самом деле, ты много перебрал и перепросил денег».

96 Переписка М.А. Бакунина с родными и письма к нему и к ним Тургенева за время с 1840 по 1843 г. свидетельствуют не толь-

ко о постоянных денежных ссудах Ивана Сергеевича Мишелю, но и о тесной дружбе, связывавшей их за границей. «У меня на заглавном листе моей энциклопедии написано: Станкевич скончался 24. VI. 1840 г., а ниже: я познакомился с Бакуниным 20. VII. 1840 г. Из всей моей прежней жизни я не хочу вынести других воспоминаний», — писал Тургенев 8 сентября 1840 г. о Бакунине, который, в свою очередь, предупреждал сестер 3 мая 1841 г., что, назвав Тургенева «своим другом», он «не употребил всуе этого священного и так редко оправдываемого слова. В продолжение целой зимы мы жили с ним почти в одной комнате целые дни, от шести часов утра и до позднего вечера были неразлучны и работали вместе — и это не только что не ослабило, но, напротив, укрепило нашу связь» (А.А. Корпилов. «Годы странствий Михаила Бакунина». Л., 1925. С. 73). Эти отношения впоследствии значительно охладели и кончились в пору революции 1848 г. полным разрывом. Впрочем, после бегства Бакунина из Сибири Тургенев видался с ним в Лондоне в 1861—1862 гг. и оказывал материальную помощь как ему самому, так и его жене, остававшейся в России. (См. документы дела «О лицах, обвиняемых в сношениях с лондонскими пропагандистами», опубликованные в статье А.В. Безродного «Тургенев и эмигранты» («Исторический вестник». 1906. Кн. I. С. 181—198) и в книге М.К. Лемке «Очерки освободительного движения 60-х гг.» (Спб., 1908. С. 162—168). Дружба с Бакуниным оставила, как известно, след и в творчестве Тургенева: «Что за человек Бакунин, спрашиваете вы? — отвечал Тургенев 28 сентября 1862 г. на запрос М.А. Маркович. — Я в Рудине представил довольно верный его портрет».

97 «Со слезами, на коленях прошу я вас, простите меня, — писал М.Н. Катков из-за границы Н.П. и М.Л. Огаревым в 1840 г., — вас, которых я так недавно называл друзьями, перед которыми я так тяжко виноват; я так глубоко оскорбил тебя, Николай, перед нею/же/ я грешен, как преступник, и ниже самого презренного животного».

98 «Много, много пятен в этой, впрочем, прекрасной натуре, — писал Белинский 15 января 1841 г. о молодом Каткове. — А между тем это натура, полная силы, энергии, могучести, натура широкая, если еще пока не глубокая; он никогда не сделается ни пиэтистом, ни резонером, ни сантиментальным шутом. Только он носит в себе страшного врага — самолюбие, которое, при его кровяном, животном организме черт знает до чего может довести его. Самолюбие ставит его в такое положение, что от случая будет зависеть его спасение или гибель, смотря куда он поворотит».

99 Княжна Шаликова Софья Петровна, дочь известного литератора Петра Ивановича Шаликова (1767—1852), редактора «Дамского журнала» и «Московских ведомостей», с 1852 г. жена М.Н. Каткова.

100 Делоне Елизавета Петровна, по мужу Балинская (умерла 2 мая 1873 г.), ученица К.А. Коссовича (1815—1883), известного санскритолога, впоследствии профессора Петербургского университета.

101 Назимов Владимир Иванович (1802—1874), генерал от инфантерии, попечитель московского учебного округа с 1849 по 1855 г., впоследствии литовский генерал-губернатор, член Государственно-

го совета. Это был, как характеризует его С.М. Соловьев, «человек добрый, простой, необразованный, со всеми привычками тогдашнего генерала... Его послали попечителем, чтобы он по-военному скрутил университет, согнул в бараний рог профессоров, этих злонамеренных либералов, бунтовщиков. Но вместо бунтовщиков генерал нашел людей очень скромных, почтительных, робких».

102 Кавелин Константин Дмитриевич (1818—1885), ученый-правовед, социолог, публицист и общественный деятель; в юности член кружка Белинского, один из выдающихся представителей либерального западничества в журналистике 40—50 гг., впоследствии профессор Петербургского университета (который демонстративно оставил в 1861 г.) и Военно-юридической академии.

103 Чичерин Борис Николаевич (1828—1904), профессор Московского университета по кафедре государственного права, известный общественный деятель умеренно-либерального лагеря.

104 Капустин Михаил Николаевич (1828—1899), профессор Московского университета по кафедре международного права, впоследствии попечитель рижского и петербургского учебных округов.

105 Князь Голицын Юрий Николаевич (1823—1872), тамбовский губернский предводитель дворянства, владелец 8 тыс. десятин земли и около 1500 душ крестьян, талантливый дирижер-любитель, славившийся своим крепостным хором, автор фортепьянных пьес и романсов. В 1858 г. за сношения с Герценом и участие в «Колоколе» уволен от службы, лишен придворного звания и сослан под надзор полиции в г. Козлов; в 1860 г. бежал за границу, жил в Лондоне, с большим успехом концертировал; в 1862 г. возвратился в Россию, где выступал во главе вновь организованного хора в обеих столицах и в провинции. Незадолго до смерти издал извлечение из своих записок («Прошедшее и настоящее». Спб., 1870).

106 Дело о жестоком обращении кн. Ю. Н. Голицына с крестьянами, на которое ссылается Е.М. Феоктистов, производилось в 1854—1856 гг. и основано было на ложном доносе его же управляющего. Участие кн. Ю. Н. Голицына в «Колоколе» не помешало появлению на страницах последнего 1 июля 1859 г. резкой статьи «Эмансипатор князь Ю. Н. Голицын», основанной на сведениях о неблаговидной земельной сделке князя Голицына с его же крепостными. Блестящая общая характеристика князя, данная в «Былом и думах», ч. VI, гл. 10, не дает никаких оснований для заключений о близости его к Герцену.

107 Зайцев Варфоломей Александрович (1842—1882), публицист и критик, сотрудник «Русского слова»; как «нигилист» с 1865 г. состоял «под бдительным надзором полиции»; в 1869 г. эмигрировал в Швейцарию, примкнул к «Международному обществу рабочих», в рядах которого боролся вместе с Бакуниным против Маркса.

108 Этим «преступным замыслам», как доказывает сохранившаяся в архиве III отделения копия перлюстрированного письма Е.М. Феоктистова от 22 сентября 1861 г. к Н.А. Орлову, не был чужд и сам мемуарист: «Правительственные стеснения положительно становятся невыносимыми, — писал он, — нельзя скрывать, что неудовольствие господствует всюду и весьма сильное. В обществе только и слышатся разговоры о необходимости подать правитель-

ству адрес с тысячами подписей, в котором были бы изложены требования либеральной партии. Эти требования состоят в свободе печати, гласном судопроизводстве, отмене телесных наказаний и обнародовании бюджета. Большинство просвещенного общества принадлежит к этой либеральной партии. Да, впрочем, что я говорю — либеральной партии! Вернее, требования всего просвещенного дворянства, всех сколько-нибудь просвещенных людей» («Русское прошлое». 1923. Кн. 2. С. 144—145).

109 Леонтьев Александр Николаевич (1827—1878), генерал-майор, начальник Академии генерального штаба с 1862 по 1878 г.

110 Шевелев Андрей Петрович (1825—1893), преподаватель черчения и съемки, впоследствии библиотекарь Академии генерального штаба, с 1881 г. генерал-майор, член военно-ученого комитета Главного штаба.

111 Сухозанет Иван Онуфриевич (1785—1861), генерал-адъютант, командовал артиллерией в день 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади, директор Николаевской академии генерального штаба с 1832 по 1854 г.

112 Князь Яшвиль Лев Михайлович (1772—1836), генерал от артиллерии, член военного совета.

113 Сераковский Сигизмунд Игнатьевич (1836—1863), капитан генерального штаба, военный писатель, сотрудник «Морского сборника»; приняв командование одним из отрядов польских повстанцев, был разбит 26 апреля 1863 г. при попытке перейти из Литвы в Лифляндию, взят в плен и повешен в Вильно.

114 Устав Общества пособия нуждающимся литераторам и ученым был утвержден 7 августа 1859 г., первое собрание учредителей Общества состоялось в Петербурге 8 ноября 1859 г.

115 Громека Степан Степанович (1823—1877), видный публицист, сотрудник «Русского вестника» и «Отечественных записок», один из деятельных анонимных корреспондентов «Колокола», впоследствии сотрудник Н.А. Милютина в Польше, седлецкий губернатор. Поездка С.С. Громеки в Москву, о которой рассказывает Е.М. Феоктистов, обратила на себя внимание и высшей власти: 26 сентября 1861 г. министр внутренних дел П. А. Валуев телеграфно предложил московскому генерал-губернатору «следить за чиновником министерства Громека и узнать, зачем он поехал в Москву», на что на следующий же день получил ответ: «Громека в С.-Петербурге. Был здесь, чтобы уговаривать литераторов подписать адрес по поводу арестования Михайлова, но предложение всеми отвергнуто».

116 Михайлов Михаил Илларионович (1826—1865), известный поэт, беллетрист и переводчик, сотрудник «Современника», близкий к революционным кругам 60-х гг.; 1 сентября 1861 г., вскоре после возвращения своего из-за границы, был подвергнут обыску, а 14-го числа того же месяца после повторного обыска арестован. Как свидетельствует в своих воспоминаниях Н.В. Шелгунов, «арест Михайлова произвел большое впечатление, особенно в литературных кругах. Это был первый арест лица, уже имевшего известное общественное положение и популярное имя». В III отделении М.И. Михайлову предъявлено было два обвинения: 1) Сочинение прокламации «К барским крестьянам» (действительным автором которой

был Н.Г. Чернышевский). 2) Привоз из Лондона и распространение воззвания «К молодому поколению» (необнаруженным автором которого был Н.В. Шелгунов). 24 сентября 1861 г. М.И. Михайлов признал себя виновным в составлении вместе с Герценом и Огаревым и распространении воззвания «К молодому поколению». Осужден приговором правительствующего сената 31 октября 1861 г. к каторжным работам на 12 лет; срок по конфирмации сокращен наполовину; умер в Сибири.

117 В коллективном прошении от имени «редакторов и сотрудников петербургских журналов», поданном 15 сентября 1861 г. министру народного просвещения по поводу ареста М.И. Михайлова, отмечалось: «Мы не знаем, в чем обвиняется М.И. Михайлов, и даже сам г. Михайлов, как говорят, не знает этого. Мы знаем только, что вся литературная деятельность этого писателя направлена была к самым благородным и высоким целям и постоянно клонилась к уменьшению в человечестве страданий и преступлений, а не к увеличению их. Поэтому мы никак не можем допустить, чтобы г. Михайлов мог быть виновен в каком-либо чрезмерном преступлении, для которого необходимо было забвение всех установленных по наказу для судебных следователей правил. Соображения эти дают нам смелость обратиться к вашему превосходительству как к прямому и естественному защитнику русской литературы с убедительнейшей просьбой принять под свою защиту дальнейшую участь г.Михайлова как одного из лучших и благороднейших представителей литературы».

118 Свидание Н.Г. Чернышевского с М.Н. Катковым, о котором рассказывает Феоктистов, было в том году не первым. «27 марта в 11 часов утра, — писал Чернышевский 27 апреля 1861 г. Добролюбову, — входит в переднюю М.Н. Каткова человек среднего роста и средних лет — этот человек я (N.B. На тот случай, если вы станете писать стихи, Катков живет уже не в Армянском переулке, воспетом вами, а у Николы Явленного, что на Арбате в Кривоникольском переулке, дом Щелиной). Опять распростертые объятия и т. д. Опять созываются московские мужи (в квартиру Каткова 28 марта). Опять падает занавес скромной Клио. Я по два раза в день бываю у Каткова. 30 марта сажусь опять в вагон 2-го класса и возвращаюсь в Петербург. Вы догадываетесь, дело идет о цензурных вещах. Пишутся проекты, пишутся записки, дело кипит — впрочем, на точке замерзания, — потому что записку, которую поручили составить Каткову, я еще не получил».

119 Утин Борис Исаакович (1832—1872), профессор Петербургского университета по кафедре сравнительной истории положительных законодательств; протестуя против действий администрации во время студенческих волнений, оставил университет в 1861 г. вместе с К.Д. Кавелиным, А.Н. Пыпиным и М.М. Стасюлевичем.

120 Основные положения адреса московского дворянства, представленного царю через министра внутренних дел 11 января 1865 г., сводились к предложению созыва «общего собрания выборных людей от земли русской для обсуждения нужд, общих всему государству». «Повелите вашему верному дворянству с этой же целью избрать из среды себя лучших людей. Дворянство было всегда твердой опорой русского престола. Не считаясь на государственной службе, не пользуясь сопряженными с нею наградами,

безвозмездно исполняя свой долг для пользы отечества и порядка, эти люди по самим условиям своего государственного положения будут призваны охранять драгоценные для народа и необходимые для истинного благоустройства нравственные и политические начала, на которых зиждется государственный строй. Этим путем, государь, вы узнаете нужды нашего отечества в истинном их свете, вы восстановите доверие к исполнительным властям, вы достигнете точного исполнения законов всеми и каждым и применимости их к нуждам страны» («Минувшие годы». 1908. Кн. VIII. С. 242). «И адрес и речи, — записал А.В. Никитенко в своем «Дневнике», — обнаруживают желание московского дворянства создать в России олигархию». Ф.И. Тютчев откликнулся на этот адрес известной эпиграммой «Куда себя морочите вы грубо! Какой у вас с Россиею разлад! И где вам в члены английских палат, Вы, члены английского клуба» (Ср. «ответ» на эту эпиграмму, опубликованный в «Русском архиве». 1885. Кн. X. С. 298).

121 Безобразов Николай Александрович (1816—1867), магистр государственного права, один из руководителей дворянской фронды 60-х гг., ближайший сотрудник «Вести»; граф Орлов-Давыдов Владимир Петрович (1809—1882), с.-петербургский губернский предводитель дворянства, известный библиофил, человек, по определению профессора Чичерина, весьма недалекий, исполненный не столько дворянского духа, сколько мелких претензий, но колоссально богатый и желавший играть общественную роль.

122 Муравьев Михаил Николаевич (1796—1866), генерал от инфантерии, с 1865 г. граф, в пору польского восстания виленский генерал-губернатор, за два года управления которого краем в Литве было, по официальным данным, «казнено 128, сослано на каторгу 972 и на поселение в Сибирь 1 427 человек».

123 Валуев Петр Александрович (1815—1890), министр внутренних дел с 1861 по 1868 г., впоследствии министр государственных имуществ, председатель Комитета министров.

124 Киселев Павел Дмитриевич (1778—1872), генерал-адъютант, министр государственных имуществ, с 1856 по 1862 г. русский посол в Париже.

125 «Правительству в известных обстоятельствах бывают нужны цепные собаки. Оно и спускает их с цепи, а потом не знает, как их унять», — записал 9 января 1864 г. в своем «Дневнике» под впечатлением статей М.Н. Каткова в «Московских ведомостях» А.В. Никитенко.

126 Живая характеристика М.Н. Каткова и его окружения во время приездов в Петербург дана в воспоминаниях Г.К. Градовского «Из минувшего»: «Бывавшие у Каткова подчиненные графа Толстого, начиная с Е.М. Феоктистова, явно и откровенно лебезили перед Катковым. Феоктистов сидел на кончике стула и молчал, если его не спрашивали, и вставал, когда Катков приподнимался со своего кресла».

127 Самарин Юрий Федорович (1819—1876), известный публицист и общественный деятель славянофильского лагеря. Книга «Окраины России», за которую автору выражено было в 1868 г. высочайшее неудовольствие, печаталась за границей отдельными

выпусками, из которых первые два вышли в свет в 1867 г., третий в 1871-м, четвертый в 1874-м, два последних в 1876 г.

128 Граф Шувалов Петр Андреевич (1827—1889), генерал-адъютант, с 1866 по 1874 г. шеф жандармов и главный начальник III отделения, впоследствии посол в Лондоне, член Государственного совета. Впечатления от его назначения очень ярко отражены во вновь найденной эпиграмме Ф.И. Тютчева: «Над Россией распростертой Встал внезапною грозой — Петр, по прозвищу Четвертый, Аракчеев же — второй».

129 Потапов Александр Львович (1818—1886), генерал-адъютант, с 1868 по 1874 г. виленский генерал-губернатор, ликвидатор политики М.Н. Муравьева; с 1874 по 1876 г. шеф жандармов и начальник III отделения.

130 Тимашев Александр Егорович (1818—1893), генерал-адъютант, с 1868 по 1878 г. министр внутренних дел.

131 Краевский Андрей Александрович (1810—1889), известный журналист, издатель «Отечественных записок» и «Голоса».

132 Тихомиров Лев Александрович (1852—1923), один из виднейших деятелей «Народной Воли», впоследствии известный ренегат, политический публицист консервативного лагеря; в своей исповеди «Начала и концы», печатавшейся в «Московских ведомостях» за 1890 г. и в том же году выпущенной отдельным изданием, Л.А. Тихомиров возлагал ответственность за свое прошлое на либеральную печать и школу 60—70-х гг.

133 Иловайский Дмитрий Иванович (1832—1919), историк и публицист консервативного лагеря, автор клерикально-патриотических учебных руководств по русской и всеобщей истории.

134 Публичные лекции П.Л. Лаврова, с которыми он многократно выступал перед петербургской аудиторией в первой половине 60-х гг. («Три беседы о современном значении философии», «Д'Аламбер», «Из истории физико-математических наук» и др.), пользовались большим успехом. Впечатления слушателей очень живо передает в своих записках Е.А. Штакеншнейдер и другие мемуаристы, а полицейская квалификация этих выступлений получила выражение в секретной справке III отделения «О полковнике Лаврове» от 6 января 1866 г.: «На публичных чтениях о философии Лавров позволял себе разные резкие выходки, направляемые против верховной власти и существующего порядка, что побуждало публику громко рукоплескать ему» («Материалы для биографии П.Л. Лаврова». П., 1921. С. 86).

135 Князь Черкасский Владимир Александрович (1824—1878), известный общественный и государственный деятель, один из ближайших сотрудников Н.А. Милютина по работе в Польше, в 1870—1871 гг. московский городской голова, во время войны 1877—1878 гг. управляющий гражданской частью в Болгарии.

136 Граф Ностиц Иван Григорьевич (1824—1905), генерал-лейтенант «свиты его величества», бывший командир Нижегородского драгунского полка.

137 Альбединский Петр Павлович (1825—1883), генерал-адъютант, генерал-губернатор с 1867 по 1870 г. лифляндский, эстляндский и курляндский, с 1874 по 1880 г. виленский, ковенский и грод-

ненский, с 1880 по 1883 г. варшавский. Его общую характеристику см. далее в гл. VIII.

138 «Вот уже несколько дней, — отмечал Е.М. Феоктистов 29 ноября 1871 г. в своих «Заметках из слышанного и виденного», — как в петербургской официальной сфере происходят сатурналии по случаю приезда сюда принца Фридриха-Карла Прусского, фельдмаршала Мольтке и нескольких прусских генералов, прославившихся в последней войне с Францией» (л. 51 об.).

139 Московский лицей имени цесаревича Николая был учебным заведением, созданным М.Н. Катковым на частные средства в 1868 г., действующим по им самим разработанным учебно-воспитательным программам и штатам, но пользующимся всеми правами привилегированных правительственных институтов.

140 Киреев Александр Алексеевич (1833—1910), генерал от кавалерии, бывший адъютант вел. князя Константина Николаевича, литератор славянофильского лагеря, специалист по церковным вопросам; брат О.А. Новиковой, известной публицистки 70—90-х гг.

141 «Сегодня в «Новом времени» читаю, что Каткова назначают членом Государственного совета, а в городе слышу разговоры, что статья внушена вами, — писал К.П. Победоносцев 20 января 1882 г. графу Н.П. Игнатьеву. — Я старый приятель М.Н. Каткова, но признаюсь, что такого назначения не одобрил бы, если бы меня спросили. Прежнего Каткова правительство потеряет, а нового не приобретет» («Былое». 1925. Кн. 27—28. С. 69). Н.П. Игнатьев поспешил опровергнуть свою причастность к информации «Нового времени». «О назначении Каткова членом Государственного совета и речи не было, сколько мне известно, — писал он К.П. Победоносцеву, — князь Долгоруков /московский генерал-губернатор/ представлял его в тайные советники и разболтал преждевременно по городу. Теперь М.Н. /Катков/ говорит, что его компрометировали, и от него первого слышал я (третьего дня), что слух распускают о назначении его членом Государственного совета. Сплетен и слухов не оберешься в Петербурге» («К.П. Победоносцев и его корреспонденты». М., 1923. Т. I. С. 84). Очень решительно отрицая в частном письме свою причастность к проекту назначения М.Н. Каткова, граф Н.П. Игнатьев всячески уклонялся от приведения в исполнение требования председателя Государственного совета о помещении в «Правительственном вестнике» официального опровержения этих слухов. Это требование все же было исполнено 31 января 1882 г., немедленно вызвав негодующее обращение М.Н. Каткова к Александру III.

142 Головнин Александр Васильевич (1821—1886), лидер кружка либеральных бюрократов, группировавшихся вокруг вел. кн. Константина Николаевича, министр народного просвещения с 25 декабря 1861 по 14 апреля 1866 г. «Его считают человеком очень умным и коварным, — писал Б.Н. Чичерин при известии о его назначении министром, — а, по-моему, он человек честный и небольшого ума, усидчивый и трудолюбивый, упорный, но до крайности узкий и педант» (Воспоминания Б.Н. Чичерина. М., 1929. С. 55).

143 Щебальский Петр Карлович (1810—1886), отставной полковник; историк и публицист; с 27 марта 1859 г. чиновник особых поручений при Главном управлении цензуры, составитель секретной анонимной записки «Исторические сведения о цензуре в Рос-

сии» (опубликованной в 1862 г.), впоследствии начальник сувалкской и варшавской учебных дирекций, с 1883 по 1886 г. редактор «Варшавского дневника».

144 Капнист Петр Иванович (1830—1898), поэт и переводчик; чиновник Главного управления цензуры, автор конфиденциальных записок «О направлении различных отраслей русской словесности за последнее десятилетие», опубликованных в 1865 г., редактор «Правительственного вестника» с 1874 по 1882 г.

145 Константин Николаевич, великий князь (1827—1892), генерал-адмирал, наместник Царства Польского с 27. V. 1862 по 19. X. 1863 г.; впоследствии председатель Государственного совета.

146 Краевский Евгений Андреевич (1841—1883), сотрудник «Голоса», впоследствии чиновник государственной канцелярии.

147 Альбертини Николай Викентьевич (1826—1890), кандидат прав Московского университета, публицист, сотрудник «Отечественных записок», «Голоса» и других радикальных и умеренно-либеральных изданий. В начале 1862 г. выехал за границу, где сблизился с кружком А.И. Герцена; при возвращении в Россию был подвергнут 22 февраля 1863 г. задержанию на границе и привлечен к «делу о лицах, виновных в сношениях с лондонскими пропагандистами»; освобожденный от суда приговором Сената 10 декабря 1864 г., вновь арестован в 1866 г. по делу о гейдельбергской читальне; после нескольких лет тюремного заключения и ссылки в 1873 г. получил разрешение на свободное проживание вне С.-Петербурга; в 1880 г. освобожден и от последнего ограничения. Вопреки данным Е.М. Феоктистова, в архиве Министерства народного просвещения не оказалось никаких материалов о командировании Н.В. Альбертини и Е.А. Краевского с научною целью за границу.

148 Е.М. Феоктистов был одним из трех представителей Министерства народного просвещения в «Комиссии для составления проекта устава о книгопечатании» 1863—1865 гг. Принадлежа здесь к либеральному меньшинству, он подписал известную записку о недопустимости наложения взысканий по делам печати без суда, чем, вероятно, и дал повод для эпиграммы Н.Ф. Щербины: «Не сердись, пришлося к слову, И тебя я упрекну: При сочувствии к Каткову, Служишь ты Головнину, Для такого ж человечка Казнь народная строга, — Говорят — «он богу свечка, Да и черту кочерга».

Мысли А.В. Головнина о свободе печати получили выражение не только в частных беседах с литераторами, о которых упоминает Е.М. Феоктистов, но и в печатном «всеподданнейшем докладе министра народного просвещения по проекту устава о книгопечатании, читанном в Совете министров 10 января 1863 г.».

149 Бестужев-Рюмин Константин Николаевич (1829—1897), профессор Петербургского университета по кафедре русской истории, организатор Высших женских курсов, с 1890 г. академик. Как характеризует его Е.М. Феоктистов в неизданной части своих воспоминаний, Бестужев-Рюмин в студенческие годы «был олицетворением душевной чистоты и целомудрия; скромность и застенчивость его доходит до болезненности. Однажды выразил он желание познакомиться с И.С. Тургеневым, который и просил меня привезти его к нему как-то вечером. В назначеный день мне оказалось неудобным заехать за Бестужевым, и я условился с ним, чтобы он от-

правился к Ивану Сергеевичу к 9 часам и что там он непременно найдет меня; но, увы, меня задержали, и я приехал несколько позднее, вхожу и вижу, что Тургенев, лежа на диване, умирает со смеху. «Вообразите, — говорит он, — отворяется дверь, и предо мной странная фигура какого-то господина, который подвигается вперед, как Пятница подходил к Робинзону; осмотрев комнату, он до того растерялся, что даже не кивнул мне головой; очевидно, он искал вас, но, убедившись, что поиски тщетны, вдруг повернулся к двери; я поспешил к нему и, стоя пред его спиной, начал объяснять ему, что вы не замедлите приехать, но он махнул обеими руками и ушел». Сам К.Н. Бестужев-Рюмин, вспоминая о своем знакомстве с Тургеневым, вскользь отметил, что «дома у него был только раз. Мы взаимно не понравились друг другу: Тургенев казался мне фатом, а я ему сухим педантом» («Воспоминания К.Н. Бестужева-Рюмина». Спб., 1900. С. 33).

150 Галанин Иван Дмитриевич (1817—1873), действительный статский советник, управляющий делами ученого комитета Министерства народного просвещения с 1856 по 1873 г., член Археографической комиссии.

151 Кампания, поднятая М.Н. Катковым в русской легальной печати против А.И. Герцена, открылась 16 мая 1862 г. в «Современной летописи» «Русского вестника» № 20; вторая статья, еще более резкая, появилась 6 июня 1862 г. там же, в № 23.

152 Воронцов-Вельяминов Николай Павлович (1822—1901), публицист, сотрудник «Русского вестника» и «Московских ведомостей», впоследствии попечитель харьковского учебного округа; Юшенов Павел Николаевич (1839—1879), преподаватель Александровского военного училища, варшавский корреспондент «Московских ведомостей» во время польского восстания, впоследствии директор Киевской военной гимназии, генерал-майор.

153 Граф Берг Федор Федорович (1794—1874), генерал-адъютант, впоследствии фельдмаршал, почти вся военная и административная карьера которого сделана была в Польше; помощник вел. кн. Константина Николаевича по командованию войсками, с 19 октября 1863 по 6 января 1874 г. наместник Царства Польского.

154 Интриги Ф.Ф. Берга в штабе австрийской армии против командующего русскими войсками в Венгрии кн. И.Ф. Паскевича вызвали 19 июня 1849 г. следующую резолюцию императора Николая I на одном из донесений последнего: «Генералу Бергу быть осмотрительнее, иначе он будет сменен кем-либо, лучше его понимающим свои обязанности и мои намерения».

155 Павлищев Николай Иванович (1802—1879), варшавский чиновник, муж сестры Пушкина, автор компилятивных трудов по истории Польши, официозный публицист, редактор «Варшавского дневника» с 1864 по 1871 г.

156 Воспоминания о «Галицийской резне» относятся к кровавым эпизодам крестьянского восстания, охватившего в начале 1846 г. несколько уездов Западной Галиции и ознаменовавшегося массовым уничтожением дворян-землевладельцев.

157 Велепольский Александр Иосифович (1803—1877), помощник вел. кн. Константина Николаевича по гражданской части, вице-председатель Государственного совета Царства Польского, неудачно пытавшийся перед восстанием реализовать в крае про-

грамму умеренно-либеральных реформ, опираясь на лояльные элементы дворянства и крупной буржуазии.

158 Чарницкий Дмитрий Иванович (1812—1880), генерал-лейтенант, числящийся для поручений при штабе Варшавского военного округа.

159 Ралль Василий Федорович (1818—1883), генерал-майор, командир л.-гв. Волынского полка, впоследствии генерал от инфантерии, член военного совета.

160 Александра Иосифовна (1830—1911), жена вел. кн. Константина Николаевича с 30 августа 1848 г., урожденная принцесса Фредерика-Генриэтта Саксен-Альтенбургская. «Великая княгиня не умна, еще менее образованна и воспитанна, но в ее манерах и в ее тоне есть веселое, молодое изящество и добродушная распущенность, составляющие ее прелесть и заставляющие снисходительно относиться к недостатку в ней более глубоких качеств, — характеризовала ее А.Ф. Тютчева за несколько лет перед Е.М. Феоктистовым. — Она занимает в семье положение enfant gâtée, и принято считать забавными выходками и милыми шалостями бестактности и неумение держать себя, в которых она часто бывает повинна».

161 Набоков Дмитрий Николаевич (1826—1904), действительный статский советник, состоявший с 4 июня 1862 г. при вел. кн. Константине Николаевиче в Варшаве, впоследствии управляющий собственной Его Величества канцелярией по делам Царства Польского (1867—1876) и министр юстиции (1878—1885).

162 Великий князь Константин Николаевич был ранен в день своего приезда в Варшаву, 20 июня 1862 г. Адрес на его имя, выработанный представителями польского дворянства 30 августа 1862 г., гласил, что подписавшие его «только тогда будут иметь возможность поддержать правительство своим доверием, когда это правительство будет нашим польским и когда основным законом, при наличии свободных учреждений, будут соединены все области, составляющие наше отечество».

163 Фелинский Сигизмунд-Феликс (1822—1895), архиепископ Варшавский, бывший профессор Римско-католической духовной академии в Петербурге. После письма своего от 3 марта 1863 г. к императору Александру, в котором Фелинский резко охарактеризовал установившийся в Польше режим русской военной оккупации и горячо протестовал против казней духовных лиц, он был 3 июня 1863 г. вызван в Петербург, откуда отправлен затем на жительство в Ярославль; в ссылке оставался до 1883 г., когда получил разрешение выехать за границу.

164 Стюрлер Александр Николаевич (1825—1901), генерал-майор его величества, впоследствии генерал от кавалерии, член Государственного совета.

165 «Общее негодование и, могу сказать, презрение всех русских и самого войска к великому князю и его управлению было так велико, — объяснял сам М.Н. Муравьев в неизданной части своих записок линию своего поведения в этот момент, — что я не признавал достойным как главный начальник края лично принимать Его Высочество, тем более что известная его необузданность и невежливость могли бы возбудить самые неприятные и неприличные при других столкновения. По этой причине и так как я действительно был нездоров, я поручил старшим военным и гражданским влас-

тям встретить его высочество на дебаркадере железной дороги с почетным караулом. Он вышел из вагона взбешенный, наговорил грубостей присутствующим и, не поздоровавшись даже с караулом, сел опять в вагон и отправился в дальнейший путь».

166 Вяткин Александр Сергеевич (1796—1871), генерал-лейтенант, комендант г. Вильно.

167 Панютин Степан Федорович (1822—1885), один из ближайших сотрудников Муравьева-вешателя, виленский гражданский губернатор с 1863 по 1868 г., впоследствии статс-секретарь, ликвидатор революционного брожения в районе Одесского временного генерал-губернаторства в 1879—1880 гг.

168 Покушение на жизнь виленского губернского предводителя дворянства Домейко («за измену польскому делу») произошло 29 июля 1863 г.

169 Барон Фиркс Федор Иванович (1812—1872), действительный статский советник, бывший чиновник Министерства путей сообщения и финансов; официозный политический публицист «эпохи реформ», сотрудник «Augsburger Allgemeine Zeitung», автор выпущенных за границей (под псевдонимом Шедо-Ферроти) брошюр в защиту деятельности Константина Николаевича в Польше. В «Московских ведомостях» 1864 г., № 195, 196 и 212 М.Н. Катков поместил резкий разбор этих брошюр, сделав попутно несколько прозрачных намеков на причастность А.В. Головнина к их изданию и распространению. Эти разоблачения произвели в высших бюрократических сферах впечатление скандала.

170 «Все слухи согласны в том, что этот барин недолго останется министром, — писал о предстоящей отставке А.В. Головнина еще 30 октября 1864 г. К.Д. Кавелин А.И. Скребицкому. — Кто-то из его сателлитов возвестил в «Indép. Belge» 28 октября в телеграмме, что он выходит, но не вследствие своих пронырств, несостоятельности и бестактности, а вследствие будто бы разбития партии константиновцев, павшей благородной жертвой, отстаивая свободу и либеральные начала и спасая Польшу из когтей ярой русской партии. Это курьезно! Перевалившись за 46 лет, я много видел на своем веку государственных плутов в России, но не видал еще ни одного, который бы так глупо расквасил себе морду, как Головнин. В мазурничестве у него недостатка нет — и самого подлого свойства; но не хватило простого такту, при котором он мог бы пакостить очень долго и совершенно безнаказанно» («Вестник Европы». 1917. Кн. III. С. 178—179).

171 Преемником А.В. Головнина оказался граф Д.А. Толстой, сохранивший при назначении своем 14 апреля 1866 г. министром народного просвещения и прежний свой пост обер-прокурора Святейшего Синода. О нем см. далее в гл. V—VII.

172 Граф Толстой Дмитрий Андреевич (1823—1889), статс-секретарь; помещик Рязанской губернии; воспитанник Александровского лицея выпуска 1842 г.; директор канцелярии Морского министерства с 1853 по 1860 г.; обер-прокурор Святейшего Синода с 3 июня 1865 г.; министр народного просвещения с 14 апреля 1866 г.; уволен от этих должностей 24 апреля 1880 г.; президент Академии наук с 25 апреля 1882 г.; министр внутренних дел с 31 мая 1882 г. Автор монографии «История финансовых учреждений в России со времени основания государства до кончины Екате-

рины II» (1848) и «Le catholicisme romain en Russie» (1864). «Он был создан для того, чтобы служить орудием реакции, — характеризовал Б.Н. Чичерин графа Д.А. Толстого. — Человек не глупый, с твердым характером, но бюрократ до мозга костей, узкий и упорный, не видавший ничего, кроме петербургских сфер, ненавидящий всякое независимое движение, всякое явление свободы, при этом лишенный всех нравственных побуждений, лживый, алчный, злой, мстительный, коварный, готовый на все для достижения личных целей, а вместе доводящий раболепство и угодничество до тех крайних пределов, которые обыкновенно нравятся царям, но во всех порядочных людях возбуждают омерзение».

173 Попов Александр Николаевич (1820—1877), магистр Московского университета, чиновник II отделения собственной его величества канцелярии, историк и общественный деятель, близкий славянофильским кругам.

174 Граф Толстой Андрей Степанович (1793—1830), был женат с 1821 г. на Прасковье Дмитриевне Павловой, по второму мужу Венкстерн (ум. в 1849 г.).

175 Ратынский Николай Антонович (1821—1887), член С.-Петербургского цензурного комитета с 1872 по 1881 г., впоследствии член совета Главного управления по делам печати.

176 Граф Толстой Дмитрий Николаевич (1806—1884), воронежский губернатор с 1859 по 1861 г., покровитель поэта Никитина, «человек ума крепкого и характера благородного», как характеризовал его П.А. Плетнев.

177 Плещеев Алексей Николаевич (1825—1893), известный поэт и беллетрист, сотрудник «Современника» и «Отечественных записок», член кружка М.В. Петрашевского, друг Достоевского, посвятившего ему «Белые ночи». Арестованный 28 апреля 1849 г. в Москве, приговорен к смертной казни, замененной по высочайшей конфирмации 19 декабря 1849 г. «лишением всех прав состояния и определением на службу рядовым в Оренбургские линейные батальоны»; амнистирован в 1856 г.

178 «Зимою этого года, — вспоминал о пропагандистской работе петрашевцев К.Н. Бестужев-Рюмин, — жил в Москве Плещеев; я встречал его у Кудрявцева и Грановского. Из нас особенно сблизился с ним Феоктистов, и мы начали видеться с ним в разных местах. Он говорил нам о возможности получать запрещенные книги и намекал, что в Петербурге есть общество; от Ешевского получил он знаменитое письмо Белинского, которое послужило к обвинению и его, и Достоевского. Когда Плещеева взяли, я сильно задумался над тем, чтоб и нам не досталось, но гроза миновала нас» (Воспоминания К.Н. Бестужева-Рюмина. Спб, 1900. С. 25). Сам А.Н. Плещеев, как свидетельствуют оказавшиеся в распоряжении III отделения письма его к Ф.М. Достоевскому и С.Ф. Дурову, был очень удовлетворен своим пребыванием в Москве и связями, установленными с местными деятелями в интересах тайного общества: «Здесь есть люди, — писал он 26 марта 1849 г., — сочувствующие нашим мыслям о способах деятельности!.. Все они, как выразился кто-то, лежат за общее дело. Впрочем, есть и такие, которые делают. К этим людям отнесу Грановского и Кудрявцева, профессоров истории в университете; они оба превосходно читают и имеют большое влияние на студентов. Они обходятся со студентами как с

равными себе, зовут их на дом, дают им книги и вообще стараются развить в них хорошие семена» («Голос минувшего». 1915. Кн. XII. С. 62—66).

179 «Paroles d'un croyant» («Слова верующего»), трактат Ламенне, о попытках перевода которого деятелями конспиративных кружков 1847—1849 гг. есть несколько известий, был «безусловно» запрещен в России как произведение, «написанное в духе явной ненависти к монархической власти и проистекающим от оной общественными учреждениями, которые автор старается представить противными евангельскому учению о свободе и равенстве» (Выписка из неизданного журнала заседаний Комитета цензуры иностранной от 24 августа 1834 г.).

180 Фрагменты этого письма А.Н. Плещеева к Ф.М. Достоевскому были впервые опубликованы в журнале «Голос минувшего» (1915. Кн. XII. С. 66—67). Вопрос о привлечении к дознанию по «делу петрашевцев» Т.Н. Грановского и П.Н. Кудрявцева ставился в Петербурге (названо было А.Н. Плещеевым во время следствия и имя Е.М. Феоктистова, как студента, через которого он доставал записи лекций московских профессоров), но был разрешен отрицательно. «Для положительного дознания об образе мыслей Грановского и Кудрявцева, — писал московский генерал-губернатор 22 мая 1849 г., — следовало бы произвести у них обыск и тщательно рассмотреть все их бумаги, но в настоящее время, спустя более месяца после арестования Плещеева, мера сия не обещает важного результата и может принести более вреда, нежели пользы. По сему уважению я признал достаточным ограничиться ныне учреждением строжайшего надзора за Грановским и Кудрявцевым, и если по оному обнаружится что-либо предосудительное, то принять тогда решительные меры» («Каторга и ссылка». 1924. Кн. VI. С. 116).

181 Бибиков Дмитрий Гаврилович (1792—1870), киевский, подольский и волынский генерал-губернатор с 1837 по 1852 г., известный своей борьбой с польским дворянством во время введения «инвентарей», регулировавших отношения помещиков и крепостных; министр внутренних дел с 1852 по 1855 г.

182 Граф Протасов Николай Александрович (1798—1855), полковник лейб-гвардии гусарского полка, впоследствии генерал-адъютант, обер-прокурор Святейшего Синода с 1836 по 1855 г.

183 Граф Д.А. Толстой, несмотря на пятнадцатилетнее исполнение им обязанностей обер-прокурора Святейшего Синода, пользовался репутацией человека неверующего и очень брезгливо относящегося к высшим иерархам Православной церкви. «Навестил меня митрополит, — записала в своем дневнике 8 мая 1889 г. А.В. Богданович. — Он не жалеет Толстого, рассказывал про него, что никто не помнит, когда он причащался. В бытность его обер-прокурором Синода он ни разу не был в Исаакиевском соборе, не заглядывал в синодальную канцелярию, где только висел его мундир на вешалке» («Три последних самодержца». М.-Л., 1924; 2-е издание: М. Новости, 1990). «Как далеко простиралась благочестивая начитанность графа Толстого, — писал Б.Н. Чичерин, — обнаружилось в речи, произнесенной им во время путешествия по России. Он сказал: «Французская пословица гласит: нет пророка в своем отечестве». Слова Христа выдавались обер-прокурором Святейшего Синода за французскую пословицу. Речь была напечатана и над

нею много потешались» (Воспоминания Б.Н. Чичерина. М., 1929. С. 194).

184 Макарий Булгаков (1816—1882), известный историк церкви и знаток древнерусской письменности, архиепископ Литовский с 1869 по 1879 г., митрополит Московский с 1879 по 1882 г.

185 Каракозов Дмитрий Владимирович (1840—1866), член московского революционного кружка Н.А. Ишутина, стрелял 4 апреля 1866 г. в Александра II; задержанный на месте покушения, казнен 3 сентября 1866 г.

186 Граф Уваров Сергей Семенович (1786—1855), министр народного просвещения с 1833 по 1849 г.

187 Делянов Иван Давыдович (1818—1897), впоследствии граф; товарищ министра народного просвещения с 1866 по 1874 г., министр — с 1882 по 1897 г. Как характеризует его в своих воспоминаниях С.Ю. Витте, «человек культурный, образованный, но в полном смысле слова хороший, добрый и хитрый «армяшка», он никогда никаких резких вещей не делал; всегда лавировал, держась того направления, которое было преобладающим».

188 Гирт И.О., директор Департамента народного просвещения с 1869 по 1871 г.

189 Воронов Андрей Степанович (1817—1875), член совета министра народного просвещения, один из ближайших сотрудников Е.П. Ковалевского и А.В. Головнина, автор «Статистического обозрения учебных заведений С.-Петербургского учебного округа с 1715 по 1853 г.»; в 1866 г., как свидетельствуют материалы его личного «дела», был определен «наставником» О.И. Комиссарова-Костромского, «спасителя» Александра II в 1866 г., и его жены.

190 Граф Путятин Ефим Васильевич (1806—1883), адмирал. известный исполнитель особых дипломатических поручений русского правительства в Китае и Японии, министр народного просвещения с 28. VI. по 20. XII. 1861 г.

191 Георгиевский Александр Иванович (1829—1911), председатель ученого комитета и член совета Министерства народного просвещения, друг и ученик М.Н. Каткова, один из ближайших сотрудников Д.А. Толстого и И.Д. Делянова, фактический исполнитель всех, связанных с их именами, реакционных мероприятий в области учебного дела; «Мои воспоминания и размышления» А.И. Георгиевского печатались в «Русской старине» в 1915 и 1916 г.

192 М.Н. Катков, характеризуя в одном из писем к Александру III свои прежние отношения к графу Д.А. Толстому, прямо удостоверял: «Чтобы поддержать министра, я истощил все усилия, весь кредит мой у государя, но гр. Толстой в последние годы не внимал никаким убеждениям и отшатнулся от меня в надежде тем умиротворить своих противников, потворствуя им своим бездействием». («Былое». 1917. Кн. IV. С. 23).

193 Титов Владимир Павлович (1807—1891), член Государственного совета; в юности член московского кружка любомудров, сотрудник «Московского вестника» и «Северных цветов», прототип Вершнева — героя одной из неоконченных повестей Пушкина; впоследствии посол в Константинополе, воспитатель вел. кн. Николая Александровича.

194 Маркевич Болеслав Михайлович (1822—1884), реакционный

публицист, автор повестей из великосветской жизни и обличительных романов; чиновник особых поручений при министре народного просвещения, уволенный в 1875 г. от должности за участие в неблаговидной сделке при сдаче в аренду казенных «С.-Петербургских ведомостей».

195 Граф Толстой Глеб Дмитриевич (1862—1904), единственный сын и наследник министра.

196 Записка графа Д.А. Толстого «Об изменениях и дополнениях в уставе гимназий и прогимназий» рассматривалась в Государственном совете 15 мая 1871 г. После длительных и необычайно бурных прений законопроект был отклонен. «По отобрании голосов, — рассказывает один из участников этого заседания, — оказалось за проект 19, а против 29 членов. В числе первых были цесаревич, великие князья Константин и Николай Николаевич, принц Ольденбургский, графы С.Г. Строганов, П.А. Шувалов, Д.А. Толстой и К.И. Пален, кн. С.Н. Урусов и почти все немцы» (Барон А.И. Дельвиг. «Мои воспоминания»). Однако утверждено царем было мнение меньшинства, и проект Д.А. Толстого получил силу закона.

197 Корш Валентин Федорович (1828—1883), известный журналист, член кружка Грановского, впоследствии редактор «С.-Петербургских ведомостей», сотрудник «Голоса» и «Вестника Европы».

198 Баймаков Федор Петрович (1834—1907), биржевой и банковский деятель, редактор-издатель «Финансового обозрения» и «Коммерческого календаря», арендатор «С.-Петербургских ведомостей» (1875—1876); разорившись во время русско-турецкой войны, вел биржевую хронику в «Новостях» и «Новом времени».

199 История разгрома либеральной редакции «С.-Петербургских ведомостей» изложена в записках Е.М. Феоктистова чрезвычайно неточно и тенденциозно, а потому дополняем его рассказ показаниями хорошо осведомленного в подоплеке всей этой операции барона А.И. Дельвига: «Издатели и редакторы «Московских ведомостей» Катков и Леонтьев желали завладеть «С.-Петербургскими ведомостями», издававшимися В.Ф. Коршем по контракту, заключенному с ним Академиею наук, которая издавна пользовалась от отдачи этой газеты в аренду. Срок контракта с Коршем оканчивался 1 января 1878 г.; для немедленного же удаления его Катков и Леонтьев придумали, чтобы газета из ведения Академии наук перешла в Министерство народного просвещения. Представление об этом гр. Д.А. Толстого в Государственный совет было дурно принято последним. Тогда министр внутренних дел А.Е. Тимашев, которому подведомственно Главное цензурное управление, по наущению Толстого испросил в ноябре 1874 г. сепаратным всеподданнейшим докладом, помимо Государственного совета, высочайшее повеление о передаче упомянутой газеты в Министерство народного просвещения, на что он получил предварительное согласие президента Академии наук графа Литке, человека вполне равнодушного к русской литературе и журналистике. Немедленно по объявлении высочайшего повеления Толстой заявил Коршу, что он последнему дозволяет редактировать газету только до 1 января 1875 г. и чтобы он к тому времени приискал нового редактора. Корш сначала думал отстаивать свои права по контракту с академией, но увидав, что обуха плетью не перешибешь, решился продать право на издание газеты на остальные три года, оставшиеся до окончания кон-

трактного срока. Катков и Леонтьев, только этого ждавшие, поручили Б.М. Маркевичу приобресть от Корша право на издание газеты. Они ему вполне доверяли, потому что он был им обязан своим довольно высоким положением в министерстве и доверенностью к нему министра, несмотря на заслуженную дурную репутацию как человека и плохую — как литератора. Толстой, конечно, поручил наблюдение за покупкою права на издание газеты у Корша тому же Маркевичу. Но перед самым новым годом газета вопреки желанию Каткова и Леонтьева была куплена у Корша банкиром Баймаковым» («Мои воспоминания» Т. IV. С. 479—480). Как выяснилось через некоторое время, последний оплатил эту сделку выдачей Б.М. Маркевичу обязательства вносить ему в течение всего срока аренды по 5000 рублей ежегодно.

200 Граф Лорис-Меликов Михаил Тариелович (1825—1888), генерал-адъютант; с 12 февраля по 6 августа 1880 г. главный начальник Верховной распорядительной комиссии, с 6 августа 1880 г. по 4 мая 1881 г. министр внутренних дел. Программа умеренно-либеральных реформ, планомерно осуществляемая Лорис-Меликовым с момента появления его у власти и обеспечившая ему сочувствие и поддержку буржуазной общественности, должна была завершиться созывом особых законосовещательных комиссий с участием выборных представителей земств и городов.

201 Маков Лев Саввич (1830—1883), статс-секретарь, министр внутренних дел с 1878 по 1880 г.

202 Сольский Дмитрий Мартынович (1833—1910), статс-секретарь, государственный контролер с 1878 по 1889 г., впоследствии председатель Государственного совета.

203 Столкновение гр. Д.А. Толстого с Л.С. Марковым, послужившее поводом для увольнения первого из них в отставку, с большими подробностями передано в «Дневнике П.А. Валуева». Роль М.Т. Лорис-Меликова в этом эпизоде недостаточно еще выяснена, но очень характерно, что удаление Д.А. Толстого он в недавно опубликованном автобиографическом письме рассматривает как одно из своих достижений: «После двухмесячных трудов и усилий удалось наконец достигнуть смены графа Толстого, этого злого гения русской земли. Радость была общая в государстве. Всем памятно, как в Зимнем дворце целовались у заутрени, приветствуя друг друга словами: «Толстой сменен, воистину сменен!» («Каторга и ссылка». 1925. Кн. II. С. 122).

204 Фон Брадке Мануил Егорович (1832—1904), директор Департамента народного просвещения с 1871 по 1884 г.

205 Островский Михаил Николаевич (1827—1901), член Государственного совета, брат драматурга А.Н. Островского, с 1881 по 1893 г. министр государственных имуществ. «Он был человек умный , — характеризует его С.Ю. Витте, — образованный, человек культурный в русском смысле, но не в смысле иностранном, не в смысле заграничном... Направления он был весьма консервативного».

206 Абаза Александр Аггеевич (1821—1895), член Государственного совета, один из вождей кружка либеральных бюрократов, группировавшихся в пору крестьянской реформы в салоне вел. кн. Елены Павловны, а впоследствии вокруг вел. кн. Константина Николаевича; министр финансов в годы «диктатуры сердца»; пред-

седатель Департамента экономии Государственного совета, вынужденный незадолго до смерти покинуть свой пост из-за разоблаченного С.Ю. Витте участия его в биржевой игре на понижение курса кредитного рубля.

207 Сабуров Андрей Александрович (1837—1916), попечитель дерптского учебного округа с 1875 по 1880 г., управляющий Министерством народного просвещения с 24 апреля 1880 по 24 марта 1881 г.; сенатор, член Государственного совета.

208 Жерве Петр Карлович (1832—1890), попечитель дерптского учебного округа с 1869 по 1875 г., впоследствии сенатор.

209 Княжна Долгорукая Екатерина Михайловна (родилась 2 ноября 1847, умерла 15 февраля 1922), долголетняя фаворитка, а после смерти императрицы Марии Александровны жена Александра II, получившая 5 декабря 1880 г. фамилию и титул светлейшей княгини Юрьевской. На основании материалов, предоставленных ею Виктору Ляферте, написана книга «Alexandre II, détails inédits sur sa vie intime et sa mort», Genève, 1882. См. также: Морис Палеолог «Александр II и Екатерина Юрьевская». Как свидетельствует С.Ю. Витте, «через княжну Долгорукую устраивалось много различных дел, не только назначений, но прямо денежных дел довольно неприличного свойства». Рассказы Е.М. Феоктистова об этих ее операциях см. далее, в гл. IX.

210 Победоносцев Константин Петрович (1827—1907), статс-секретарь, обер-прокурор Святейшего Синода с 1880 по 1905 г., один из влиятельнейших государственных деятелей эпохи Александра III, вдохновитель всех реакционных мероприятий 80-х гг.

211 «Не оставляйте графа Лорис-Меликова, — писал К.П. Победоносцев 6. III. 1881 г. Александру III, — я не верю ему. Он фокусник и может еще играть в двойную игру. Если вы отдадите себя в руки ему, он приведет вас и Россию к погибели. Он умел только проводить либеральные проекты и вел игру внутренней интриги. Но в смысле государственном он сам не знает, чего хочет, — что я сам ему высказывал неоднократно. И он — не патриот русский. Берегитесь, ради бога, ваше величество, чтоб он не завладел вашей волей, и не упускайте времени... Новую политику надобно заявить немедленно и решительно. Надобно покончить разом, именно теперь, все разговоры о свободе печати, о своеволии сходок, о представительном собрании. Все это ложь пустых и дряблых людей, и ее надобно отбросить ради правды народной и блага народного».

212 «Особенное и неожиданное совершилось, — писал под впечатлением манифеста 28 апреля 1881 г. государственный секретарь Е.А. Перетц. — Распубликован манифест, заявляющий о твердом намерении государя охранить самодержавие. Манифест, очевидно, написан Победоносцевым. Государственных талантов он им не высказал: манифест дышит отчасти вызовом, угрозою, а в то же время не содержит в себе ничего утешительного ни для образованных классов, ни для простого народа. В обществе он произвел удручающее впечатление. Лорис и Абаза узнали об этом громовом ударе только вчера вечером на совещании, куда Набоков привез корректуру манифеста. Разумеется, все напали на Победоносцева за такой образ действий из-за угла».

213 Граф Игнатьев Николай Павлович (1832—1908), известный

дипломат, директор Азиатского департамента Министерства иностранных дел, русский посол в Константинополе, министр внутренних дел с 4 мая 1881 г. по 30 мая 1882 г. Сентенция А.А. Абазы о неожиданностях политического курса графа Н.П. Игнатьева была, очевидно, широко распространена: «Мы, естественно, разговорились об Игнатьеве, — рассказывает Е.А. Перетц о своей беседе с гр. Лорис-Меликовым 8 мая 1881 г. — Лорис совершенно согласен со мной, что Победоносцев ошибся в расчете. «Вы увидите, Игнатьев пойдет дальше меня», — сказал он прощаясь.

214 Гильфердинг Александр Федорович (1831—1872), известный знаток и собиратель памятников русского былинного эпоса, издатель «Онежских былин», председатель Славянского благотворительного общества.

215 Филиппов Тертий Иванович (1825—1899), в юности член кружка «Москвитянина», знаток, собиратель и исполнитель русских песен, впоследствии крупный чиновник, государственный контролер с 1889 по 1899 г.

«Т.И. Филиппов, про которого даже митрополит говорит, что он *тертый*, большая дрянь, — характеризует его А.В. Богданович. — Меняет свои мнения, как перчатки, сегодня одного убеждения держится, а завтра другого. Святого у него ничего нет, любит низкопоклонство, возражений не терпит, друг «Гражданина», где топит Победоносцева, желая попасть на его место, чтобы там сделать свои дела с помощью раскольников, которым всегда тайно покравительствовал, не из убеждений (у него их нет), а из-за того, что они богаты».

216 Князь Вяземский Павел Петрович (1820—1888), сын известного поэта, в юности чиновник Министерства иностранных дел, с 1856 по 1859 г. помощник попечителя С.-Петербургского, а с 1859 по 1862 г. попечитель Казанского учебного округа; с 1873 по 1881 г. председатель комитета цензуры иностранной, с 7 апреля 1881 г. по 31 декабря 1882 г. начальник Главного управления по делам печати; исследователь и издатель памятников древнерусской письменности, автор ценных записок «Пушкин по документам Остафьевского архива».

217 Воейков Дмитрий Иванович (1845—1896), правитель канцелярии Министерства внутренних дел с 20 июня 1881 по 4 августа 1883 г. Крупный помещик Симбирской губернии, владелец 6551 десятины земли с фабрикой и заводом; «наполовину народник, наполовину консерватор, он был олицетворением того монархического полудемократизма, который придавал новому правительству его основную окраску» (К. Головин. «Мои воспоминания»).

218 Дурново Иван Николаевич (1830—1903), черниговский губернский предводитель дворянства с 1862 по 1870 г., екатеринославский губернатор с 1870 по 1882 г., товарищ министра внутренних дел с 1882 по 1886 г., главноуправляющий собственной ее и. в. канцелярии по учреждениям ведомства императрицы Марии с 1866 г., министр внутренних дел с 1889 по 1895 г. и под конец жизни председатель Комитета министров. Один из ближайших сотрудников гр. Д.А.Толстого, реализатор всех начатых последним реакционных преобразований в области крестьянского дела, земского и городского хозяйства; И.Н. Дурново, как характеризует его С.Ю. Витте, «человек был не культурный, не умный, ско-

рее, ограниченный; человек хлебосольный, милый и очень хитрый; у него была именно хохлацкая, малороссийская хитрость»; сделав большую административную карьеру, «вследствие своего добродушного характера, умения ладить с лицами, быть весьма приятным», наконец, вследствие «своей довольно импозантной фигуры» И.Н. Дурново «мог быть министром внутренних дел только при таком императоре, как Александр III».

219 Готовцев Дмитрий Валериянович (1824—1915), сенатор, товарищ министра внутренних дел; председатель комиссии, разрабатывавшей известные «Временные правила» 1882 г. правовых ограничений для евреев; «человек не глупый, но страшно ленивый».

220 Князь Голицын Сергей Павлович (1815—1888), генерал-адъютант, бывш. черниговский губернатор.

221 Голохвастов Павел Дмитриевич (1839—1892), историк и общественный деятель, сотрудник славянофильских изданий, член кружка И.С. Аксакова. «Я узнал сегодня, — писал К.П. Победоносцев 4 мая 1882 г. Александру III, — что Аксаков прислал сюда к графу Игнатьеву Голохвастова, издавна занимающегося историей земских соборов. Этот Голохвастов прибежал ко мне сегодня ночью в ужасе: услышав, что гр. Игнатьев пускает уже дело в ход теперь же и что на днях могут появиться акты, он испугался и в волнении обдумывал уже, как найти доступ к вашему величеству — умолять вас оставить это дело».

222 «Национальное чувство, национальное самосознание, видимо, усиливается, зреет и охватило собою больше, чем когда-нибудь, вершины государства, — писал К.Д. Кавелин 15 января 1882 г. Д.А. Милютину. — Выразителями народного гения и потребностей считаются разные слабоумные фанатики и интриганы — Катков (в недалеком времени член Государственного совета), Аксаков, Победоносцев и Игнатьев. Предполагается, что они у себя в кармане носят ключи от шкатулки, где хранится русский народный дух. Нужна вся теперешняя беспомощность и обособленность от действительной русской жизни российских самодержцев, чтоб думать так, — но они так думают; во всех прочих видят врагов русской народности и самодержавия и стараются всячески отчурать от их влияния Россию. Комизм таких детских понятий, если они долго будут руководить политикой, может наконец обратиться в трагедию печального свойства».

223 Проект манифеста о созыве Земского собора был разработан графом Н.П. Игнатьевым. «Прочитав эти бумаги, — писал К.П. Победоносцев 4 мая 1882 г. Александру III, — я пришел в ужас при одной мысли о том, что могло бы последовать, когда бы предположение графа Игнатьева было приведено в исполнение. Не могу подивиться, как он решился с такою легкостью и быстротою на дело такой великой важности». В письме к царю от 6 мая К.П. Победоносцев был еще резче: «Чем более думаю, тем более меня ужасает чудовищность этого проекта и, скажу прямо, то легкомыслие, с которым он решился прямо от себя, ни с кем не посоветовавшись, предложить такой акт к подписанию вашему величеству. Ведь это был бы *роковой шаг*, после которого не оставалось бы ничего больше делать для спасения».

224 Представления о Земском соборе, вдохновлявшие графа Н.П. Игнатьева, очень близки характеристике этого начинания в

«Моих воспоминаниях» хорошо осведомленного К. Головина: «Собор был призван восстановить прерванную нить совещательного представительства, не собиравшегося с XVII века. Славянофилы издавна привыкли видеть в Соборе какую-то панацею от всех зол. Им он представлялся чем-то вроде финала «Жизни за Царя», где спереди несколько солистов в национальных костюмах поют «Славься», за ними хор обывателей их дружно поддерживает, а совсем на заднем плане без умолку гудят и переливаются московские колокола».

225 Рассказ Е.М. Феоктистова об обстоятельствах падения графа Н.П. Игнатьева может быть дополнен отрывочными сведениями об этом эпизоде в записях Н.А. Любимова, которые цитирует «Дневник А.С. Суворина» (М.-П., 1923; 2-е издание: «Новости», 1991) и воспоминаниями князя В.П. Мещерского (Ч. III. С. 28—49).

226 «Сегодня утром я исполнил приказание вашего императорского величества: был у графа Толстого и объяснился с ним, — писал К.П. Победоносцев 28 мая 1882 г. Александру III. — Я объяснил ему решительное намерение вашего величества отделить управление Министерством внутренних дел от заведования государственною полицией. При этих условиях гр. Толстой готов исполнить волю вашу, — готов, как я мог заметить, с охотою и усердием. Когда вашему величеству угодно будет призвать его, он почтет долгом доложить вам свой взгляд на некоторые существенные предметы в этом ведомстве».

227 Князь Вяземский Петр Андреевич (1792—1878), поэт и критик, один из ближайших друзей Пушкина; впоследствии товарищ министра народного просвещения, академик, член Государственного совета.

228 Переписка Е.М. Феоктистова с К.П. Победоносцевым, представляет чрезвычайно большой интерес для истории русской печати. Для характеристики методов вмешательства К.П. Победоносцева в сферу деятельности цензуры приводим полностью два инструктивных письма его к Е.М. Феоктистову — о романе «Жерминаль» Золя и о «Крейцеровой сонате» Л. Толстого (курсивом передано подчеркнутое в подлиннике):

Многоуважаемый Евгений Михайлович.

Не взыщите, что часто надоедаю вам ради общей пользы.

Вот, что пишет мне С.А. Рачинский.

«Видели ли вы новый роман Золя: Germinal? Эта книга заслуживает внимания. *Перевод ее на русский язык нужно, безусловно, запретить.* Знаете ли вы, что романы Золя переводятся наперерыв нашими толстыми журналами и с жадностью читаются *сельским духовенством и фабричным людом?* Germinal — быть может, лучшее, что написал Золя. Это история стачки, совершенно сходная с теми, которые на наших глазах развертываются на наших фабриках. Написано это *грязью и кровью* и пропитано убеждением в близости и законности всемирной социальной революции. Герой — *русский нигилист,* в коем нетрудно узнать Гартмана. Перевод, ни с какими пропусками, не м/ожет/ б/ыть/ допущен. Оригинал безвреден — франц/узский/ язык у нас вымирает. Не удивляйтесь этому предостережению. Ведь была же Nana запрещена в подлиннике и разрешена в переводе».

Итак — caveant consules.

Действительно, надлежало бы, кажется, употребить все меры, чтобы «Germinal» не являлся в русском переводе.

Душевно пред/анный/
12 апр/еля/ 1885 К. Победоносцев

Почтеннейший Евгений Михайлович. Вот, и издалека надоедаю вам.

Вы читали в газетах, что гр. Толстой разрешает всем и каждому перепечатывать что угодно из *последних* томов собрания его сочинений. Это угрожает народу новой опасностью. Явятся спекулянты для дешевых изданий всякой его дребедени. Подумайте, что если Крейцерова соната, напр., распространится в 3 копеечн/ом/ издании по чердакам, деревням и селам?

Я слышал от самого государя, что он разрешил жене его печатание Кр/ейцеровой/ Сонаты лишь в *полном собр/ании/ сочинений*. Надо иметь это в виду. Подумайте. Если цензура будет пропускать мелкие его издания, потом не поправить дело.

Нынче газеты распространены всюду, и дешевые издания привлекают публику приложениями. Подумайте, что это за яд: с дешевою газеткой проникают в деревню сквернейшие, развратные французские и англ/ийские/ романы — и ныне в деревне растет ярость к такому чтению. Ведь это нравственная порча целых поколений.

Послезавтра собираюсь выехать из здешних мест. До свидания.

Душевно пред/анный/
К. Победоносцев
14 окт/ября/ 1891. Гурзуф.

---

229 «То, что у нас теперь называю национальной политикою и что я с вашего позволения называют политикою замороженного говна, держится только зловредным триумвиратом (из лжецерковника Победоносцева, лжегосударственного человека Толстого и лжепророка Каткова)» — писал В.С. Соловьев 12 октября 1886 г. М.М. Стасюлевичу.

230 К.П. Победоносцев, объясняя в письме от 6 ноября 1885 г. к Д.Н. Набокову свою роль в отставке последнего, писал: «Никогда я тебя не обманывал и не вел никакой против тебя интриги — интрига ведется тайно; но все, что я думал и говорил о неустройстве судебного учреждения, я говорил открыто и тебе первому. Напрасно ты придавал этим речам личную окраску. Лично в отношении тебя не раз я говорил тебе, забудь, что ты министр юстиции, и выслушай меня по-товарищески — надо действовать. За спиной твоей я никого не возбуждал против тебя лично. Напротив, я выставлял всегда и всем крайнюю трудность положения министра юстиции и невозможность найти человека, который ныне в России удовлетворил бы вполне требованию настоящего времени».

231 Оржевский Петр Васильевич (1839—1897), генерал-лейтенант, начальник Варшавского жандармского округа с 1873 по 1882 г., товарищ министра внутренних дел и командир корпуса жандармов с 1882 по 1887 г., виленский, ковенский и гродненский генерал-губернатор с 1893 по 1897 г. Очень характерна для его взаимоотношений с графом Д.А. Толстым запись в дневнике П.А. Валуева от 10 сентября 1882 г., со слов И.Н. Дурново: «Толстой боится за себя, и ген. Оржевский на этой струне играет. Когда

Дурново сказал гр. Толстому, что он напрасно предоставил всю полицию в распоряжение Оржевского, гр. Толстой отвечал: «Пусть на нем лежит ответственность и пусть в него стреляют, а не в меня».

232 Трепов Федор Федорович (1812—1889), генерал-адъютант, с.-петербургский градоначальник, ушедший в 1878 г. в отставку после оправдания стрелявшей в него Веры Засулич.

233 Русская школа, открытая доктором Венедиктом Орловым в Варшаве 7 ноября 1863 г. и преобразованная к началу следующего учебного года в гимназию, очень скоро обнаружила благодаря невежеству, бестактности и хищническим тенденциям своего директора-учредителя признаки полного разложения. Столкновение графа Д.А. Толстого с В. Орловым, о котором рассказывает Е.М. Феоктистов, не нашло отражения в сохранившихся «делах» Министерства народного просвещения, но вероятная дата его устанавливается по официальной справке об увольнении доктора Орлова от должности в результате ревизии учебных заведений бывш. Царства Польского, произведенной министром в 1867 г.

234 Грессер Петр Аполлонович (1832—1892), генерал-лейтенант, с.-петербургский градоначальник с 1883 по 1892 г.

235 Плеве Вячеслав Константинович (1846—1904), директор Департамента полиции (1881—1884), бывш. прокурор С.-Петербургской судебной палаты, товарищ министра внутренних дел (1884—1892), государственный секретарь (1892—1902), министр внутренних дел (1902—1904). Убит Егором Сазоновым 15 июля 1904-го. «Ярым адвокатом всех дворянских эгоистических тенденций» Плеве сделался, как свидетельствует С.Ю. Витте, дающий его характеристику в тонах, необычайно близких Е.М. Феоктистову, «не по убеждениям и не по традициям, а потому, что посредством дворянской клики у престола он делал и сделал свою карьеру. Как ренегат и нерусский, он, конечно, дабы показать, какой он «истинно русский и православный», готов был на всякие стеснительные меры по отношению ко всем подданным его величества неправославным».

236 Г.А. Лопатин был арестован в Петербурге 6 октября 1884 г.

237 Приостановка «Голоса» в 1883 г. «за вредное направление, выражающееся в суждениях о существующем строе, в подборе и в неверном освещении фактов» была использована, как свидетельствуют материалы личного архива Е.М. Феоктистова, для попытки превратить это издание в филиал реакционной клики «Московских ведомостей». «Первый вопрос о «Голосе», — писал М.Н. Катков 3 апреля 1883 г. начальнику цензурного ведомства. — Составляется капитал, чтобы купить эту газету с ее типографией; обращаются ко мне, просят моего содействия, участия и контроля над этим изданием в таких размерах, как я захочу сам. Требования эти и приставания ко мне становятся с каждым днем настойчивее; надо сказать решительное *да* или *нет*, а, не спросившись у вас, ничего решительного сказать нельзя. Возможно ли немедленное возобновление этой газеты при переходе ее в другие руки и при моем контроле? При всей гнусности своей благодаря интригам «Голос» стал большою силой, и было бы, конечно, хорошо овладеть этою силой и направить ее иначе. Дайте мне немедленно знать, как вы на это смотрите

и как может взглянуть на это граф Толстой, но во всяком случае требуется строжайший секрет». Инициатором всего этого предприятия оказался И.Ф. Цион, прибывший в мае 1883 г. в Петербург с особыми рекомендациями и полномочиями от М.Н. Каткова. К новому этапу переговоров относится письмо графа Д.А. Толстого от 16 августа 1883 г.: «Весьма благодарен вам, многоуважаемый Евгений Михайлович, за сообщение мне подробных сведений о «Голосе», и поспешаю вас уведомить, что я вполне разделяю ваш взгляд, что в случае благонамеренности новой редакции этой газеты следует быть к ней снисходительным и не держаться строго правил». Комбинация, о которой хлопотали Катков и Цион, однако, не удалась, и 16 августа 1884 г. Е.М. Феоктистовым газета была закрыта: «На точном основании ст. 29 прилож. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз. Св. зак. т. XIV, издание газеты «Голос», не появлявшейся в качестве периодического издания в течение более года, признано окончательно прекратившимся».

238 «Я вчера был у Феоктистова, — писал М.Е. Салтыков 9 марта 1884 г. А.А. Краевскому. — В первый раз, хоть физиономия показалась мне несколько знакомой. Он мне обещал, что не будет принято против нас мер без предварительного соглашения со мной. Это очень мало, но все-таки что-нибудь. Он же мне сказал, что и гр. Толстой не желает предпринимать что-либо против меня по старому товариществу».

239 20 апреля 1884 г. в «Правительственном вестнике» опубликовано было постановление особого совещания четырех министров о закрытии «Отечественных записок» как «органа печати, который не только открывает свои страницы распространению вредных идей, но и имеет ближайшими своими сотрудниками людей, принадлежащих к составу тайных обществ». Под впечатлением этого акта К.Д. Кавелин писал 21 апреля 1884 г. гр. Д.А. Милютину: «Правительство тут, как и во множестве других случаев, оказалось ниже своего положения и действовало как партия, а не как орган государственной власти, — точно будто бы четыре министра сами были журнальные или газетные борзописцы, сотрудники редакции литературного органа противной, партии. Правительство таким способом действий только все более и более теряет доверие, уважение и ореол, которым должно быть окружено в интересах государственной власти».

240 История запрещения постановки «Власти тьмы» восстанавливается на основании переписки Е.М. Феоктистова с К.П. Победоносцевым, а последнего с Александром III следующим образом. 10 февраля 1887 г. Ф. писал Победоносцеву: «При последнем свидании вы изволили говорить, что не успели ознакомиться с пресловутой драмой гр. Л. Толстого. Посылаю ее при сем. Она представляет особый интерес ввиду того, что старания некоторых господ увенчались полным успехом. Вчера г. Всеволожский объявил нашему цензору г. Фридбергу, что государь император приказал поставить пьесу гр. Толстого на сцене императорских театров. Глубоко скорблю об этом, ибо никак не могу изменить свое мнение о ней». «Я только что прочел новую драму Л. Толстого и не могу прийти в себя от ужаса, — писал К.П. Победоносцев 18 февраля 1887 г. царю, посылая ему детальный разбор «Власти тьмы». — А меня уверяют, будто бы готовятся давать ее на императорских театрах и уже разучивают роли. Не знаю, известна ли эта книжка вашему ве-

личеству. Я не знаю ничего подобного ни в какой литературе. Едва ли сам Золя дошел до такой степени грубого реализма, на какую здесь становится Толстой». В своем ответе, присланном уже на следующий день, Александр III заверял, что его «мнение и убеждение, что эту драму на сцене давать невозможно, она слишком реальна и ужасна по сюжету. Грустно очень, что столь талантливый Толстой ничего лучшего не мог выбрать для своей драмы, как этот отвратительный сюжет, но написана вся пьеса мастерски и интересно» («К.П. Победоносцев и его корреспонденты». Т. I. С. 643). Об успехе своего разбора «Власти тьмы» К.П. Победоносцев немедленно осведомил Е.М. Феоктистова следующей, еще не известной в печати запиской:

«*Конфиденциально.*

Получив от вас книжку с драмой Толстого и прочитав, я возмутился не менее вашего мыслью о представлении ее на имп/ераторских/ театрах.

Стал всячески доказывать вред от этого. Но сейчас получил непосредственно сверху удостоверение, что «давать драму на им/ператорских/ театрах не собирались, а были толки о подробном представлении без публики, чтобы решить, возможно ли ее давать или совершенно запретить».

Обратите внимание на это выражение *были толки.* Оно не согласуется с категорическим заявлением Всеволожского, о коем вы пишете. Я уже испытал не раз, как эти господа распоряжаются случайным отзывом государя, интерпретируя его как высоч/айшее/ повеление.

Это может пригодиться вам на будущее время, при сношениях.

Но я и того не понимаю, зачем разрешили печатать эту книжку Сытину за 10 коп. Ведь ее суют в руки на всех перекрестках, и, конечно, она гуляет теперь по рукам во всех учебных заведениях.

19 февр/аля/ 1887.

Душ/евно/ пред/анный/
К. Победоносцев».

241 Подлинник этой сентенции Александра III, писанной под впечатлением разбора «Власти тьмы» в «Московских церковных ведомостях», сохранился в бумагах ген.-адъют. Черевина и воспроизведен полностью в «Красном архиве». Т. I. С. 417. Как бы защищаясь от упреков в излишней снисходительности и от царя, и от обер-прокурора, Е.М. Феоктистов 19 февраля 1887 г. объяснял последнему: «Мы запретили пьесу для театра, но мне кажется, что запретить ее печатать не было достаточно оснований. Толстой не преподает в ней своих сумасбродных теорий; он не выставляет порок в обольстительном свете; правда, своею грубостью и цинизмом пьеса производит омерзительное впечатление, но она никого не собьет с толку. Другое дело сцена: было бы в высшей степени оскорбительно, если бы подобные вещи считать пригодными для императорских театров, и жаль, что граф Воронцов-Дашков и Всеволожский не понимают этого».

242 Князь Мещерский Владимир Петрович (1839—1914), известный реакционный публицист, редактор-издатель «Гражданина», автор нескольких памфлетных романов из великосветской жи-

зни и трехтомных «Моих воспоминаний». Как свидетельствует С.Ю. Витте, посвятивший рассказам о нем особую главу своих мемуаров, «никто не умел так клянчить и унижать, как князь Мещерский, и этим постоянным клянченьем и жалобами на свою трудную жизнь он достиг того, что государь решил выдавать ему ежегодно на издание «Гражданина» сумму в 80 тысяч рублей, которую я, будучи министром финансов, выдавал ему до смерти Александра III, а раньше сумма эта выдавалась Вышнеградским министру внутренних дел для передачи Мещерскому; при Николае II субсидия эта была значительно сокращена и выдавалась, по представлению Д.С. Сипягина, «в размере 18 тысяч в год». Большие выдачи производились кн. Мещерскому и до вступления в должность И.А. Вышнеградского, что видно из записи в дневнике 12 августа 1885 г. хорошо осведомленного Н.А. Любимова: «Мещерский получает по 3 т. руб. в месяц на «Гражданина» из казенных сумм Министерства внутренних дел, получает без расписки, прямо из рук в руки от Дурново» («Дневник А.С. Суворина»). «Единственный публицист за смертью Каткова есть, конечно, кн. Мещерский, — иронизировал Влад. Соловьев в письме от 17 сентября 1887 г. к М.М. Стасюлевичу. — Он хотя и безграмотен, но зато в качестве содомита высоко держит знамя религии и морали». В день празднования 50-летия своей литературной деятельности кн. Мещерский 14 января 1910 г. «был удостоен пожалованием портрета государя императора» с собственноручною надписью Николая II: «Неутомимому борцу за сохранение исторических устоев для развития русского государства» («Нива». 1910. № 5. С. 100).

243 Бунге Николай Христианович (1823—1895), известный экономист, профессор и ректор Киевского университета, министр финансов с 1881 по 1886 г., впоследствии председатель Комитета министров.

244 Вышнеградский Иван Алексеевич (1831—1892), профессор С.-Петербургского технологического института, известный банковский и биржевой делец, министр финансов с 1886 по 1892 г. Впечатления от его назначения очень ярко отражены в воспоминаниях К. Головина: «Вышнеградский совсем не принадлежал к чиновному сонму. Вся его прежняя деятельность протекла в области частных интересов и частной предприимчивости. Нельзя сказать, чтобы его репутация была из лучших. Наряду с высоким мнением о его выдающихся способностях мнение о его нравственном уровне было гораздо менее высоким. В Городской думе, где он был очень влиятелен, Иван Алексеевич принадлежал к тесному кружку аферистов, отличившихся в деле городских водопроводов и руководимых гг. Сан-Галли и Овандером. Это были не только деловые люди, но прямо «дельцы» в тесном смысле слова, смотревшие на городское благоустройство с точки зрения своего личного благосостояния. Нечего и говорить, что И.А. принадлежал к самой сердцевине думских воротил. И назначен он был сперва в Совет, а потом в министры именно в качестве дельца, как человек вполне практичный и не особенно увлекающийся принципами. Его усердно проводил М.Н. Катков именно в качестве противоядия теоретическим взглядам Н.Х. Бунге, на которого московский оракул глядел как на вредного идеолога. Но Вышнеградский был не попросту кандидатом правых. Он являлся первым у нас вполне «бытовым» министром, приобревшим значение совершенно независимо от канце-

лярского сукна. От его крупного ума — чем угодно, только затхлостью не пахло. Беда в том, что он склонен был смотреть на государство как на частное предприятие, как на компанию на акциях, лишь бы дивиденд выходил крупным».

245 Князь Мещерский Николай Петрович (1829—1901), старший брат редактора «Гражданина», попечитель московского учебного округа.

246 Каханов Михаил Семенович (1833—1900), статс-секретарь, член Верховной распорядительной комиссии, с 1880 по 1881 г. товарищ министра внутренних дел; председатель Особой комиссии для составления проектов местного управления, закрытой (до окончания своих работ) 1 мая 1885 г.; член Государственного совета.

247 Пазухин Алексей Дмитриевич (1845—1891), Алатырский уездный предводитель дворянства, член Кахановской комиссии, автор известной статьи «Современное состояние России и сословный вопрос» («Русский вестник». 1885. Кн. I. С. 5—58). «Это был человек крупного ума, — характеризует его К. Головин, — только ума чересчур прямолинейного и потому склонного к иллюзиям. Он был искренно убежден, что порядок управления Россией был почти что идеальный при царе Алексее Михайловиче, что к тогдашним нравам, к тогдашним понятиям нам следовало бы вернуться».

248 Захарьин Григорий Антонович (1829—1897), профессор Московского университета по кафедре диагностики, один из выдающихся русских клиницистов-практиков.

249 Гирс Николай Карлович (1820—1895), министр иностранных дел с 1882 по 1895 г. Как характеризует его С.Ю. Витте, «Гирс был человек осторожный, дипломат, чиновник со средними способностями, без широких взглядов, но опытный. Он как раз подходил, чтобы быть министром иностранных дел при таком императоре, как покойный Александр III».

250 Письмо в защиту М.Н. Каткова, отправленное К.П. Победоносцевым 11 марта 1887 г., развивало следующие положения: «Позволяю себе обратить внимание вашего величества на последствия, вероятные в том случае, если будет на общем основании *опубликовано* предостережение Каткову за *направление* статей его по внешней политике. Телеграф разнесет это известие по всем концам мира. Это будет замечательное политическое событие. Оно будет истолковано в смысле поворота нашей политики. Оно отразится на бирже. Оно вызовет торжественные демонстрации во всех больших городах и, между прочим, со стороны враждебных России партий. Внутри России произойдет крайнее недоумение и смущение. Притом, зная настроение и натуру Каткова, я уверен, что он вслед за предостережением прекратит издание «Московских ведомостей». Это будет крайним смущением для массы читателей русских и, смею думать, во всяком случае будет утратой для правительства силы весьма значительной, силы нравственной». Под диктовку Е.М. Феоктистова подсказан был в этом письме и выход из создавшегося конфликта: «То же предостережение, но еще суровее и значительнее, могло бы быть объявлено Каткову от имени вашего величества, только не в официальной форме и *без опубликования*. Для этого Феоктистов мог бы съездить в Москву или гр. Толстой лично мог бы передать Каткову все то, что вашему величеству угодно было выразить. Тут Катков *в первый раз* положительно усмотрел

бы неудовольствие и гнев вашего величества. Я не сомневаюсь, что он принял бы это внушение со всею покорностью и не замедлил бы или изменить тон, или вовсе уклониться от полемических статей по важнейшей политике».

251 «Прочтя ваше письмо по поводу статей Каткова и подумав обо всем, что вы мне пишете, я пришел к убеждению, что вы правы и что я сгоряча недостаточно обдумал, отдавши приказание о предостережении «Моск. вед.», — писал Александр III Победоносцеву 12 марта 1887 г. — Я приказал Феоктистову прочесть Каткову мои замечания на его статью и, кроме того, сделать ему словесное внушение, и уверен, что это будет достаточно». Выполнив возложенное на него поручение, Е.М. Феоктистов возвратился в Петербург вместе с М.Н. Катковым. «Сегодня Феоктистов вернулся из Москвы, — извещал К.П. Победоносцев 16 марта царя. — Он имел надлежащее объяснение с Катковым, который дал ему подписку относительно дальнейшего образа действий. Об этой подписке, без сомнения, представлен будет вашему величеству доклад по Министерству внутренних дел. В прошлую пятницу ваше величество изволили сказать мне, что когда Катков будет здесь, в Петербурге, то вам угодно объяснить ему, как он должен держать себя и чего избегать по вопросам внешней политики. Катков находится здесь с нынешнего утра. Думаю, что для дела полезно будет, если он получит надлежащее внушение лично от вашего величества. Если изволите, не благоугодно ли будет во избежание лишней огласки назначить время Каткову через меня».

252 Сабуров Петр Александрович (1835—1918), русский посол в Берлине с 1879 по 1884 г., впоследствии сенатор. Заподозренный в передаче М.Н. Каткову секретных сведений о возобновлении в 1884 г. союзного договора, был реабилитирован только после того, как под угрозой отрешения П.А. Сабурова от должности редактор «Московских ведомостей» 27 мая назвал подлинный источник своей информации — директора Азиатского департамента И.А. Зиновьева.

253 31 марта 1887 г. Александр III познакомил Н.К. Гирса с особой запиской М.Н. Каткова о русской внешней политике. «Записка, — как отзывается о ней В.Н. Ламздорф, — гнусна, настоящий донос». Тем не менее Гирс полагал, что она, «вероятно, произвела впечатление на его величество, что государь побоится возбудить неудовольствие этой партии и что последние пометки свидетельствуют о новой перемене в направлении нашего слабоумного монарха» («Дневник В.Н. Ламздорфа». М.—Л., 1926. С. 82).

254 Барон Моренгейм Артур Павлович (1824—1906), русский посол в Париже с 1884 по 1894 г.

255 Флоке Шарль-Тома (1828—1897), известный французский политический деятель, один из лидеров радикалов, президент палаты депутатов в 1885—1888 и 1889—1892 гг., глава кабинета в 1888—1889 гг. В 1867 г. при посещении императором Александром II «Palais de Justice» в Париже демонстративно провозгласил «Vive la Pologne, Monsieur!»; воспоминания об этом акте заставляли русское посольство очень нервно реагировать на возможность появления Флоке у власти.

256 «Сейчас был у меня Катков в крайнем смущении, что он безвинно оклеветан перед вашим величеством, — писал К.П. Побе-

доносцев 18 мая 1887 г. царю. — Феоктистов явился к нему сегодня по поручению графа Толстого объявить ему неудовольствие вашего величества. Доведено до вашего сведения, будто Катков писал и через Циона переслал в Париж к Греви какое-то письмо с соображением о том, какие назначения в новое министерство могут быть приятны или неприятны нашему правительству. Но Катков удостоверяет, что ничто подобное не только не происходило, но и в мысль не входило ему, и весть о том пущенную он может приписать только злонамеренной клевете». Ср. подробную объяснительную записку, представленную М.Н. Катковым 2. VI. 1887 г. К.П. Победоносцеву, посвященную реабилитации как его самого, так и Е.В. Богдановича, С.С. Татищева и И.Ф. Циона («К.П. Победоносцев и его корреспонденты». Т. I. С. 713—719).

257 Богданович Евгений Васильевич (1829—1914), генерал от инфантерии, член Совета министра внутренних дел, один из мелких агентов дворцовой камарильи, составитель и издатель клерикально-патриотических листовок, щедро оплачиваемых казной. Сравнение Е.В. Богдановича с А.Г. Политковским уясняется при обращении к характерной записи в дневнике А.В. Никитенко от 31 января 1853 г.: «Был некто Политковский, правитель дел Комитета 18 августа 1814 г. В Комитете накопился огромный капитал в пользу инвалидов. Этот Политковский — камергер, тайный советник, кавалер разных орденов и пр. и пр. Он в течение многих лет крал казенный интерес, пышно жил на его счет, задавал пиры, содержал любовниц. На днях он умер. Незадолго до его смерти открылось, что он украл миллион двести тысяч рублей серебром». Колоритные сведения о Е.В. Богдановиче дает «Дневник А.С. Суворина».

258 Катакази Константин Гаврилович (1830—1890), чиновник Министерства иностранных дел, бывш. русский посол в Вашингтоне, отозванный по требованию американского правительства и уволенный в 1872 г. от службы; оказав ряд услуг Департаменту полиции (особенно в деле о выдаче Л. Гартмана), в 1884 г. был причислен вновь к министерству. «Этот продаст кого и что угодно, — писал о нем Катков 2 июня 1887 г. Победоносцеву. — Он пытался подсылать ко мне инсинуации против Гирса, которые я оставил без внимания, зная нечистоту источника, и он же служил орудием интриги против меня в тот момент, когда потребовалось бросить на меня тень во мнении его величества». «Что Катакази скот, это я давно знал, но чтобы он был таким мошенником и плутом, я, признаюсь, не ожидал», — писал Александр III после ознакомления с обширным документальным материалом по «делу Флоке», собранным в Париже И.Ф. Ционом и представленным через К.П. Победоносцева царю.

259 Салон Жюльетты Адан (род. в 1836 г.), талантливой политической публицистки, основательницы «Nouvelle Revue», автора памфлета «La société de St. Petersbourg», сыграл, как известно, большую роль в закулисной подготовке франко-русского союза.

260 Татищев Сергей Спиридонович (1846—1906), чиновник Министерства иностранных дел с 1864 по 1877 г., уволенный от службы по подозрению в «дипломатических нескромностях» во время подготовки русско-турецкой войны; числясь с 1881 по 1883 г. чиновником особых поруч. при министре внутренних дел, составил по заданию Департамента полиции очерк истории революционного движения 60-х годов; политический публицист и историк, автор ис-

следований «Внешняя политика Николая I» (1887 г.), «Император Николай I и иностранные дворы» (1888 г.), «Из прошлого русской дипломатии» (1890 г.); с 1898 по 1904 г. агент Министерства финансов в Лондоне; умер в должности члена совета Главного управления по делам печати. Защищая С.С. Татищева от нареканий, М.Н. Катков писал о нем 2. VI. 1887 г. К.П. Победоносцеву: «Я не знаю человека, но знаю писателя, которого не могу не ценить и по направлению и по способностям. Правда, и до меня доходили слухи о каких-то предосудительных нескромностях его в то время, когда он состоял секретарем в венском посольстве, но слухи были неопределенны и смутны. Я старался разузнать, в чем дело. Оказалось, что виновником павшего на Татищева нарекания был тогдашний посол в Константинополе граф Игнатьев, который, однако, впоследствии удостоверился, что сообщение, в котором он не подозревал Татищева, было сделано австрийским канцлером Андарши из Берлина, и старался загладить причиненный им Татищеву вред, приняв его на службу по Министерству внутренних дел. Если бы он находился в предосудительных отношениях к чужому правительству, разве мог бы он тогда говорить так откровенно и обличительно против австрийской политики? Разве не вывели бы его на чистую воду?» («К.П. Победоносцев и его корреспонденты». Т. I. С. 716). Ср. материалы о С.С. Татищеве в дневнике А.В. Богданович «Три последних самодержца», (М.: «Новости», 1990).

261 Буланже Жорж (1837—1891), французский военный министр, с именем которого связано известное антиреспубликанское движение 1886—1889 гг.; изобличенный в подготовке государственного переворота в пользу личной его диктатуры, бежал в 1889 г. в Бельгию, откуда пытался войти в сношения с императором Александром III («Красный архив». Т. XIV. С. 260—262); застрелился в Брюсселе в 1891 г.

262 Официальными претендентами на аренду «Московских ведомостей», кроме вдовы, С.П.Катковой, выступали, как свидетельствуют материалы Главного управления по делам печати, Д.И.Иловайский, А.Я.Антонович, А.С.Будилович, гр. А.А.Голенищев-Кутузов, П.А. Кулаковский, редактор «Варшавского дневника», Н.П. Гиляров-Платонов и отставной генерал-лейтенант М.Г. Черняев. Кандидатура Циона, которого пытались провести в заместители Каткова К.П. Победоносцев и И.Д. Делянов еще до возвращения Е.М. Феоктистова из-за границы, отведена была 29 июля 1887 г. самим царем. Эпизод этот выясняется из письма министра народного просвещения к обер-прокурору Синода: «Передал я его величеству разговор ваш со мной о Ционе. В этот раз государь выражался гораздо мягче о Ционе и даже очень хвалил его способности. Я думаю, что если Цион напишет несколько передовых статей в надлежащем духе, то его величество выразит еще лучшее о нем мнение. Впрочем, государь выразил мысль, что не мешало бы «Ведомостям» иметь Циона сотрудником».

263 Граф Голенищев-Кутузов Арсений Аркадьевич (1848—1913), известный поэт и беллетрист; впоследствии главноуправляющий собственной е. и. в. канцелярией по учреждениям императрицы Марии Федоровны, член Государственного совета, почетный академик.

264 Петровский Сергей Александрович, редактор-издатель «Московских ведомостей» с 1887 по 1896 г. Назначение его встрече-

но было очень несочувственно в высших придворных и широких консервативных кругах. «Резолюция на докладе о Петровском, — извещал И.Д. Делянов 29 октября 1887 г. К.П. Победоносцева об отношении царя к новому редактору, — «Осторожнее передать ему на год «М/осковские/ в/едомости/», а потом увидим. Я слышал о нем не особенно благоприятные отзывы». Для того чтобы окончательно парализовать последние, И.Д. Делянов во всеподданнейшем докладе своем от 25 февраля 1890 г. специально остановился на работе новой редакции «Московских ведомостей»: «От нынешней редакции нельзя, конечно, требовать такого могучего слова и такой силы суждений, какими отличался Катков. Такой талант, как Катков, есть явление совершенно исключительное и редко появляющееся. Но обязанности журналиста по отношению к правительству, оказавшему ему доверие, нынешним издателем «Московских ведомостей» исполняются в высшей степени добросовестно. Все важные правительственные мероприятия последнего времени находили в «Моск. вед.» верное и вполне благонамеренное истолкование; русские государственные интересы постоянно защищались. Были при защите этих интересов и преувеличения, и ошибки, обличавшие недостаток такта, но они нередко бывали и при огромном таланте прежнего редактора, да и вообще более или менее неизбежны в спешном ежедневном журнальном деле. В религиозно-нравственном отношении газета безупречна, ибо всегда относится с подобающим благоговением к церкви и с уважением к ее представителям и твердо поддерживает мысль, что потрясение религиозного чувства в народе может вести к потрясению основ правительства и государства».

265 Цион Илья Фаддеевич (1842—1912), профессор физиологии Медико-хирургической академии, ушедший в отставку после враждебной ему студенческой демонстрации 17. X. 1874 г.; политический публицист, один из вдохновителей русско-французского сближения, парижский корреспондент М.Н. Каткова и информатор по русским делам французской прессы, редактор «Nouvelle Revue»; заграничный агент Министерства финансов, уволенный от службы за неблаговидные действия при реализации одного из займов; исключен с 1895 г. из русского подданства и лишен пенсии за резкие выступления в западноевропейской печати против валютной реформы С. Ю. Витте. Как характеризует Циона М.Н. Катков в письме от 2 июня 1887 г. к К.П. Победоносцеву, «он физиолог, был сильным противником материалистического направления, которое, особенно через эту науку, проникало в умы и приобретало силу благодаря либеральному режиму того времени, завладевая и кафедрами в университетах, и печатью. Он очутился в антагонизме с этим режимом. Посвятив себя науке и лишившись способа действовать на родине, он не мог пренебречь открывшимися ему видами получить кафедру физиологии во Франции, где имя его было известно между учеными и где ценились его способности и знания. Кафедра была ему обещана под общим условием принятия французского подданства, на что он решился нелегко и не без тягостных колебаний, уступая своему научному призванию, которому открывалось широкое поприще, и оставаясь по образу мыслей верным России. Виды на кафедру рушились после того, как влиятельный товарищ его по науке, Поль Бер, стал важным правительственным лицом и, открыв свой поход против религии, встретил убежденного противника в Ционе. Циону оставалось тогда для содержания себя и семейства

перенести свои замечательные способности на экономическую почву. Он управлял обширными промышленными предприятиями и приобрел в этой сфере познания, опыт и связи, которыми воспользовался в последнее время управляющий Министерством финансов». В письме от 4 июня 1887 г. Катков добавлял: «Что касается Циона, то я чувствую себя близким к нему уже потому, что был его восприемником по крещению, хотя и заочным. Он по своему образу мыслей и настроению давно уже сблизился с христианством и не находится ни в каких связях с еврейством. Его политический образ мыслей высказался как нельзя явственнее в блестящей статье о Французской республике, где он, быть может, в слишком сильных красках раскрыл все прелести так называемого либерального режима. Затем ряд статей о нашем нигилизме и анархизме по поводу сочинений его вожаков Кропоткина, Тихомирова и проч. Статьи эти по силе и убедительности улик принадлежат к лучшему, что было у нас когда-либо писано по поводу этой язвы. Это истинная заслуга: зато они вооружили против него весь лагерь заграничного и внутреннего нигилизма». Ср. материалы о позднейших авантюрах Циона в «Воспоминаниях С.Ю. Витте». Т. III. С. 225—230 и в переписке К.П. Победоносцева с С.Ю. Витте и И.Ф. Ционом («Красный архив». Т. 30. М., 1928. С. 90—97).

266 «Хорошо-то будет, — писал Е.М. Феоктистов 2 августа 1887 г. Д.Н. Любимову, — если Софья Петровна /Каткова/ возьмет «Московские ведомости» и вкупе с Петрушей и Павлушей будет назначать редактора. Ведь, пожалуй, назначат Лентовского, что содержит «Эрмитаж». Приходила ли Михаилу Никифоровичу мысль о возможности подобного сумбура. Дрянные «дети Каткова» (по выражению Адикаевского), транжирившие заработанные им деньги при его жизни, хотят и по смерти его эксплуатировать».

267 Е.М. Феоктистов ошибся, полагая, что К.П. Победоносцев уклонился от исполнения поручения председателя Государственного совета. В письме к царю от 29 декабря 1888 г. всесильный обер-прокурор Святейшего Синода очень хитро изложил следующее: «Вчера после заседания в общем собрании Государственного совета великий князь Михаил Николаевич пригласил к себе в кабинет меня и М.Н. Островского. Тут же был и вел. кн. Владимир Александрович. Говорили о дальнейшей судьбе и направлении проекта о земских начальниках, внесенного гр. Толстым. Из слышанного мною я заключаю, что ваше императорское величество имеете некоторое предубеждение против мнений, возражающих на проект гр. Толстого в том виде, как он внесен им. Смею еще раз уверить вас, что в этих мнениях нет решительно ничего похожего на какую-то принципиальную оппозицию. *Все* желают искренно достигнуть той же цели, к которой стремится министр внутренних дел, но *все* опасаются, что именно этой цели, т. е. водворения порядка, нельзя достигнуть такой постановкой учреждения, а можно достигнуть цели противоположной. Напрасно гр. Толстой подозревает здесь принципиальное себе противодействие... В том виде, как изложен проект гр. Толстого, он, по моему глубокому убеждению, разделяемому весьма многими, может произвесть *только вред* и не только не утвердит порядка, но вызовет беспорядки, породив смешение властей и крайнюю путаницу отношений. Чем же объяснить это желание гр. Толстого произвесть разногласие? Я объясняю его себе только недоразумением. Гр. Толстой с самого начала во всех воз-

ражениях против его проекта заподозрил какую-то принципиальную *оппозицию* и стоит на этом впечатлении, сколько я не убеждал его. К сожалению, по состоянию его здоровья он не выдерживает долгой беседы и вникания в подробности дела. Мне кажется, и в настоящем случае он заподозрил, что хотят свести рассуждение на какую-то неудобную почву, в чем-то уловить его напрасно. Настояв на разногласии, он только отдалил дело, на скорейшем решении коего сам настаивал. А в этом деле подробности постановки учреждения так важны, что обсуждение их непременно потребует и много трудов, и немало времени. Решить эти важные вопросы быстро и без внимательного, подробного обсуждения значило бы *поставить на карту* великий вопрос о водворении порядка и мира в сельском населении России».

268 Дрентельн Александр Романович (1820—1888), генерал-адъютант; шеф жандармов и начальник III отделения с 1878 по 1880 г.; киевский, подольский и волынский генерал-губернатор с 13 января 1881 по 15 июля 1888 г.

269 Меркулов Михаил Моисеевич, действительный статский советник, управляющий канцелярией киевского генерал-губернатора с 1881 по 1888 г.

270 Рафальский Василий Лукич (1840—1887), кандидат историко-филологического факультета С.-Петербургского университета, провинциальный педагог, киевский отдельный цензор с 1881 по 1887 г. Принципы, вдохновлявшие его в работе, он сам изложил в официальном письме Главному управлению по делам печати: «Цензор должен ревниво охранять религию, государственные наши основы и нравственные правила. В особенности он должен энергически противодействовать пропаганде социально-революционных идей и нигилизма. В сфере местных интересов он должен помнить, что этот край — колыбель нашего государства — должен быть и оставаться русским, а потому он обязан устранять всякие противоположные и враждебные стремления и тенденции, от кого бы они ни исходили: следует устранять всякие попытки пропагандировать политическое обособление и отчуждение».

271 Каханов Иван Семенович (1825—1909), генерал от артиллерии, виленский, ковенский и гродненский генерал-губернатор с 1884 по 1893 г.

272 Веселовский Константин Степанович (1819—1901), известный экономист-статистик, непременный секретарь Академии наук с 1857 по 1890 г.

273 Грейг Самуил Алексеевич (1827—1887), полковник л.-гв. конного полка, флигель-адъютант, директор канцелярии Морского министерства, с 1866 г. товарищ министра финансов, с 1874 г. государственный контролер, с 1878 по 1880 г. министр финансов. Один из виднейших представителей реакционного большинства Комитета министров. С.А. Грейг, по характеристике даже весьма расположенного к нему П.А. Валуева, был человеком «невозможным по неподатливости ума и самоуверенности, более или менее наивной». Витте его же определял как «одного из наиболее слабых министров финансов в России».

274 Живой и непосредственный отклик Ф.И. Тютчева на неожиданное назначение С.А. Грейга товарищем министра финансов современен, очевидно, его же стихотворному экспромту на эту тему, опубликованному в «Былом» (1922. Кн. 19. С. 72).

Когда расстроенный кредит
Не бьется кое-как,
А просто на мели сидит,
Сидит себе, как рак,
Кто ж тут спасет, кто пособит,
Ну кто ж, коль не моряк».

275 Альбединский Петр Павлович (1825—1883), генерал-адъютант, с 1867 по 1870 г. генерал-губернатор и командующий войсками в Риге, с 1874 по 1880 г. в Вильно, с 1880-го по день смерти в Варшаве.

276 Графиня Ростопчина Евдокия Петровна, урожденная Сушкова (1811—1858), известная поэтесса, приятельница Лермонтова, Огарева, Александра Дюма, хозяйка и вдохновительница одного из московских литературных салонов.

277 Граф Левашев Николай Васильевич (1827—1888), генерал-адъютант, с 1861 по 1866 г. орловский губернатор, «оставивший надолго память о своем самочинстве», по характеристике Н.С. Лескова; с 1871 по 1874 г. помощник шефа жандармов и главного начальника III отделения.

278 Граф Орлов Алексей Федорович, впоследствии князь (1786—1861), генерал-адъютант, с 1844 по 1856 г. шеф жандармов и главный начальник III отделения, глава русской делегации на Парижском мирном конгрессе в 1856 г., председатель Государственного совета и Комитета министров.

279 Барон Бруннов Филипп Иванович (1797—1875), известный дипломат, многолетний посол в Лондоне, второй уполномоченный от России на Парижском мирном конгрессе.

280 Княгиня Ливен Дарья Христофоровна (1785—1857), урожденная Бенкендорф, сестра знаменитого шефа жандармов; в эпоху Александра I активная участница в закулисной работе русского Министерства иностранных дел, впоследствии — вдохновительница интернациональных политических салонов в Лондоне и в Париже.

281 Альбединская Александра Сергеевна, урожденная княжна Долгорукая (1836—1913), фрейлина императрицы Марии Александровны, фаворитка Александра II. Интереснейшую характеристику ее, несколько расходящуюся с впечатлениями Е.М. Феоктистова, дает А.Ф. Тютчева: «На первый взгляд эта девушка, высокого роста, худая, развинченная, несколько сутуловатая, со свинцово-бледным лицом, бесцветными и стеклянными глазами, смотревшими из-под тяжелых век, производила впечатление отталкивающего безобразия. Но как только она оживлялась под впечатлением разговора, танцев или игры, во всем ее существе происходило полнейшее превращение. Гибкий стан выпрямлялся, движения округлялись и приобретали великолепную, чисто кошачью грацию молодого тигра, лицо вспыхивало нежным румянцем, взгляд, улыбка приобретали тысячу нежных чар, лукавых и вкрадчивых. Все ее существо проникалось неуловимым и поистине таинственным обаянием, которое подчиняло себе не только мужчин, но и женщин... Ее нравственное существо представляло те же контрасты, как и физическое. Высокомерная, молчаливая и мрачная, пренебрегавшая всеми житейскими отношениями, надменная, капризная и своевольная, она умела там, где хотела, нравиться, с неотразимым воодушевлением пускать в ход всю вкрадчивость своей гибкой натуры,

всю игру самого тонкого, самого смелого ума, полного колкости и иронии. Это был фейерверк остроумных слов, смешных замечаний. Она была изумительно одарена, совершенно бегло с редким совершенством говорила на пяти или шести языках, много читала, была образованна и умела пользоваться всею тонкостью своего ума без малейшей тени педантизма или надуманности, жонглируя мыслями и особенно парадоксами с легкой грацией фокусника. Во всяком случае, и по своим качествам, и по своим недостаткам это была натура далеко не заурядная».

282 Слух этот находит подтверждение в свидетельствах самого И.С. Тургенева в письмах к друзьям и в черновых рукописях романа. Так, в автографе начальной программы «Дыма», где инициалами обозначены имена прототипов всех персонажей романа, против имени героини стоят буквы *К.Д.*, т. е. Княжна Долгорукая, а в письме от 29 октября 1872 г. к П.В. Анненкову Тургенев уже без всяких оговорок должен был признать, что «фигура Ирины» в «Дыме» большею частью списана с жены генерала Альбединского.

283 «Великая княгиня взяла ее к себе, — вспоминает А.Ф. Тютчева о появлении при дворе А.С. Долгорукой, — чтобы вырвать из той тяжелой обстановки, в которой она находилась в семье. Рассказывали, что она всегда была предметом ненависти со стороны своей матери, которая так ее била и подвергала таким лишениям, что развила в ней болезнь, похожую на падучую. Она впадала в состояние столбняка, продолжавшееся иногда целые часы».

284 Граф Кейзерлинг Александр Андреевич (1815—1891), ученый-геолог, гофмейстер царского двора, попечитель Дерптского учебного округа с 1862 по 1869 г.

285 Апраксин Сергей Александрович (1830—1894), флигель-адъютант, с 1872 г. генерал-майор царской свиты, известный библиофил.

286 Князь Барятинский Анатолий Иванович (1821—1881), генерал-адъютант, бывш. командир л.-гв. Преображенского полка. Его рассказ сохранился в бумагах Е.М. Феоктистова в двух редакциях, из которых первая представляет собою запись в дневнике будущего мемуариста от 21 августа 1871 г. («Заметки из слышанного и виденного». Кн. 2. С. 34—41), а вторая является сокращенным изложением этого места дневника при переносе его в воспоминания. Приняв за основу последний текст, мы ввиду большой историко-бытовой значимости разоблачений кн. Барятинского даем в прямых скобках наиболее существенные детали ранней записи этого эпизода в дневнике Е.М. Феоктистова.

287 Интереснейшие материалы о борьбе железнодорожных дельцов и дворцовой камарильи летом 1871 г. из-за концессий на Ландварово-Роменскую («Конотопскую», по терминологии Е.М. Феоктистова) и Лозово-Севастопольскую дороги сосредоточены в «Моих воспоминаниях» барона А.И. Дельвига.

288 Фон Мекк Карл Федорович (1821—1876), известный железнодорожный делец 60—70-х гг.

289 Принц Александр Гессенский (1823—1888), брат императрицы, генерал от кавалерии.

290 Кушелев Сергей Егорович (1821—1890), генерал-адъютант,

генерал от инфантерии, бывш. командир л.-гв. Измайловского полка и 1-й гренадерской дивизии.

291 Гендрикова Ольга Игнатьевна, графиня (урожденная Шебеко), жена обер-форшнейдера графа С.А. Гендрикова, умерла в 1904 г.

292 Вероятно, Шебеко Марья Ивановна (1839—1905), урожд. Гончарова (племянница Н.Н. Пушкиной), фрейлина вел. кн. Ольги Федоровны, жена генерал-майора Н.И. Шебеко, бывшего с 1887 по 1895 г. товарищем министра внутренних дел и командиром Корпуса жандармов. В автографе воспоминаний Е.М. Феоктистова ошибочно именуется не «madame», а «mademoiselle Шебеко».

293 В тексте дневника Е.М. Феоктистова эта реплика (как, впрочем, и другие цифровые обозначения) уточнена: «А хотите, не далее как завтра, зашибить 25 000 рублей?»

294 Противодействие проискам царской фаворитки со стороны графа В.А. Бобринского и его заместителя барона А.И. Дельвига вызвало, как известно, сильнейшее неудовольствие Александра II и привело тем же летом к отставке обоих руководителей Министерства путей сообщений.

295 Шебеко Александр Игнатьевич (1844—1917), в это время ротмистр кавалергардского полка.

296 В июне 1871 г., как свидетельствуют воспоминания барона А.И. Дельвига, состоялось в Эмсе высочайшее повеление о внесении в Комитет министров представления о сдаче концессии на Ландварово-Роменскую дорогу Ефимовичу и Викерсгейму. Однако шум, поднятый вокруг этой операции княжны Е.М. Долгорукой, был настолько велик и интересы придворных хищников настолько резко противоречили интересам государственного хозяйства, что новый министр путей сообщения и шеф жандармов должны были оказать особое давление на Александра II, чтобы получить его согласие на обсуждение всего дела о новых концессиях по существу. В связи с этим 5 июля 1871 г. состоялось постановление Комитета министров (утвержденное 30-го того же месяца) о сдаче дороги Мекку и К°, а не клевретам княжны Долгорукой. Последняя, однако, материально не пострадала, так как, по авторитетным показаниям того же А.И. Дельвига, высочайшее согласие на постановление Комитета министров обеспечено было поездкой агентов Мекка в Эмс, где им удалось убедить родных фаворитки в том, что «деньги за получение концессии им все равно от кого получать — от Ефимовича или от Мекка».

297 Николай Николаевич (1831—1891), великий князь, брат императора Александра II, генерал-инспектор кавалерии и инженерной части, член Государственного совета, главнокомандующий войсками во время русско-турецкой войны, генерал-фельдмаршал. «Если бы Николай Николаевич не был просто глуп, я бы прямо назвал его подлецом», — характеризовал своего дядю будущий император Александр III в письме к М.Т. Лорис-Меликову от 18 июля 1880 г. («Красный архив». 1925. Т. VIII. С. 111).

298 Швейниц Ганс-Лотар (1822—1901), с 1865 по 1869 г. прусский военный агент в Петербурге, с 1876 по 1893 г. германский посол при русском дворе.

299 Данные, опубликованные в «Московских ведомостях» 1869 г., №№ 247 и 263, позволяют установить, что вслед за первым

предложением фон Швейница Каткову сделано было и второе, сводящееся к тому, чтобы за публикацию в «Московских ведомостях» материала, присылаемого из Берлина, немецкие газеты бисмарковской ориентации помещали «всякого рода сообщения и корреспонденции, какие Катков счел бы нужным пускать в свет чрез иностранную печать». Разумеется, этот исключительный интерес прусского правительства к аудитории «Московских ведомостей» обусловлен был не заботами о прибалтийских немцах, как подозревал М.Н. Катков, а гораздо более существенными заданиями по организации общественного мнения в нейтральных странах в пользу Пруссии накануне предрешенного столкновения с Францией.

300 Генерал-адъютант П.П. Альбединский занимал пост лифляндского, эстляндского и курляндского генерал-губернатора с 9 октября 1867 по 25 сентября 1870 г.

301 Романовский Дмитрий Ильич (1825—1881), генерал-лейтенант; с 1862 по 1866 г. редактор «Русского инвалида», впоследствии командующий войсками в Туркестанской области, с именем которого связано взятие Ирджара, Ходжента и Джизака; начальник штаба Казанского военного округа, командир 11 пех. дивизии, член военно-учебного комитета главного штаба.

302 Писаревский Николай Григорьевич (ум. в 1895 г.), полковник генерального штаба, редактор «Русского инвалида» с 1861 по 1862 г. и радикального «Современного слова» с 1862 по 1863 г.; в 1856 г. бывал у А.И. Герцена в Лондоне и получил согласие на издание в России его сочинений. Как свидетельствует донесение с.-петербургского обер-полицмейстера от 29 апреля 1863 г. на имя генерал-губернатора, «отставной полковник Писаревский давно уже обратил на себя внимание своею крайнею неблагонамеренностью. Мне говорили, и ныне это фактически подтвердилось, что в статьях, присылаемых к нему для помещения в его газете, он выискивает места, имеющие противоправительственный характер и усиливает выражения. Что же касается до статей, принадлежащих Писаревскому, то они достаточно хорошо известны вашей светлости по их возмутительной самонадеянности и неуважению к существующему порядку».

303 Ковалевский Петр Петрович (1808—1855), генерал-лейтенант, командир 20-й артиллерийской бригады, известный своими блестящими боевыми операциями на Кавказском фронте войны 1853—1855 гг.

304 Бекетов Андрей Николаевич (1825—1902), ученый-ботаник; в юности член подпольного социалистического кружка, близкого петрашевцам; приятель Ф.М. Достоевского и Д.В. Григоровича. С 1860 г. приват-доцент, с 1863 г. профессор, а с 1876 по 1883 г. ректор Петербургского университета. Был женат с 1854 г. на Елисавете Григорьевне Карелиной (1836—1902), известной переводчице.

305 Арапетов Иван Павлович (1811—1887), чиновник II отделения собствен. его велич. канцелярии, деятель крестьянской реформы; «человек блестящего ума, живой и остроумный, обладающий тонким эстетическим чутьем, он попал рано в среду русских литераторов и стал другом Некрасова, Боткина, Панаева, Дружинина, Тургенева, Кавелина и др.». См., однако, резкую эпиграмму на него Тургенева и Некрасова «Загадка».

306 Чернышев Александр Иванович (1785—1857), светлейший князь, генерал-адъютант, военный министр с 1827 по 1852 г.

307 Карцев Александр Петрович (1817—1875), генерал-адъютант, профессор Академии генерального штаба.

308 Граф Гейден Федор Логинович (1821—1900), генерал-адъютант; с 1866 по 1881 г. начальник главного штаба, с 1881 по 1897 г. финляндский генерал-губернатор.

309 Мещеринов Григорий Васильевич (1827—1901), генерал-адъютант; с 1866 по 1881 г. помощник начальника главного штаба, впоследствии генерал-губернатор Западной Сибири с 1881 по 1882 г. и командующий войсками Казанского военного округа.

310 Черняев Михаил Григорьевич (1828—1898), генерал-лейтенант, начальник особого западно-сибирского отряда, снаряженного в 1863 г. для военной экспедиции в Среднюю Азию; в 1864 г. взял штурмом Чимкент, а в 1865 г. Ташкент; стоял во главе завоеванного им края до 4 июня 1866 г.; впоследствии был редактором-издателем реакционного «Русского мира», будировал против военных реформ Д.А. Милютина, а в 1876 г. сильно скомпрометировал себя неудачным командованием Сербской армией во время войны с Турцией; к военно-административной работе в России возвратился в эпоху реакции Александра III, но, назначенный в 1882 г. ташкентским генерал-губернатором, уже в 1884 г. был отозван. В литературу вошел как один из самых ярких прототипов гротескных щедринских администраторов. «Как генерал, он завоевал Туркестан, — писал Тургенев 24 ноября 1876 г. Я.П. Полонскому, — но если даже такой олух, как генерал Романовский, одерживал там победы европейского значения, это завоевание (в стратегическом смысле) не имеет никакого».

311 Аничков Виктор Михайлович (1830—1877), генерал-майор, профессор Академии генерального штаба, вице-директор комиссариатского департамента Военного министерства, редактор «Военного сборника». Когда после известного пожара 2 февраля 1875 г. на работавшей для военного ведомства паровой мельнице С.Т. Овсянникова (бывш. Фейгина) был арестован по обвинению в поджоге ее владелец, в бумагах последнего, как рассказывает в своих воспоминаниях А.И. Дельвиг, нашлись «доказательства, что многие из лиц военного ведомства получали содержание от Овсянникова. Называли, между прочим, директора канцелярии Военного министерства генерал-адъютанта Мордвинова и состоявшего при военном министре генерал-майора Аничкова. Эти слухи не могли не раздражить государя, все более и более убеждающегося, что он окружен мошенниками». Прямое подтверждение этих «слухов» находим мы в записках А.Ф. Кони, руководившего следствием по делу С.Т. Овсянникова и обнаружившего среди отобранных у него документов «именной список некоторым чинам главного и местного интендантских управлений с показанием мзды, ежемесячно платимой им». « Я отослал эту бумагу военному министру Д.А. Милютину», — отмечает А.Ф. Кони.

312 Гершельман Константин Иванович (1825—1898), генерал-адъютант, помощник начальника штаба войск гвардии и Петербургского военного округа.

313 Обручев Николай Николаевич (1830—1904), генерал от инфантерии, профессор Академии генерального штаба, один из вид-

нейших военных администраторов 70—90-х годов; в «эпоху реформ» был очень близок к революционным кругам, принимал участие в организации «Земли и Воли», в издании «Великорусса», в сношениях с редакцией «Колокола».

314 Н.Г. Чернышевский был одним из трех редакторов «Военного сборника» в 1858 г. и ушел из этого издания в результате кампании, поднятой в цензурных кругах против «вредного направления», неожиданно обнаруженного в официозе. См. объяснительную записку его, полемизирующую с докладом военного цензора полковника Штюрмера «О вредном направлении всей русской литературы вообще и «Военного сборника» в особенности».

315 Хрулев Степан Александрович (1807—1870), известный боевой генерал, участник обороны Севастополя.

316 Зыков Сергей Павлович (1830—1917), редактор «Русского инвалида» с 1864 по 1868 г., впоследствии известный журнальный предприниматель, издатель «Досуга и дела», «Вестника Красного Креста», «Русской старины»; генерал от инфантерии.

317 Милютин Николай Алексеевич (1818—1872), статс-секретарь, один из виднейших государственных деятелей эпохи «великих реформ», фактический руководитель всех подготовительных работ, положенных в основание акта 19 февраля 1861 г.; командированный с особыми полномочиями в 1863 г. в Польшу, в новой своей деятельности старался реализовать широкую программу демократических преобразований, в самой общей форме мотивированных в одном из писем к Я.А. Соловьеву: «Посланные мною указы и материалы — это первый шаг к реформам, с ясно сознанною целью: поднять и поставить на ноги угнетенную массу, противопоставить ее олигархии, которою проникнуты до сих пор все польские учреждения. С каждым днем убеждаюсь в возможности выполнить эту программу. Со временем в самой Польше можно будет найти деятельные элементы, чтобы на них опереться, но теперь пока нужны русские деятели и они необходимы не только вследствие ненормального положения края, но и по причине совершенного отсутствия организаторских способностей у поляков вне их отживших традиций. Эта способность проснется в них только тогда, когда связь с этой традицией порвется и явится на сцену новый, неведомый в польской истории деятель — народ» («Русская старина». 1882, кн. II, стр. 390).

318 Грот Константин Карлович (1815—1897), директор Департамента неокладных сборов Министерства финансов, инициатор упразднения откупов и введения акцизной системы, впоследствии член Государственного совета.

319 Бушен Артур Богданович (1831—1876), публицист и статистик, впоследствии редактор «Ежегодника Министерства финансов».

320 Абаза Александр Аггеевич (1821—1895), член Государственного совета. О нем см. выше, гл. V, примеч. 36.

321 Милютина Мария Аггеевна (1834—1903), урожд. Абаза, по второму мужу Стиль; ее записки печатались в «Русской старине» (1899. Кн. I—IV).

322 Абаза Юлия Федоровна, урожд. Штуббе, талантливая музыкантша и певица, приятельница Гуно, Листа, А. Серова, А. Рубинштейна, корреспондентка Тургенева; ей посвящено известное стихотворение Ф.И. Тютчева «Так гармонических орудий власть

беспредельна над душой» (1869). Особенности ее положения, на которые намекает Е.М. Феоктистов, уясняются благодаря рассказу С.Ю. Витте: «Абаза пользовался большим расположением в. к. Елены Павловны и благодаря ей он сделал такую карьеру. Так как великая княгиня очень любила музыку и постоянно устраивала у себя концерты, у нее кроме фрейлин были еще разные молодые барышни: чтицы, барышни, которые играли на фортепиано и пели; эти последние были большею частью из иностранок. В числе этих молодых особ была одна иностранка — не знаю, какого она была происхождения, француженка или немка, с которой Абаза завел шуры-муры. В конце концов он должен был на ней жениться. Нельзя сказать, чтобы брак этот был особенно счастлив, так как хотя Абаза и жил со своею женою в одном доме, но жили они совершенно розно друг от друга. И это совершенно понятно, потому что такая особа, как его жена — музыкантша и une demoiselle de compagnie, — конечно, не могла удовлетворить такую натуру, какою была натура Абазы. И ужс в то время, когда я был в Петербурге, он постоянно бывал и жил совершенно открыто, почти maritalement и уже долгое время с некоей Нелидовой, очень умной дамой, сестрой известного генерал-лейтенанта Анненкова».

323 Кошелев Александр Иванович (1806—1883), публицист и общественный деятель, близкий славянофильским кругам; в юности член московского кружка любомудров и Литературного общества С. Е. Раича; автор одного из радикальных проектов крестьянской реформы, деятельный участник реализации последней в конце 50-х — начале 60-х годов. С 1864 по 1866 г. главный директор финансов в Учредительном комитете Царства Польского, вышедший в отставку из-за несогласия с обрусительно-демагогической тактикой Н. А. Милютина.

324 Арцимович Виктор Антонович (1820—1893), первоприсутствующий Уголовного кассационного департамента Сената; с 1854 г. тобольский, а с 1858 по 1863 г. калужский гражданский губернатор; с 1863 по 1866 г. член Учредительного комитета и вице-президент Государственного совета Царства Польского. В реакционных кругах и при дворе пользовался репутацией «красного» и врага дворянских интересов, ибо, как свидетельствовал в 1880 г. министр юстиции, после двукратного отказа царя в утверждении Арцимовича первоприсутствующим, он, «будучи калужским губернатором, энергически и без послабления сильным мира сего вводил в действие положение 19 февраля 1861 г.». Свою оппозицию тактике Н. А. Милютина в Польше В. А. Арцимович объяснял весною 1866 г. тем, что «Милютин боится легальности, а я считаю легальность единственным спасением для страны, где все потрясено и где разгул произвола дошел до крайних пределов».

325 Любощинский Марк Николаевич (1816—1889), один из ближайших сотрудников Н. А. Милютина по реализации крестьянской реформы, впоследствии сенатор, член Государственного совета.

326 Князь Барятинский Александр Иванович (1814—1879) генерал-фельдмаршал, кавказский наместник и главнокомандующий Кавказской армией с 1856 по 1862 г.

327 Заблоцкий-Десятовский Андрей Парфенович (1807—1881), известный экономист, чиновник Министерства государственных имуществ, участник работ по подготовке крестьянской реформы в

40-х годах; автор исторической монографии «Граф П. Д. Киселев и его время» (Спб, 1882).

328 Политическая подоплека всех мероприятий гр. Д. А. Толстого в области учебного дела, с полной ясностью учтенная его оппонентами, была обнажена самим министром в 1871 г. при внесении в Государственный совет законопроекта «Об изменениях и дополнениях в уставе гимназий и прогимназий, высочайше утвержденном 19 ноября 1864 г.». Признавая ошибочными все прогрессивные мероприятия в области школьного преподавания в течение последних двадцати лет, гр. Д. А. Толстой предлагал восстановить классическую систему воспитания и обучения, ибо «в изгнании древних языков и особенно языка греческого из наших школ, в этом приноровлении гимназического курса к практическим целям заключалась если не единственная, то одна из важных причин так сильно охватившего наше учащееся юношество материализма, нигилизма и самого пагубного сомнения; ибо вопрос между древними языками, как основою всего дальнейшего научного образования, и всяким другим способом обучения есть вопрос не только между серьезным и поверхностным учением, но и вопрос между нравственным и материалистическим направлением обучения и воспитания, а следовательно, и всего общества».

329 Гурко Иосиф Владимирович (1828—1901), генерал от кавалерии; командующий войсками гвардии во время войны 1877—1878 гг.; с.-петербургский временный генерал-губернатор с 7 апреля 1879 по 14 февраля 1880 г., варшавский генерал-губернатор и командующий войсками Варшавского военного округа с 7 июня 1883 по 6 декабря 1894 г.; член Государственного совета.

330 Графиня Салиас де Турнемир Елисавета Васильевна (1815—1892), известная писательница, дебютировавшая в «Современнике» 1849 г. повестью «Ошибка»; впоследствии деятельная сотрудница крупнейших журналов либерального лагеря, хозяйка и вдохновительница одного из московских литературных салонов; очень характерна для общественной репутации гр. Е. В. Салиас ядовитая отметка о ней в «Соннике современной русской литературы» Н. Ф. Щербины: «Сальяс графиню видеть во сне предвещает выцарапать глаза человеку, принадлежащему к другому литературному муравейнику, или увидеть наяву madame Rolland Вшивой горки». После закрытия «Русской речи» и выезда своего в конце 1861 г. за границу от общественной и литературной работы отошла, напечатав под конец жизни несколько случайных переводов и повестей для детского чтения. К истории увлечения Е. В. в юности Н. И. Надеждиным, о которой рассказывает Е. М. Феоктистов, следует добавить несколько характерных штрихов, сохранившихся в воспоминаниях К. Н. Бестужева-Рюмина: «Когда Надеждина сослали, Елисавета Васильевна была увезена за границу; Надеждин писал ей письма, в которых, надеясь обратить на себя внимание распечатывающих письма, хвалил правительство. Е. В. это не понравилось, она разорвала с Надеждиным и вышла замуж за первого встречного, которым оказался граф Салиас» (Воспоминания. Спб. 1900. С. 27). Историю дуэли гр. А. Салиас де Турнемира с П.И. Фроловым, окончившуюся высылкой мужа Е. В. в 1844 г. из Москвы за границу, рассказывает гр. М. Д. Бутурлин: «Появилось в рукописи сатирическое сочинение под названием «Каталог Московского общества», где в числе множества пошлого были, однако

же, и удачные эпиграммы. Составителями сатиры заподозревались граф Салиас де Турнемир и хромой Петр Иванович Фролов. По поводу ли пререканий между двумя сказанными господами об их будто бы авторстве или по другой причине, трудно теперь мне припомнить, но они вцепились друг в друга на гулянье в Петровском парке. Граф Салиас, слезший с лошади, отхлестал П. И. Фролова, а последний принялся дубасить французского графа своею неразлучною (по причине хромоты) палкою и, обломав ее вдребезги, подал будто бы эти остатки своему противнику при словах: «Дарю вам эти обломки для хранения в вашем Турнемирском замке». А затем последовала между ними дуэль на пистолетах, в коей был ранен (но не тяжко) граф Салиас» («Русский архив». 1897. Кн. III. С. 353).

331 Сухово-Кобылина Мария Ивановна, урожд. Шепелева (1789—1862), жена Василия Александровича Сухово-Кобылина (1784—1873). Яркую характеристику ее дает Е. М. Феоктистов в ранней главе в своих воспоминаниях: «Говорили, что в молодости она отличалась красотой; следы красоты она сохраняла и в то время, когда я познакомился с ней, но едва ли когда-нибудь красота эта была привлекательна; уж слишком поражала М. И. отсутствием всякой женственности, чем-то грубым и резким во всей своей фигуре. Помещица она была суровая: крепостным приходилось у нее очень жутко, но так как преподавателями у ее детей были когда-то люди, занимавшие более или менее видное положение в ученом мире, — между прочим, известный Н.И. Надеждин и А.Л. Морошкин, то Мария Ивановна не прочь была побеседовать о предметах, вызывающих на размышление, и даже прочесть ту или другую серьезную книгу. Нередко после расправы с горничными и лакеями, когда пощечины щедро расточались ею направо и налево, она закуривала сигару и усаживалась на диване с французским переводом философии Шеллинга в руках. Более странного сочетания мнимой образованности и самых диких крепостнических привычек не случалось мне встречать на моем веку» («Атеней». Кн. III. Л., 1926. С. 108).

332 А. Н. Пыпин писал о Г.В. Вызинском В.И. Ламанскому: «С Вызинским я познакомился в Париже, или, вернее, в Версале, у графини Салиас, с которой он очень дружен. Вызинский, еще молодой человек, постарше немного нас с вами, мне очень понравился: он имеет вид человека с твердым, спокойным умом и живым талантом. Мне очень приятно слышать от вас, что я не обманулся в нем, ожидая от него хороших вещей. Он простой и симпатичный человек. Он родом поляк, как показывает его имя, но польского осталось в нем, кажется, только имя и маленький акцент в разговоре. Капустин, знающий его очень близко, также чрезвычайно хвалил его. После летних каникул Вызинский должен начать свой исторический курс в университете». Для характеристики общественно-политической позиции В. в начале 60-х гг. очень ценно письмо К.Д. Кавелина от 3 мая 1862 г. из Парижа к В. Д. Спасовичу: «Надобно вам сказать, что и Окольский и Вызинский вращаются больше в аристократической партии. По отзывам обоих, в этой фракции более теперь обнаруживается наклонность к сближению с Россией и русскими. В первый раз, что повстречался с Вызинским у Тургенева, он толковал мне о некоторых комбинациях, по которым некоторые части Западных губерний должны быть польскими, дру-

гие русскими. При втором свидании у меня он спохватился и взял назад, что говорил, стал на историческую почву и ставил вопрос так: «Мы, поляки, никакой другой точки отправления принять не можем, кроме границы Польши и Литвы до первого раздела. Затем, приняв это за основание, мы не будем насильно держать за собою те области, которые предпочтут быть с вами» («Вестник Европы». 1898. Кн. II. С. 620).

333 Спасович Владимир Данилович (1829—1906), профессор Петербургского университета, ученый-юрист, впоследствии известный присяжный поверенный, критик и историк литературы, возглавлял в 1859 г. вместе с И. П. Огрызко (1826—1890), видным чиновником Министерства финансов, впоследствии агентом революционного жонда в Петербурге, сосланным в 1864 г. в Сибирь, журнал «Slowo», задачей которого было сближение позиций польских автономистов и русской умеренно-либеральной общественности.

334 Граф Салиас де Турнемир Евгений Андреевич (1840—1908), известный исторический романист, в юности был близок революционным кругам, встречался за границей с Герценом и Огаревым, принял деятельное участие в студенческих демонстрациях 1861 г., за что был арестован, исключен из университета и подвергнут секретному надзору полиции, снятому только в 1882 г.

335 13 ноября 1861 г. шеф жандармов и начальник III отделения кн. В.А. Долгорукий предложил московскому генерал-губернатору приступить к дознанию, «действительно ли гр. Елисавета Васильевна Салиас де Турнемир возбуждает неумеренностью своих суждений вредное направление образа мыслей» и, «имея сильное влияние на молодых людей, действует к вреду их и принимала даже участие в беспорядках, бывших между студентами Московского университета, в числе которых находится сын ее, усвоивший под руководством матери понятия весьма предосудительные и служащий вредным примером для своих товарищей». Дело это было доложено царю, который предоставил местной власти «принятие мер наблюдения», а начальнику III отделения решение вопроса о «необходимости удаления графини из Москвы». Возможно, что выезд графини Е. В. Салиас 25 ноября 1861 г. за границу был связан с дошедшими до нее сведениями о грозящей ей высылке; под надзором полиции оставалась она до 1882 г.

336 Статья Евгении Тур «Госпожа Свечина» помещена была в книге седьмой «Русского вестника» за 1860 г. с примечанием редактора о некоторой неполноте предлагаемого разбора ультрамонтанских взглядов С. П. Свечиной; протестующее «Письмо к редактору» Е. Т. и ответ М. Н. Каткова напечатаны в «Русском вестнике» (1860. Кн. VIII. С. 406—411 и 468—488).

337 Журнал «Русская речь» издавался Е. Тур с 1 января 1861 г. и выходил два раза в неделю, сперва под ее собственной редакцией, а с № 39 за подписью Е. М. Феоктистова. Появление последнего мотивировано было в письме Е. В. от 30 апреля 1861 г. к Н. И. Субботину: «Не удивляйтесь, если на днях вы увидите, что я передаю газету другому. Я остаюсь точно так же во главе редакции, и ничто не изменяется. Это я принуждена сделать потому, что в Петербурге не хотели дозволить *мне* выдавать политическое обозрение, без которого газета существовать не может. Я передаю ее одному моему приятелю, который и теперь вместе со мною издает газету. Письма и рукописи прошу точно так же присылать ко мне и

на мое имя». Характерен отклик «Искры» на вести о новом журнале. «Слухи носятся, что г-жа Евгения Тур будет с 1861 года издавать в Москве «Журнал амазонок». В числе амазонок будут гг. Вызинский и Феоктистов». Автором этой заметки, как установлено В.В. Гиппиусом, был М.Е. Салтыков-Щедрин. Кружок гр. Е.В. Салиас в пору издания ею «Русской речи» сатирически выведен в романе Лескова «Некуда». Кн. II. Гл. VI, VII (салон маркизы Ксении Григорьевны де Бараль). Крах журнала, едва дотянувшего до конца года из-за недостатка подписчиков и отсутствия оборотных средств, дал материал для известного юмористического фельетона в стихах Б.Н. Алмазова «Похороны *Русской речи,* скончавшейся после непродолжительной, но тяжкой болезни».

338 М. Е. Салтыков-Щедрин, осведомляя в письме от 6 марта 1882 г. Тургенева о новых политических комбинациях в Петербурге, уделял много внимания союзу Т.И. Филиппова и М.Н. Островского с гр. И.И. Воронцовым-Дашковым: «Хоть бы одним ушком эти разговоры подслушать. А Аспазия у них Феоктистиха и старая бандерша Евгения Тур». Слухи о близких отношениях М. Н. Островского и С. А. Феоктистовой, использовавшей эту близость для продвижения своего мужа, получили отражение в известной эпиграмме Д. Д. Минаева «Островский Феоктистову На то рога и дал» и т. д. Как «ярую консерваторку» характеризует С. А. Феоктистову в 1883 г. и А. М. Скабичевский: «При встрече со своей сестрою /женой радикального адвоката А. А. Ольхина/ она заметила, что ее Евгеша занял пост начальника по делам печати единственно с тою целью, чтобы раздавить такую гадину, как «Отечественные записки».

339 Гурко Владимир Иосифович (1795—1852), генерал от инфантерии; участник войны 1812 г., член Союза благоденствия; с 1834 г. командовал 11-й пехотной дивизией, а умер в должности начальника всех резервных и запасных войск.

340 Положение И. В. Гурко, принявшего командование гвардией на театре военных действий, очень красочно определяется следующей записью в дневнике полковника М.А. Газенкампфа от 25 декабря 1877 г.: «Наследнику и его приближенным, конечно, пишут из гвардии и жалуются на резкость и крутость Гурко. Мне частным образом положительно известно, что большинство гвардейского начальства не может простить Гурко его быстрое возвышение, не может забыть, что еще полгода тому назад он был только начальником гвардейской дивизии, а теперь стал из недавних товарищей властным и строгим начальником, который всех держит в страхе и требует беспрекословного повиновения».

341 Герцог Лейхтенбергский Николай Максимилианович (1843—1890), генерал-адъютант, генерал от кавалерии; племянник Александра II.

342 Скобелев Михаил Дмитриевич (1843—1882), генерал-адъютант, участник Хивинского, Кокандского, а впоследствии и Ахал-Текинского походов; перед войной 1877—1878 гг. губернатор Ферганской области; один из популярнейших русских военачальников во время перехода армии через Балканы.

343 Барклай де Толли Михаил Богданович (1761—1818), генерал от инфантерии, предшественник Кутузова по командованию русской армией в 1812 г. Сравнивая Гурко с Барклаем, Е. М. Феоктистов, очевидно, ориентировался на ту оценку последнего, кото-

рая получила известное выражение в «Полководце» Пушкина и в его письме от 13 октября 1835 г. к Н. И. Гречу: «Стоическое лицо Барклая есть одно из замечательнейших в нашей истории. Не знаю, можно ли вполне оправдать его в отношении военного искусства, но его характер останется вечно достоин удивления и поклонения».

344 «Приезжающие из армии не находят слов выразить горечь и негодование свое на бессмысленность планов и распоряжений, — писал К. П. Победоносцев 17 сентября 1877 г. будущему императору Александру III. — Думаешь, авось, уроков было довольно, авось, будут благоразумнее. Нет — опять безумно бросились на штурм, послали тысячи на бесплодную смерть, не усмотрели неприятеля, не послали подкрепления (как Скобелеву под Плевной), пропустили целый отряд неприятельский и так далее! А что говорят о главнокомандующем, о в. к. Николае Николаевиче. Приезжие рассказывают, в письмах пишут — ему приписывают главную вину всех несчастий, говорят, что он упорен невыразимо, что не хочет слушать разумных советов, не хочет видеть ошибок и ради упорства шлет даром на смерть полки героев. Сказывают, будто и в войске распространяется уже озлобление. Боятся уже, как бы это озлобление не перешло в решительный упадок духа. Горько жалуются на невежество, самомнение, упорство главных начальников и штабных».

345 Взаимоотношения генерала Гурко и цесаревича Александра Александровича определены были на театре военных действий особыми секретными директивами, сущность которых 14 декабря 1877 г. изложена в дневнике полковника М. Газенкампфа следующим образом: «Между государем и великим князем перед отъездом его величества в Петербург условлено: если Гурко удастся перевалить через Балканы, то цесаревич сдает начальство над восточным отрядом Тотлебену и едет принимать начальство над западным отрядом, а Гурко делается его начальником штаба. Гурко об этом ничего не знает. Едва ли эта комбинация будет приятным для него сюрпризом. Хотя и лестно быть начальником штаба у своего будущего государя, но обратиться в подначальное лицо из полководца, да еще немедленно по совершении блистательного трудного подвига — едва ли может кому-нибудь доставить удовольствие, особенно такому самостоятельному и самолюбивому человеку, как Гурко: он будет кровно обижен». Конфликт, которого опасались в штабе, произошел очень скоро, и лишь благодаря случайным привходящим обстоятельствам (кандидатура Н. Н. Обручева) был разрешен не в пользу цесаревича. 25 декабря 1877 г. М. Газенкампф отметил: «Нынче ночью великий князь (Николай Николаевич) с изумлением получил телеграмму от цесаревича, в которой он выражает желание иметь начальником штаба Обручева, а Гурко обратить в начальника кавалерии западного отряда. Великий князь сам составил ответную телеграмму, смысл которой был следующий: 1) Гурко, после только что совершенного им блистательного подвига и после того, что он со славою руководил действиями целой армии более чем из двух корпусов, невозможно обратить в начальника кавалерии той же армии; 2) Обручев совсем неподходящий начальник штаба, ибо нигде себя на практике не заявил, ни театра войны, ни войск не знает и войскам неизвестен, Гурко же заявил себя блистательно, знает войска, и войска его знают и ему верят; 3) великий князь лично против Обручева еще и

потому, что не может забыть, как он в 1863 г., будучи нач. штаба 2-й гвардейской пехотной дивизии, демонстративно отчислился от должности, не желая идти на «братоубийственную войну» русских с поляками». После длительных и резких телеграфных переговоров главнокомандующего с царем и наследником 2 января 1878 г. казус был разрешен «оставлением всех при настоящем их командовании».

346 Граф Воронцов-Дашков Илларион Иванович (1837—1916), генерал-адъютант, начальник штаба гвардейского корпуса с 1874 по 1877 г., министр императорского двора с 1881 по 1897 г., кавказский наместник с 1905 по 1915 г.

347 Визит в Министерство иностранных дел для урегулирования инцидента с некрологом гр. П. А. Шувалова, о котором рассказывает Е. М. Феоктистов, получил отражение в дневнике гр. В. Н. Ламздорфа, одного из ближайших сотрудников Н. К. Гирса: «16 марта /1889 г./. Около четырех часов приходил г. Феоктистов, посланный графом Толстым как начальник Управления по делам печати. Оказывается, государь и государыня осыпали его горячими упреками за направление «Нового времени» и за статью, появившуюся в самый день перевезения тела Шувалова. Министр внутренних дел, умалчивая о всех нападках, направленных против покойного как одного из очень энергичных деятелей внутреннего управления в продолжение большей части его служебной карьеры, указывает как на средство для его реабилитации на помещение министерством в «Правительственном вестнике» статьи о его дипломатической деятельности. Г. Феоктистов и явился сообщить от имени гр. Толстого о желании государя, чтобы подобная статья появилась как можно скорее. Министр замечает ему, что это, вероятно, вызовет новые нападки, но он возражает, что «меры приняты, чтобы этого не было», что доказывает, насколько при желании это легко и просто».

348 Засулич Вера Ивановна (1851—1919), участница революционного движения с 1869 г., видная деятельница «Черного передела», группы «Освобождение труда» и РСДРП, стреляла 24 января 1878 г. в петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова за наказание розгами по его распоряжению политического арестанта А. П. Боголюбова (Емельянова).

349 Еремеев Дмитрий Павлович (1830—1894), симбирский гражданский губернатор с 1869 по 1873 г., впоследствии помощник управляющего Дворянским банком.

350 Баранов Николай Михайлович (1837—1901), отставной капитан I ранга, впоследствии петербургский градоначальник, архангельский и нижегородский губернатор, «известный не то по подвигу, не то по буффонаде» во время войны 1877—1878 гг. Последний эпизод рисуется в следующем виде: командуя кораблем «Веста», Баранов встретился с военным турецким судном в Черном море. «И вот, — рассказывает С. Ю. Витте, — когда произошло это столкновение, одни говорят, что в конце концов «Веста» ушла от этого турецкого судна, а другие — что турецкое военное судно бежало от «Весты». Так или иначе, но награжден был Б. орденом Георгия 4-й степени и званием флигель-адъютанта, а лейтенант Д. С. Рождественский, один из очевидцев «дела», утверждал в военном суде, что Б. приписал себе подвиг боя, которого никогда не было.

351 Дело Владимира Дмитриевича Дубровина (1855—1879), обвиняемого в революционной пропаганде в войсках и в вооруженном сопротивлении властям при аресте, слушалось в С.-Петербургском военно-окружном суде 13 апреля 1879 г. Единственной официальной информацией об этом процессе является приказ по войскам гвардии и Петербургского военного округа, опубликованный 20 апреля 1879 г. «Отставной подпоручик Дубровин, состоя в рядах 86-го пехотного Вильманстрандского эрцгерцога австрийского Альбрехта полка и прикрываясь почетным званием офицера, осмелился принадлежать в то же время к революционной горсти злоумышленников, стремящейся к ниспровержению основных начал государственного и общественного быта. Внезапный обыск и расследование открыли связь эту, а при произведенном вслед за тем аресте Дубровин, сопротивляясь власти, ранил двух жандармских унтер-офицеров и даже покусился на жизнь начальника их, штабс-капитана Романовского. Признанный Петербургским военно-окружным судом виновным в этих преступлениях, Дубровин сего числа в Петербурге подвергнут смертной казни».

352 Дело Льва Филипповича Мирского (1858—1920), обвиняемого в принадлежности к революционной организации и в покушении на жизнь шефа жандармов генерал-адъютанта А. Р. Дрентельна (13 марта 1879 г., нагнав на рысаке карету последнего, М. выстрелил в окно; пуля разбила стекло, но генерал остался невредим), слушалось в Петербургском военно-окружном суде с 15 по 17 ноября 1879 г.

353 Ольхин Александр Александрович (1839—1897), присяжный поверенный, известный политический защитник. Высланный в 1879 г. из Петербурга в Вологодскую губернию, привлекался к ответственности за содействие побегу Мирского, был оправдан, но в административном порядке выслан вновь; разрешение на проживание в столице получил только в 1895 г. Обстоятельную характеристику А. А. Ольхина и его жены дает в своих воспоминаниях близко знавший обоих А. М. Скабичевский: «А. А. Ольхин был известен как весьма порядочный адвокат, но он не довольствовался своей профессией, ему хотелось быть во что бы то ни стало поэтом, и вместе с тем он принадлежал к тайным обществам того времени. Но поэта из него не вышло — все стихи его, появившиеся в нелегальных изданиях, были очень плохи, несмотря на весь свой революционный пафос. В качестве же конспиратора он претерпел многолетнюю ссылку, из которой возвратился с расстроенным здоровьем и умер преждевременно, борясь в последние годы своей жизни и с болезнью, и с нуждою. Не менее печальна была судьба и супруги его, Варвары Александровны (урожденной Беклемишевой), прелестной и во всех отношениях симпатичной женщины, которой я одно время давал уроки русского языка и словесности (она готовилась держать экзамен на сельскую учительницу). Выдержав экзамен, она действительно пошла в сельские учительницы. Но подвижничество ее было непродолжительно: она вскоре умерла, заразившись тифом».

354 Беклемишев Евгений Александрович, родился в 1857 г., вольнослушатель С.-Петербургского университета; в начале 1879 г. вел пропаганду среди крестьян Псковской губернии; арестованный 15 сентября 1879 г. и преданный суду по обвинению в укрывательстве Л. Мирского, был 17 декабря 1879 г. оправдан, но в админи-

стративном порядке выслан в Рязанскую губернию под надзор полиции.

355 Ганецкий Иван Степанович (1810—1887), генерал от инфантерии, командир гренадерского корпуса во время войны 1877—1878 гг., комендант Петропавловской крепости с 21 мая 1881 г.

356 Предательство Льва Мирского, заключенного с 28 ноября 1879 г. в Алексеевском равелине Петропавловской крепости и выдавшего ок. 16 ноября 1881 г. начальству службу связи, налаженную С. Г. Нечаевым с волей через солдат охраны, установлено было только в исследовании П. Е. Щеголева «С. Г. Нечаев в Алексеевском равелине («Красный архив». М., 1924. Т. V. С. 176—212). Данные Е. М. Феоктистова проливают свет на начальную фазу этого предательства, не оставившую следов даже в секретной официальной переписке.

357 Взрыв динамита, которым 5 февраля 1880 г. разрушено было несколько жилых комнат и караульное помещение Зимнего дворца, организован был, как известно, Степаном Халтуриным по директивам исполнительного комитета и народной Воли». Дело это не могло, разумеется, не отразиться на положении И. В. Гурко. «Сегодня утром, — записал 8 февраля в своем дневнике П. А. Валуев, — продолжительное, но почти безрезультатное совещание у государя, при цесаревиче: министры военный, двора, внутренних дел, шеф жандармов и я. Маков довольно опрометчиво затронул при своем докладе вопрос об упразднении здешнего генерал-губернаторства, т. е. в существе его мысли — генерала Гурко, с которым он не справляется. Государь послал за нами. Оказалось, что он менее поддался на предположение, чем Маков воображал». В записи от 9 февраля: «Утром опять приказание быть во дворце. Перемена во взглядах государя (как догадывается граф Адлерберг, вследствие письма, вчера полученного от цесаревича); учреждается здесь верховная комиссия, и во главе ее граф Лорис-Меликов. Воля государя объявлена внезапно для всех. Генерал-губернатор упраздняется, и генерал Гурко s'exécute с большим достоинством. Неожиданность впечатления выразилась на всех лицах».

358 Граф Адлерберг Александр Владимирович (1818—1888), генерал-адъютант, министр императорского двора с 1872 по 1881 г.

359 Записка гр. П. А. Шувалова, о которой упоминает Е. М. Феоктистов, 2 февраля 1880 г. была дана министром внутренних дел для ознакомления П. А. Валуеву, который признал ее рецепты борьбы с нигилизмом «наивными до сходства с плохою и неуместною шуткою».

360 Вопрос о возвращении И. В. Гурко к большой административной работе впервые поставлен был еще 28 сентября 1881 г., когда государственный секретарь Е. А. Перетц занес в свой дневник сведения об обсуждении кандидатуры Гурко на пост главноначальствующего на Кавказе: «Его величество сказал, что ему очень рекомендуют (по всей вероятности, Игнатьев и Островский) Гурко. Против этого выбора стал всеми силами великий князь /Михаил Николаевич/, так как, по его мнению, Гурко жесток, а притом вовсе не администратор». В письме К. П. Победоносцева от 5 июня 1882 г. к Александру III развивалась мысль о создании для Гурко особого поста Главного начальнпка государственной полиции при передаче Министерства внутренних дел гр. Д. А. Толстому: «Прав-

да, он не блестит умом, — удостоверял обер-прокурор Синода, — но... я от Гурко слыхал разумные речи, и совесть у него прямая, солдатская. В делах политических он имеет некоторую опытность, он не упрям и, кажется, может действовать в согласии с гр. Толстым. Он не поддавался, сколько мне известно, действию политических болтунов и имел прямой взгляд на государственные потребности России. Хитрости в нем нет, к интриге он не способен и никак не станет принимать свои впечатления от молодой резонерствующей гвардии. Нет у него стаи знатных родственников, которые стремились бы через него составить себе политическую карьеру; есть, правда, жена, несколько тщеславная, но это беда еще небольшая».

361 Пост одесского временного генерал-губернатора и командующего войсками Одесского военного округа И. В. Гурко занимал с 9 января 1882 по 7 июня 1883 г.

362 В дневнике Е. М. Феоктистова сохранились две интереснейшие записи, связанные с обострением русско-германских отношений в 1891—1892 гг. «Приезжал сюда И. В. Гурко, — отметил он 28 апреля 1891 г. — Ему очень надо было иметь аудиенцию у государя. И он успел в этом. Ходатайствовал он об усилении численности войск в Варшавском округе, преимущественно в том, чтобы перевести туда какую-то кавалерийскую дивизию с Кавказа; основанием для такой просьбы служили усиленные военные приготовления наших добрых соседей немцев. Государь затруднялся, не желая дать повод германскому правительству обвинять нас во враждебных к нему отношениях. «Я не посвящен в тайны политики, — сказал ему Гурко, — но позвольте, ваше величество, выразить откровенно мое мнение, что, судя по многим обстоятельствам — я имею в виду заигрывание немцев с поляками, громадные расходы на постройку новых стратегических железных дорог по направлению к нашей границе, — едва ли можно рассчитывать на императора Вильгельма». «Еще бы, это такая скотина», — отвечал император. Любит он выражаться просто, без прикрас. Кажется, он верно разгадал Вильгельма. Когда тот, по воцарении своем, приехал в Петербург, государь сказал Гирсу: «Поверьте, что Бисмарк недолго останется при нем; император постарается как можно скорее избавиться от этого опекуна». Гирс тогда же, тотчас по отъезде Вильгельма, рассказывал это М. Н. Островскому». Вторая запись от 14 февраля 1892 г: «На днях приехал в Петербург И. В. Гурко, был он у государя, но на весьма короткое время, затем посетил великих князей Михаила Николаевича и Владимира Александровича. Оба они тревожатся мыслью о возможности войны, и, конечно, не И. В. будет успокаивать их в этом отношении. Наш посол в Берлине граф Шувалов, очень близкий ему человек, постоянно ему сообщает, что можно ожидать всего худшего; военная партия всячески старается склонить императора Вильгельма к войне; все зависит от того, каков будет урожай в Германии нынешним летом, — если удовлетворительный, то наши враги не будут медлить. Гурко при свидании с государем указывал ему на это, но встретил с его стороны полнейшее равнодушие: «Конечно, — сказал ему государь, — Вильгельм сумасшедший человек, но ведь он только болтает, а от слов до дела очень далеко».

363 В дневник А. В. Богданович 3 марта 1892 г., со слов генерала от инфантерии графа П. И. Кутайсова, внесены строки о

«m-me Гурко, которая занимается гешефтами: с бывшим варшавским губернатором Медемом купила под чужими именами Домбровские копи. Когда Гурко приехал в край, он ни Медему, ни Бутурлину руки не подал, а теперь по просьбе Гурко — читай: его жены — Медем назначен его помощником по гражданской части».

364 Гурко Владимир Иосифович, родился 30 ноября 1862 г.; окончил Московский университет; с 6 апреля 1885 г. чиновник Московского, а затем Варшавского цензурного комитета; с 16 июля 1887 г. уездный комиссар по крестьянским делам, а с 13 июня 1891 г. непременный член Варшавского губернского по крестьянским делам присутствия; с 20 февраля 1892 г. исп. обязанности варшавского вице-губернатора; с 25 апреля 1895 г. чиновник Государственной канцелярии; с 13 марта 1898 г. помощник статс-секретаря Государственного совета; с 20 сентября 1902 г. управляющий земским отделом, а с 23 марта 1906 г. товарищ министра внутренних дел; 17 сентября 1907 г. отрешен от должности в силу приговора особого присутствия Сената «за превышение власти и нерадение по должности» при заключении договора о частном подряде на поставку 10 миллионов пудов хлеба в голодающие районы; амнистирован 8 апреля 1909 г.; с 1912 г. член Государственного совета по выборам от Тверского земства, один из лидеров группы «центра», а впоследствии и «прогрессивного блока»; после Октябрьской революции эмигрировал.

365 Барон Медем Николай Николаевич (1834—1899), генерал-лейтенант, варшавский губернатор с 1866 по 1892 г.; помощник варшавского генерал-губернатора по гражданской части с 1892 по 1895 г.; сенатор.

366 С. Ю. Витте передает в своих воспоминаниях как раз ту версию отставки И. В. Гурко, которая представлялась Е. М. Феоктистову недостаточно обоснованной: «Гурко пожелал, чтобы его сына сделали управляющим его канцелярией. Но так как этот сын Гурко уже и в то время пользовался в денежном отношении дурной репутацией, то бывший тогда министром внутренних дел Иван Николаевич Дурново не соглашался на это. Гурко приехал в Петербург, явился к молодому императору и поставил ему род ультиматума — сделав это в твердой и довольно резкой форме, — заключающегося в том, чтобы его сын был назначен управляющим канцелярией, или же он уходит. Государь согласился на последнее, таким образом, этот несомненно выдающийся военный и государственный человек ушел со сцены и поселился у себя в Тверской губ. Впоследствии, кажется, он был сделан фельдмаршалом, но никакой уже роли не играл. Это произошло 14 декабря 1894 г., т.е. через два месяца после вступления на престол императора Николая II. Согласие государя на увольнение Гурко произошло, с одной стороны, оттого, что Гурко поставил очень резко вопрос, а с другой стороны, потому, что его величество по характеру своему с самого вступления на престол вообще недолюбливал и даже не переносил лиц, представляющих собою определенную личность, т. е. лиц, твердых в своих мнениях, своих словах и своих действиях. Увольнение Гурко — это был первый случай проявления этой стороны характера его величества.

Указатель имен

ОГЛАВЛЕНИЕ

Феоктистов Е.М.

Ф 42 За кулисами политики и литературы /1848—1896/. — Воспоминания. — М.: Новости, 1991. — 464 с. с ил. ("Голоса истории").

50 000 экз.

Воспоминания Евгения Михайловича Феоктистова (1829—1896), разночинца по происхождению, выпускника Московского университета, друга И.С. Тургенева, начальника Главного управления по делам печати, охватывают вторую половину XIX века. В основе мемуаров — не только прекрасная память автора, но и его архив, дневники, письма, записи особо интересных бесед и анекдотов.

Круг вопросов, освещаемых записками, весьма широк — различные общественные и официальные сферы, вопросы литературы и культуры, внешняя и внутренняя политика.

Издание рассчитано на широкий круг читателей.

Ф $\frac{4502010000}{067(02)\text{-}91}$ Без объявл. **ББК 63.3(2)**

ISBN 5-70-20-0354-3

Евгений Михайлович Феоктистов

ЗА КУЛИСАМИ ПОЛИТИКИ И ЛИТЕРАТУРЫ
(1848—1896)

Воспоминания

Редактор *З. Е. Машкова*
Художественный редактор *А. И. Хисиминдинов*
Технический редактор *Н. М. Ладик*
Корректор *Е. А. Тихонова*
Технолог *С. Г. Володина*

ИБ 10435

Сдано в набор 28 01 91. Подписано в печать 09 07.91. Формат издания 84x108/32
Бумага офсетная. Гарнитура таймс. Печать офсет. Усл. печ. л. 24,36 Уч -изд. л 24,06.
Тираж 50000 экз. Заказ № 63. Изд № 8808 Цена 6 р. 70 к. в обложке,
7 р. в переплете.

Издательство «Новости»
107082, Москва, Б Почтовая ул., 7.

Типография Издательства «Новости»
107005, Москва, ул. Ф. Энгельса, 46.